
АНАТОЛИЙ
КУРЧАТКИН

СЧАСТЬЕ
ВЕНИАМИНА Л.



С О В Р Е М Е Н Н А Я П Р О З А

АНАТОЛИЙ КУРЧАТКИН

СЧАСТЬЕ ВЕНИАМИНА Л.

Повести и рассказы



СОВРЕМЕННАЯ П Р О З А



Москва
ЦЕНТРОЛИГРАФ
2002

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
К93

Охраняется Законом РФ об авторском праве.
Воспроизведение всей книги или любой ее части
воспрещается без письменного разрешения издателя.
Любые попытки нарушения закона
будут преследоваться в судебном порядке.

*Художественное оформление
И.А. Озерова*

В оформлении обложки использован
фрагмент картины А. Глеза
«Человек на балконе»

Курчаткин А.Н.

К93 **Счастье Вениамина Л.: Повести и рассказы.** — М.: ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2002. — 542 с.

ISBN 5-227-01147-8

В книге известного писателя впервые в полном объеме представлена иррациональная линия его творчества. Герои произведений одновременно живут во времена Александра Невского и в наши дни, могут, зайдя внутрь обыкновенного таксофона, попасть в странный мир, где действует Институт легкой и быстрой смерти, спускаются на долгие годы под землю, прервав все связи с внешним миром, чтобы никто не помешал им построить новейшее метро, и безостановочно несутся в некоем поезде, за окном которого стоит вечная ночь. Фантастическое и реальное переплетено здесь так тесно, что одно оказывается продолжением другого, рождая захватывающие сюжетные коллизии и позволяя автору говорить о самых сложных проблемах, стоящих перед современным человечеством.

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

© Курчаткин А.Н., 2002
© Художественное оформление, ЗАО
«Издательство «Центрполиграф», 2002
© ЗАО «Издательство «Центрполиграф»,
2002

ISBN 5-227-01147-8

РАССКАЗЫ

СОВРЕМЕННАЯ  ПРОЗА

СОН О ЛЕДОВОМ ПОБОИЩЕ

Стеллажи безмолвно-строги. Они чопорно-торжественны, так чопорно-торжественны вечерние фраки. Стеллажам не подобает быть другими — они хранят на своих полках века. Те ушли, тяжело проволочившись по земле войнами и эпидемиями, голодовками и публичными казнями, и оставили себя горами глиняных табличек, пергаментов, берестяных свитков, книг на стеллажах библиотек.

На столе, зажатом стеллажами в угол, три телефона, желтовато-белых, как слоновая кость, именно таких телефонов достойны ушедшие эпохи для разговоров о них.

Звонок вспарывает величественное молчание веков. Он вонзается в них шпагой и, вонзившись, туго покачивается, и слышен металлический скрип.

- Алло!
- Годы жизни Аврелия Немисиана?
- Третий век новой эры.
- А точнее?
- Зачем вам точнее? Какое это имеет значение теперь?
- Что такое «Медный бунт»?
- Одну минуточку...
- Год крещения Руси?
- Пожалуйста.
- Годы царствования...
- Что за битва...

— Почему...

— Скажите, о чем думал конный рыцарь Ливонского ордена, проваливаясь под лед на Чудском озере?

Молчание.

— Вы слышите?

— А вы шутите?

— Я не шучу. Я спрашиваю.

— Это неизвестно.

— Почему?

— Это неизвестно.

Короткие сигналы — как шипы колючей проволоки.

Все правильно: книги хранят время. Время — нечто безличное. Я выхожу из будки автомата. Лед ноздреват уже и тронут серым. Оруженосец помогает мне подняться на коня. Я весь, вместе с конем, как стальная глыба, на нем — латы, как металлическая попона, а я с ног до головы в железе, не с первого раза его возьмет стрела и пробьет меч, и только лицо открыто, но когда начнется рубка, я опущу забрало.

Уже принимают боевой порядок крестоносцы, и пора занять свое место мне.

Началось. С нами Бог.

Мы вошли в тело русского войска тяжелым ножом в тягучий мед, — у русских на каждого одетого в кольчужку приходилось двое в простой одежде. Он шел с одним топором на меня, новгородский мужик с белесыми бровями на красном лице, на что он надеялся, считай, голый передо мной, одетым в железо? Я обернулся — и топор вывалился у него из рук, он схватился за древко копья и, когда я повел копье в сторону, послушно пошел за ним. Тогда я выдернул копье, и мужик сел на лед, переломившись в пояснице, потом повалился на бок, и ноги его были подогнуты в коленях — будто он спал, а так ему было теплее лежать на апрельском льду.

Стрела скользнула по моей ноге, ударила в железную попону на лошади и, прогремев, бессильно скатилась под копыта. Почти под животом у лошади копошился, добывая кнехта¹, ополченец. Я вынул меч и косо опустил его на плечо ополченца. На голове у него был покатый русский шлем с шишаком, но больше ничего на нем не было, и меч развалил ополченца надвое. Я взглянул на меч — с него нитями стекала кровь.

Я был в центре заварухи, я был в самом жарком месте, кочерга судьбы поворачивала меня и так и эдак — чтобы сподручнее охватить огню, но я остался цел. И не моя в том вина, что мы побежали.

Конь утомился и еле плелся, я давал ему шпоры; он немного шел рысью, потом опять переходил на шаг, и так без конца, и Суболичский берег был по-прежнему далек и казался землей обетованной.

Вдруг с грохотом пошел трещиной лед передо мной, я скосил глаза и увидел, как кнехты забарахтались в чернильной воде. Трещина была еще невелика, и конь мой перескочил ее, и оборвавшееся сердце мое вернулось на место. Но от той трещины пошла поперечная, и я дал шпоры, страшно закричал кто-то за спиной, я почувствовал, как внезапно осел круп лошади, и понял, что это такое, хотел перевалиться через лошадь, упасть на лед, но было слишком тяжело — я был слишком неповоротлив и медлителен, — и только кромку льда ухватили руки.

И я знал, что уже не сумею выбраться, точнее — я боялся, что не сумею, а плескалась еще какая-то надежда. Но меня словно кто схватил за ноги и потянул вниз — это отломился кусок льда и стал медленно переворачиваться, и вот здесь я понял, что это конец. Лед перевернулся и толкнул меня в голову, я хотел всплыть, но не смог, и воздуха мне стало мало, и я разинул рот — вода хлынула в пи-

¹ К н е х т — пеший воин в войске Ливонского ордена.

шевод и забила легкие. «Как легко был одет тот мужик...» Глаза у меня начали вылезать из орбит, я закричал, и тогда спазма сжала мне желудок и вытолкнула воду, но она пошла вся обратно...

— Алло, вы слышите?

— Да-да...

— Я уже пять минут кричу «слышите», а вы не отзываетесь и не кладете трубку.

— Разве вы не прерывали разговора?

— Нет.

— Странно.

— Я хочу вам сказать насчет конных рыцарей.

— Благодарю вас.

— Мне кажется, они не способны были думать.

— Ну уж!

— Что — ну уж?

— Ну уж, что не думали. Вы в этом уверены?

— Да.

— Как же человек может не думать?

— А они не люди.

— Да нет, вроде я человек, — сказал я.

— Кто вы? — переспросил голос.

— Тот самый рыцарь.

— Вы опять шутите?

— Нет.

— Я на вас потратила десять минут, а у меня работа!

— Я не шучу.

— Может быть, вас интересует мой домашний адрес?

Короткие сигналы — как шипы колючей проволоки.

— Девушка!

На этот раз мне не показалось. Она действительно положила трубку.

Я открываю дверь автомата и ступаю на асфальт.

— Соизволили выйти!

— Вам одному, думаете, звонить нужно?!

— Уважать людей надо!..

Железный лязг захлопнувшейся двери за спиной.

Я поправляю остроконечный шлем на голове, застегиваю, обхватывая подбородок ремешком, и иду, тяжело опираясь на меч, как на клюку. Нагноившиеся раны ломают меня и гонят по всему телу ознобный жар. Изодранная кольчуга под пальто висит на плечах пудовым железным мешком. Голова гудит, кровавый пот заливает глаза, — битва выиграна, куда я иду?..

Апрельский ветер досуха вылизал асфальт, лишь кое-где черными ошметками лежит снег, и асфальт можно принять за уже начавший подтаивать лед. Он будет день ото дня делаться все более и более серым, ноздреватым и мягким, и настанет наконец ночь с ветром и дождем, и лед оторвет от берегов, расколется, и он уйдет под воду.

Не дай, Господи, очутиться в эту страшную ночь на льду. Дай, Господи, пока еще ей не пришла пора, пока еще есть время и в мышцах есть сила, — добраться до берега и ступить на обетованную твердь его...

1967 г.

В ПОИСКАХ ПОЧТОВОГО ЯЩИКА

Мне было страшно.

Что-то происходило со мной, что — я не мог понять, но неумогу стало удерживать сердце в груди, оно сделалось горячим и жгло мне все внутри, я едва не кричал от боли.

Словно кто-то подтолкнул меня — я сел к столу, взял бумагу и стал писать. И сердце мало-помалу успокоилось, и, когда письмо было написано и запечатано в конверт, сквозь прозрачно-тонкую бумагу конверта я ощутил форму сердца. Оно было теплым, скорее всего — горячим, и долго держать конверт в руках было невозможно. Я положил его на стол.

Сзади на меня смотрели. Я не мог видеть спиной, я только чувствовал — что смотрят, и ощущал, что это за глаза: большие, круглые, выкачанные влажным черным шаром из орбит, с красноватыми воспаленными веками, казалось, они вспухали, росли, клетки, делясь, черными огоньками шевелились в них и вплотную уже приблизились ко мне — к согнутой моей спине, вздернутым углам плеч... а я не мог оглянуться, я одеревенел, только ощущал их спиной и сам ничего не видел: белое что-то колыхалось перед лицом — до меня долго не доходило, что это дрожит лист бумаги в моей руке...

На меня смотрела пустота.

Лист выпал у меня из руки, прошипел по столу, тронул карандаш, тот качнулся и покатился, задержался на мгновение на крае и звонко тенькнул об пол. Я хотел закричать, но губы мои не шевельнулись. Я выпрямился и обернулся.

Свет настольной лампы раздвинул темноту, она собралась в углах и плотно стояла под потолком. Она плавала под ним, словно дым, и оттого вся комната казалась погруженной в него, и стены сделались неосязаемыми, будто растворились, отступили за свои границы, только угадывались. Комната была огромна, неизмерима и, наверное, гулка, и мне стало страшно в ней.

Всю свою жизнь я положил на то, чтобы добиться этой комнаты. С отдельным входом, собственной кухней, изолированной от внешнего мира этими толстыми крепкими стенами, толстой крепкой дверью с хитрым глубоким замком. Я устал от коммунальной жизни. Ничего мне не надо было, кроме спокойствия, тишины и одиночества. Полного покоя и устранинности от всех. Когда я еще только мечтал об этой комнате, я любил представлять себя хозяином ее и то, как буду приходить в нее и она будет встречать меня вздувающимися шторами над окном, которое некому закрыть, громким тиканьем будильника на столике у кровати, молчанием рассыхающихся половиц, которые начнут скрипеть, когда ступишь на них. Я думал о том, как буду приходить в нее — и никто мне не сможет мешать; никто не включит свет, когда я захочу спать, никто не заговорит громко, не обращая внимания на то, устраивает это меня или нет, никто не заведет не вовремя проигрыватель и не приведет своих знакомых.

Никто не станет тревожить меня в ней (я никому не дам адреса), а если даже кто-нибудь и постучит, то можно прикинуться, что тебя нет дома и комната пуста.

Почему-то я не помню, как въехал в нее, а иногда мне кажется — это я сам возвел ее стены, сам оштукатурил, сам навесил дверь и врезал замок.

...Глаза опять начали следить за мной. Красноватые их веки подергивались, зрачки вспухли, фосфоресцируя, холод, исходивший от них, обдал меня ознобом. Сердце мое подступило к горлу, и я понял, что не могу больше находиться здесь, в этой комнате, что еще одна-две такие ночи, и мне останется одно: вешаться.

Я взял со стола конверт, пальцы мои ощутили вложенное в него письмо — плоскую форму сердца.

Дверь комнаты подалась с трудом — наружный воздух оказался тугим и плотным, мне пришлось входить в него, раздвигая его руками. Точно я входил в резину.

Улица оказалась пустынна, и стук моих туфель об асфальт был звонок и одинокий. Белыми шарами в желтых круглых облаках света плавали фонари. Конверт лежал во внутреннем кармане пальто, и я все засовывал руку под шарф, проверяя — не потерялся ли он, и всякий раз нащупывал сквозь тонкую шелестящую бумагу плоскую форму сердца.

Так я прошел квартал, пересек площадь под монотонное мигание желтого огня светофора и вновь ступил на тротуар. Здесь, на углу дома, по моим подсчетам, висел почтовый ящик. Но я миновал весь дом — почтового ящика не было, вернулся обратно и прошел дом во второй раз — ящика не было.

Я подумал, что перепутал, что ящик укреплен на следующем доме. Наверное, я все перепутал и забыл.

Я прошел еще три дома — ящика все не было. Теперь я уже точно помнил, что дальше его быть не может и что все-таки он висел на первом от площади доме. Я повернулся и пошел обратно. Сейчас я стал внимателен, я заглядывал под арки

проходов — может быть, он здесь? Так я прошел весь дом до угла, и желтый мигающий глаз светфора выплыл на меня, — ящика не было.

Я достал из кармана конверт и посмотрел его на свет. Письмо обозначилось темным пятном.

Мне хотелось кричать.

Я сел на поребрик тротуара и положил лицо в ладони. Конверт, зажатый меж пальцев, касался щеки, и сначала было тепло, но постепенно делалось все горячее и горячее и наконец ожгло. Я отнял руки от лица — щека болела, я чувствовал, как глянцевеет и натягивается на ней кожа.

Я медленно встал и побрел по другой улице. Ночь окутывалась в туман, и дальние огни фонарей уже не просматривались, они были размыты и сливались в одно желтое облако света. Воздух стал звонче и тверже — начало подмораживать. Я поднял воротник пальто, засунул руки в карманы и шел, скособочившись, загребая правым плечом — смотрел на стены домов. Я шел сейчас уже наугад — этой улицы я не знал, — но должны же где-то быть почтовые ящики, должен же попасться хоть один!

Улицы были по-прежнему пустынные, никто не шел мне навстречу и не обгонял, и не проехал ни один автомобиль, и окна домов, мимо которых я шел, были сплошь черными. Улица кончилась — разбилась о вставший поперек ее дом. Я свернул и пошел по другой.

Я прошел и эту — она кончилась скоро; свернул еще в одну, потом еще в одну — началось кружение по улицам, но почтовых ящиков нигде не было видно. Я ходил уже давно, я забыл, когда я вышел из дому. Ноги устали, и до меня стало доноситься чье-то шарканье, словно кто-то шел рядом. Я несколько раз оглядывался — никого не было вокруг, тогда я понял: сам это я и шаркаю.

Почтовых ящиков не было.

Их не было во всем городе — я понял бессмысленность своей затеи, почтовые ящики исчезли, их не осталось ни одного.

Вдруг я почувствовал, как из темноты на меня смотрят глаза, почувствовал красноту их воспаленных век и иголочный укол блика на зрачке. Они начали набухать, приближаться ко мне, и ресницы стали похожи на щупальца, на концах у них мягкими мешочками висели присоски. Мгновенно все заледенело во мне, я растворился в этих глазах, растворился в холоде ночи, растворился — стал им.

Я закричал.

И тотчас, словно разбилось стекло, и открылся за ним вход, вспыхнули окна дома, напротив которого я стоял, и высоко над землей, над головой вспыхнули красные буквы: «Главпочтамт», взревела рядом со мной машина и пронеслась, поддев меня крылом. Я упал, завизжали тормоза другой машины, рубчатое колесо замерло над моей головой, и водитель, высунувшись из окна, закричал: «Куда прешь? Ослеп? В тюрьму из-за тебя садиться?» Хлопали двери почтамта, и каблуки постукивали о цемент ступеней.

Я поднялся. Машина тронулась.

На почтамте былолюдно, огромный зал словно кипел от движения сотен людей. Столы, измазанные клеем и чернилами, тяжелые, обитые кожей табуреты, длинные ряды застекленных окон с бронзовыми цифрами на них... Я огляделся.

Обычных, огромных почтовых ящиков из дерева или обитых пластиком, таких, какие всегда на почтамтах, не оказалось. Одна гладкая, выложенная кафельной плиткой стена. Я подошел к окну, у которого никто не стоял. В окне за столом сидела девушка и перебирала конверты. Она сидела очень прямо, словно боясь шелохнуться, кожа у нее была очень белая, будто пропитана крахмалом, и вся она казалась накрахмаленной.

— Девушка, — сказал я. — Где мне опустить письмо?

— В ящик, у двери.

— Там его нет.

Пальцы у нее были длинные и тоже белые, с острыми, покрытыми лаком ногтями.

— Не может быть.

— Там его нет, — сказал я.

Она подняла голову.

— Что это у вас со щекой?

Я потрогал щеку пальцем — кожа натянулась и пружинила. Она уже, наверное, омертвела.

— Ожог?

— Ожог, — сказал я и вытащил конверт. — Письмом.

Она осторожно взялась за плоскую выпуклость сердца двумя пальцами.

— Горячо! — вскрикнула она и отдернула руку.

— Я не могу его больше носить, вы понимаете — не могу, я должен его отправить...

— Бросайте в ящик.

— Там его нет.

— Для всех есть, а для вас нет?

— Ну я же говорю — его там нет, вы понимаете или нет?

Она снова принялась считать конверты.

— Может быть, возьмете вы? — сказал я.

— Мы не можем. Мы продаем конверты, но не принимаем. Бросайте в ящик.

Она не поднимала головы и не смотрела на меня.

— Но его там нет! — закричал я. — Вы понимаете — нет, нигде нет, я обошел целый город — ни одного почтового ящика.

— Такого не может быть. На каждом углу ящик, подходи — и бросай письма хоть сотнями.

— Примите, — тихо сказал я, и обожженная моя щека заныла. — Я очень прошу вас — примите, почтовых ящиков нигде нет.

Она опять подняла глаза.

— Гражданин! — произнесла она своим белым, накрахмаленным голосом. — Такого не может быть, повторяю вам. Где это видано, чтобы не было почтовых ящиков!

— Я обошел целый город, — сказал я. — Вы мне не верите, но я обошел целый город. И здесь их тоже нет.

— Вы пьяны, — сказала она, — вы пьяны, вот что!.. Идите и не мешайте работать, я сейчас вызову милиционера!

Крахмальная ее рука потянулась к телефонному аппарату, и я сунул конверт обратно в карман и побрел к выходу.

Автомобили толпились на перекрестке, ожидая зеленый свет, перебегали улицу, чтобы успеть до красного света, две женщины с сумками в руках, хлопали за спиной двери почтамта.

Я спустился вниз и оглянулся. Окна почтамта не светились, и там, наверху, процала надпись «Главпочтамт», здание было наглухо застегнуто плотно соединившимися створками дверей. Я повернул голову — светофор мигал желтым, и не было ни машин, ни женщин тех, никого не было.

Я пошел обратно, сейчас я шел по другой стороне улицы, я уже не верил в то, что найду почтовый ящик, но все же я пошел по другой стороне и все смотрел на стены.

Пока я был на почтамте, стало совсем холодно, и туман сделался плотней. Когда я сошел с крыльца, дрожь окатила меня ледяной волной, и минут пять я дрожал и все не мог согреться, но потом озноб начал проходить. Я знал, что не согрелся, что-то другое тут произошло, но мерзнуть я перестал — и это было самое главное, а остальное не имело значения.

Теперь я не кружил, шел срезая углы, шел напрямик и скоро уже очутился на той площади, от которой начал поиски почтового ящика. Теперь до

дому стало рукой подать. Я вышел из-за угла, на встречу мне выплеснулся желтый свет светофора. Светофор по-прежнему монотонно включался и выключался, и оттого, что тогда, когда я еще только вышел из дому, долго он маячил перед моими глазами, я вспомнил о письме. Оно все так же лежало во внутреннем кармане пальто, и в комнате делать мне было нечего.

Я привалился к стене.

Что-то тупо упиралось под лопатку. Я повернулся. Это оказалась скоба, на которой раньше висел почтовый ящик. Одна железная скоба. Она была ребристая и ржавая, загнутая крючком, и еле выглядывала из стены, поэтому я ее не видел, когда проходил мимо.

Сквозь туман глухо пробивался тяжелый цокот подковок. Я услышал его внезапно, затем он так же внезапно исчез, и я подумал, что все это мне послышалось, но еще через мгновение цокот снова возник и уже не пропадал. Потом стало угадываться в тумане пятно человеческой фигуры, желтые облака света перебрасывали ее друг другу, на несколько секунд человек исчезал, растворялся в ночи, но следующее облако уже ловило его и слабо очерчивало его контуры, и каждое новое обрисовывало все четче и объемней, и наконец я смог разобрать, что это мужчина в длинном пальто, в надвинутой на лоб кепке, в тяжелых сапогах.

Он тоже увидел меня, прилипшего к стене, и на мгновение шаг его осекся, но потом направился, только он стал забирать в сторону, все дальше от меня, и достал руки из карманов.

Я оторвался от стены.

— Простите... — сказал я

Он ничего не ответил и не повернул головы. Он еще не поравнялся со мной, а я произнес свое «простите» слишком тихо — он мог и не услышать.

— Простите! — крикнул я, становясь ему на дороге.

— Ну? — спросил он растерянно. — Что такое?
— Здесь был почтовый ящик, — сказал я. — Хотел опустить письмо, а теперь его нет.

— Ну и что? — хмуро сказал он. — Я вам что — найду его, что ли? Перенесли куда-нибудь, ищите другой.

— Нет другого! — закричал я в отчаянии. — Нет! Понимаете? Поймите меня, прошу вас... Я обошел весь город и не нашел ни одного.

Мужчина потянулся к кепке. Он сдвинул ее на затылок, и стали видны глубокие впадины его светлых веселых глаз.

— В самом деле — почтовый ящик вам?

— Ну господи, — пробормотал я.

Мужчина снова натянул кепку на лоб, приплюснул ее блином.

— Пойдемте, я знаю тут один, мне по дороге. Квартал ходу — и в переулок налево.

— Вам не холодно? — спросил я.

— Нет, а что? Вам холодно? Десять градусов выше нуля.

Ему и в самом деле не было холодно, и пар не шел из его рта.

— Странно, — сказал я. — Десять градусов выше нуля!

Мне казалось, по крайней мере — десять градусов ниже.

Он не ответил.

Мы молчали и не смотрели друг на друга. Облака света ловили и отпускали нас, вели вдоль лысых стен домов. Наконец мы свернули в переулок.

— Ну вот, — сказал мужчина и ткнул пальцем. — Бросайте.

Я посмотрел — никакого ящика не было, и только на белом фоне стены чернела ржавая скоба, загнутая крюком.

— Куда ж бросать? Здесь тоже ничего нет.

— Вас за руку взять? — сказал мужчина. — Прекрасный синий ящик, выемка писем пять раз в

день с шести утра до семи вечера. Что вам надо еще?

И вдруг я вспомнил, что, когда искал почтовый ящик, на одном из домов я видел точно такую же железную скобу, как ту, о которую ударился, и как эту вот. Только я не знал, что это такое, а сейчас я вспомнил — это была точно такая же скоба.

— Здесь... — сказал я, и, как тогда, когда шел один по улицам и звук собственных шагов существовал отдельно от меня, звук моего голоса донесся до слуха, словно отраженный эхом от домов. — Здесь, вы точно уверены, есть ящик?

Мужчина взял у меня из рук письмо, и я услышал железный лязг откинувшейся заслонки на щели отверстия. Я ждал, как сейчас исчезнет сначала уголок письма, потом письмо исчезнет на четверть, на половину — и заслонка лязгнет наконец во второй раз, закрываясь.

Мужчина толкнул письмо, оно пролетело по кривой, ударилось об стену, кувыркнулось и шлепнулось на асфальт.

Мне показалось, на голове мужчины шевельнулась кепка. Он отскочил от письма и взглянул на меня. В тени козырька я не видел его глаз, сейчас белки блеснули бело и дико.

Я медленно стал нагибаться, чтобы поднять письмо, и мужчина тоже стал нагибаться. Я взял первым, а он все еще продолжал тянуться, и его пальцы воткнулись в мою руку. Они вошли в нее, словно ее не было, словно все это был туман, они прорвали ее и вышли с другой стороны моей кисти.

Мы замерли. Пальцы его свисали из моей ладони корявыми толстыми обрубками, я посмотрел на свою руку и только сейчас заметил, что она просвечивает, как просвечивает созревшее яблоко «белый налив», просвечивает до того, что видны коричнево-матовые, остроносые зерна в его сердцевине. И рука так же

просвечивает, и зернистая структура асфальта вся перед глазами, словно руки нет.

Мы замерли — мгновение было мучительно долгим, — наконец мужчина выдернул пальцы из моей руки, и опять я ничего не почувствовал, кепка слетела у него с головы, и я увидел: волосы его встали дыбом.

Он шел от меня, пятясь и так полностью и не разогнувшись, он не кричал, он смотрел на меня огромными, в пол-лица, глазами и беззвучно шевелил губами, шел, мелко перебирая ногами и задевая одной о другую. Он натолкнулся на стену, медленно развернулся и побежал.

— Стойте! — крикнул я и побежал за ним, но мои ноги плохо слушались меня, они подгибались, словно тряпичные. Тогда я остановился, задрал штанину — носок сохранял форму ноги, но выше ничего даже не угадывалось, будто я был обрезан, и то, что стояло туфлями на асфальте, уже не принадлежало моему телу.

Я стал раздеваться. Снял пальто, размотал шарф, стащил пиджак. Задрал рубашку на животе — мне стала видна стена дома. Я сел на асфальт, накинув пальто, и привалился к стене.

Деревья начали курчавиться инеем. Но меня не знобило, скорее наоборот, мне сделалось тепло, точнее — не тепло, просто я ничего не чувствовал. Я снял туфли, стащил носки, задрал повыше брюки и смотрел, усмехаясь, на то самое место на асфальте, где должны бы быть мои ноги.

Меня не было. Я еще жил, потому что мог же я еще говорить, мог думать, и вещи сохраняли формы моего тела, но меня не было уже!..

Потом я уснул. Мне снились морозные зимние улицы, крещенские морозы, когда дым из труб палкой стоит в небо, я хожу по городу, в руках у меня огромная пачка писем, и на каждом доме по почтовому ящику. Я сбрасываю несколько писем в один, несколько в другой и иду к третьему... Дома меня

ждут гости — нет, у меня не день рождения, просто так собрались: посидеть, поговорить, — кипит чайник на кухне, ледяная, стоит в холодильнике бутылка «Столичной», и играет музыка. А я все хожу от дома к дому, и пачка все остается прежней толщины — писем не убывает.

Потом сны стали тускнеть, расплзаться на куски и исчезли совсем.

И тогда я почувствовал, как мягко хлопнуло об асфальт, потеряв форму, пальто, загремел пряжкой ремень и, свиваясь и шелестя, сбежала вниз рубашка.

Это было последнее, что я чувствовал.

1967 г.

СВЕРЧКИ

1

В квартире у нас завелись сверчки. Это была пара — самец и самка; самец сидел в шкафу под умывальником на кухне и, начиная с девяти часов вечера, трещал, а безголосая самка появилась как-то из-под холодильника, стоявшего в прихожей, и, испугав жену, с сухим стрекозиным шорохом, словно рвали лощеную бумагу, перелетела в коридор, оттуда на кухню, допрыгала до шкафа и подлезла под дверцу.

С этого самого момента, как сверчок испугал ее в прихожей, жена и невзлюбила их. Она никогда в жизни до этого не видела сверчков, но, зная их по рассказам, представляла чем-то вроде маленьких чистеньких гномиков, никогда не вылетающих на свет божий из закутков необъятной русской печи, а тут мимо ее лица пролетело с противным треском и шлепнулось об стену что-то большое, тяжелое, и, когда она взглянула на стену, на ней сидело жирное, похожее на громадного таракана серо-коричневое существо, и вытянутые по стене ножки его напоминали лягушачьи.

— Фу-у!.. — передернула она плечами, рассказывая мне об этом вечером. — Какая мерзость... — И снова передернула плечами. — Фу-у!.. И послушай, как он трещит противно.

Самец в темноте шкафа, укрывавшего мусорное ведро, закатывался беспрерывными руладами, и это шелканье, это свиристенье не казалось мне противным. Наоборот, оно напоминало мне далекие детские годы, словно бы затонувшие в глубокой воде моей последующей жизни и лежащие где-то на самом дне, затянутые илом; оно словно солнечным светом просвечивало воду, и дно становилось видно, а там, на дне, был первый послевоенный год: пылающая мирным уютным пламенем печь в доме у деда, бабушка, ставящая в духовку противень с пирогом, начиненным картофелем, порезанным соломкой; широкие, как лавки, половицы, охристо блестящие на солнце, — все то, что было тогда для маленького мальчика миром, цельным и единственно возможным. И еще виделся мне двор, дощатый сарай через зеленую лужайку со столом и скамейкой возле, врытыми в землю; в сумеречной темноте сарая — отец с топором в руках, и из-под топора стекают, душно ударяя в нос запахом смолы, желтые тонкие стружки: отец вытесывает черенок для лопаты.

Все это вспоминается мне потому, что за печью с жарким добрым пламенем жил сверчок, и самое странное, помню, я даже не спрашивал, кто это там посвиркивает, — я и так знал, что это сверчок и что он должен быть всенепременно, как всенепременно должны быть отец вот, мать, бабушка, дед... Сверчок был столь же неотделим от жизни, от счастья ее, как неотделимо было все окружающее тебя, — вплоть до широких, как лавки, крашенных масляной краской половиц.

— Пусть себе трещит, — сказал я жене. — Вовсе не плохо.

А потом еще попросил зачем-то не говорить плохо о сверчках при дочери...

Дня через два у нас были гости. Вообще я встречаюсь с друзьями, со знакомыми в мастерской — это и ближе к центру, и все знают, кроме того, что меня

легче найти там, чем дома; но в тот раз жене захотелось устроить что-то вроде приема — она сшила себе наконец новое платье, а я волей-неволей из-за своего образа жизни запер ее в четырех стенах, так что обновить туалет только и можно было, устроив у себя небольшое сборище.

Все сидели за столом, когда сверчок подал голос — раз, другой, третий, — а потом, ровно в девять, ударил оглушительным, каким-то победным стрекотом, словно играл для нас торжественный марш.

— Сверчок?! — спросил Беловнин, наставив большие, двумя лепешками торчащие по бокам головы уши в сторону двери. И жена его в этот момент хохотнула. — Сверчок? — повторил он, недоуменно поворачивая наконец ко мне удивленные, выкатистые глаза, светившиеся устойчивой удовлетворенностью души и раблезианской здоровьем тела. — Это, ребята, к несчастью.

— Как к несчастью? — спросила моя жена, опустила вилку с ножом на тарелку и испуганно-обреченно взглянула на меня. — Откуда вы это взяли?

— Прямой свидетель, — благодушно улыбаясь, сказал Беловнин.

— Да-да, — подтвердила, тоже улыбаясь, его жена.

— В больнице у нас, — сказал Беловнин, — сверчок появился. Застрекотал где-то в подвале, потом на первый этаж пришел, потом — на второй, потом — на третий. И как придет на этаж, так один с этажа на тот свет, как придет, так на тот свет. Нянечки рев подняли. На третьем этаже наконец поймали его, кипятком обдали...

— С тех пор прошло три года — ни одного летального исхода, — закончил я.

— С тех прошло полгода — пять случаев. Но не за два же дня — три.

— Да ну уж... — протянула моя жена.

Но в голосе у нее было то же испуганно-обреченное, что и во взгляде, когда она посмотрела на меня.

Мне тоже стало не по себе от этого рассказа. Ни в какие приметы я не верю, но я испытываю какой-то мистический страх перед предсказанием, *предначертанием* — где-то в глубине души, не верящей ни в какое предопределение, живет маленькое темное облачко животного ужаса перед той бездной, которая называется будущим, перед той неизвестностью его, в которую идешь волей-неволей, уподобясь слепцу с широко раскрытыми, пустыми глазами, и только-то и хватает обзора — на длину палочки, которой обшариваешь дорогу впереди себя. Может быть, у других людей этого и нет, но я-то художник, я все время пытаюсь как бы проникнуть за невидимую мне сторону предмета, заглянуть вглубь, понять суть, а человеческий наш разум не такая уж совершенная штука; интуиция, какое-то смутное, не имеющее названия, на грани всех твоих мозговых возможностей чутье, которое посещает в мгновения высшего, буквально-таки нечеловеческого напряжения — вот что вкладывает вдруг знание в кисть, и потом, когда работа закончена и отходишь в угол, садишься на табурет, чтобы посмотреть, что же вышло, тебя охватывает мистический ужас: откуда в тебе взялось это?

— Какая это мерзость, сверчки... — снова, как в тот раз, когда они испугали ее, сказала жена вечером перед сном — видимо, рассказ Беловнина не шел у нее из головы. — Ей-богу, я не могу слышать, как он верещит.

— Прекрасно верещит, перестань, — сказал я. — Что это за штучки нервной барышни.

— У меня предчувствие — что-то случится дурное. — Жена сидела на постели и, прижимая к груди ночную рубашку, не надевала ее. — Правда, у меня такое предчувствие. Как он тогда пролетел... у меня оно все время.

— Ты просто испугалась. — Я выключил свет и лег. В темноте свиристенье сверчка, показалось, стало еще громче и отчетливее. — Ты всю жизнь

прожила в городе, никогда их не видела — вот и испугалась так. И потом... — Я помолчал. — Потом, очевидно, я немного тебе подпортил нервы своими неудачами...

— Да, наверное, — сказала она.

И это прозвучало как упрек.

— Но я же не виноват, черт побери! — взорвался я. — Я не виноват, что не могу писать, как им хочется!..

— Спокойной ночи, — сказала она отворачиваясь.

Если у кого и расшатались нервы, так это у меня...

2

С самого утра, наскоро позавтракав, я поехал в мастерскую. В середине дня ко мне должен был прийти Коля — так он сам просил себя называть, хотя ему было уже за пятьдесят, и никто не знал его полного имени, — перекупщик всяких художественных изделий. Мне хотелось продать ему не три, а четыре холста, получить лишнюю сороковку, а для этого четвертый следовало закончить. Пусть Коля и не сможет взять его, возьмет в другой раз, но, чтобы заплатить деньги, он должен увидеть его.

То, что я делаю, называется попросту — размещаться по пустякам. Однако жить-то ведь нужно. Нужны деньги, чтобы платить и за эту вот мастерскую, которая, естественно, вовсе не принадлежит мне, я снимаю ее у одного престарелого члена союза, который тысячу лет как ничего не пишет, кроме заявлений в Худфонд о помощи; нужны деньги, чтобы платить за кооператив, чтобы есть, одеваться, деньги, черт их побери, всегда нужны. И вот я, работая, делая эскизы, наброски, к картине, потом, когда они становятся мне не нужны, довожу их «до кондиции» — прописываю,

закрепляю найденное — и продаю Коле. Многие мои друзья предлагают свести меня с издательствами, заняться иллюстрированием книг, брать халтуры в домах культуры, оформлять предприятия к праздникам, но я не могу делать ничего из этого: пробовал — не выходит; через десять минут работы я уже в бешенстве от того, что приходится делать совсем не то, к чему лежит душа... А дописывать свои эскизы — это не хуже, чем малевать стенды для домов культуры, во всяком случае, это такая же работа, какой я занимаюсь всерьез. За то, что у меня есть Коля, нужно просто благодарить судьбу. Продавать больше десяти—двенадцати картин в месяц он не может — знакомых у него полгорода, но не все же собираются покупать картины, — так что он держит постоянную связь всего с четырьмя-пятью художниками. Один из них — я. Не знаю, сколько он берет за картину, об этом он никогда не проговорится, это его профессиональная тайна, но то, что достается мне, наверное, не больше одной третьей части стоимости.

— Рынок хочет покупать натуральные произведения. Не копии, а натуральные произведения, — говорит Коля, прохаживаясь на своих быстрых кривоватых ногах по мастерской. — У людей есть деньги, а люди хотят жить красиво. Почему же тебе, — он глядит на меня и щурит маленькие хитрые глазки, утонувшие в алкогольной одутловатости щек, — почему же тебе не делать на этом бизнес?

Но какой это бизнес! Он понимает толк в своем деле и не возьмет эскиз; он весь его исследует, осматривает, прежде чем скажет, что берет. А все это прописывание, прояснение мысли занимает не так уж мало сил, потому что простой какой-нибудь набросок лица он не примет, он скажет: «Что же, человек повесит это у себя дома, и его будут спрашивать: «Это ваша дочь?» — и надо ухитриться состряпать какую-то композицию, и к этому блед-

но-розовому детскому личику, которое и набрасывал-то лишь ради определения цвета, приходится добавлять еще два-три... Иногда я вообще делаю оригинальный холст: бывает, что наброски еще нужны, а Коля уже на подходе, и денег в кармане — хлопни, не зазвенит.

...Я открыл мастерскую, разделся и тут же, не согреваясь и не дожидаясь, пока вскипит вода для кофе, который я всегда пью перед работой, взялся за краски. Холст, растянутый на подрамнике, был желтым, темневшим книзу столбом свечи, вверху налитой светом, просвечивающей и отдающей красным, а в темноте, разогнанной ее пламенем, было два лица — юноши и девушки, сомкнутые у висков в одно ослепительное белое пятно. Я искал на этом наброске композицию, но потом решил «отработать» и воздух — мне нужно было передать мерцание свечи, горячий ток воздуха и зыбкость, дрожание лиц в нем. Оттого я и задержался с этим холстом. А вот теперь, когда он был уже почти готов к продаже, я увидел, что вышла самостоятельная вещь, и мне захотелось закончить, закончить холст поскорей и продать — иначе, я знал, мне станет жалко, и я не продам, а что его держать, что «зажимать» — вон их сколько стоит в углу, никому не нужных, кроме меня. Ну уж те ладно, пусть стоят, а с этого... хоть деньги получить. Тем более что картина должна быть совсем другой, юноша и девушка лишь фрагмент, еще полтора десятка свечей будут гореть на картине, и последняя, в правом верхнем углу, оплывшая, закопченная, перевернута вниз фитилем и без огня, а все остальные — со вспыхивающими от их пламени бабочками и горкой обугленных трупикиков у основания.

Вот уже третью картину я делаю в таком духе, и, самое печальное, пожалуй, знаю, в чем дело: я устал. Я устал до того, что готов целый день лежать, не вставая с постели, да и не то что готов — каждое утро я еле заставляю себя подниматься. Но вот

уж бриться я не могу себя заставить, и у меня выросла лохматая, неопрятная борода. И еще мне, наверное, стоило бы отдохнуть, перестать на некоторое время работать, однако я велю себе за чем-то: работай! — и вот работаю; но вместо того, что бы хотелось — розового утреннего снега, голубых вечерних теней, голых ветвей деревьев, фиолетово светящихся в морозном свете луны, — пишу вот это пламя свечей...

Быть в тридцать три года никем-ничем, жить в долгах и в вечной боязни остаться завтра даже без меди в кармане — это страшно. Я обратил внимание: лет пять назад, когда я бросил институт, нашел эту мастерскую и начал работать в ней, у меня были голубые и розовые краски, а сейчас — бесчисленные вариации фиолетового и коричневого.

В дверь позвонили. Я открыл. Это был Коля. Одутловатое лицо его было лиловым. Он буквально оттолкнул меня и пробежал по коридорчику в мастерскую.

— Холод, холод, холод, — сказал он мне, когда я зашел. Он скинул пальто и сидел на корточках возле батареи, сунув в отверстия между секциями руки. — Что хорошо у тебя, за что люблю твою мастерскую — домишко деревянненький, а паровое отопление. Дровишки-то, поди, ты бы жалел, а тут, хочешь, нет ли, а согреваешь меня. — Он засмеялся, показав острые, крепкие зубы, и кивнул на холст. — Свое?

— Могу и отдать, — сказал я.

— Что-что? — Коля поднялся, пробежал через всю мастерскую и встал у холста. — А-а, ну да. Издали показалось. Тяп-ляп, конечно. Но за полкуска пойдет. Если вот тут подпишешь, — ткнул он пальцем в линию плеч. — Тут ведь, чай, тоже освещает...

— Возьмешь и так. — Больше мне ничего не хотелось делать, а я знал, что за пятьдесят рублей он у меня возьмет этот холст в любом виде.

— Обираешь ты меня, — вздохнул Коля. — Я ведь за тебя рамы делаю — ты у меня один такой, все остальные — сами...

Я отдал ему приготовленные холсты, взял деньги и долго сидел потом в углу, за раздвижным чертежным столом с чашкой кофе. Потом наконец оделся, закрыл мастерскую и поехал в Манеж, на выставку.

3

Сверчок в шкафу за мусорным ведром все пел и пел, и я привык к его свиристенью. Случалось, он запаздывал, и тогда я — что бы ни делал: читал ли дочери книгу, сам ли читал или разговаривал с кем-нибудь — начинал прислушиваться: а может быть, он уже цвиркнул раз-другой, просто я не расслышал? Жена по-прежнему жаловалась, что у нее болит голова от этого свиристенья.

И вот однажды мы услышали, что к голосу нашего сверчка; где-то в ванной, прибавился голос еще одного. Он был неуверен, робок и лишь поцвиркивал, а не свиристел всю ночь напролет; но вскоре освоился, и теперь ночами у нас в квартире пели два сверчка.

Однажды ночью меня разбудила дочь. Она стояла возле нашей с женой постели, трясла меня за плечо, и в бледном свете ночника я увидел, что глаза у нее расширены от страха.

— Там... — еле выговорила она. — Там... Шибуршит кто-то...

Я в одних трусах, под стрекот сверчков в ванной и на кухне, побежал в ее комнату, щелкнул выключателем и увидел, что на стене, над изголовьем кровати, сидит огромный, тускло-коричневый сверчок, его тонкие прозрачные надкрылки выпущены и издают сухой, шелестящий звук.

— В чем дело? — вошла, завязывая халат, жена, увидела сверчка, и ее всю передернуло. — Прошу

тебя, — повернулась она ко мне, — прошу: сделай что-нибудь... Убери, выбрось... Ну, на лестничную клетку вынеси, наконец...

Я хотел взять сверчка рукой, но рука моя остановилась на полдороге — я почувствовал, что не могу взять его рукой, мне показалось — он будет мягкий и осклизлый, как лягушка. Я принес из прихожей газету, сложил ее, чтобы получилась ложбинка, и подцепил сверчка. Он поехал, шурша, вниз по ложбинке, но, прежде чем я выровнял газету, с громким шелканьем прыгнул с нее и, пролетев мимо моего лица, сухо зашелестел надкрылками по полу.

Преодолевая отвращение, я нагнулся, чтобы взять сверчка рукой, но он, опять шелкнув, подпрыгнул и полетел прямо на стоявшую в проеме дверей жену. Она вскрикнула, замахала руками, отскочила, и тут же раздался громкий, скрипучий хруст — сверчок попал ей под ноги.

Это был первый такой случай. Потом они пошли один за другим. Теперь, укладываясь спать, мы боялись, что среди ночи опять проснемся от сухого шелеста над головой, на полу, возле уха. Дочка однажды проснулась оттого, что сверчок ползал у нее по одеялу. На квартиру началось настоящее нашествие сверчков. А может быть, и скорее всего так и было, это плодились первые два. В ванной, в туалете, в шкафу под умывальником на кухне пело теперь с добрый десяток сверчков.

Они снились мне по ночам, и я просыпался часто не оттого, что наяву слышал их шорох возле изголовья, — это во мне они шуршали и прыгали, вытянув свои длинные лягушачьи лапки. Они появлялись неизвестно откуда и прыгали мне в лицо — словно в кино: вырастая за мгновение до чудовищных размеров и закрывая собой все поле зрения, — я просыпался, облитый холодным, тяжелым потом кошмара. Однажды, делая для Коли очередной холст, я ни с того ни с сего, прямо по

тому, что было на нем, стал писать этих сверчков, такими, какими они мне снились. Написалась захламленная, затянутая паутиной комната с запыленным глобусом на переднем плане; а на этом глобусе сидел огромный сверчок, и на карте, изломанно спускавшейся со стола, тоже сидел сверчок, сверчки были повсюду: на груди книг, на пишущей машинке, на магнитофоне, на спинке стула... Какое-то странное, но я не понимал и сам. Машинка же, глобус, магнитофон попали в картину потому, что все это стояло у меня тогда в мастерской...

Коля пришел, когда она еще не просохла. Он долго всматривался в нее и потом повернулся ко мне с кривой улыбкой, обнажившей его крепкие острые зубы.

— Не продаешь?

— Нет, — сказал я, хотя там, внутри, что-то так и просило сорвать ее с подрамника и сунуть ему: на, возьми, и никаких денег не надо, только унеси.

— Правильно, правильно, — подмигнул Коля, снял пальто и сел спиной к батарее. — Кому охота такую жуть вещать у себя? Фф-бр-р! Сам, поди, глядеть не можешь?

Я не ответил. Но я и действительно не мог смотреть на нее.

4

Был конец апреля, снег уже сошел, и земля, просыхая, парила. Целый день я проработал в Лосином острове, мне хорошо удался весенний воздух, и я был в приподнятом расположении духа, почти счастлив. Дочь забрали с собой на Кавказ родители жены, мы с ней были свободны и вечером вместе отправились к Беловниным, у которых отмечалось какое-то семейное событие.

— Как ваши сверчки? — спросил Беловнин, встречая нас.

— Это ужас, — сказала жена. — Я ему говорю, — показала она на меня, — надо их травить.

— Надумаете, порекомендую знакомую травильщицу, — засмеялся Беловнин. — Тараканов у нас морила — ни одного не осталось.

Мы вошли в комнату, и тут в мешковатом, с тяжелой головой на короткой шее мужчине я узнал одного из профессоров бывшего своего института. Я хотел превратиться в букашку, вылететь птицей в окно, исчезнуть... только на то я и надеялся, что он меня не узнает, и он меня действительно не узнал. Но Беловнин вдруг обнял его за плечи и, подталкивая ко мне, представил меня:

— Вот, Николай Сергеевич, узнаете?

Тот на миг замер — и узнал, и потянулся ко мне с рукой.

— А-а! Как же! Так вы так и не кончили институт?

— Нет, не закончил, — сказал я.

— Но согласитесь, — сказал он, — вы такой скандал там устроили, кто же вас мог оставлять?

«Подите вы к черту», — пробормотал я про себя, но вслух все же сказал:

— Не имеет это теперь никакого значения.

И слава богу, что я не послал его к черту вслух.

У Беловниных было несколько моих работ, и среди них — один из вариантов «Любви», той картины со свечами. Она висела в соседней комнате, и я вдруг увидел этого Николая Сергеевича, бывшего своего преподавателя, со всех ног бегущим к Беловнину на кухню, где тот открывал консервные банки.

— Чья это картина? — услышал я.

Потом раздался голос Беловнина; что он сказал, я не расслышал, но оба они через мгновение возникли в дверях, и Беловнин показал на меня:

— Его.

Ну, может быть, он бежал и не со всех ног, этот Николай Сергеевич, может быть, это мне сейчас так кажется, но я помню, что с губ у него от возбуждения брызгала слюна, когда он спросил меня:

— Это — вы?

Не думаю, что Беловнин специально пригласил его. Специально Беловнин никакого доброго дела не сделает. Разве что случайно. А потом будет ходить и хвастать своим великодушием. Да и не друзья мы с ним, а знакомы через жен; и те несколько моих работ, что висели у них, я отдавал когда-то без сожаления, а «Любовь» меня уговорила подарить жена: был день рождения Беловниной, и совершенно пусто у нас было в кошельке...

* * *

— Так, — говорил Николай Сергеевич, рассматривая мои работы. — Та-ак... Это когда вы писали? Раньше той. Позже? А ну-ка, покажите еще ту... Мм-да-с...

Я разворачивал холсты и держал их, некоторые были в рамах, и я смотрел на них вместе с ним.

— Так ни в одной, говорите, выставке не участвовали? — спросил Дворжев, когда мы сели наконец за чертежный стол и я налил кофе.

— Нет, — сказал я. — Ни в одной.

— Но представляли?

— Представлял. Впрочем, последние три года нет.

— Эх! — ударил он себя по колену. — Всенепременно вам надо было жить затворником?

— Так выходило, — сказал я.

— Выходило... — проворчал он. — До осени как думаете дожить? Наверняка сейчас не скажу... но все-таки точно почти: сделаем вам выставку в сентябре. Для одного не обещаю, а есть вот еще двое на примете — трое вас будет. Но в общем-то ваша будет выставка — они и послабее, и вон вы сколько наработали... — Он обвел взглядом мастер-

скую, заваленную сейчас в беспорядке холстами, и покачал головой. — Эх сколько... Все, что ли, здесь?

— Все, — сказал я.

5

Лето я с семьей прожил на Кавказе, у родственников жены. Было начало сентября, когда мы вернулись в Москву.

Едва мы вошли в квартиру, как на нас обрушился целый хор сверчков — они пели уже и в прихожей, и в комнатах, они были повсюду. С шорохом перелетел через коридор и забрался под холодильник, откуда вышла когда-то первая самка, небольшой плоский сверчок. Конечно же наша квартира была для них чем-то вроде инкубатора — они плодились, наверное, в геометрической прогрессии.

— Я звоню Беловниным, — сказала жена, с вызовом глядя на меня. — Они говорили о травильщице...

Я махнул рукой:

— Звони.

Тяжесть была у меня на сердце, но и не видел я иного выхода.

Жена позвонила, и Беловнины пообещали, что травильщица придет к нам завтра.

А сверчки трещали, забыв о дне и ночи, казалось, их столько, что пойдя, и они затрещат у тебя под ногами.

Назавтра, как и обещали Беловнины, пришла травильщица. Она была в комбинезоне и плотно повязана платком. За спиной у нее висели спаренные баллоны. В одной руке она держала трубку, от которой к баллонам отходил шланг, в другой — сумку, плотно набитую какими-то пакетами.

— Десять рублей, — сказала она. И, выждав, повторила: — Давайте.

Жена дала ей деньги, после этого женщина потребовала ведро, развела в нем содержимое пакетов и пошла вдоль стен, брызгая за плитуса, за батареи. Делала она все это обстоятельно, неторопливо — качественно, как и заверял когда-то Беловнин. Потом она скинула с себя баллоны и промазала плитуса какой-то белой вязкой массой.

— Теперь хорошо бы все закрыть да уйти на денек-два, — разгибаясь, сказала травильщица.

Пахло в квартире совершенно невыносимо — у всех у нас за эти полчаса, что она начала брызгать, разболелись головы.

Мы собрались, взяли раскладушку и поехали в мастерскую. Погода оба эти дня — и вчера, и сегодня — стояла скверная: лил дождь, воздух не прогревался выше семи—девяти градусов.

В мастерской было холодно и сыро. Я включил плитку и рефлектор, они не могли нагреть все помещение, но возле них самих жить было можно.

Я сходил в союз. Дворжева в Москве не было, но мне сказали, что все сделано и чтобы я готовил картины: послезавтра, в понедельник, будет машина.

Назавтра вечером мы собрались домой.

Уже на лестничной клетке, у двери, в нос ударял тяжелый запах дезинфекции. Я открыл дверь и едва не задохнулся. Было сумеречно, и я сделал по прихожей два шага до выключателя. Под ногами у меня затрещало. Зажегся свет.

По всей квартире лежали коричневые трупки сверчков. Наглотававшиеся отравы, они выползли умирать сюда. Длинные их лапки были по-лягушачьи вытянуты, казалось, они собираются прыгнуть.

Жена стала заметать трупки. Она сгребала их на совок, сбрасывала в унитаз и спускала в воду. Всего она насчитала около сорока сверчков.

Впервые за много дней мы легли в тишине. Я прислушивался — не цвиркнет ли хоть один сверчок. Но стояла тишина в квартире, и лишь тикали глухо и несильно часы.

Ощущение беды пришло ко мне во сне. Мне снилась каменистая, выжженная солнцем пустыня. Я убегал по ней от кого-то, напрягал все силы, и казалось, был уже в безопасности, но эта каменистая пустыня вдруг начинала плавиться от жары под моими ногами, становилась вязкой, и ноги мои погружались в камень, как в тесто, и чем настойчивее я силился вырваться, тем больше увязал и погружался все глубже и глубже.

Я просыпался несколько раз, вставал, пил холодный несладкий чай, оставшийся от ужина, но едва ложился, как мне начинал сниться все тот же сон...

Утром на автобус я не шел, а бежал. И пока он совершал свое томительно бесконечное кружение по улицам, тысячу раз проклял себя, что пожалел денег и не взял такси. Сойдя на своей остановке, я снова побежал, и, когда бежал, в голове у меня почему-то стучало: поздно, поздно, поздно!! «Что поздно? — спрашивал я себя, задыхаясь. — Что поздно-то, дурак?!» Но когда я выбежал на дом, в котором была моя мастерская, я понял, что поздно.

Дома не было. Вместо него лежала грудa мокрых, обгоревших бревен и балок, обломки досок, а вся эта грудa покоилась на черном, сажистом пятне углей и пепла. Возле соседнего, каменного дома на узлах, на вынесенных из огня табуретах и стульях сидели погорельцы. И я вдруг совершенно отчетливо вспомнил, что, уезжая вчера, забыл выключить и плитку и рефлектор.

Я сел на обломок кирпича, валявшийся на земле, и обхватил голову руками...

Очнулся я от сигнала машины. Я поднял голову — оказывается, я сидел на самой дороге, и машина не могла проехать, я встал, она проехала, остановилась, и тут я увидел номер — это приехала машина за моими картинами.

— А не знаете, где тут дом должен быть... — крикнул мне, приоткрыв дверцу, водитель.

Я махнул рукой в сторону пожара: вот.

Он недоуменно посмотрел туда, потом на меня и вдруг все понял — закачал головой.

Я подошел к той стороне пожарища, где была когда-то моя мастерская. Ржавый, оплавленный кусок железа виднелся среди пепла — бывший рефлектор. Я взял палку и стал ворошить мокрые угли. Ничего не было. Картины мои сгорели дотла. Водитель стоял возле машины и, глядя на меня, качал головой.

И вдруг среди углей, пепла, среди всего этого умершего мелькнуло что-то живое. Я наклонился, разгреб угли и вытащил обгорелый кусок холста. Обгорелый он был с боков, а вся середина прекрасно сохранилась. На меня глядела верхушка фиолетово-голубого глобуса, а на ней сидел, цепко вцепившись лапками, сверчок.

1973 г.

ГОСТЬ

1

В автобусе по дороге домой я поругался. Час пик уже минул, но все же народу еще было много. Беременная женщина возле меня простояла оставшихся пять, не меньше, — места ей никто не уступал. Ее толкали, проходя к выходу, и пальцы ее, вцепившиеся в ободранный никелированный поручень, удерживая качок тяжелого тела, всякий раз напрягались до побеления. Живот ее, уже большой и зрелый, некрасиво собрав пальто на спине морщинами, туго круглился у самого подбородка не старой еще, с жирной толстой кожей тупого, самодовольного лица бабы в дорогой, с серебрящимся мехом шапке и громадным, во всю грудь, из такого же меха воротником кримпленового пальто.

— Вы бы уступили место, — сказал я ей наконец, не выдержав.

Беременная взглянула на меня измученно-благодарно, баба задрала голову и скосила в мою сторону наглый свой, хамский глаз.

— Тебе, что ли? Хряк какой, уступи ему! — сказала она на весь автобус, возвратила голову в прежнее положение и отвернулась к окну.

— Не мне! — мгновенно вскипев, сказал я. Последние года два я вскипаю вот так от самого

последнего пустяка. — Не мне, не разыгрывайте из себя дурочку! Ведь вы женщина, как вам не стыдно!..

— Сам дурак полоротый, — все так же громко и спокойно, не повернув даже на этот раз головы, ответила баба. И вышло в итоге, словно бы это она была права, а я ее обхамил.

Беременная опустила глаза и смотрела на свои вцепившиеся в поручень, с отхлынувшей кровью пальцы.

— В-вам... как в-вам... не стыдно... вам как!.. — заикаясь, выговорил я. — Беременная рря-адам стоит... а вы... вы женщина и-или... кто вы?!

— Что он ко мне пристал, идиот какой-то?! — с чувством незаслуженно оскорбленной, уже как бы к автобусу обращаясь, выкрикнула баба.

— Садитесь. Это вы сесть хотите? — тронул беременную за рукав, вставая с сиденья противоположной стороны, пожилой мужчина. — А оскорблять, знаете ли, — сказал он мне, глядя мимо меня, — не дело. Выбирать нужно выражения.

— Да уж вы-то еще! — совсем уже не в силах сдерживать себя, закричал я. — Учитель тоже... благородство проявил — встал... Теперь ему все можно!..

Автобус затормозил, останавливаясь, и, ни на кого не глядя, я пробился к выходу и сошел. Моя остановка была лишь следующей, а от нее до дому еще минут пять ходу, и, пока я дошел, мое поднявшееся к горлу сердце мало-помалу опустилось на место.

Но в груди у меня все равно было что-то неладно — словно бы я крепко перепил и отягощенный мой желудок свинцовым комком полз теперь по пищеводу навёрх, чтобы освободиться от непосильной тяжести. И, придя домой, я сбросил пальто с шапкой прямо на пол в прихожей, прошел в комнату и лег на тахту лицом кверху, свесив с нее ноги в ботинках.

Что же мне делать. Прямо каким-то неврастеником стал...

За окнами, как и всегда зимой в эту пору, было уже темно, включенный мной в прихожей свет падал в комнату косой узкой полосой, и в комнате от нее был мглистый серовато-лиловый полумрак.

Когда все это кончится — знать бы... Знать бы — так хоть укрепил бы себя на этот срок, зажал, знать бы — так сумел бы, а так уже не выдерживаешь, недостает сил...

В прихожей словно бы кто-то прошел. Словно бы в этой падавшей оттуда полосе света промелькнула какая-то тень, словно бы что-то колыхнулось в воздухе и замерло. Я повернул голову и скосил глаза в сторону двери. Никакой тени в полосе света не было, и во всей квартире была тишина — не доносилось ниоткуда ни звука. Да и кому откуда взяться — я живу один, и ключа от моей квартиры нет ни у кого, кроме меня, — даже у Евгении.

Я лег так же, как лежал, подsunул руки под голову и глубоко вздохнул.

А может быть, это так уже до самой смерти, и никакого конца-краю не будет этой нервотрепке, я буду гнать, гнать, спешить, пахать с утра до ночи, по двенадцать часов в сутки, болтать в пробирках, считать, сидеть перед экраном микроскопа — пытаться вскрыть эту крепко сжавшую створки раковину с тайной — и не вскрыю ее, ничего не добьюсь, ничего не разгадаю, потому что заблудился и забрел совсем не туда, и каждый год все так же мне будут закрывать тему, а я все так же буду отстаивать, на меня будут кричать, и я буду кричать, мне будут срезать смету и забирать сотрудника за сотрудником... Сил у меня нет больше воевать, надо ведь верить, чтобы защищаться, а я уже устал верить, надо быть злым и азартным, а я словно ватный, — теперь мне понятно, как солдат с полным подсумком патронов и исправной винтовкой поднимает руки, как тонущий, проплыв километр, в

трех метрах от берега перестает сопротивляться утягивающей на дно страшной силе... Надо же было ругаться с этой бабой в автобусе!

В прихожей, показалось мне, снова кто-то прошел. Словно бы заглянул в комнату, мгновение постоял на пороге и отступил назад.

Я вскочил с тахты, включил в комнате свет и выбежал в прихожую. В ней никого не было. Матовая лампочка под потолком молочно-ярко освещала ее тесный закуток, и лишь на полу возле двери черным шалашом лежало мое пальто и рядом с ним — шапка. Я поднял пальто, поднял шапку и повесил в шкаф на вешалку. Снял ботинки и прошел в кухню. Я люблю яркий свет, на кухне у меня тоже ввернута «сотка», и, когда я дернул за шнур выключателя, на мгновение белые ее стены напомнили мне вдруг операционную.

На кухне, как тому и следовало быть, тоже не было никого. Я зажег одну из конфорок, налил воды в чайник и поставил его на огонь. Достал из холодильника свой холостяцкий ужин — творог, колбасу, сыр — и, когда закрывал его, в момент, когда дверь с легким чмоканьем присасывалась к корпусу, услышал в комнате какое-то движение, какой-то шорох, словно бы чьи-то легкие шаги, и тихий короткий смешок.

Я бросился в прихожую, заскочил в комнату — она была абсолютно пуста, молчал и свинцово темнел экраном телевизор, все в комнате было как всегда, только у тахты растеклась лужа воды, накапавшая с моих ботинок.

Что это, мерещилось мне, что ли? Я переоделся в домашнее, включил телевизор и, пока не вскипел чайник, какие-нибудь пять—семь минут, сидел перед ним, смотрел рекламу новых товаров народного потребления. Демонстрировали сборно-разборный брезентовый гараж для легкового автомобиля и последнюю модель электрической зубной щетки. Автомобиля у меня нет и едва ли будет, а

зубы чистить, слава те господи, рука пока не отсохла...

Ужинал я долго — смотрел газеты, изучал свежий номер «Биохимии», прочитал статью в «Известиях Академии», и, когда вернулся в комнату, по телевизору уже началось «Время». Я выключил его, сел к столу и стал набрасывать тезисы своего завтрашнего выступления на собрании отдела. Я хотел лишь набросать, но вышло, что исписал почти десять страниц своего большого, с тетрадь, блокнота, и под конец, распалившись, взвинтился так же, как в автобусе. Сердце у меня колотилось с яростной бешеной силой, готовое, казалось, проломить тонкую реберную перегородку. Я захлопнул блокнот, встал, швырнул на него ручку, скатившуюся на стол и звонко побежавшую по его полированной поверхности, и пошел в ванную, под душ.

Горячий душ всегда освежает меня, приводит в норму, и сейчас было так же. Я простоял под его обжигающими, остро-тупыми дымящимися струями минут пятнадцать, поворачиваясь то так, то эдак, нагибаясь, разгибаясь, и, когда вышел из ванной, был вполне в состоянии лечь и спокойно заснуть.

Я лег, полистал, попробовал почитать какой-то современный роман, принесенный мне Евгенией, но осилил только страницы три и заснул. Ночью я проснулся от мешавшего мне света, погасил его — и тут же провалился в черное небытие подсознания снова.

2

Домой на следующий день я вернулся поздно — по телевизору, когда я включил его, передавали уже фигурное катание, объявленное последним в программе, и выступали уже лучшие пары. Нервы у меня опять так и дребезжали. Я выступил и вместо намеченных двенадцати—тринадцати минут говорил

все двадцать, пытаюсь объяснить отсутствие результатов, но я мог говорить хоть час — никто не слушал моих объяснений. Ладно, от прошлой моей работы у меня еще сохранились остатки хорошей репутации — это меня только пока и спасает. Еще год-полтора — и не спасет больше ничто...

Кто-то еле слышно засмеялся. Это был тот, вчерашний смешок — как бы придушенный, в поднесенную ко рту ладонь, с ватным затуханием булькающего в гортани воздуха. Я снова лежал на тахте с заброшенными за голову руками, смотрел неподвижно в потолок, а смех раздался где-то в углу комнаты, около моего стола. Я быстро сел на тахте и посмотрел в ту сторону. На моем стуле, боком, забросив ногу на ногу, облокотившись о спинку и положив на руки подбородок, сидел средних, моих лет мужчина и, улыбаясь, глядел на меня.

— Это я, — сказал он, продолжая все так же приветливо-ласково улыбаться и покачивая висящей в воздухе ногой, обутой в какой-то непонятный, как бы катаный, наподобие коротко обрезанного у голенища валенка, но на шнурках, с круглым маленьким носком ботинок. — Не помешал?

Одет он был в блекло-розовый, цвета застиранного женского белья, костюм, пиджак был расстегнут, свисая одной полкой чуть не до пола, а под пиджаком была надета водолазка, тоже какого-то никем не носимого, бурого, как ржавчина на железе, цвета.

Сердце у меня оборвалось. Кожу на лбу мне заледенило, я чувствовал, как онемели у меня ноги, — я не смог бы сделать ни шага.

— П-прос-сти-ите... — сказал я заикаясь. — Ч-что в-вы-ы... здесь д-делаете?

— Сижу, — пожал плечами мужчина, все так же улыбаясь. — Разве не видно?

— К-кто вы? — спросил я, ужасаясь своему вопросу, потому что не это спрашивать нужно было и вообще не этот тон взять, и смутно ощущая в то же

время, что никак иначе, никак по-иному и ничего другого я бы и не мог спросить. — Кто вы?

— Гость, — сказал мужчина все с той же небрежно-объясняющей интонацией.

Я поднял руку и ощупал свое лицо — скулы, лоб, нос, подбородок. Все я ощущал с такой ясностью и доподлинностью, что ни в каком это происходило, конечно, не сне — вживе все это было, во сне моя комната, вся моя квартира обязательно предстала бы в каком-нибудь искривленном, офантасмагоренном виде, она же во всех мелочах была именно такой, как в жизни.

— Вы еще ущипните себя, — сказал мне мужчина. — Кажется, так ведь рекомендуется? — И засмеялся, разогнувшись, опершись сзади локтями о стол, качая обутой в эту странную обувь ногой, не сдерживаемым на этот раз, во весь голос, мягко-фланелевым смехом.

Что это, мерещится мне все-таки, что ли? Надо было бы встать, подойти к нему... но ноги мне будто парализовало — я их не чувствовал, ни шага я бы не сделал.

— Вы думаете, я вам мерещусь, да? — сказал мужчина. — Конечно. При ваших-то расстроенных нервах.

Меня обдало новой волной ужаса. Она словно бы прикатилась от его стула, ударила меня по ногам и, холодно, морозно покалывая тысячами шипучих иголок, охлестнула с головой. Да, мне мерещилось. Я подумал об этом, боясь даже додумать свою мысль до конца, и он, моя отраженная мысль, тут же ответил мне то, в чем я сам себе не смел признаться. Я сидел, смотря на него и молчал, я был не в силах выдать из себя ни звука, и он тоже сидел безмолвно, только качал и качал с маятниковой размеренностью, в этой своей нелепой, фантастической обуви ногой. Он был совершенно лыс, с длинным, желтым худым лицом, с хрящеватым, имеющим плоскую седловинку у кон-

чика, отчего он напоминал утиный, носом и острыми, насмешливыми, чуть-чуть как бы косящими к вискам глазами.

— Отчего вы не попросите меня перестать качать ногой? — с новой, уже иронически-ласковой улыбкой спросил он. — Разве вас это не раздражает?

— Перестаньте, черт побери, качать вашей ногой! — тут же, едва он закончил свою фразу, закричал я. — Перестаньте, черт побери! — Я закричал это с такой истерической неистовой силой, взмахнув сжатыми в кулаки руками, что горло мне перехватило хрипотой, я подавился взбухшим в гортани кашлем, схватился рукой за грудь, глаза на мгновение сами собой закрылись, и, когда я откашлялся и отер с глаз набежавшие слезы, никого в углу за столом не было. И было там сумеречно, темно почти — едва разглядеть стул возле. Всего-то света было — телевизор в противоположном углу. Музыка, сопровождавшая фигуристов, звучала довольно громко, а я ее еще мгновение назад и не слышал.

В дверь звонили.

Я с трудом поднялся, на ватных, отказывающихся идти ногах протащился в прихожую, дернул за шнур, включая свет, и открыл дверь.

Это была Евгения. В своей расстегнутой уже, тонкой выделки бежевой дубленке, со светлой опушкой бортов, маленькой, ловко сидящей, тоже светлой шерстяной шапочке на голове, она была словно окутана облачком крепкой морозной свежести, весь ее облик так и дышал этой ясной, здоровой свежестью, щеки у нее разругались, — казалось, она пришла ко мне из какого-то иного мира, с иной планеты, из другого измерения.

— Что ты не открываешь? — спросила она, переступая порог, прижалась к моему лицу своей разругавшейся щекой, остро обжегши мягким, живым холодом, быстро поцеловала в угол губ и, повернувшись, скинула мне на руки дубленку. — Не

с другой женщиной, нет? Или уже спрятать успел? Гля-ди-и! — жалобно протянула она, показывая указательный палец. — Весь отдавила, пока дозво-нилась. Спал, что ли?

Держась за мое плечо одной рукой, другой она стащила с себя сапоги, вытянула из угла свои тапочки, надела их, сняла шапку и тоже бросила мне на руки.

— Что ты стоишь? — сказала она. — Вешай все куда следует. Тоже мне, встал — будто и пускать не хочет. В самом деле ты тут с женщиной, может быть, а? — Энергия так и распирала ее, так и рвалась из нее — она была похожа на застоявшуюся, в нетерпении, когда наконец отпустят последние путы, бьющую копытом норовистую лошадку, — ах, когда она вот так приходила ко мне, недоступно-чужая на людях, ничья, никому не принадлежащая, кроме себя, лошадка, которая ходит сама по себе, сразу становясь моей, я прямо балдел от нее, сходил с ума, и так было каждый раз, когда она приходила, хотя нашему роману вот уже полтора года. — Слушай, что с тобой? — заметила она наконец, что я не в себе. — Что у тебя случилось? У тебя что-то случилось, что? Я вижу, ну! Ну не молчи, ну?!

Она забрала у меня свою дубленку, шапку, открыла шкаф и повесила все сама.

— Ну что с тобой, милый мой? Ну? — Она взяла мое лицо в свои ладони, они были еще холодные с улицы, нежные, ласковые, и мне стало хорошо от их прикосновения, покойно и надежно.

— Ничего, — смог я наконец сказать первое свое за все последнее время слово. — Какие у тебя ладони... — Я зажмурился и, склонив голову к плечу, потерся щекой о ее руку. — Устал я сегодня.

— Ага, так-так. Ну-ну, — отнимая ладони от моего лица, сказала она, и я открыл глаза. — У тебя было сегодня это собрание? И что?..

Через полчаса я уже ничего не помнил. Мы лежали с ней в постели, две пылинки, две несущее-

ственные частицы материи с пересекающимися орбитами в космосе многомиллионного города, и неслись в этом грохочущем электричками, визжащем тормозами машин, лязгающем засовами мусоропроводов мире уже вместе, слившись в одну планету, и я уже ничего не помнил из того, до ее прихода, растворившись и потерявшись в ней.

— Теперь тебе хорошо? Все прошло? — спросила она меня, косясь сбоку, с моего плеча, чтобы увидеть мои глаза.

— Да, — сказал я ей. — Лошадка моя...

Но вот, если, скажем, нам соединить наши орбиты навсегда — что выйдет, что тогда? Кажется, мы оба не приспособлены к удвоению масс. Она уже соединяла, и дважды, сыну ее уже около десяти... А я, мне кажется, тогда уж вот точно ничего не сделаю, не раскрою ее, эту проклятую раковину, которую когда-то в ослеплении, не соразмерив своих слабых сил со всею сложностью безумной задачи, взялся открывать, не вытащу из нее этого обитающего в ней моллюска, не выужу ее, эту тайну, из черного небытия самопроизвольного существования на свет божий нашего человеческого знания...

3

— Ну так и как же наши дела? — спросил меня голос за спиной.

Я вздрогнул, открыл глаза и обернулся. Я сидел за столом, перед своим раскрытым блокнотом, откинувшись на спинку стула, грыз ручку, обкатывая в уме уже несколько дней обдумываемую мной и, кажется, наконец оформившуюся во что-то путное идею нового эксперимента, и, хотя все время, всю прошедшую с той поры, как у меня случилась галлюцинация, неделю, я со страхом ждал возможного ее повторения, прозвучавший за спиной голос

настиг меня врасплох, я был не готов к этому, ждал — но готов не был...

Он стоял у двери в прихожую, все в том же своем цвета выцветшего розового женского белья костюме, ржавой водолазке, в руках у него была какая-то фатовская трость, и, глядя на меня исподлобья с тою же ласково-иронической улыбкой, он постукивал этой тростью по тупым, коротким носкам нелепых своих катаных ботинок:

— Никак? — сам же ответил он на свой вопрос, сделав два шага до тахты, сел на нее, подпернув брюки, и вздохнул: — Прискорбно, прискорбно... Когда дела не идут — это, знаете, прискорбно, да, прискорбно... Слушайте, а почему вы мне не отвечаете? — вскинулся он. — Может быть, вы полагаете, что меня нет, что я не сижу здесь? — Он похлопал по тахте, но никакого звука я не услышал. — О, какая мягкая хорошая тахта!.. Так, может быть, вы полагаете, что я не сижу здесь и вы меня не видите? — Он засмеялся, развернулся боком, забросил ногу на ногу и, уперев палку в пол, лег подбородком на ее изогнутую ручку. — Нет, я есть, я сижу, вы же знаете.

— З-знаю, да, — произнес я с усилием.

— Ну наконец-то! — сказал он с живостью.

Я в изнеможении закрыл глаза, нелепо надеясь, что он исчезнет, растворится от этого, как в прошлый раз, но тут же мне стало страшно сидеть так, когда он рядом, может встать, подойти, неизвестно что сделать, и я открыл глаза. Он по-прежнему сидел все в той же позе, с упертым на ручку палки подбородком, и по-прежнему смотрел на меня.

— Глупо, — сказал он, — глупо бояться меня, коль скоро я лишь ваша галлюцинация. Ну что я могу сделать, сами посудите: Ведь меня же нет. То есть я есть, но я же в вас...

Чистейшей воды это была галлюцинация. Если бы это был другой человек, откуда б он мог узнать мои мысли... Да и откуда здесь взяться другому человеку.

Я вдруг размахнулся и бросил в него ручку, которую до сего так и сжимал в руке. Кидать мне было неловко, и бросок получился неверный — ручка упала на тахту рядом с ним.

— А вы лучше тем, — указал он подбородком на стол. — Какой прекрасный толстый том. Какой толстый, а?! Ну-ка, ну! Давайте!

И опять, необъяснимо для себя, я схватил со стола лежавшую на нем книгу и швырнул в лысого. И вновь я плохо кинул — она шлепнулась на тахту рядом с ним, а может быть, он ловко увернулся от нее, быстро подвинувшись к краю?

— Что вам нужно?! Что?! — закричал я. — Что вы ко мне приходите, что?!

— Пардон! — Лысый оторвал подбородок от палки, разогнулся и развел руками, перехватив правой рукой палку за середину, чтобы было удобнее держать ее. — Я, знаете ли... подневольный, своей воли у меня нет... чего изволите?

— Убирайтесь! К черту, к матери — убирайтесь! — закричал я вскакивая.

— О-ой! О-ой! — морщась, закачал он головой. — Убраться! Как будто бы все дело в этом, как будто бы убраться — и все будет в порядке... Как мне тебя жаль, — внезапно переходя на «ты», сбросив с лица иронически-веселую маску и в самом деле весь кривясь в гримасе сочувствия, сказал он. — Как жаль, как жаль... Ты так устал, ох как ты устал...

Я развернул стул, чтобы сесть лицом к лысому, и обессиленно опустил на него.

— Ну вот, видишь, — сказал лысый печально. — Я же знаю... — Он помолчал. — Делай-ка ты ей предложение, — со вздохом проговорил он затем. — Ведь ничего же у тебя не выйдет с твоей ракушкой. Не выйдет, не откроется, нет, ведь ты же знаешь. А она хорошая женщина... а! Такая лошадка, и любит тебя... Тебе нужна нормальная жизнь — будете с ней по вечерам вместе телевизор смотреть, ковры купите — знаешь, как славно в воскресенье

по свежему снежку выйти ковер выбивать. Славно! Что есть у тебя, то и есть, этого у тебя не убудет, зачем так доводить себя — брось-ка ты все это, в самом-то деле...

Господи, как мне от него избавиться... Что мне сделать? Встать, включить свет? Подойти к нему, попробовать тронуть его, толкнуть?

— А может, меня здесь и нет? → вновь вдруг выпуская на лицо свою иронически-ласковую улыбку, с лихостью сказал он. — Может, я — а? — где-нибудь в другом месте, у другого человека, ну, скажем, в соседней квартире?

Он встал, залез на тахту и боком, боком, словно протискиваясь, полез в стену и исчез в ней, запоздало вдернув следом за собой торчавшую из стены, словно какой-нибудь хвост, палку.

Я вскочил, бросился в прихожую, открыл дверь и забарабанил в соседнюю квартиру, забыв о звонке.

— Кто там? — спросили меня из-за двери.

Это был голос соседа, и я закричал ему задыхаясь:

— Откройте скорее, откройте, это я, из тринадцатой.

Сосед — молодой, недавно женившийся парень-шофер — открыл, и я, не сумев сказать ему ни слова, бросился в ту комнату, которая граничила с моей квартирой.

— Простите, это что такое?! — закричал, догоняя меня и хватая за плечо, парень.

Но я уже вбежал в комнату. У противоположной входу стены стояла кровать, в ней лежала, испуганно натянув одеяло до подбородка, молодая жена парня, а в голове у нее, на спинке кровати, балансируя на одной ноге, а другой качая в воздухе, стоял мой лысый и улыбался, как клоун в цирке, удачно исполнивший номер.

— Але гоп! — и в самом деле по-цирковому сказал он, когда я вбежал.

— Вы его видите? — показал я на него парню. — Вы его видите, вот, на спинке?

— Кого? — с угрозой спросил парень, больно схватив меня за запястье.

— С ума сошли, что ли? — приподнявшись и посмотрев на спинку, а потом на меня, сказала его жена.

Они его не видели.

Парень выставил меня в коридор, я зашел к себе, оделся по-уличному и захлопнул за собой дверь.

На улице я пробыл часов до двух ночи. Падал снег, было пустынно, и лишь изредка, светясь зеленым глазком, с бешеной скоростью проносились такси.

Но когда я вернулся домой, заснуть я не смог — до самого белого света, до той самой поры, как нужно было вставать.

4

— А они ничего не видели, совершенно ничего? — спросила Евгения.

— Совершенно, — сказал я измученно. — Что ты меня все пытаешь... Совершенно ничего. И ты бы ничего не увидела. Вот только перед твоим приходом он вон там сидел... — я махнул рукой в сторону телевизора, — на короточках...

Сегодня я не выдержал и все ей рассказал. Последнюю неделю галлюцинации были у меня почти ежедневно — я уже не спал несколько ночей подряд и вот уже три дня не ездил в институт, вообще никуда не выходил из дому и, кажется, не ел.

— У тебя ужасный вид, — потерянно сказала Евгения, с опаской косясь в сторону телевизора. — А может... может, у тебя запой? — словно бы с надеждой спросила она.

Я уже смотрел на себя в зеркало в коридоре, у меня и в самом деле был вид запойного пьяницы:

воспаленные красные глаза, недельная неопрятная щетина, отвисшая от постоянного лихорадочного возбуждения челюсть...

— Тебе нужно к врачу, — сказала Евгения. — Я тебя завтра сама провожу... Ничего в этом ужасного, — поторопилась она предупредить возможное мое возражение. — Тысячи людей пользуются этими врачами, ничего ужасного и страшного. Надо так надо.

Но я и не думал ни возражать, ни сопротивляться. Совершенно уже был я измочален всем этим.

— Так, а вот скажите-ка, — сказал врач, — вот вы идете, и трещина на асфальте, и бывает у вас такое — если вы на нее наступите, вы провалитесь, будто это на льду трещина?

Он был тугощек, брыласт, подзаплывший нездоровым жиром высокий брюнет, переваливший, видимо, уже за сорок, так что жизнь, считай, определилась теперь до конца, и его карие, ясно-влажные глаза смотрели на меня участливо, пронизательно и понимающе.

— Да нет, — сказал я, — не бывает...

— Вы можете наступить на нее или переступить, в общем, как придется шаг, да?

— Ну да.

— Ага. Хорошо... А вот скажите, вы не считаете, нет? Окна домов, ступеньки, деревья... Не для чего-нибудь, а просто так. Едете, скажем, вот с работы в своем автобусе, сидите у окна и считаете...

— Считаю, — сказал я.

— И давно это у вас, не заметили?

— С детства.

— С раннего детства, не помните?

— Да, в общем... — попытался я припомнить, когда же, в каком же это возрасте начал я считать деревья, окна, ступеньки, по которым иду. — Может, и с рождения, не знаю.

— Ну, родившись, вы не умели считать, — посмеялся врач снисходительно и показывая в то же время, что оценил шутку, хотя я и не шутил, не до шуток мне было. — А как вы относитесь к своим близким?

— Каким близким?

— Ну к матери, отцу, братьям, сестрам, жене...

— Я не женат. Мать с отцом похоронил уже, а я у них один был, я ведь говорил.

— Да-да, — оправдываясь, согласно покачал он головой. — А почему вы не женитесь? И не были ведь женаты? В вашем-то возрасте — тридцать пять уже все-таки. Вы боитесь, может быть? Вы вообще легко раздражаетесь, настраиваетесь против людей, с которыми вам приходится делать что-то вместе, жить, — в командировке, скажем; зам кажется, что вас обижают, ущемляют ваши права?

— Бывает, конечно... — пробормотал я.

— Да, да, — понимающе покивал он. — А не женились почему? Боитесь? Жизни с другим человеком, изменения обстановки, да? Или нет?

Я сидел в его тесном, казенно и бедно обставленном, как казарма, кабинете, не располагающем ни к какой душевной беседе, уже около часа. О чем, о чем он меня только не спрашивал... Толком на все вопросы невозможно было бы и ответить. Почему вот не женился, скажем. Ну да, боюсь, конечно. Судьбе, небу, Богу — кому? не знаю — было угодно, чтобы я взялся шесть лет назад, ухватился за коротенькую ниточку одной из миллионов свернувшихся клубочками тайн нашего бытия, потянул — и оборвал, и снова бы нашел крохотный кончик спрятавшейся ниточки и снова потянул... так этой неизвестной мне, могущественной силе было угодно, чтобы это был я, я именно, я, и я уже не волен распоряжаться собой, я не себе принадлежу, ей — этой силе, и она могущественнее всего остального, она не отпустит меня от себя никуда, потому что она выбрала именно меня, чтобы я осуществил то

положенное, нужное ей... но как это все объяснить? Вот так, просто, в двух словах, не объяснишь, а начнешь долго и сложно — бред какой-то выйдет, самый настоящий...

— Женщина у вас какая-то постоянная есть? — напомнил мне о своем вопросе врач. — Или у вас случайные связи?

— Есть, — сказал я с неохотой. — Сейчас есть.

— Это положительный фактор. — Он ободряюще улыбнулся мне своими ясно-влажными глазами. — Может быть, вам даже хорошо и сойтись было бы. Подумайте. Посмотрите. А пока мы вас будем лечить. Будете таблетки принимать, амбулаторно пока. Вы сами пришли, значит, понимаете всю опасность...

Я перебил его, ужасаясь тому, что говорю это о себе, и боясь его ответа:

— Вы думаете... что же я, в самом деле... с ума сошел?

— Да ну, ну вы же интеллигентный человек, — широко и светло улыбнулся он. — Это народное выражение, оно совершенно неприемлемо... У вас расстройство... некоторое расстройство, все может быть хорошо, если вы будете правильно выполнять назначения.

«Все может быть хорошо...» Ну да. Все может быть хорошо... Все ясно. Куда яснее... Выйдя из аптеки с полными карманами транквилизаторов, я зашел в какую-то забегаловку и набрался до положения риз, так что очнулся уже только к утру следующего дня, и как я попал домой — сам ли, довел ли кто — ничего не помнил.

5

— Здравствуйте! — сказала женщина с коляской, догоняя меня. — Хотите посмотреть на моего сына?

Улыбка ее была ясна и открыта, она явно знала меня, коли окликнула посреди улицы и предлагала

вот теперь посмотреть на ее сына, не будет же она предлагать такое каждому встречному-поперечному, но кто она?

— Вы меня не узнаете, нет? — все так же счастливо улыбаясь, спросила она. — В автобусе, помните? Вы еще разругались там, чтобы посадить меня.

А, вот оно что. Уже родила.

Я попробовал заставить себя заинтересоваться младенцем, сделал шаг к коляске, чтобы заглянуть внутрь, и не пересилил себя, махнул рукой: а, младенец и младенец, родила и родила — что мне до того?

— Поздравляю, — пробормотал я вяло и пошел дальше.

Я принимаю лекарства вот уже скором месяц, и с тех пор, как принимаю их, меня охватила полная апатия и равнодушие ко всему, мышцы сделались какими-то тряпичными, мне не хочется ни двигаться, ни думать, ни делать что-либо. И еще у меня дрожат руки. Я хожу и все время держу и в карманах пальто или пиджака, чтобы это дрожание не было заметно. Врач в диспансере говорит, что так оно и должно быть, еще две недели — и курс будет закончен, и после этого мне нужно будет поехать куда-нибудь, сменить обстановку, отдохнуть, и все тогда будет хорошо.

Дома я сразу же, не раздеваясь, лег в постель, которую перестал последнее время вообще убирать с тахты, и лежал в каком-то полузабытьи, пока не пришла Евгения. Недели полторы назад я попросил ее взять второй ключ от двери, и она вошла сама. Я даже не слышал, как она вошла, только увидел ее стоящей надо мной.

— Ты опять лежишь?! — В голосе ее было раздражение.

Весь напрягшись, я с трудом перевернулся с боку на спину.

— А что же мне делать, если меня ноги не держат?

Она не появлялась у меня уже несколько дней, хотя я просил ее приходить при малейшей возможности, мне совершенно невыносимо одному, я задыхаюсь от этой пустоты вокруг, от этого ее тяжелого, проламывающего барабанные перепонки звона, но Евгении, кажется, день ото дня все труднее и труднее подвигнуть себя на приход ко мне: как женщина она мне сейчас не нужна, прийти ко мне — значит, просто заполнить эту пустоту вокруг меня, убраться в квартире, приготовить мне еду — сам я ничего делать не в состоянии...

— Вставай! — приказала она.

Я не пошевелился.

— Вставай! — повторила она, сбросила мои ноги на пол и, взяв за плечи, посадила на тахте. — Очень приятно, когда приходишь к мужчине, а он лежит как колода?

— Извини, — пробормотал я. — Ну извини же ты меня, извини... Это ведь не я сам, это лекарство. Кончу вот принимать...

— Ну конечно, кончишь принимать, и все станет хорошо, — прервала она меня. — Прямо в костюме, это надо же! На что он похож?! Ты представляешь, что это такое — гладить костюм?

— Ты ворчишь как старая, заслуженная жена, — попробовал я пошутить.

Она как-то странно, изумленно-насмешливо посмотрела на меня, приподняв одну бровь, но ничего не сказала.

— И чем же ты заставишь меня сейчас заниматься? — спросил я, пытаясь остановить, придать резкость плывущим передо мной очертаниям вещей.

— Картошку чистить, — сказала она. — Хоть я тебе и не жена, а накормить тебя нужно ведь.

Мы чистили с ней картошку, и нож у меня в руках прыгал, никак у меня не получалось срезать кожуру равномерно: выходило то толсто, то тонко. Потом она заставила меня поесть, проследила, как я, насыпав полную горсть всяких разноцветных

перламутровых таблеток, затолкал их в рот и сжевал, вымыла посуду и ушла. Лошадка, которая ходит сама по себе... А я пошел в комнату и снова лег, только на этот раз заставив себя все-таки раздеться.

Вот так вот и идут мои дни. Что обо мне думают в институте, когда я прихожу в таком состоянии, бог его знает. Конечно, можно было бы взять бюллетень, как предлагал этот брюнет в диспансере, и сидеть дома, но это было бы еще хуже. Так я хоть знаю, что мне надо в институт и как-то да заставляю себя двигаться, а если бы дома — вообще не поднимался бы с постели. Единственное, что хорошо, — галлюцинаций у меня больше нет.

С памятью у меня еще что-то не в порядке, вот что. Я ничего не помню. Календарь показывает двадцать второе марта, я силюсь вспомнить и никак не могу — куда же делись целых два дня, мне казалось, вчера было девятнадцатое. На остановке сегодня я никак не мог вспомнить, какой же номер моего автобуса, но, слава богу, я еще помню, где живу, и люди добрые подсказали... Самое же главное, вот что меня больше всего тревожит, я не могу найти своего блокнота. Куда-то я его сунул, в те самые первые дни, когда мне стало мерещиться, такой ужас объял меня, что я был ничем не способен заниматься, и в этом ужасе куда-то засунул его, но куда? Все мыслимо возможные места и дома и в лаборатории мною обшарены — его нет нигде. А он мне нужен, обязательно, — я же тогда додумался как раз до совершенно необычного... И ничего вот сейчас не помню, ничего, а почему-то мнится сейчас, что там был найден какой-то очень обнадеживающий, может быть, даже истинный путь...

Скорей бы кончался этот проклятый лечебный цикл, я уже больше не могу, не могу... Я отвратителен сам себе, я превратился в какого-то идиота, в животное...

Я лежал и то ли спал, то ли не спал — мне чудилось, что голова у меня представляет собой громадный черный пустотелый шар, и на него падают капли чего-то жидкого, тоже черные и тяжелые, и я не понимал, во сне это все происходит или на самом деле капает на кухне неплотно привернутый Евгенией кран.

6

— Сейчас вас ничто не беспокоит? — спросил врач.

Его влажно-карие ясные глаза смотрели на меня все с той же профессиональной участливостью.

— Нет, — сказал я. — Только вот с памятью что-то... не помню ничего, и вялость.

— Ну, это я вам говорил, это естественно. Так все и должно быть. Вот мы уже уменьшили дозу, сейчас вы, значит, уезжаете, отдыхаете, набираетесь сил, и пьете, значит, в течение этого времени всего по три таблетки того и по три того в день, таблетку каждого на прием.

Мне показалось, жаркой волной хлынувшая в голову, горячо застучавшая в висках кровь разорвет мне сейчас сосуды.

— Н-но по-очему? — заплетающимся языком спросил я. — Вы же говорили... Я не могу больше, я так ждал... ведь я же... я же ничего не могу делать, а мне нужно работать...

Врач смотрел на меня спокойным мудрым взглядом, и лишь его толстые, брыластые щеки подрагивали от потряхивания невидимой мне под разделявшим нас столом ноги.

— Нельзя прерывать прием сразу, резко, это может вызвать нежелательные последствия, — сказал он без малейшей тени неловкости на лице. — Курс мы закончили, а теперь будем сводить на нет, потихоньку, постепенно... Если, значит, на отдыхе вы

заметьте за собой что-то неладное, почувствуете — что-то не в порядке, сразу обратитесь к врачу. Договорились?

— Да, — ответил я ему еле слышно. Он не расслышал, и мне пришлось повторить громче, собравшись с силами: — Да, да!..

Доволочив свое тело до дома, я собрал разбросанные по всей квартире четвертушки, половинки, целые пачки этих красивых, похожих на разноцветное конфетное драже таблеток, смял их в один затрещавший, захрустевший в моих руках комок, сдавил его, перекрутил и сбросил в унитаз, спустив воду.

К чертовой матери! Одно другого не лучше. Или трястись от страха в ожидании галлюцинации, или ползать выжатой, иссушенной телесной оболочкой, лишенной всяких чувств и памяти...

Вечером я сел в поезд.

«...я не прошу тебя понимать меня или не понимать — я просто сообщаю тебе свое решение, прими его к сведению. Решение мое окончательное, и я прошу об единственном: не пытаться звонить мне, писать, подстергать и т. п. — все это ни к чему не приведет, а только лишь осложнит нам обоим жизнь...»

Весь месяц моего пребывания в этом занюханном, утопшем со своими тремя корпусами в весенней распутице доме отдыха, так что даже просто пойти в лес, не то что как зимой — на лыжах, было невозможно, оставалось лишь бродить по асфальтовым дорожкам вокруг этих его трех корпусов, играть в бильярд, шашки да лото, весь этот месяц я, кажется, только тем и жил, что ожиданием ее письма, его все не было и не было, и вот пришло...

Я сидел в лоджии в шезлонге, солнце падало мне на лицо, в безветрии каменной ниши оно грело совсем по-летнему, и я сел сюда, прежде чем распе-

чатать письмо, чтобы все это вместе: солнце и написанные Евгенией слова, — как бы сложившись, одарили меня тем долго ожидаемым мной чувством наслаждения покоем, чтобы вкусить сладчайший плод умиротворения.

Вкусил.

«...может быть, ты скажешь, что все это жестоко с моей стороны, но, поразмыслив хорошенько, поймешь, что это не так. Я уже давно все решила для себя, но, вот видишь, написала тебе лишь сейчас, чтобы ты получил письмо уже в конце отдыха, когда будешь, надеюсь, более окрепшим».

Да, в конце отдыха... Какая забота!

Я скомкал письмо и так, в комке, попытался разорвать, оно не разорвалось, и я судорожными движениями расправил листы и стал раздирать их и снова комкать, пока вновь мне не стало хватать сил, потом встал, сильно оттолкнув назад шезлонг, так что он поехал назад, ударился о стену, фиксирующая планка соскочила с зубцов, и шезлонг со звонким стуком сложился; прошел в свою комнату, в которой, сладко посапывая, спал послеобеденным тяжелым сном мой сосед, вышел в коридор и, войдя в туалет, сбросил куски письма в унитаз и дернул за цепочку. Вода с рыком ринулась из отверстий, топя, унося с собой клочки бумаги, и я, не в силах сдержать рвущееся из груди рыдание, зарычал вслед этому рыку воды и сильно, так, чтобы мне сделалось больно, ударил кулаком по боковой перегородке между кабинами, раз и другой... Видимо, незапертая, со скрипом, словно нехотя, открылась от сотрясения скрывавшая упрятанные в стену канализационные и водопроводные трубы дверца. Я в сердцах ударил кулаком и по ней, чтобы она закрылась, она захлопнулась и тут же отскочила назад, и я вдруг вспомнил, куда я дел, куда я спрятал свой блокнот: за такую же дверцу в своей квартире.

Через два часа с попутной машиной, привозившей из города продукты, я уже ехал на станцию.

Блокнот действительно лежал за этой дверцей в туалете. Он провалился между стояками далеко вниз, я с трудом достал его, соорудив крючок из канцелярской скрепки, прикрученной к половнику. В каком умоисступлении я забросил его сюда?

Большая часть блокнота была мокрой. Я лихорадочно, боясь порвать расползающуюся под руками бумагу, стал листать его — все страницы блокнота были в фиолетовых грязных разводах. Я дошел до середины, до последних записанных страниц, тех, нужных мне, — с них глянули на меня все те же грязные замысловатые разводы и потеки, а среди них виднелись лишь отдельные слоги и буквы. Я пишу обычной авторучкой, чернилами, и сочившаяся откуда-то вода размывла их.

Вспомнил, называется. Нашел... В детстве, в переполненном трамвае, когда я ехал на новогоднюю елку во Дворец пионеров, мне обрезали карман и вытащили пятирублевку, которая была дана мне на сладости, пятьдесят копеек по нынешним ценам, и вот до сих пор я помню это мое детское отчаяние, всю безмерную горечь его, — и сейчас я испытал что-то подобное. Только сейчас карман обрезал я себе сам...

Я зажег на кухне газ и, развернув блокнот, стал сушить его под огнем. Самое ужасное — я ничего не помню из того, что пришло мне тогда в голову. Просто ничего, как ни напрягайся, словно в мозгу у меня захлопнулась намертво какая-то дверца. С тех пор как перестал принимать лекарство, понемногу-помаленьку я стал чувствовать себя лучше, к мышцам вернулись упругость и сила, с утра я еще вял, но уже где-нибудь к часу дня вполне жизнеспособен. Лучше, мне кажется, стало и с памятью, но ничего из того, о чем я думал в те предшествовавшие галлюцинациям дни, я не могу вспомнить, и в таком ужасе был я тогда от всего происшедшего, что не хватился исчезнув-

шего блокнота ни через день, ни через два — недели через две, через три, может быть...

Просушив блокнот, я сел с ним за стол в комнате и попробовал расшифровывать те обрывки слов, те буквы, те крючки и закорючки, которые остались. Ничего не получалось. Это были просто слова, просто слоги, просто линии и цифры — никак не связанные друг с другом, разрозненные, бессмысленные символы.

Я откинулся на спинку стула, закрыл глаза и попробовал восстановить ход своих мыслей тогда, свою возбужденность тех дней и раздраженность, мне почудилось, что эта замурававшая тогдашнее мое сознание дверь в мозгу словно бы шевельнулась, словно бы прогнулась... и в тот же миг я вздрогнул от ощущения, что за спиной у меня кто-то есть, резко повернулся — все в комнате было так, как обычно, пусто было, никого, кроме меня.

Может быть, все-таки нельзя было прекращать принимать лекарства, подумалось мне со страхом. Не просто же так он велел мне принимать их, не просто же так...

С того самого момента, как выбросил лекарства, я не перестаю бояться того, что сделал, но так, как сегодня, я еще не боялся...

Я встал, прошелся по комнате... прошел на кухню, вынул из холодильника яйца, сделал яичницу, поставил кипятить воду для чая и сел есть. Я ел и думал о своей работе, но думал в общем, неконкретно, словно это была не моя работа, словно это не я вынырнул все и выпестовал, а будто я был кем-то вроде отчима по отношению к ней и смотрел со стороны. Ни одной идеи у меня не было в голове, ни одной толковой мысли.

Потом я позвонил Евгении.

— Зачем ты звонишь? — спросила она сухо. — Я все ясно написала в письме. Ты что же, считаешь меня за человека, который не отвечает за свои слова?

Я не считал. За полтора года я все-таки немного узнал ее — она очень хорошо отвечала за свои слова.

— Плохо мне без тебя, — сказал я.

— Давай все эти жалобы оставим при себе, — по-прежнему сухо ответила она.

Был день, я звонил ей на работу, и она говорила со мной еще довольно сдержанно.

— Я нашел свой блокнот, — оказал я. — Тебе это не интересно?

— Я не сомневалась в этом, — отозвалась она. — Все? Больше тебе от меня ничего не нужно?

— Только весь текст смыло водой... — с тупой безнадежностью пробормотал я, вновь и до конца теперь понимая, что все между нами кончено.

— Обратись к криминалистам, — с небрежной язвительностью, ~~на~~ замеченной, наверное, даже ею самой, сказала она. — До свидания.

Толстый, самоуверенный зуммер пропорол мне барабанную перепонку, и я положил трубку.

Я вновь взял в руки вспухший, со вскоробленными, пожелтевшими листьями блокнот, постоял над ним, вглядываясь в бессмысленные слова, слоги, черточки, и швырнул обратно на стол. Блокнот проехался по его полированной глади, толкнул авторучку, она откатилась к настольной лампе, ударилась об ее основание, и от удара с нее слетел колпачок. Я взял ручку и попробовал перо на обложке блокнота. Оно царапало — видимо, от удара жало заскочило одной половинкой на другую; — и в этот же миг меня осенило: когда я записывал свои мысли об эксперименте, в ручке у меня кончились чернила, перо почти не писало, но мне не хотелось прерываться, я поминутно встряхивал ручку и жал на перо изо всех сил — так что на бумаге должны остаться довольно отчетливые следы, и мне в самом деле надо обратиться к криминалистам...

Я бросил блокнот в портфель и, выйдя на улицу, схватил такси. Меня всего так и трясло от не-

терпения, ехать обычным транспортом я был просто не в состоянии.

Через два часа рядом с блокнотом в портфеле у меня лежала официальная бумага от нашего института в институт криминалистики с просьбой восстановить утраченный текст, содержащаяся в котором информация крайне нужна для важных исследований...

Ехать домой, оставаться в своей квартире один я боялся. Я напросился в гости к своему товарищу по работе, уговорил его даже собрать небольшую компанию и вечер провел в острословиях, шутках, пустых, незначительных и веселых разговорах обо всем на свете. Не поехал я домой и на следующий вечер, и на третий.

На четвертый день я получил расшифровку. Не удалось восстановить примерно одну пятую часть текста, но того, что восстановили, было вполне достаточно. Я ехал в тряском, грохочущем поезде метро к себе в институт, читал-перечитывал эти отпечатанные на машинке две странички написанной мною три месяца назад разработки эксперимента, и все узнавалось, все восстанавливалось в памяти — просто поразительно, почему же я ничего не мог вспомнить: отлично все помню.

По приезде я тут же собрал лабораторию и стал излагать суть нового эксперимента, к осуществлению которого приступим с сегодняшнего же дня, вот с этого мига...

8

В дверь позвонили.

Я сидел в расслабленной, ленивой позе в кресле перед телевизором, задрал ноги на сиденье стула, смотрел очередную серию какого-то многосерийного фильма про звероватых сибирских мужиков и баб, ничего не понимал, да и не собирался пони-

мать — я устал за день, болела голова, и мне хотелось посидеть, ни о чем не думая. И вставать, изменять найденное наконец удобное положение тела мне также не хотелось, и я не встал на звонок, остался сидеть — может быть, это случайно позвонили ко мне, может быть, кто-то ошибся и звонков больше не будет.

Но после долгого, чуть ли не в минуту, перерыва позвонили снова.

Кряхтя, я спустил ноги на пол и пошел в прихожую. Дернул на шнур выключателя и открыл дверь.

Передо мной стояла хорошенькая молодая женщина с яркими, цвета тополевой коры, серыми глазами, она была смущена, и эта ее смущенная неловкая улыбка очень шла ей, она освещала ее хорошенькое милое лицо ясностью и чистотой.

— Слушаю вас, — сказал я.

— Простите, это, видимо, неожиданно... — все так же смущенно улыбаясь, сказала она. — Как вы себя чувствуете?

Это и в самом деле было неожиданно: приходит незнакомая женщина и спрашивается о твоём самочувствии. Явно ей был нужен кто-то другой.

— Вы не ошиблись? — спросил я. — Вам я нужен?

— Вы, — сказала она. — Вы меня не помните, да? Я вам обязана... В общем, чепуха, конечно, вы меня посадить хотели, в автобусе... но я вам благодарна... а тогда вот, весной, у вас было такое лицо... Я никак не могу успокоиться, сколько времени прошло, у вас что-то ужасное было, может, вам помощь требовалась... У вас все в порядке, скажите?

Фантастичнее повода для появления у незнакомого практически человека я, пожалуй, и не придумал бы. Надо же, я совершенно не запомнил, какая она, за те две встречи — совершенно никогда не виденное мною лицо, ну совершенно...

— Вы проходите, — приглашающе махнул я рукой, чувствуя, как на лицо мне выползает такая же,

как у нее, смущенная улыбка. — Что я вас здесь держу... Вы извините...

— Нет... да, благодарю, — сказала она, делая шаг вперед и не переступая порога. — Но вы как себя чувствуете, у вас все нормально, скажите? Может, вам какая-то помощь нужна... нет? Вы меня извините, это, может быть, даже назойливо, не знаю, но я с того времени все время мучаюсь: вот человек... хотел мне помочь, и вот ему плохо, а я осталась стоять, не окликнула его, не спросила...

Я почувствовал, что сейчас разревусь. Будто какая-то теплая волна омыла вдруг давно уже, так что я свыкся с ним, засевший в груди острый болезненный камешек, он оказался льдышкой, его мгновенно начало разъедать этой волной, растапливать, и грудь мне переполнило.

— Да давайте же... пройдемте, — осекающимся голосом сказал я, — что мы на пороге... А я опять вас не узнал... Все у меня сейчас нормально, да... благодарю... А как вы узнали, где я живу?

Она переступила через порог и стояла теперь под замирающим, заканчивающим качаться шнуром выключателя.

— Я видела, куда вы зашли. Мой дом здесь, рядом, я на следующей остановке схожу обычно...

— И что же... — потрясенно спросил я, — вы искали меня... обошли все двенадцать этажей?

— Нет, — пожала она плечами. — Только четыре. Вы ведь живете на четвертом этаже. Ну, так скажите же мне: могу я вам чем-то помочь, если нужно?

Полторы минуты назад я хотел быть только один, один — и чтобы не было больше никого рядом, тем меня и устраивала эта коробка, набитая электроникой, что я, слушая какие-то человеческие голоса и видя какие-то лица, был все равно один, теперь я почувствовал, что не смогу, не выдержу; если она уйдет просто так, не побудет возле меня, — я побегу за ней, буду искать ее так же, как она меня...

— Зайдите уж ко мне, коли пришли, — попросил я. — По-моему, самое главное, что вы пришли, — вот и заходите, спасибо вам...

Она прошла, села в кресло, в котором только что еще сидел я, и спросила напряженно-внимательно, с ясной ожидающей улыбкой глядя на меня:

— Я слушаю.

Как она знала, что именно этого все внутри меня и требовало — рассказать ей?!

Я сел на тахту напротив нее — и меня прорвало. Я говорил ей обо всем — о том, чем я занимаюсь и как все это у меня выходит, как я издергался и устал, как у меня начались галлюцинации и как это было ужасно, как я был любим женщиной и был брошен, как я потерял и нашел этот свой блокнот... — я говорил ей столько и такое, о чем никогда — десятой части чего! — даже в пору самой великой нашей душевной близости не говорил Евгении, не упоминая уже ни о ком другом...

— Дайте руку, — попросил врач. — Ладонями кверху, вот так. — Он быстро провел большим пальцем мне по ладоням, проверяя, не потные ли они, нагнулся над столом и так же быстро оттянул мне в сторону и в бок веко одного глаза, потом другого. — Значит, ничего подобного тому, что было, больше не случилось?! — в какой уже раз спросил он.

Он весь сиял доброжелательством, вниманием и участливостью, и лишь твердые движения его рук выдавали в нем профессиональную жесткую бесстрастность.

— Нет, больше не случилось, — ответил я тоном исправно выполняющего всякое домашнее задание ученика.

— Спите хорошо, без кошмаров?

— Хорошо.

— Как у вас на работе? Поспокойнее стало, все утряслось?

— Утряслось. — Я улыбнулся.

— Что вы улыбаетесь?

— Да так...

— Может быть, вам кажется смешным, что недавно вас волновали какие-то там определенные вещи?

— Пожалуй что так...

— Я очень рад вашему виду, — сказал врач. — Вы хорошо выглядите, я же говорил вам, что все будет хорошо. Давайте будем прекращать принимать лекарство. Вы сейчас, значит... — он заглянул в мою карточку, — ага, по полтаблетки три раза. Ну вот, давайте по таблетке раз в день, пейте так неделю — и прекращайте. Посмотрим, посмотрим... А потом, через месяц — снова ко мне. Это обязательно. Договорились! — с дружеским заговорщическим видом заглянул он мне в глаза.

— Договорились, — сказал я.

9

Часы у меня на руке показывали уже половину первого. Выстуженный, с заиндевшими окнами автобус, по-ночному бешено, лишь коротко притормаживая у остановок, мчавшийся в белой, секущей снегом его лобовое стекло мгле, был пуст — лишь я да еще обнимающаяся парочка где-то на заднем сиденье. Я был в возбужденном счастливом опьянении — мы выпили на десятерых две бутылки водки и пять бутылок вина, — но я был пьян и возбужден не от выпитого, я был пьян от того повода, по которому мы выпивали, от того события, которое мы праздновали. Пойди укуси меня кто сейчас, пойди отбери у меня людей, закрой мне тему, срежь деньги — наоборот: подбросьте-ка всего того-этого... Бог знает, конечно, сколько еще до окончательных результатов — год, два, три, вся оставшаяся жизнь? — но дверца приоткрылась, открылся тун-

нель за нею, и ясно уже, что брезжущий где-то далеко крохотной точкой свет — это тот самый искомый свет, и надо теперь лишь осилить путь до него. В руках у меня уже не кончик ниточки, готовый оборваться от каждого неосторожного потягивания, а целый моток — не зря я таскался со своим блокнотом аж к криминалистам...

— Эгей! — позвали меня. — Эгей!

Я посмотрел в сторону голоса и вздрогнул. Между рядами сидений, шагах в пяти от меня, взявшись за поручни и забросив ногу за ногу, все в том же своем нелепом, как застиранное женское белье, розовом костюме, тех же нелепых, похожих на обретенные валенки, с округлыми короткими носками ботинках, стоял *тот* человек. Только на голове у него была сейчас этакая вроде лыжной, с болтающейся пампушкой на маковке шапочка.

— Как жизнь? — увидев, что я гляжу на него, подмигнул он мне с прежней же все иронически-ласковой улыбкой, отжался на поручнях и, повиснув в воздухе, стал болтать ногами. — Мне кажется, Нобелевская премия у тебя в кармане. Не так, нет?

Я был не в силах произнести ни слова: горло мне перехватило спазмой, виски сжало словно бы громадными, заледеневшими на морозе плоскогубцами, и казалось, они расколуют мне сейчас голову, как созревший грецкий орех.

И этот старый мой знакомец тоже замолчал, лишь качался и качался на поручнях, побалтывая ногами, и безотрывно, с застывшей улыбкой на лице смотрел на меня.

Водитель в динамик прогрохотал мою остановку. Я вскочил с места, будто пружины сиденья подбросили меня, и рванулся к задней двери. Парочка на последнем сиденье целовалась, запустив друг к другу руки за пазуху. Уже соскакивая со ступенек, я оглянулся — проход между рядами кресел был свободен, никто там не стоял.

Дверцы с трудным металлическим скрипом сошлись у меня за спиной, автобус, пробуксовав мгновение, ушел, и я остался один в этой ночной темени, воющей, метущей колючим, обдирающим лицо снегом.

Я пошел по направлению к дому, но, пройдя половину пути, повернул и пошел обратно. Я вновь вышел на остановку, постоял на ней мгновение и пошел в другую сторону, через дорогу.

Мне открыли минут через пять после моего звонка.

— Это вы!.. — сказала она сонно и испуганно, глядя на меня сквозь узкую щель, на которую позволила открыть дверь цепочка, с недоумением и усталостью измученного за день человека. — Сейчас... Она прикрыла дверь, освободила ее от цепочки и снова открыла. — Проходите. Раздевайтесь. Вот сюда, на вешалку...

Она была в скоро наброшенном, перекрутившемся под поясом халате, с голыми ногами, со свалившимся ото сна набок пуком волос.

— С кем это ты? — вышел из комнаты, хмурясь от света, мужчина в одних трусах, без майки, босиком — видимо, муж. И, увидев меня, тут же повысил голос: — Вы кто?

— Тише, Сеня, разбудишь же, — сказала она. — Это тот товарищ, я тебе говорила...

— А-а!.. — протянул муж и замолчал.

— Пойдемте на кухню, — пригласила она меня.

За все время я пока не сказал ни слова.

Я пошел на кухню, сел на табуретку, прислонился спиной к холодильнику, они оба следом за мной прошли и встали у стены возле двери.

— Что-нибудь случилось? — спросила она, в голосе у нее были теперь тогдашние, заставившие меня сейчас прийти по записанному адресу боль и сострадание, но рядом стоял, уперев руки в пояс, босыми ногами на холодном полу, ее муж, и, ко всему тому, задав вопрос, она зевнула, прикрыла

рот ладошкой и смущенно улыбнулась. — Простите, — сказала она.

Я знал уже, что не надо говорить, но у меня не было сил, чтобы сдержаться, и я сказал:

— Он опять приходил ко мне. Сейчас, в автобусе.

Муж взглянул на нее, она посмотрела на него, переступила ногами у стены, помолчала и спросила:

— А-а... вы уверены?

Да ну конечно же, ну зачем я пришел — совсем я, видимо, слетел с катушек...

— Уверен, — сказал я по инерции.

Случившегося мига сердечной участливости и доброты не вернуть, не восстановить, не реставрировать его, человек ведь делает добро не потому, что кто-то нуждается в этом, а потому, что так нужно для его собственной души, для ее спокойствия и безгрешного существования. Это-то, может быть, и называют альтруизмом, но запасы его в человеке не бездонны, они сгорают, и обгоревшей душе нужно время, чтобы восстановиться. И доводилъ я ей, предположим, мужем или любовником, как знать, не поступила ли она так же бы, как Евгения...

— Может быть... может быть, вам все-таки следовало пить эти таблетки? — устало проводя рукой по лицу, снова, кажется, удерживая зевоту, сказала она.

Ничего другого я уже не ожидал, точнее — ожидал чего-то в этом роде.

— Я пойду, — пробормотал я и встал.

Они меня не удерживали.

Отчаянно и несчастно закричал, заплакал в комнате ребенок. Муж рванулъ в дверь, захлопнул ее за собой, и она, глядя, как я одеваюсь, сказала:

— Вы не отчаивайтесь, а?

Но вся она уже, я видел, тянущаяся к двери, прислушивающаяся к торопливому, раскачивающе-

муся голосу мужа, выпевающего «баю-бай», была там, рядом с ним.

Кажется, я не сумел даже попрощаться с ней — вышел из квартиры и пошел по лестнице вниз.

На часах было уже около двух.

Я бродил по окрестным улицам, подняв воротник, прячась в него от ветра и жесткого снега, пока не замерз, и все время я исходил страхом, что вот сейчас из-за поворота или просто из этой мятущейся белой мглы вновь появится он, но идти домой было еще страшнее. Однако я пришел в конце концов, меня всего так и трясло от холода — оставаться на улице я был больше не в силах.

Я включил свет в прихожей, переобулся и, не раздеваясь, чтобы согреться, зашел в комнату, — он сидел на стуле возле стола, в той же, запомнившейся мне навек позе: боком, забросив ногу на ногу и уперев подбородок в сложенные на спинке крест-накрест руки.

— Думал, что сбежал от меня? — сказал он усмехаясь. — Наивно! Ну-ну! Куда ты от меня денешься...

Он разогнулся и, опять как тогда, откинулся назад, оперся спиной о стол.

— Брось в меня чем-нибудь, — сказал он. — У тебя это славно выходит.

Я сел на тахту прямо у входа в комнату, смотрел на него и молчал, меня била дрожь, и мне уже было непонятно, от чего я дрожу: от холода или от ужаса, что все это со мной начинается вновь.

— Давай поговорим, — сказал он. — Что ты все молчишь, это ведь в конце концов и невежливо. Давай поговорим, скажем, о счастье. Что такое счастье и как вы его понимаете... — дразнящим тоном насмешливо произнес он. — Так как ты его понимаешь?

— С какой стати я буду с тобой рассуждать о счастье? — с трудом ворочая языком, выговорил я.

Он так и вскинулся, всем своим видом выказывая восторг.

— Превосходно! — сказал он. — Превосходно! То есть ты подразумеваешь таким образом, что счастье — это некая такая категория, которая не подлежит обсуждению. Так? То есть счастье — это нечто само собой разумеющееся, что тут и обсуждать!

— Я этого не говорил! — закричал я. Я не хотел вообще ничего говорить, но как бы против воли даже вот закричал, до боли в ногтях вцепившись в край тахты.

А может быть, это мне лишь казалось, что я кричу? Может быть, мой крик, коль скоро все то, что говорил он, было лишь в моем мозгу, тоже звучал внутри меня и мне только казалось, что я кричу в яви?

— А между тем понятие счастья так запутанно, — не обращая внимания на мои слова, сказал он. — Вот ты добился своего. Выбросил блокнот, да так, что с него все смыло, а потом — нет, нашел да все восстановил — и вот добился... Может быть, ты получишь даже Нобелевскую. А? Нет? Ну почему же? — отвечая самому себе, засмеялся он. — Если будут предлагать — так отчего же? Но разве человечеству станет лучше от твоего открытия? Разве от всех ваших открытий человечеству сделалось лучше, стало оно счастливее? То-то и оно. Ничуть. Знания — это не счастье, весь этот ваш прогресс — это бег по кругу. Сорок тысяч километров по экватору, — со смешком добавил он. — Древние эллины были не менее счастливы, чем вы. Во всяком случае, не более несчастливы. Но вы не понимаете, что творите...

— Ты! Много понимаешь ты, дрянь паршивая! — снова закричал я и почувствовал, как с губ у меня сорвалась слюна, — нет, я кричал по-самому по-настоящему. — Вот так, отвоевывать, узнавать тайну за тайной, по кусочку, по клубочку распутывать — это и есть счастье, цель и смысл. Ясно тебе, дрянь паршивая?!

— М-да, — сказал он, вновь забрасывая ногу на ногу и вынимая из кармана спички с сигаретами. — Мне остается только утешиться табачком. Род людской запутался, и сколько и как ему ни помогай, он не хочет освободиться от своих заблуждений... Прошу прощения, что не предлагаю закурить, но я же — это ты, как же ты будешь предлагать сам себе?!

Он сидел, пускал кольца, потряхивая ногой, а меня всего мутило, выворачивало наизнанку, и мне мерещился даже запах дыма.

— Пошел вон... отсюда! Вон! — закричал я, вскакивая с ногами на тахту, срывая с себя пальто, в котором так и сидел, и, кажется, действительно намереваясь бросить им в него. — Вон! Вон!

— Ухожу, ухожу, — сказал он, поднимаясь. — Ухожу, что поделаешь. Надо же, какое гостеприимство...

Он бросил окурок под стол, боком, боком, как и в тот раз, когда прошел к соседям, вошел в уличную стену, повернулся на мгновение спиной и исчез.

Утром, едва начался прием, я уже сидел в кабинете врача.

— У вас рецидив, — сказал он. Влажно-карие глаза его смотрели на меня не с участливостью и пониманием, а мрачно и жестко. — Скажите честно, вы принимали лекарства?

— Принимал, — пробормотал я, не глядя на него.

— Ясно! — сказал он. — Если и принимали, то не так, как следует. Давайте тогда в больницу ложиться.

— Я буду, — так же не глядя на него, сказал я. — Буду, правда. Что мне остается...

— Смотрите, — сказал врач. — Вы ведь интеллигентный человек, должны понимать — вам же хуже.

Я вышел на улицу и побрел куда глаза глядят. Впереди меня, с ранцем за плечами, плелся куда-то, загребая валенками в галошах выпавший ночью

снег, мальчишка лет семи. Пальто было ему коротко, шлица уползла у него чуть ли не к лопаткам, и в прорезь ее высовывался и болтался на ходу, как хвост, длинный конец не заправленного, видимо, в петлю ремня.

И тут я вдруг вспомнил, что, когда этот мерещившийся мне лысый человек уходил сквозь стену и повернулся на мгновение спиной, по ногам у него что-то мотнулось... тень не тень... да нет, не тень! Наподобие вот этого ремня у мальчишки, только длинное и на конце скрутившееся кольцом. И что за странные, с широким, округлым и коротким, как у ребенка, носком были у него ботинки?

Когда я открыл дверь квартиры, сердце с бешеной дикой силой колотилось у меня где-то в горле. Я быстро скинул пальто и, боясь признаться самому себе в том, о чем думаю, прошел в комнату и опустился около стола на колени. День был сумрачный, и здесь, под столом, было совсем темно, но мало-помалу глаза мои привыкли, и я увидел в углу, у самого плинтуса, сигаретный окурок.

Потом я догадался включить настольную лампу и поставил ее на пол. Это был действительно сигаретный окурок. Брошенный сюда, он еще некоторое время тлел, и на паркете прожглось овальное коричневое пятнышко.

Я поднял окурок, вышел на лестничную площадку и сбросил его вместе с только что купленными лекарствами в мусоропровод.

Ночной мой гость больше у меня не появлялся.

1978 г.

НОВЫЙ ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД

1

Халтурили всю субботу и воскресенье. В субботу обили восемь дверей, в воскресенье одиннадцать — устряпались, еле волокли ноги. Но настроение было превосходное, ехали в метро — свалились на скамейку, не шевельнуть ни рукой, ни ногой, а внутри так все и блаженствовало. Сороковка с двери, пятнадцать на материал, чистый доход — четвертак, четвертак умножить на девятнадцать... разделить на двоих... хорошо захалтурили.

На кольцевой Афоня делал пересадку. Яблоков слабо помахал ему и остался один. Поезд в облаке грохота несся по черному туннельному чреву, рядом садились, вставали, сменяли друг друга, толклись в проходе люди, — он никого не замечал. Приехать домой, принять душ, развалиться в кресле перед телевизором... эх, если б завтра не на работу, переболтаться денек, расслабиться... но нет, куда денешься, завтра на работу.

Поезд стал тормозить, динамик записанным на магнитофон дикторским женским голосом произнес название его станции, и Яблоков, опершись о колени, крикнув, поднялся. А, черт, тридцать лет, годы, что ли, стали одолевать. Раньше, годика еще два назад, не замечал таких нагрузочек, посидел —

и отдохнул, снова как огурчик, а теперь сядешь, так не встанешь...

Он поднял с пола чемодан с остатками ваты внутри и опустевшим рюкзаком, спросил стоящего впереди: «Выходите?» — тот выходил, ну и отлично, не нужно проталкиваться в этой тесноте, все без лишних затрат энергии...

— Сашка! — позвал откуда-то из толчеи женский голос.

Яблоков вяло поворотил голову в сторону голоса. Вот ведь, хочешь не хочешь, а обязательно посмотришь, кто это там позвал. Вдруг и в самом деле тебя.

Но и в самом деле звали его. Женщина в большой лохматой лисьей шапке, когда посмотрел на нее, подмигнула ему, улыбаясь, — «ну привет!» — он смотрел на нее, не узнавая, и она укоризненно-весело сморщила губы: «Ну-у, в чем дело?!»

И по этим ее сморщившимся губам он узнал: а, да-да, конечно, вон это кто... ну надо же, лет десять, десять, да... целую зиму она ходила в их компанию, очень он хотел добиться ее благосклонности, очень нравилась... но не добился, не снизошла, с Афоней, вот с тем, кажется, покрутила... как ее только зовут... надо же, забыл!

Поезд вынесся под светлые станционные своды, встал, качнув всех вперед, и двери с легким быстрым поскребыванием распахнулись.

Женщина ждала его. Стояла, отойдя немного в сторону, у колонны, подпиравшей свод, смотрела на него и с веселой укоризной морщила губы. Надо же, черт: десять лет прошло, а она все так же морщит их. Была девочкой восемнадцатилетней, а сейчас... а впрочем, и сейчас как девочка, только тогда свежая да розовая, а сейчас пообмятей, пообкатанней, да румянец — явно без косметики не обошлось. Но и сейчас как девочка, и сейчас... В вагонной толчее он не разобрал, в чем она на

плечах, теперь увидел: отличное модное кожаное пальто, туго перехваченное в талии кожаным ремнем, черно, лаково поблескивающее, — соблазнительная женщина, черт бы ее...

— Привет! — сказал Яблоков, опуская чемодан на пол. — Сколько лет, сколько зим...

— Да неужели считал? — спросил женщина.

Очень уж как-то зазывно это было сказано, и Яблоков усмехнулся про себя: сексуально озабоченная, что ли?

— Что ты, — сказал он. — Летели — не замечал.

— Чего добился?

— А ты чего? — ответно спросил он. Не нравились ему подобные штучки, когда разговаривали так, будто сами где-то на небесах стояли, будто на небеса вознеслись, и вот оттуда, с небес... Да и что вообще за вопрос — «чего добился?» — уж «как живешь?» — туда-сюда, а «чего добился»...

Женщина засмеялась.

— Ох, Сашка, — сказала она. — Ну ты прелесть, воспоминания меня не подводят. Ты помнишь, как ты за мной ухлестывал, а? — Она сморщила губы, ожидающе глядя на него.

Яблоков оглядел ее. Как девочка, точно как девочка... Попытка не пытка, решил он:

— Мужчину воспоминания не кормят. Мужчине топливо нужно постоянное... — Он помолчал, выжидательно глядя ей в глаза, она не отвечала, и он сказал: — Пойдем, посидим у меня? Повспоминаем. — Он выделил это слово.

Женщина снова не ответила. Стояла и смотрела на него и все так же морщила, собирала весело гузкой губы.

— Н-ну? — взял ее за руку, привлек к себе Яблоков.

Женщина не отстранилась.

— А телефон у тебя есть? — спросила она затем. Так, будто он пригласил ее позвонить и она шла к нему только из-за звонка.

— Польский, красный, — сказал Яблоков. — Устроит?

— Если красный, то да, — сказала женщина.

Яблоков снова усмехнулся про себя: тертая бабенка.

От метро до его дома было минут десять. Пуржило, секло лицо колким февральским снегом, пустой почти чемодан казался тяжелым, и Яблоков пожалел, что позвал женщину. Так, не очень того желая, да вообще не желая, механически, попытка не пытка... ну а сейчас что уж делать. Не отсылать же обратно. «А, — решил он, — буду как без нее. Обидится — черт с ней!..»

Женщина, раздеваясь с интересом и любопытством оглядывалась, Яблоков не помогал ей, сходил в комнату, на кухню — включил везде свет, повел рукой:

— Располагайся, мадам, где хочешь. Хочешь — пластинки покрути, вон у меня стерео, рядом с баром. А я сегодня устал как скотина, я в ванную ушел.

Он пробыл в ванной столько, сколько ему требовалось. Налил в ванну воду, сидел, отмокал; потом не торопясь стоял под душем, поворачивался грудью, спиной, покряхтывал от удовольствия... минут сорок пробыл. Музыка за дверью никакой не слышалось, и он подумал, что, наверно, ушла.

Но когда, запахнувшись в халат, распаренный, чувствуя блаженство в каждой разогретой косточке, вышел из ванной, застал картину, какой никак не ожидал: журнальный стол в комнате был накрыт, блестели тарелки, блестели лежавшие рядом с тарелками ножи и вилки; на кухне шкварчали сковороды, оттуда тянуло запахом жареного мяса. «Ну дает!» — изумился Яблоков.

— С легким паром? — вошла к нему в комнату женщина. И, прежде чем Яблоков успел ей ответить что-либо, сказала: — Выдели мне полотенце, я тоже

освежусь. — Он выделил, достав из шкафа, и, уходя, в дверях ванной уже, она приостановилась: — За мясом своим теперь сам следи. Передаю бразды правления. — И подмигнула скрываясь, — так точно, как в метро там, когда взгляд его нашел ее, окликнувшую «Сашку»...

«Ну тертая, ну тертая!» — восхитился Яблоков, отправляясь на кухню. Он начал предвкушать близость с этой нравившейся ему десять лет назад женщиной-девочкой, а оттого, что был расслаблен и вял, предвкушение имело какой-то особый, незнакомый, какой-то томительно-сладостный вкус.

— Живешь один? — спросила женщина, когда, освеженная, вытершаяся и вновь одетая, вышла из ванной и сели за накрытый ею стол.

— Когда как, — сказал Яблоков.

— В смысле иногда, вот как сейчас? — уточнила женщина.

— Иногда так, иногда эдак, — ответил Яблоков.

— А эдак — это как? — спросила женщина весело. И, не дожидаясь ответа, повела вокруг взглядом. — Ничего вообще, умеешь жить.

Яблоков сидел, развалиясь в кресле, смотрел на нее и пытался вспомнить: да как же ее зовут? Ничего не вспоминалось. А ведь нравилась тогда, десять лет назад, чертовски нравилась, так завидовал Афоне, что ему обломилось, ревновал, жжение в груди... и вот не помнит.

...Женщина позвонила куда-то, сказала, что ночевать сегодня не придет. Яблокову нравилось обычно при свете, но она настояла на том, чтобы погасить, и так, в темноте, раздевалась, в темноте легла к нему под одеяло... И все почему-то, когда ласкались, обнимаясь, целуясь, все приговаривала с каким-то упоением, с каким-то непонятным ему жарким восхищением:

— Какой ты волосатый!.. Ой, какой ты волосатый! Ой, ну какой волосатый, волосатый какой, шерстяной прямо!..

Утром Яблоков, бреясь в ванной перед зеркалом, вспомнил вдруг эту ночную ее приговорку. Он оглядел себя и удивился: в действительно, черт, заволосател что-то по-страшному. В юности вообще был гладкокожий, потом стало расти, но нормально, не так чтобы мало, но и не так чтобы больше, чем у других, сейчас он увидел: руки, грудь, живот, плечи, ноги — все заросло, и как-то густо, плотно, ну уж не шерсть, конечно, но что-то по-страшному, по-страшному.

Женщина встала раньше его, когда у него еще и глаза не разлеплились, и была уже умыта, одета, причесывалась в прихожей перед зеркалом, завтрак, кажется, в отличие от ужина, она не собиралась готовить, но Яблоков по этому поводу не беспокоился: всегда у него на всякий случай лежали в холодильнике яйца, — бей и жарь яичницу.

Так после и сделал, обоим было к девяти, что ему, что ей, и вместе вышли из дома.

Перед выходом она написала на листке свой адрес с телефоном и попросила то же от него. Яблоков продиктовал и, продиктовавши, усмехнулся:

— Для признания отцовства суду необходимо доказательство семейной жизни. Доказательство, как правило, — ведение общего хозяйства.

Она молча поморщила губы: «Что вы говорите? Неужели?!»

Он глянул на ее листок. «Борзунова Сусанна Васильевна». Сусанна, Сана... Неужели ее звали Санной? Вроде бы так. А может, и нет. Черт сейчас вспомнит.

С утра у него была младшая группа мальчиков — так, серая каша еще, кто-то хуже, кто-то лучше, а в общем, никто еще не стоит никакого внимания, не прорезался еще никто, не понял еще ни один, что спорт — это профессия, он тебя накормит и напоит и спать на мягкую постель уложит, еще просто

занимались, — провел с ними разминку, разбил на пары, дал индивидуальные задания — кому крутить «восьмерку», кому проход под кольцо слева, кому справа — и пошел в соседний зал к Афоне.

У Афона с утра тоже была младшая группа, тоже развел всех на самостоятельную работу — одни лупцевали грушу, другие, по очереди надевая на руку плоскую «лапу», парами отрабатывали приемы, — а сам он в углу зала занимался с перспективным парнишкой из средней группы, прыгал, комментировал каждый удар парнишки: «Раскрылся! Вот так! Отлично! Не торопись!левой-левой... Опять раскрылся!» — так прыгал — весь в мыле был.

— Хорош! Со скакалкой пять минут — и на грушу, — сказал он парнишке, завидев Яблокова, снял перчатки, бросил их на скамейку у стены и, утирая со лба пот, подошел к Яблокову: — Салют! Бездельничает, князь?

— Салют, — сказал Яблоков. — Безделье, князь, большое искусство, им нужно владеть в совершенстве. — И спросил, обнимая Афона за плечи: — Слушай, ты помнишь, у нас в компашке, курсе на третьем мы учились, девочка такая шилась, откуда-то из текстильного, что ли... крашенная блондинка такая, в юбке все выше пóпы ходила... у тебя вроде с нею еще получилось: Сусанна Борзунова, да?

— А, Санка! — вспомнил Афоня. — Ну-ну! Она не из текстильного, она из народного хозяйства имени Плеханова... Ну и что? Встретил, что ли?

— Встретил, князь, представляешь... — Яблоков, посмеиваясь, рассказал о вчерашнем происшествии, и Афоня присвистнул:

— Смотри-ка ты, не ржавеет девка. Любопытно, а кем она сейчас?

— А фиг ее знает. — Яблокову было неинтересно об этом. Ему просто хотелось рассказать о случившемся вчера да проверить, действительно ли ее Сусанной. Выходит, действительно. — Хорошо тебе, — сказал он, глядя, как перспективный паренек невда-

леке, пружинисто прыгая, со звоном дубасит по груше. — Индивидуально все-таки работаешь, глядишь, с кем-нибудь и прорвешься. Не то что у меня. Команду целую не составишь. Воспитал — и вытаскивают их у тебя, как репку из грядки.

— А, брось! — махнул ракой Афоня. — То же самое. Бьешься, бьешься с кем-нибудь, как пошел выигрывать — все, тут же его у тебя забрали, глядишь, за границу его Петр Анисьмыч везет.

— С-суки! — выругался Яблоков. — Не повезло мне — ногу тяжело сломал. Не сломал бы, может, и сейчас бы еще играл. Может, в сборную бы вошел.

— Да нет, для сборной у тебя рост маловат. — Афоня улыбнулся.

Яблокова задела его улыбка.

— А сейчас, князь, ставка на гигантов прошла. По площадке и двигаться надо. А если б и не вошел в сборную, кстати, на тренерской теперь я бы точно с командой работал, а не с шелупней возжался...

— Это так, — согласился Афоня.

Занятия кончались сегодня почти в одно время, уговорились встретиться после них, и Яблоков пошел к себе.

В зале стояли шум и гам, звонко в пустом его громадном пространстве стучали об пол мячи, кто делал что — совсем не то, что он велел, один, высокий худой мальчишка по фамилии Деревянкин, изображал «мастерский» проход: стремительно под самый щит и на всем лету, не приостанавливаясь, не глядя, — эдаким небрежным крючком мяч в корзину. Прием был не по нему — мяч даже не ударился о кольцо, чиркнул лишь и со звоном запрыгал по полу.

— Деревянкин! — позвал Яблоков.

Мальчишки брызнули по своим местам, принялись старательно отрабатывать заданное.

Деревянкин тоже было рванулся к своему щиту у боковой стены, Яблоков его остановил.

— Деревянкин! — снова позвал он. — Подойди ко мне. Ты для чего сюда ходишь? — с металлом в

голосе спросил он, когда Деревянкин подошел и остановился, опустив голову. — Заниматься ходишь или представления показывать? Подними голову! — прикрикнул он. — Умеешь шкодить, умеи в глаза смотреть!

Деревянкин поднял голову. Глаза у него были перепуганные, боящиеся.

— А чего я шкодить... — пробормотал он. — Все это делали...

— Ты еще, оказывается, и ябеда! — громко, чтобы слышали другие мальчишки, сказал Яблоков. — Ну-ка, дай мяч.

Деревянкин протянул мяч, и Яблоков, удобно обхватив его всеми пятью пальцами, сильным кистевым броском метнул мяч в дальний угол зала. Мяч полетел, гулко ударился о пол, подпрыгнул, пролетел, снова ударился, покатился...

— Иди, — отпустил Деревянкина Яблоков.

Деревянкин, старательно высоко вскидывая колени, побежал за мячом.

Яблоков смотрел ему вслед с отвращением. Вот кто пустой совершенно труд — это Деревянкин. Те, кто к пятому классу вымахивают такими длинными, больше потом не растут. Почти всегда. Девяносто девять случаев из ста. Такими и остаются. И хотя мода на гигантов прошла, метр-то восемьдесят в любом случае надо иметь. А у этого метр шестьдесят пять, на том и точка. К поре, когда начнутся соревнования, к седьмому, к восьмому классу, его перегонят все...

— Подойди сюда, — поманил он Деревянкина рукой, когда тот, вытащив из-под скамейки мяч, пошел к своему кольцу.

Деревянкин подошел, и Яблоков, взяв у него мяч, снова метнул в угол.

— И-ди! — с презрением сказал он и, не глядя больше на Деревянкина, вытащил из заднего кармана спортивного костюма свисток, засвистел: — Построиться всем!

Прием с мячом был испытанным. Сделать так два-три раза — и парнишечка больше не появится. Да его в раздевалке свои же ребята и затюкают. Кто смешон, тот слаб. Пусть выкатывается. К чертовой матери, от балласта надо избавляться сразу же, не тянуть. Нечего тянуть...

Когда с Афоней выходили на улицу, подле крыльца, задом к стене, парковался на своих «Жигулях» Аверкиев. Низ у машины, особенно у задних крыльев, был неопрятно грязен, некрасиво это выглядело, ну да хорошая машина, она и в грязи что куколка, у Яблокова, пока смотрел, как Аверкиев паркуется, как выбирается наружу, хлопает дверцей, проверяет, надежно ли закрылась, прямо-таки заныло сердце. Черт его... вот ведь одному все, а другому — шиш под нос, и жуй всухомятку. Когда-то они с Аверкиевым начинали вместе играть за команду общества, и он шел даже впереди Аверкиева — и больше мячей, и квартиру получил раньше, — но потом вот сломал ногу, и полетела жизнь вверх тормашками. А Аверкиев играл да играл, стал комсоргом команды, ушел — сделали его вторым тренером... все, все имел в свои тридцать один, что только можно; у него, у Яблокова, и половины того не было.

— Салют, ребята, салют! — сказал Аверкиев, подходя к Яблокову с Афоней. — Отстрелялись уже? Завидую. А мне вот начинать только.

— Ладно, завистник, — сказал Афоня. — Было бы чему завидовать.

— Не скажи, старичок, не скажи, — закачал головой Аверкиев. — Ответственность на мне какая... знаешь, сколько весит?

«Ну метет языком, ну метет!» — с невольным восхищением подумалось Яблокову.

— Когда продавать будешь? — спросил он Аверкиева, кивая на машину. — Чего тянешь? Не вздумай, гляди, заначить!

Аверкиеву руководством общества была обещана новая машина, и Яблоков по уговору покупал у него эту. Конечно, во всех смыслах лучше новая, но пойдди ее купи, новую. Четыре, пять от силы дадут на тренеров в год, и все, конечно, расходятся по верху. Через магазин пробовал купить два раза, ходил по месяцу, отмечался — очередь пятьсот восемьдесят первая, а машин триста восемьдесят...

— Нет, старичок, нет, не заначу, — успокаивающе похлопал Аверкиев Яблокова по плечу. — Твоя — договорились. Свою цену, больше не прошу. Просто все не дают. Как дадут — тут же твоя.

— Гляди! — погрозил пальцем Яблоков, и они с Афоней стали спускаться с крыльца, а Аверкиев за спиной открыл дверь, и она захлопнулась за ним.

— Ну вообще он ничего, не заносится, — сказал Афоня.

— Да вообще ничего, — нехотя согласился Яблоков.

Он бы, доведись ему на место Аверкиева, тоже не заносился б. Чего заноситься. Себе дороже...

День вышел превосходным. Встретились со знакомым журналистом, он был с приятелем, провел всех в Домжур, сели там в ресторане за столик на возвышении, в уголке, самое такое великолепное место, чудесно так посидели — прямо как в финской бане побывала душа, чудо как отмякла; приятель журналиста оказался специалистом по экстрасенсах, ну тем, что могут руками увидеть у тебя камни в печени и язву в желудке, и повез после ресторана на квартиру, где показывали про это дело слайды, а там и про летающие тарелки завязались разговоры, и про Тибет с Гималаями, и про Гришку Распутина... — вышли в третьем уже часу ночи, ловили такси, не поймали, уговорили частника, согласился за две красных до Афони.

— Эх! — пожалел Афоня, когда поднимались в лифте к нему на этаж. — Надо было поуламывать. Наверное, и за одну бы довез.

— Брось, не думай, — осадил его Яблоков.

Он не жалел о выкинутых деньгах. Вот это-то он и ценил, этим-то и дорожил в жизни — такими удовольствиями, как нынешнее, не ставил их в ряд даже с бабами. Что бабы... для тела, тело ублажить, а тут для души. Как в воздух тебя вознесло, как в космос, как оттуда, из черной этой немоты, глянул на самого себя на земле...

И как началось с понедельника, так и вся неделя получилась такой. Во вторник позвонил — оказывается, да, можно подъезжать, приготовил «жучок» книги, все достал, какие заказывал, даже макулатурные: «Королеву Марго» и «Анжелику», оба тома. В среду с Афоней и в самом деле попали в финскую баню — была у общества, но не для них, однако раз-другой в месяцок удавалось проскочить, и вот как раз пало на эту среду; в бане потели вместе с одним мужичком, оказалось позднее, очень крупным хозяйственником, рассказывали за пивом об экстрасенсах, о телекинезе, о слайдах, которые посмотрели, мужик просто истек слюной: «Ребята, в пятницу вечерком у меня на даче! У меня жена спит и об этом сны видит. Обязательно, ребята! Хорошую компанию сварганю, и вы расскажете, и вам интересно будет».

Будет ли, не будет — это, конечно, бабушка надвое сказала, ну да новое место, новые лица — это, в конце концов, всегда недурственно. Тем более за город в феврале. Да на машине тебя везут...

Но и действительно вышло недурственно. Был там один с бородой, он рассказал, что на Западе сейчас очень много работают над теорией происхождения человека, дарвиновская теория лопнула уже, оказывается, по всем швам, судя по всему, все-таки из космоса занесен человек, посеян, так сказать, и еще рассказал, что все эти теории насчет увеличения углекислого газа в атмосфере и оттого потепления, так что растают льды в Северном Ледовитом океане, — тоже опровергнуты, новый лед-

никовый период начинается, вот что. Самый натуральный, уже лет тридцать как начался, об этом и метеорологические данные говорят, и все расчеты.

Яблоков не очень поверил.

— Да ну бросьте вы! — сказал он.

Бородатый развел руками:

— Подобные вещи всегда трудно принимаются человеком...

Хозяева оставляли ночевать на даче, но с самого раннего утра на завтра нужно было на дачную халтуру, и поехали в Москву. В четверг удалось отовариться дерматинном всяких цветов с запасом месяца на три, так что во всех смыслах превосходная вышла неделя...

Когда утром приехали «на объект», обнаружили, что их листочек на подъездной двери с предложением к жильцам записывать номера квартир заменен другим, — кто-то решил конкурировать. Но жильцам было все равно, чей листок, и они записывались. Нынче желающих оказалось двадцать один. Если попытаться за субботу-воскресенье — упахаться вусмерть. Однако стоило того.

Конкуренты объявились, когда делали уже третью дверь. Тоже, само собой, двое, молодые энергичные ребята, ну точно они с Афоней лет десять назад. Вошли в холл, в котором, положив снятую с петель дверь на табуретки, Яблоков с Афоней стучали молотками, постояли у порога, и один, повыше, помощнее, сказал возмущенно:

— Ну, мужики, ну пополам хотя б!

Яблоков бросил молоток на мягко спружинивший дерматин и пошел к ним.

— Видишь?! — выставил он кулак и покрутил им. — Шлепай, милый, пока жив, на чужое не зарься. И в следующий раз, где бумажка наша висит, не суйся. Сейчас простим, в другой раз голову свернем!

Он знал, как надо говорить, большой опыт был у него на этот счет с пацанами, — ребятки не пикнули. Здоровые были ребята, в случае чего, черт

знает, кому бы обломилось, но попятиться, попятиться и слиняли тихо.

Афоня, когда Яблоков возвращался к нему, смотрел на него с каким-то потрясенным восхищением.

— Слушай, — сказал он, — ну ты заволосател, я сейчас на кулак твой поглядел! Ну как медведь! Кого хошь испугаешь. Даже я, как поглядел, испугался.

Яблоков посмотрел на свои руки.

Он был светловолос, немного не блондин, но руки так густо взялись волосом, что вместе, в гущине, волос казался уже и темным.

— Да, не говори! — сказал он. — Прет что-то, как на обезьяне.

И, сказавши это, он вспомнил ту переночевавшую у него неделю назад женщину-девочку из юности, то, как она приговаривала, ласкаясь: «Волосатый, ой, какой волосатый! Ой, ну какой волосатый, волосатый!..» — и вдруг почувствовал в себе острое, мучительное, как боль, желание вновь услышать от нее это.

Она не позвонила ему за всю неделю ни разу, он временами вспоминал ее, но так, между прочим, вспоминал — и забывал. У него был сейчас роман с одной студенточкой из педагогического, чертовски была прелестная девчонка, заканчивала нынче институт, хотела выйти замуж, чтобы остаться в Москве, не ехать по распределению, и он сам весьма основательно, весьма крепко подумывал, а не жениться ли. Тридцать один уже все-таки, четвертый десяток... хотя черт его знает! Не сама женитьба, конечно, страшила, а кандалы семейные...

3

— Я знала, что ты позвонишь, — сказала Сусанна, женщина-девочка из юности, и, оттопыривая нижнюю губу, выдохнула дым к потолку. — Непременно должен был позвонить.

Они сидели на антресольном этаже кафе-мороженого, где она назначила ему свидание; когда он пришел, на столике уже все стояло: конфеты в блюдце и в белых металлических вазочках на высокой ножке две порции мороженого. Время было переходное от дневного к вечернему, и кафе еще пустовало, голые столики вокруг, спокойно, сумрачно — обстановка, располагающая к неспешному, размягчающему разговору.

— Это почему же — непременно? — спросил Яблоков. «Высокого, однако, бабенка мнения о себе», — подумалось ему с усмешкой.

— Флюиды, — весело сказала Сусанна. Снова затянулась сигаретой, снова выпустила дым вверх и, глядя Яблокову прямо в глаза, спросила с улыбкой на губах, то, о чем уже спрашивала тогда, при встрече в метро: — Ну, так чего добился в жизни?

Яблокова вдруг пронзило: нет, она не простая бабенка, не во мнении тут о себе дело, не в нем... и этот ее вопрос: чего добился? — не пустой, не бессмысленный вопрос, не так просто она его повторяет, она с какой-то идеей баба.

— А ни черта, — сказал он. — Не подфартило. Я ведь спортсмен, баскетболист, ты не помнишь, конечно. Хорошо шел... но ногу сломал, и неудачно, выбыл на обочину. Деньгу имею, не слюняй, без денег не живу, но ведь не из одних денег жизнь...

Сусанна смотрела на него через столик внимательным, неотрывным, каким-то враз построжевшим взглядом. Рука ее с сигаретой была около виска, она подносила сигарету к губам, затягивалась, снова отводила руку к виску, и Яблокова эта ее рука поразила. Ему показалось сначала, будто она изрядлена, изрыта будто бы оспой, но нет, какая оспа на руках, да и не похожа на оспу, мелконькая такая рябь... он умолк, потянулся через стол, взял ее руку и поднес поближе к глазам.

Сусанна, неудобно изогнувшись, чтобы не задеть рукой вазочки с мороженым, спокойно позволила

ему это сделать и, когда он отпустил руку, спокойно взяла ее обратно и вновь затянулась.

— Что дальше? — с этим же спокойствием спросила она.

Яблоков не ответил. Он посмотрел на свои руки. Черт, а! Странность какая...

То, что ему в сумеречном свете кафе показалось какой-то рябью, было густой, плотной, шероховатой щетинкой. Точно так на щеках, когда не поскоблишься день-другой — и вылезет. Ничего подобного, когда она была у него неделю назад, он не заметил. Наоборот, такой гладкой показалась кожа, такой чистой, такой мягкой... Она что, бреет, что ли?

— А я сегодня специально так, — словно отвечая на его безмолвный вопрос, сказала Сусанна. — Молодец, увидел. Я говорю, флюиды. Я тебя в метро, думаешь, узнала — и позвала оттого? Да я тебя ни в жизнь бы не позвала так просто. Из-за того лишь, что узнала. Ну узнала! И что? Что было, то ушло, возвращаться незачем. Я тебя сразу поняла!

— Как поняла? — выговорил Яблоков. Сам он ничего не понимал. Сидел, оглушенный, и тупо смотрел, как ходит ее рука с сигаретой в темной ряби щетинки ко рту ото рта, ко рту ото рта...

— Нюх! — с тою же веселостью, что произносила «флюиды», воскликнула Сусанна. — Нюх, Сашка! Знаешь, какой у меня сейчас нюх? Собачий! Я одного через бетонную стенку в доме вынюхала!

Яблоков почувствовал что-то вроде озноба. Будто кто-то маленький, юркий пробежался по его телу, взворошив волосы, и они вздыбились под одеждой.

— Что ты, кого ты... вынюхиваешь? — смог выговорить он.

— Нас! — сказала Сусанна, и лицо ее вновь построжело и как бы обтекло вниз, она сунула сигарету в пепельницу и сплющила ее там в плоское, прорвавшееся изнутри остатками табака коленце. — Нас! — повторила она, пригибаясь над столиком, приближаясь лицом к Яблокову.

— Кого... нас? — опять с трудом — еле прямо разжимались губы — вытолкнул из себя Яблоков. И понял, нет, не то чтобы понял, но как пробило. Осенило догадкой. Поэтому ей понравилось, что он такой волосатый? — А ты... что? — спросил он запинаясь. — Ты бреешь, — показал он на ее руку, — бреешь тут, что ли, в самом деле?

— Я ж не мужик, я не могу так ходить, — показала она в свою очередь на его руки.

Яблоков мало-помалу начал приходить в себя. Какого черта!.. Что его вдруг прошибло!.. Да она рехнулась на этом — и вся разгадка. Вынюхала она!..

— Ну, мадам, знаешь, — сказал он, — мужику волосатым — нормальное дело, а ежели у тебя прет — я тут ни при чем. К врачу пойди.

У Сусанны, перегнувшейся к нему через столик, было все то же строгое, будто бы обтекшее вниз лицо.

— Дуришь, Сашка, — сказала она. — Гляди, продришь, поздно будет. Потом на коленях приползешь — не примем. В одиночку не проживем. Нам объединяться надо. Чтобы силу друг другу дать. Чтобы самим силой стать. Чтобы мы себя лучше их всех чувствовали, чтобы нам хозяевами быть, а не пациентами у врача, отбросами несчастными.

Она так говорила, такая неистовость, такая сила была в ее голосе, что Яблокова вновь прошибло ознобом.

— «Нас», «нам», «мы», — сказал он, попытавшись засмеяться, и услышал, какой нервный вышел смешок. — Кто это — «мы»-то? Тоже, вижу, не очень тебе пофартило в жизни.

— Дуришь, Сашка, ох дуришь... — покачала головой Сусанна. — Не пофартило? Считаю, не пофартило. Я, милый ты мой, хлебнула — тебе такого не снилось. Полгода под следствием прожила. Веселенькая жизнь? В тюрьму не попала, да магазин мне теперь никто не даст. А не хуже других, нет, просто верхним товарищам на ком-то принципиальность проявить нужно было. Пало на меня.

Злюсь я, что на меня? Злюсь. Ненавижу их, которым пофартило? Ненавижу. И буду ненавидеть — мой кусок едят. Почему им с маслом, а мне всухомятку? Ты, — потянулась она к нему через стол, взяла его руку в свои и легонько провела несколько раз ладонью по волосам на запястье, — ты пятый, которого я нашла. И баб у меня семь человек уже, и все ищут.

— Вынюхивают! — повел Яблоков из стороны в сторону носом. «Рехнутая, точно рехнутая!..» — опасно стучало в голове сквозь продиравший озноб, и не было уже в нем никакого желания вновь оказаться с нею в постели и чтобы она шептала ему запыленно: «Волосатый, ой, какой волосатый!» — одно только осталось сейчас желание: избавиться от нее.

— Зря ты смеешься, Сашка, — сказала Сусанна, отпуская его руку, и выпрямилась, взяла из вазочки с мороженым ложку, отделила от белого, облитого красным клювенным вареньем шарика небольшой кусочек и аккуратно отправила в рот. — Так и будешь, милый ты мой, всю жизнь свой кусок всухомятку грызть... — Она доела шарик, занесла было ложку над другим и раздумала, бросила ложку обратно в вазочку. Достала из сумки, висевшей на спинке стула, перчатки, натянула их на руки и встала. — Дождись, расплатись, — сказала она и пошла к лестнице.

Яблоков сидел и слушал спиной постук ее каблучков вниз. Вот они сошли с лестницы, удаляются, исчезли — ушла к раздевалке, вот появились вновь.. Он не выдержал, привстал, дотянулся до перил и глянул вниз. Сусанна в своем черном, поблескивающем, туго перехваченном в талии кожаном пальто как раз выходила из зальца в коридор, — увидел ее, и она исчезла, и затем, через мгновение, — тягуче-мягкий всхлоп входной двери.

Яблоков облегченно и обессиленно опустился на свое место. Легко отделался. Пронесло. Могло быть и хуже. Рехнутая, самая настоящая рехнутая!.. Свяжись с такой... Пронесло.

Перед майскими грянула вдруг жара, и жуткая для этой поры, несусветная какая-то жара: под тридцать. Враз полезла, поперла зелень, деревья в один день окурились зеленым дымком — все вокруг так и полыхнуло зеленым пламенем, радуя, освежая, лаская глаз, но сама жара что-то тяжела была, тяжела — никогда прежде так плохо не переносил ее. Да просто не замечал прежде. А тут, в одной тенниске на голом теле и джинсах — а будто в шубе, обиваешься потом и язык наружу, как у собаки.

В докладе на предмайском собрании председатель общества уделил Яблокову целую минуту. Дела у Яблокова были нынче отменные. Старшие мальчики, которых он вел, на весенних соревнованиях заняли второе место, средние девочки, тоже его, — вообще первое, а младшие девочки — третье. В общем, все призовые места имелись. У Афони, у того нынче вышел сплошной провал, фамилии его председатель не назвал, но бесфамильно, так сказать, отметил: «Не мешало бы...» Афоня сидел рядом посмурневший, посеревший и сжимал-разжимал кулаки.

Яблоков после собрания решился, подошел к председателю — была не была, железо куют, пока горячо, — заговорил, поблагодарил и стал о том, что хорошо бы ему и дальше опекать этих старших мальчиков, когда они пойдут выше, ну тех из них, кто пойдет; председатель дал выговориться, молчаливо, одобрительно кивая, как соглашаясь, потом положил руку на плечо и таким же одобрительным тоном сказал с одобрительной улыбкой:

— Все будет нормально. Александр Федорович, не беспокойтесь. Ребята в хорошие руки попадут, не испортят их, Аверкиев тот же, знаете ведь его, вместе играли. Так что не беспокойтесь.

Будто не понял ничего!..

Афоня ждал в коридоре у выхода. Поехали в центр, зашли в шашлычную, сели там, взяли по

шашлыку, сидели, разговаривали, жаловались друг другу.

— Ну как по голове тебя тюкают, как по голове! — ударяя кулаком о кулак, говорил Яблоков. — Только попытаешься, хочешь только высунуться — тут же тебя по голове!..

— Нет, все, я уже плюнул, — глядел на него, прикладываясь к стакану с боржомом, пил, глоток за глотком, Афоня. — Уж как вышло. Пирог один, едоков много, кто уж какой кусок себе захватил...

— Нет, как по голове! — послушав его, ударял кулаком о кулак Яблоков.

Но была радость в его жизни — эта студенточка из педагогического. Он вспоминал ее, и мысль о ней смягчала в нем темную, черную горечь от разговора с председателем. Прелестная девчонка, прелестная, что ни говори!..

Как раз нынче вечером она должна была приехать к нему, и ушел из шашлычной, не дождавшись кофе, оставив Афоню расплачиваться, — пора было уходить, чтобы вовремя оказаться дома, чтобы не опоздать к ее приходу, черт побери, думалось Яблокову, когда несся в такси домой, оказывается, дорожит ею!..

А ведь женюсь, прыгнул он, поднимаясь уже в лифте на свой этаж. Женюсь, и нечего больше тянуть, после майских прямо надо будет пойти подавать заявление. Тем более, что и некуда больше тянуть: госэкзамены у нее совсем на носу, два месяца — и укатит куда-нибудь в тьмутаракань!..

Студенточка, однако, не пришла. Зашторил окно для полумрака, зажег свечу в кованом настенном подсвечнике, включил на негромкий звук стерео, чтобы лилась, разливалась, как бы из самого воздуха возникая, музыка, стол накрыл, — она все не появлялась. Случалось, она запаздывала, и на полчаса, и на час даже — ну, на то и женщина, — но всегда, в конце концов, приходила, а тут уж и два часа минуло, уже и по-настоящему стало сумеречно в комнате без всяких штор, а ее все не было.

Яблоков затушил свечи, выключил проигрыватель, спустился на улицу и снова стал ловить такси.

Именно сегодня, именно сегодня, крутилась в голове мысль, когда снова несся в такси, только солнце уже зашло и начал гаснуть закат. Именно сегодня, именно сегодня!..

Он не сразу сообразил, почему повторяет и повторяет про себя эту фразу, наконец до него дошло: именно сегодня, когда он решил: надо жениться!

В общежитии на вахте внизу его не пропустили. Вахтерша пообещала вызвать через других студентов, еще сновавших вверх-вниз, и действительно, то одной студентке, то другой наказывала постучаться в такую-то комнату, сказать, что ждут, четверо студентов шли прямо на ее этаж, точно уж должны были стукнуться, — прошло полчаса, она не объявлялась.

— Ну нет, значит, — сказала вахтерша.

Яблоков почувствовал: если сейчас не пропустит, он возьмет вахтершу, скрутит в бараний рог, засунет в ящик стола, за которым она сидит, и полетит наверх через пять ступеней.

— У себя она, я знаю, — сказал он, удерживаясь из последних уже сил.

— А, иди, сходи, — смилостивилась вахтерша. — Эти фуфалки бегают, и не постучались, поди, никто.

Дверь в комнату открыла сама она. Была в халате, с заплетенными уже на ночь в косу волосами, — вовсе и не думала она спускаться, не собиралась никуда.

— О-ой! — вскрикнула она испуганно, увидев его, и отступила назад, попыталась закрыть дверь.

Яблоков не дал ей сделать этого, открыл дверь, отеснив ее в глубь комнаты, и сам тоже зашел внутрь. В комнате, он увидел, были еще две девушки, одна лежала в постели с книгой, другая сидела за столом с конспектами, и обе они глядели на него.

— Пойдем спустимся, — сказал Яблоков.

Она оглянулась на соседок. Спустится, понял Яблоков, не захочет при них.

— Сейчас, — сказала она, — минутку. Подожди в коридоре.

Сумерки на улице были уже совсем предночные, не синева уже, а серая белесая темь.

Они обогнули общежитие и зашли во двор, пошли к темно громоздившемуся глухими, безоконными стенами зданию общежитского спортзала.

— Ну, красавица, — сказал Яблоков, останавливаясь и поворачиваясь к ней, — ты это что, красавица, ты меня что, как мальчика, бегать заставляешь?

Она стояла перед ним, смотрела с напряжением в сторону и кусала губы.

— Н-ну?! — повторил он, шагнул к ней ближе и взял за руку.

Она отшатнулась от него, будто он ее толкнул, и как-то странно выгнулась назад, вывернув вбок голову.

— Отпусти, — попросила она.

— Нет, ты скажи!

— Ну что сказать... — тем же просящим голосом выговорила она.

— То сказать! Что ты меня, как мальчика, бегать заставляешь?!

Она все выгибалась назад и все выворачивала вбок голову, он отпустил ее руку, и ее качнуло назад, еле удержалась на ногах.

— Н-ну?! — снова произнес он.

— Ты знаешь... — кусая губы и по-прежнему глядя в сторону от него, проговорила она, — я думаю... так будет лучше... я поняла... не надо нам больше. Все, не надо... я все, я не могу больше...

«Именно сегодня! Именно сегодня!» — опять полыхнуло в Яблокове.

— Что ты не можешь? — грубо спросил он.

— Ну вот все... ну все... что было... все, понимаешь?..

— Нет, — сказал Яблоков, двигая на щеках желваками, — не понимаю. Как это так: вдруг раз — и все? Что, кто-то замуж пообещал? Так и я тебя возьму.

— Нет, — сказала она, — нет, не в этом дело...

— Так а в чем, в чем? Объясни! Объясни — и тогда свободна, но объясни!

Она моляще покачала головой:

— Нет... ну, не надо!

— Нет, красавица, без этого не отпущу! Уж без этого-то не уйдешь, красавица!.. — Он снова взял ее за руку, подтянул рывком, обнял и тесно прижал к себе. — Ну?!

Она молчала, только тянулась из его рук, выгибалась назад, отворачивала в сторону лицо, и были на нем мука и отвращение.

Яблокова как пробило.

Дня три назад это случилось, — когда была у него в последний раз; в тот именно день, что принес с собой эту жару.

— Слушай, — сказала она, потянув носом, — что это у тебя так псиной пахнет? От соседней откуда-нибудь, что ли?

Яблоков тогда тоже приняхался. И ничего не почувствовал.

— Кажется тебе.

Но она все морщилась с отвращением, глотая слюну, и было видно по ней — едва ее не тошнит.

И вот сейчас — то же самое.

— Тебе что, — проговорил Яблоков, отпуская ее, — тебе кажется, что это от меня... псиной?

Лицо ее с уклоняющимися от его взгляда глазами было искажено мукой и отчаянием.

— От меня?! — крикнул Яблоков.

И ударил ее. Не глядя куда, в это мутно белевшее в предночных сумерках пятно лица, враз сделавшееся ненавистным, изо всей силы — так что хрустнуло что-то, треснуло под кулаком; и еще раз ударил, и еще.

— Ничего, подымешься, — сказал он ей, отлежавшей от его последнего удара к стене спортзала, ударившейся об нее и лежащей сейчас с подогнутыми, подтянутыми к животу ногами, с закрытым руками лицом, с глухим отрывистым стоном из-под них. И пошел со двора на улицу.

5

Некоторое время Яблоков боялся, что приедут за ним, повезут в прокуратуру — нос-то он ей явно сломал, — но она, видимо, ничего о нем не сообщила, прошла неделя, другая, третья — и он перестал бояться.

Жизнь вошла в прежнюю, налаженную колею. По субботам-воскресеньям ездили с Афоней на дачи, строители перед майскими сдали много домов, и пришлось поездить и в будни, дважды сумели попасть в финскую баню, один раз снова выпало с тем хозяйственником, что зимой приглашал к себе на дачу. Обрадовался им, спросил, какие новости среди экстрасенсов, и вновь пригласил к себе: «Жене вы моей ужасно понравились. У нее день рождения, приезжайте, она рада будет».

Предмайская жара давно спала, но май, весь навывлет, так и стоял по-летнему уже теплый, и Яблоков как влез в джинсы и тенниску, так и не сменял их ни на что другое. Афоня, глядя на него, изумлялся: «Ну, ты жаркий мужик, Яблоко!» Сам он ходил в пиджаке поверх тенниски. Яблоков посмеивался: «Настоящий мужчина должен уметь по снегу босиком да в одних трусах. Помнишь, о том старике рассказывали, фотографию еще посмотреть давали?»

На даче у хозяйственника снова встретились с тем бородатым, что в прошлый раз толковал о новейших теориях происхождения человека и о новом ледниковом периоде. Яблоков не удержался, поддел:

— Так где же обещанный ледниковый? Май, а такие погоды стоят!

Бородатый, как в прошлый раз, развел руками:

— Погоды эти — только лишнее тому подтверждение. Все вверх тормашками, все сдвинулось, все не на своем месте. Именно что: разве должно быть такое устойчивое тепло в эту пору?

Афоня стоял рядом с жевательной резинкой во рту, — хохотал так, что чуть не заглотил ее, пришлось стучать его по спине.

На самом уже излете мая на тренировке у Яблокова, чего никогда не случалось прежде, прямо в зале появился Аверкиев:

— Настала пора, старичок!

Ему давали талон на новую машину, и старую, как договорились, он продавал Яблокову.

Носились на машине, оформляя куплю-продажу, из конца в конец города — в ГАИ, в комиссионку, в сберкассу, в ЖЭК, снова в ГАИ, — Яблоков уже сам сидел за рулем, Аверкиева — на пассажирское место, упоительное это было чувство — перемахнуть через весь город, пронзить его собой, своим движением, на собственной машине...

Отмечать куплю-продажу, когда все было завершено, все документы оформлены, Яблоков решил в Домжуре. Нравилось ему это место. Позвонил тому своему знакомому журналисту, компания выходила как раз на столик — четверо, Аверкиев, само собой, ну и Афоня — журналист провел, и снова удачно угодили за любимый стол Яблокова — на возвышении, в дальнем самом, затененном углу.

Одно Яблоков не учел, однако: летняя пора. Да и не мог учесть, все как-то попадал сюда в холодные времена, а летом, оказывается, тут было тяжело. Низкие потолки, зальчик небольшой, вентиляция скверная — духота, что в финской бане. Но в финской это специально, для того туда и идешь, а в ресторане не для этого... Сидели, обливались по-

том, не пилося ничего от этой духоты и не елось, и Аверкиев, сидевший рядом с Яблоковым, и, как-то так получилось, что очень близко к нему, сморщил вдруг брезгливо нос:

— Мужики, что такое, мужики, псиной как воняет!..

Афоня тоже пошевелил носом:

— А точно, мужики, крепко воняет!

Яблокова, едва Аверкиев сморщил свой нос, так и прошибло изнеможительным жаром.

Вот студенточка, удружила! Будешь теперь, чуть что, вздрагивать из-за нее, самого себя бояться...

— От меня тащит! — сказал он с усмешливой хрипотцой.

— Слушай, — проговорил Аверкиев с недоумением, — смех смехом, но ведь... и в самом деле! Собаку, что ли, завел?

— А и впрямь, Яблоко, — сказал Афоня. — Будто действительно собачник какой...

Яблоков услышал, как у него заскрипели зубы. Ненависть охлестнула его, как накрыло волной на море, но он удержал ее в себе.

— Идите вы!.. — сказал он, распуская сжавшиеся вкрутую желваки на щеках. — Кошкой от меня еще не шибает, нет?

Больше об этом никаких разговоров не было. Но Яблоков заметил, что и Афоня, и Аверкиев, особенно близко сидевший к нему, будто случайно, будто так уж вот просто получилось, отъехали со своими стульями от него подальше...

Он гнал машину по вечерним, ярко мигающим красными, желтыми, зелеными светофорными огнями улицам, и было желание разогнать ее до предела, чтобы аж посвистывали шины, и не останавливаться перед светофорами, проскакивать на красный, на желтый, и попадет кто на пути — смять его, сбить, чтобы вверх тормашками!.. Все-таки, значит, от него был этот запах, от него... И Афоня, друг, тоже подальше со своим стульчиком, подальше!..

Дома Яблоков, только захлопнул дверь, стал раздеваться. Скинул тенниску, джинсы, трусы, носки — все — и встал перед зеркалом. Он давно на себя не смотрел так — и сейчас ужаснулся. Еще зимой, в феврале тогда, когда встретился с этой Сусанной из юности, не был таким. Тогда был просто по-страшному, густо заволосатевший, а сейчас стоял перед ним в зеркале, смотрел на него из амальгамной глубины абсолютно, как шерстью, заросший человек, и только выбритое лицо, ладони да ступни и были в этом человеке теми местами, где проглядывало живое голое тело.

6

— Созрел? — спросила Сусанна. — Долго созрел. Не в твою пользу говорит. Другие побойчее.

— Ладно, что об этом... — пробормотал Яблоков. Он чувствовал себя униженным. Побитым псом, вот кем.

— То об этом, — сказала Сусанна. — В свое дерьмо бывает полезно носом ткнуться. Очень даже. И не убудет от этого. Столько сил ухлопываешь на вас... А я ведь женщина только. Слабая, не железная...

— Черт, не томи! — выругался Яблоков. — Скажи, не томи, допускаешь до вас, нет?

Сусанна щелкнула замком сумочки, достала сигареты, зажигалку, прикурила и выпустила дым к потолку. Они сидели в том же самом кафе-мороженом, опять на антресольном этаже, за тем же столиком — излюбленное ее какое-то место было, что ли.

— Я тебя должна предварительно ознакомить кое с какими положениями, — сказала она после всей этой паузы с прикуриванием. — Потом ты решишь, подходим ли мы тебе. А потом мы будем решать, подходишь ли ты нам.

Яблоков про себя снова выругался.

— Ну?! — сказал он вслух. — Слушаю.

— Беспрекословность! — сказала Сусанна и подняла над столом свободную от сигареты руку с торчащим указательным пальцем. — Сказано тебе сделать то-то — сделать. Сказано замолвить слово за того-то — замолвить. Сказано помочь тому-то — помочь. И так далее. Взамен, — она разогнула средний палец, и теперь у ее виска торчали два пальца, — взамен — то же для тебя. Твоя нужна — общая нужда. Твоя беда — общая беда. Радостью можешь не делиться. Радость — у каждого своя.

Яблоков помимо воли усмехнулся:

— Прямо целая философия.

— Философии еще нет. — Сусанна опустила руку с выставленными пальцами и снова затянулась. Затянулась и выдохнула. И еще затянулась и выдохнула. — Это лишь предстоит. Но нужна обязательно. Нужно ведь осмыслить, понять нужно, дать объяснение, что мы за явление такое. Как один говорит: осознать себя. Осознать и освятить. Толковый мужик, не то что некоторые. Крупный пост занимает.

— Новый ледниковый период, — сквозь стиснутые зубы, все так же усмехаясь, проговорил Яблоков.

— Что-что? — потянулась к нему через стол Сусанна. — Что ты сказал?

— Я сказал, — повысил голос Яблоков, — новый ледниковый период наступает. Есть вроде такая теория. И вот лучшие особи начали готовиться к нему.

Сусанна смотрела на него с изумлением.

— А у тебя, — показала она пальцем ему на лоб, — варит! Подожди, — тут же, не давая ему ничего ответить, быстро произнесла она, — подожди меня тут, посиди, я сейчас вернусь. Мне позвонить надо.

Яблоков, когда она спускалась по лестнице, ища на ходу в сумке монеты для телефона-автомата, развернувшись на стуле, смотрел на нее. Она была

в туго обтягивавших ее джинсах, в глухой, под горло, непрозрачной блузке, — интересно, бреется она или перестала? Яблоков поймал себя на том, что при этой мысли в нем остро и горячо полыхнуло желание. Ему хотелось, чтобы она была небритой...

Сусанна вернулась.

— Сидим? — Она весело-довольно поморщила губы. — А чего мороженое не тронута? — Взяла ложку из его вазочки, отковырнула от так же, как тогда, облитого красным клюквенным соком белого шарика кусок и протянула Яблокову: — Ну-ка...

Яблоков, наклонясь, снял губами мороженое с ложки и не дал Сусанне убрать руку, перехватил ее, расстегнул пуговицу на рукаве и скользнул в него своей рукой. Пальцы ощутили восхитительно шелковистое, мягкое, податливое..

— Что? — спросила Сусанна, улыбаясь и не отнимая руки. — Что тебе те положения, о которых я сказала? Принимаешь?

— Почему же нет? — сказал он, продолжая ласкать ее руку под рукавом. — Ничего в них ужасного, чтобы не принять.

— Сейчас сюда к нам подъедут, — сказала она, пошевелила рукой, чтобы он отпустил, и Яблоков отпустил. — Подъедет, точнее, — поправились она, застегнула пуговицу на рукаве и стала доставать из пачки новую сигарету. — Он хочет потолковать с тобой прямо сейчас.

— А потом поедет ко мне, — поднося к ее сигарете зажигалку, утвердительно произнес он.

— Почему же нет? — раскурив сигарету, его словами ответила она. — Ничего ужасного в твоём предложении, чтобы не принять.

«Ну тертая баба, ну тертая!..» — как в прошлый раз, зимой, восхитился Яблоков.

Он сидел спиной к лестнице, и о том, что человек, которого они ждали, приехал, поднимается к ним, догадался по глазам Сусанны. Он повернул-

ся, — это был толстый, животастый мужик лет пятидесяти, он уже поднялся и шел к ним между столиками.

— Здравствуй, здравствуй, — небрежно дал он Сусанне поцеловать себя в щеку. Сел на свободный стул между Сусанной и Яблоковым, взял со стола его руку, посмотрел на нее, отпустил и похлопал по ней своей — большой, пухлой, в черном густом волосе до самых ногтей: — Наш человек, вижу. Вас тут Саночка запугала, наверно? — У него были добродушные, мягкие, прямо лучащиеся этими добродушием и мягкостью маленькие глазки. — Ух, она умеет пугать, есть в ней такое... Но она молодец. Не она бы, так бы и несли мы каждый свой крест в одиночку... А в одиночку-то ведь тяжело. Тяжело ведь? — взглянул он на Яблокова в упор, и Яблоков увидел, что глаза у животастого вовсе не добродушные и мягкие, это от складок вокруг них казалось так; а на самом деле жесткие и твердые, решит кого перемолоть — перемелет, только косточки схрупают. — Одному нельзя, — не стал животастый дожидаться его ответа. — Стопчут. За борт выбросят. В банку со спиртом посадят. Сиди там... А мы не хуже других, нет. Тоже достойны. Может быть, даже лучше, а?!

— Лучше, — сказала Сусанна. Она сидела сейчас вся подобравшаяся, вытянувшись стрункой, и рука с сигаретой, облобоченная о стол, непрерывно ходила от виска к губам, от виска к губам. — Новый ледниковый период.

— Ну-ка, ну-ка! — подхватил животастый, требующе глядя на Яблокова. — Что вы там об этом?

Яблоков почувствовал тонкое, тянущее дрожание в пальцах. Надо же: а он это чистойшей издевкой бросил...

— Вообще я не уверен, так это или не так. Просто я слышал. Есть будто такая теория: надвигается новый ледниковый период. Будто бы последние

тридцать лет наблюдается постепенное похолодание. И эти все неожиданные потепления не вовремя — это тоже тому свидетельство. Ну а то, что с нами, — кивнул Яблоков на руки животастого на столе, — так это наши организмы уловили похолодание и стали готовиться...

Он умолк, животастый смотрел на него немигающим жестким взглядом — какая-то работа свершалась там, за этим взглядом, за этой влажно поблескивающей пленкой роговицы, и вот во взгляде стало что-то меняться, меняться... и он снова стал добродушным и мягким.

— А это и не важно, так оно это или не так, надвигается или нет, — сказал животастый. — Важна сама идея. Сама мысль важна. А она недурна. И очень недурна. И высока. По смыслу своему высока. Как ты говоришь, Саночка? — глянул он на нее. — Мы лучше?

— Как наиболее высшие особи, мы уловили приближение и стали готовиться к нему, — поспешно, как отвечала урок, проговорила Сусанна.

— А иначе — да, иначе с чего же вдруг? — добродушно улыбнулся, глянул теперь по очереди на них обоих животастый. — И вообще, я думаю, скорее всего, теория эта верна. Скорее всего, верна. Можешь узнать, где напечатано? — неожиданно перейдя на «ты», спросил он Яблокова.

Яблокову на мгновение увиделся тот бородатый. Придется звонить хозяйственнику, просить телефон... Ну да не в труд.

— Думаю, что смогу.

— Узнай, — как разрешил ему это животастый. Взял из Сусанниной вазочки ложку и, не придвигая вазочки к себе, стал есть из нее. — Кем работаешь? Тренером? — спросил он Яблокова.

«По телефону сообщила», — сообразил Яблоков.

— Тренером, — сказал он. — По баскетболу. С детьми.

— Недоволен?

— А чему особенно быть довольным? Сиротская жизнь. Жизнь у тех, кто с настоящими командами...

— Ну, это само собой, само собой, — посасывая сладкий холод во рту, согласился животастый. — Пирог поровну на всех не поделишь... И что, никаких перспектив?

— Да не видно.

Животастый молча иссосал очередную порцию из вазочки.

— Откроются перспективы, — сказал он, сглатывая. — Откроются непременно, не унывай. — Доел остатки и стал подниматься. — Проводишь меня, Саночка?

Яблоков дернулся. Никто никогда не уводил от него женщин. Даже когда совсем юнцом был. Не позволял никому. Никогда.

Диким, свирепым взглядом Сусанна запретила ему даже раскрыть рот.

Она встала следом за животастым, животастый похлопал Яблокова по плечу и пошел к лестнице, она приостановилась возле Яблокова и прошептала быстро, склоняясь к его уху:

— Не дури, Сашка! Пока! Завтра позвоню. Завтра обязательно встретимся.

Яблоков слушал, замерев, их шаги по лестнице, потом по полу внизу, хлопнула мягко, закрывшись за ними, дверь, — и схватил из вазочки алюминиевую ложку, которой ел животастый, стал остервенело скручивать ее, сгибать, разгибать, сломал и швырнул обломки о стену. Они ударились, зазвенев, и с этим же звоном упали на пол.

Из-за стола рядом, он почувствовал, смотрят на него. «Сейчас врежу», — ненавистно подумал он поднимаясь.

Но это был милиционер с девушкой, и рука, сжавшаяся в кулак, разжалась. Яблоков опустил обратно на стул, посидел, тупо глядя перед собой, потом достал деньги, положил на стол, снова встал и пошел к лестнице.

У дверей зального здания Яблоков столкнулся с Аверкиевым. Он припарковывал машину к крыльцу, закрыл ее, взбежал по ступенькам, и тут дверь, прежде чем успел взяться за ручку, открылась, и вышел Аверкиев.

— Салют! — вскинул руку Яблоков, собираясь пройти мимо Аверкиева, но Аверкиев протянул свою, пришлось ее пожать и остановиться.

— Салют, салют... — сказал Аверкиев, не выпуская руки Яблокова из своей. — Слышал, нет, что меня вертухнули?

Должно быть, ему хотелось, чтобы узнали от него, чтобы видели, что, несмотря ни на что, он тот же Аверкиев, каким и был, не место его красиво, а он место.

Яблоков, однако, не стал щадить его. Тогда в Домжуре Аверкиев о нем не думал. Так с какой стати Яблокову думать о нем сейчас.

— Слышал, — сказал он, — слышал, старина.

Аверкиев выпустил его руку. Первый ход оказался не за ним, и он как-то разом, на глазах, сник.

— Нашли, понимаешь, козла отпущения... — Голос у него сделался жалующийся и несчастный. — Я, понимаешь, вкалывал, пахал и пахал, Пархоменко, тот на тренировки с пятой на десятую появлялся — ему ничего, он остался, хотя, кстати, старший-то он... Все на меня, все шишки! Было бы кому заступиться — не слетел бы, а то некому, на свой труд полагался... нашли козла отпущения!..

Яблоков стоял и сочувственно кивал головой.

Он приехал сейчас от председателя. У председателя в кабинете сидел Пархоменко, и, когда Яблоков вошел в кабинет, Пархоменко быстрым шагом пошел ему навстречу, широко, радостно улыбаясь, и, не здороваясь, потряс руку:

— Ну, Саша, будем из завала с тобой вытаскивать! Очень рад, Саша, очень рад, что именно ты,

я, знаешь, давно к тебе приглядывался и все думал: хорошо бы вот нам с тобой!..

«Он думал!» — усмехнулся про себя Яблоков.

Председатель, поднявшись из кресла, ждал Яблокова у своего стола.

— Садитесь, Александр Федорович! — показал он на мягкое покойное кресло с внешней стороны стола. Яблоков сел, в другое кресло хотел сесть Пархоменко, но председатель попросил его: — Борис Леонтьич, оставь нас вдвоем, нам с Александром Федоровичем нужно кой о чем...

— Ага, ага, ну конечно! — торопливо выговорил Пархоменко и с этою же торопливостью вышел из кабинета.

— Александр Федорович!.. — В голосе у председателя была мягкая укоризна. — Ну зачем же уж так-то вот? Чтобы сам Иван Петрович звонил, нажимал... Зачем же прямо самому Ивану Петровичу? Мы и без того на вас как на кандидата смотрели, и без того, сами по себе, думали... Это-то уж все ни к чему было!

«Да, ни к чему, конечно. И без того, сами по себе», — вслед председателевым словам саркастически произносил про себя Яблоков...

И сейчас, выслушивая излияния Аверкиева, он подумал: сказать тому? И тут же решил: нет, не надо. Пусть узнает сам по себе. Какие новости хорошо упредить, а какие упреждать вовсе не след.

— Ладно, старичок, пойду, — сказал Аверкиев. — У тебя что, занятия?

— Занятия, — не стал его разубеждать Яблоков.

Никаких занятий у него не было; он приехал забрать свою спортивную одежду. Команда мастеров жила на загородной базе, и ему предстояло тоже перебираться туда.

Он поглядел вслед Аверкиеву. Аверкиев сбежал с крыльца, подошел к своей машине, открыл...

Как он; совсем еще недавно, завидовал ему! Как завидовал!.. Зимой еще это было...

Сейчас стоял конец сентября, обочины дорог были полны палого желтого листа, в воздухе висела чуть-чуть подсвеченная слабеньким солнцем кисея мороси.

После раздевалки, взяв одежду, Яблоков пошел в зал к Афоне. Надо было сказать ему, не откладывая это в долгий ящик, что на дверную халтуру он должен поискать себе нового напарника. Ни к чему теперь халтура. Конечно, она давала побольше даже, пожалуй, чем будет иметь на месте Аверкиева, ну да ведь не из одних денег жизнь. А деньги, кстати, будут. Командировочные будут теперь наматываться, суточные, квартирные, да и с талонов на питание всегда можно будет поиметь кое-что, главное — не зарываться, уметь остановить себя, не преступить, так сказать, черту...

Афоня на ринге судил учебный бой. Прыгал со свистком в губах, свистел, разводил, объяснял что-то и снова свистел, чтобы сходились, увидел Яблокова и помахал рукой: подожди немного, сейчас.

Яблоков прошелся вдоль скамейки с сидевшими на ней тесным рядком мальчишками, одинаково одетыми в белые трусы и белые майки. И вспомнилось: вот так же сидел, подсунув руки под ноги, смотрел на площадку, где, гулко стучая мячом, носились старшие мальчишки, и сердчишко прыгало от восторга и замирало от зависти: научиться бы так же, неужели никогда не научиться?!

Афоня громко, продолжительно свистнул, подлез под канат и прыгнул на пол.

— Салют! — сказал он, подходя. — Ты чего здесь?

Они уже виделись нынче, и он знал, что у Яблокова сегодня здесь никаких дел.

Яблоков подумал, что без него с халтурой у Афони, наверно, заглохнет. На нем все держалось, на Яблокове: он решал, он распоряжался, он посылал... Наверно, заглохнет.

Афоня, когда выслушал Яблокова, с минуту не мог сказать ничего толкового, так расстроился.

— Ну-у, Са-аня!.. Ну, Са-аня! — только и повторял он.

«Ничего, — со злорадством подумал Яблоков. — Ничего, вот так тебе. Отодвигался он от меня, видишь ли...»

— Ну вообще я за тебя рад, конечно, — смог наконец заговорить Афоня. — Не ожидал никак, совсем не ожидал... но рад за тебя!

«А если гад Пархоменко будет филонить, — думал Яблоков уже в машине, гоня по дымящемуся водяной пылью асфальту, — я ему не Аверкиев, я за него не буду тащить, я ему сделаю козью морду...»

Где этот Дом культуры, в который он ехал, Яблоков не знал, проплутал и к началу опоздал. У входа в зал стояли два дюжих, в какого-нибудь шестидесятого размера костюмах мордоворота и, когда Яблоков, забывший в спешке о билете, хотел с ходу открыть дверь, заступили ему дорогу:

— Приглашение у вас имеется?

«Черт! — невольно воскрился Яблоков. — Как поставлено!..»

Он показал билет, — и его пропустили.

Зал был небольшой, мест на сто и все места заняты; и не только заняты все места, но и стояло полно вдоль стен, и за последним рядом кресел тоже. Над трибуной возвышался человек такого классически профессорского вида, с бородкой, в золоченых очках, он говорил:

— Первоочередная наша задача заключается в том, что мы должны способствовать сохранению нас как особо важного в геномном отношении вида в условиях приближающегося нового оледенения Земли. А с этой целью мы должны всемерно...

Яблоков попытался по затылкам сидящих определить, где там Сусанна, но не смог. Однако она то ли ждала его и все время оборачивалась, то ли почувствовала, что он вошел, — повернулась на стуле, стала вглядываться в стоящую за последним рядом толпу, и он помахал ей рукой. Она увидела и, укориз-

ненно-весело сморщив губы, покачала головой: нехорошо опаздывать! Ладно, чего там, махнул он ей рукой, не знаем мы с тобой все это, что ли...

Потом, когда ехали к нему домой, она сидела на сиденье рядом, обняв его и положив ему на плечо подбородок, говорила восторженно:

— У нас уже есть свои врачи. Пятеро! Свои адвокаты есть. Журналисты. Не поминая всяких других... Представляешь?!

Яблоков представлял.

— Лишь бы никакая сволочь никуда не накапала. А то хана тогда.

— С чего вдруг? — возмущенно сказала Сусанна и выпрямилась, сняла руку с его плеча. — Да пусть капают сколько угодно. Несчастные, бедные люди тянутся друг к другу с общим своим несчастьем, чтобы было легче жить. Что тут такого? Есть же общество слепых. Или глухонемых.

Яблоков засмеялся и, руля одной левой, правой забрался ей под ворот свитерка. Очень ему нравилось, как у нее растет на перепаде от шеи к спине. Так плотно-бархатисто там было, так гладенько, так блестяло на свету...

— Ну баба!.. Ну... баба! — восхищенно сказал он.

Про себя он проговорил «тертая», но произносить вслух не стал. Сусанне это слово применительно к себе не нравилось. «Много пережившая», — всегда уточняла она.

— Ну баба! Ну баба!.. — повторял Яблоков, вынимая руку из-под ворота ее свитерка и кладя на баранку.

Он чувствовал себя сильным, уверенным, держащим жизнь в руках, вот как рулевое колесо машины, и нога на педали газа, и врублена самая большая скорость, снаружи свист ветра и колющая сечка мороси, но внутри мягко, покойно, удобно — как всегда и мечталось.

ЛАБИРИНТ

Стена была сложена местами из кирпича, местами из монолитных бетонных глыб, местами из дикого разномерного камня. Из щелей между камнями и трещин в кирпиче торчали блекло-зеленые пучки травы, кое-где бугристая плоскость стены была в серебристо-коричневых нашлепках мха, а внизу, где стена выходила из земли, ее всю обметала ослепительно белая, какая-то осклизлая на вид, глянцевиная плесень.

Я стоял у этой стены и водил по ней ладонью — будто ощупывал ее, подобно слепцу, что изучает незнакомого человека по выпуклостям и впадинам его лица.

Черт побери, что это я делаю?! Я отдернул руку, с судорожной брезгливостью обхлопал ее о другую, отступил на шаг и огляделся.

Там, у меня за спиной, была, оказывается, еще одна стена. Обе они возносились вверх на такую невероятную высоту, что глаз в перспективе сливал их воедино, и я находился как бы на дне туннеля. Но вместе с тем, если смотреть вдаль, вдоль стен, они словно бы расходились, отступали друг от друга, делались ниже, и там, вдали, открывалось небо, светило солнце и весело бежали, гонимые ветром, кудрявые белые облачка.

Черт побери, куда это я попал? Я медленно пересек пространство между стенами — получилось

ровно пятнадцать шагов. Эта другая стена была точно такую же, как та, которую я ощупывал: в наростах мха, с кустиками травы, с налетом яркой белой плесени у земли. Рука моя непроизвольно потянулась потрогать стену, я ее коснулся, ощутив каменный тяжелый холод, и тут же отдернул ладонь.

Зачем мне нужно было касаться стены? Что за сила заставляла меня делать это? Будто какое-то благоговение было во мне перед этой каменной крепью, какой-то священный трепет — как перед некой тайной, первоосновой мироздания, явленной мне в материальном обличье божественной волей...

Ознобный ветерок пробежал по спине. Мне стало не по себе. Почему я не помню, как оказался здесь?

Прошлая моя жизнь, вся, до нынешнего мига, помнилась мне в таких мельчайших, незначительных деталях, что странно было бы жаловаться на память. Я помнил разбитую в пятилетнем возрасте, в карминной корочке засохшей крови коленку, помнил мглистый и мозглый ноябрьский вечер торжественного пионерского сбора, на котором мне повязали на шею пионерский галстук, помнил свежий аромат рта; подарившего мне первый поцелуй, и далее и далее помнил всю свою последующую жизнь — каждый шаг, каждую остановку, каждую новую ступень... Я знал, чем себя посвятить, у меня была цель, я не плутал в поисках своего пути, и дорога, которой я шел, была мне видна в своем бесконечном стремлении за горизонт — сколько хватало глаза.

Но как я очутился здесь, в результате чего, что этому предшествовало — нет, этого знания не было в моей памяти.

Или, может быть, прежде я просто не обращал внимания, где нахожусь, а на самом деле я уже давно здесь, как говорится, тысячу лет?

Приказа бежать я себе не отдавал; ноги вдруг, будто сами собой, сорвались с места и понесли меня вдоль стен с бешеной, непосильной для меня скоростью туда, где стены расходились и делались ниже, где было вольное небо с облаками и светило солнце, — туда, туда, от этого погребного холода, что исходил от камня, от тошнотворного запаха этой белой плесени...

Дыхание мое скоро сбилось, нетренированные, с холодными мышцами ноги сделались как деревянные, — я бежал все медленнее, перешел на трусцу; но все бежал, бежал, задыхаясь, хватая воздух ртом, с трудом переставляя одеревеневшие ноги... пока не обессилел вконец. Хрипя, ничего не видя вокруг от заставшей глаза черной пелены, я свалился на землю, а когда, наконец, смог оглядеться, то обнаружил, что стены надо мной все так же бесконечно уходят вверх и я по-прежнему нахожусь словно бы на дне туннеля, а расступаются, отходят друг от друга они там, откуда я прибежал, и еще в той стороне, куда бежал, — словно бы я и не бежал вовсе, а стоял на месте. Единственное отличие этого участка, где я сейчас находился, от того, прежнего, заключалось в том, что недалеко впереди в одной из стен был разрыв — коридор имел там ответвление.

Не дожидаясь, когда окончательно приду в себя, я поднялся, добрел, шатаясь, до ответвления и увидел другой коридор, точно такой же, в каком находился, — тут, над головой, он уходил вверх до бесконечности, вдали же стены его будто отступали друг от друга, понижались, сияло небо, плыли облака, светило солнце.

Я снова опустился на землю, прислонился спиной к углу, образованному сретением стен, и изнеможенно закрыл глаза.

И только закрыл — услышал, какая полная, глубокая тишина стоит вокруг, без единого, самого тихого, самого малого звука, какая-то *кромешная* тишина.

И почему ни единой души здесь, кроме меня самого, почему я здесь один-одинешенек? У меня никогда не было много друзей — это так, но двое-трое рядом со мной были всегда, я знал, что обязательно в любую трудную минуту могу рассчитывать на их плечо, как равным образом — они на мое; и где жена, она-то куда подевалась, уж она-то непременно должна была быть вместе со мной — ведь половина, истинно так!

Но не было со мной и ее. Я был один...

Когда дыхание мое наконец наладилось, в висках больше не стучало и сердце успокоилось, я поднялся, глубоко вздохнул и пошел в глубь неизвестного мне коридора-ответвления. Теперь я уже не бежал, у меня на это просто-напросто не было сил, я лишь старался идти как можно быстрее — насколько возможно быстро.

Так я шел какую-то пору — и вышел на новое ответвление. Однако на этот раз я не стал сворачивать, а пошел дальше, прямо. Но через некоторое время коридор, по которому я шел, кончился, упершись в стену. А пересекая его, в ту и в другую сторону тянулся еще один коридор, и если идти дальше, мне неизбежно следовало пойти по этому другому коридору. Выбор оставался самый минимальный: направо или налево.

Я выбрал — направо.

И потом я еще десять раз заходил в тупик, и десять раз сворачивал в ответвления, и десять раз — в коридоры, навывлет пересекавшие тот, по которому я шел.

Это был лабиринт, где я оказался.

Я понял это — и ноги у меня отнялись.

Я вновь рухнул на землю и долго сидел, тупо глядя перед собой. Потом я увидел, какая тут хорошая земля: черная, комкастая, жирно-блестящая на сломках, будто пропитанная маслом, — первоклассный чернозем. Толстые розовые кольчатые черви, извиваясь, вылезали из нее на свет и тут же уползали обратно.

Я поднял глаза вверх. Взгляд снова уперся в сомкнутые на недосыгаемой высоте каменные стены. Они везде здесь, по всему лабиринту, в каком бы месте его ни находился, над головой уходили в беспредельность и только вдали расступались, только вдали можно было увидеть небо и солнце.

Дикая ярость охватила меня. Я должен был выбраться из этого лабиринта, должен был — во что бы то ни стало!

Я разбежался и изо всей силы ударил в каменную кладку ногой. Ничто в стене не шелохнулось, а ногу, от пятки до самого бедра, прожгло мгновенной, острой, нестерпимой болью. На глаза навернулись слезы.

Но все же я ударил еще раз и еще — другой ногой, ярость моя была не утолена, остудить ее требовалась боль куда большая...

Ломик бы какой-нибудь, подумалось мне. Зубило, кувалду бы — попробовать проломить стену. Ведь не беспределен же этот лабиринт, где-то у него есть и край, и почему бы этой стене, около которой я нахожусь, не оказаться оконечной?

Ломик валялся совсем рядом, наискосок в двух шагах, у подножия стены. Он был заржавелый, в пятнах все той же белесой плесени, сливался со стеной, и, пока я не подумал о нем, глаза мои его не видели.

Лом был тяжелый, заостренный с обоих концов — на конус с одной стороны и клином с другой.

Для пробы я ударил им в первом попавшемся месте — он тяжело отскочил от стены, высечка искру. Это было естественно, другого я и не ожидал. Скорее всего, следовало долбить там, где кладка была кирпичной. Все-таки кирпич, как ни хорошо он обожжен и как ни крепок его замес, — это глина, и мало-помалу его можно будет выкрошить.

Расчет мой оказался верен. Красная крошка тела в глаза, забивала рот, мешая дышать, я долбил,

долбил — и вот лом едва не вылетел у меня из рук, выскочив наружу; торопясь, я расширил пробитую дыру, чтобы протиснуться в нее, — и оказался по другую сторону стены.

Здесь, с другой стороны, был точно такой же коридор, как и тот, из которого я вылез. Уходили в беспредельную высоту стены над головой, пахло подвальной прелью, и голубело вдали пронизанное солнцем небо.

Но я был готов к этому. Всерьез надеяться на то, что именно эта стена окажется оконечной, было невозможно. Не исключено, что мне придется пробить еще и две, и три стены, и, может быть, десять. Совершенно не исключено. Ну да и что ж из того? Хоть сто. Главное, у меня есть чем пробивать их.

Выдыхаться я стал уже на третьей стене. Пробив четвертую, приняться за пятую я уже не смог. Я совершенно выдохся. У меня не было даже сил расширить пролом до таких размеров, чтобы пролезть в него. Я заглянул в дыру, увидел, что там снова стена, и отбросил лом. Он весил сейчас больше, чем вначале, раз в сто. И затупился, так что приходилось бить и бить по одному месту до одури.

Руки у меня дрожали, я был весь потный и весь, с ног до головы, в кирпичной пыли и крошке. Тело зудело и чесалось, глаза резало, как наждаком.

Теперь больше всего я нуждался в воде. Мне срочно нужно было обмыться, иначе я просто сошел бы с ума, раздирая себя ногтями. И жажда! Жажда уже начинала мучить меня, я горел не только снаружи, но и изнутри.

Мне теперь было не до поисков выхода из лабиринта, мне теперь нужно было элементарно выжить здесь.

Превозмогая усталость, я снова взял лом и прямо там, где стоял, ударил им в землю. На колодец, я чувствовал, сил у меня не хватит, да и как узнать,

есть ли тут внутри водяная жила, я надеялся выкопать хотя бы небольшую яму, а там, может быть, случится чудо: может быть, грунтовые воды стоят неглубоко — и натекут в яму.

Вывернутые ломом комья я отбрасывал в сторону руками. Потом, когда углубился в землю, делать это стало труднее, и я додумался: нашел несколько плоских кирпичных обломков и, сгибаясь над ямой, стал выгребать земляную крошку ими.

Вода появилась, когда я ушел в яму по грудь. Вернее, это была не вода, а просто грунт под ногами перестал бы сыпучим, начал налипать на подошвы, и, приложив ладони к стенкам ямы у самого дна, я ощутил ими восхитительную влажную прохладу.

Когда ладони собрали на себя немного влаги, я протер ими лицо, ощущая, как катается под ними наждак кирпичной пыли, и снова приложил к стенкам, и снова протер лицо...

Терпения копать дальше мне хватило еще на каких-нибудь сантиметров десять. Под ногами зачавкало, и я больше не выдержал, выбрался на приступок, который откопал себе в яме, чтобы залезть в нее и вылезать, достал из кармана носовой платок и осушил им натекающую на дне лужицу. Лужицы не хватило, чтобы намочить весь платок, углы остались сухими, но середина намочила, и, затолкав ее в рот, я высосал из материи все, что она могла отдать. Той порой на дне ямы скопилось еще немного воды, не в силах ждать, когда ее станет больше, я вновь промокнул ее платком, вновь чуть ли не досуха высосал его и опять опустил на дно...

Наконец судорога, сводившая мне гортань, заставлявшая обмакивать и обмакивать платок в мутную жижу, чуть отпустила меня, и я смог заставить себя углубить яму еще на несколько сантиметров, дожидаясь, когда там соберется столько воды, что можно будет зачерпнуть в горсть, и выпил эту горсть с тем наслаждением, которое дано нам уз-

нать в жизни лишь считанное число раз — в избавление от страшной, нечеловеческой муки.

Отдохнув и обмывшись, я решил начать планомерные поиски выхода. Я решил, что этот коридор с выкопанной ямой будет как бы основной моей базой, я буду уходить отсюда и сюда возвращаться, а чтобы не проходить дважды одной дорогой, двигаясь, буду отмечать на стенах свой путь.

Найти меловые камешки не составило труда. Я набрал их про запас целую горсть, ссыпал в карман — и пошел. Примерно я представлял, где бегал в прошлый раз, еще перед тем как начать пробивать стены, и сейчас постарался пойти в противоположную сторону. Метки я начал было ставить крестом, но скоро сообразил, что, если вновь выйду на них, заплутав, они не укажут мне направление движения, и стал чертить стрелки.

Я шел, пытаясь придерживаться одного, избранного вначале направления, пропуская те ответвления, которые могли бы повести меня по кругу, и однако же довольно быстро, не успев даже как следует утомиться, я оказался в том коридоре, который избрал своей базой. Единственно, что я подошел к яме с другой стороны и, пока не наткнулся на нее, совершенно не подозревал, что я в этом самом коридоре.

Как так получилось, что я вернулся на место, откуда вышел, было мне абсолютно не понятно. По моим расчетам, я уходил от него все дальше и дальше...

Не передыхая ни минуты, лишь освежив лицо отстоявшейся, посветлевшей водой, я вновь двинулся на поиски выхода. Меловые стрелки на стенах оказались прекрасной ариадниной нитью: запутавшись в хитросплетениях коридоров и потеряв ориентацию, я выходил на них — и видел, что здесь я уже был.

И тем не менее на этот раз я вернулся к яме еще быстрее, чем в прошлый. И, отправясь от нее

в третий раз, в новом направлении, я снова вернулся к ней.

Лабиринт водил меня по кругу. Похоже, он был устроен таким образом, что, куда ни пойдешь, он непременно приведет тебя на то же место, откуда ты тронулся.

Это было ужасно.

Что же, так мне и не выйти из него никогда, так и доживать свою жизнь здесь, среди прели, плесени, серого света, видя небо и солнце только в невероятной дали — как воспоминание и как приманку?!

Жуткая, невыносимая ярость снова охватила меня. Проклятые мелки! А я-то думал, что с их помощью уж непременно найду выход, так надеялся на них!

Я сунул руку в карман за их остатками там, вышвырнуть их оттуда вон, шваркнуть о стену, разбить в пыль — расплатиться с ними сполна! Мелков в кармане осталась всего пара кусочков, и, когда я брал их, пальцы неожиданно ощутили на самом дне кармана что-то сыпучее — какие-то мелкие, твердые, остроконечные гранулы.

Размахнувшись, я изо всей силы шваркнул мелки о стену и снова засунул руку в карман. Зажав несколько гранул в щепоти, я вытащил их на свет — это оказались зерна какого-то злака. Может быть, пшеницы, может быть, ржи, а может быть, овса — я не очень-то разобрался в этом. Было мгновение — я начал лихорадочно соображать, откуда у меня в кармане зерно, но тут же и осадил себя. Не все равно, откуда. А ну как суну руку в другой карман — и у меня там горсть золотого песка?

Непроизвольно другая рука потянулась в другой карман, залезла в него — там была полная, голая пустота.

А хорошо бы, если б там оказался тяжелый, с литым, бритвенно отточенным лезвием складень.

Тогда бы я срезал вот то суковатое деревце, наклонно растущее из стены на высоте моего роста, обрезал лишние ветви, обстругал его, взрыхлил получившейся сошкой ту жирную черную землю, что видел в одном из коридоров, и посеял зерно.

Будто помимо воли подумалось мне об этом, как-то инстинктивно подумалось, и я удивился сам себе, с чего вдруг пришла мне в голову такая мысль — ведь еды мне здесь явно не было нужно, было достаточно удовлетворения самой простейшей биологической потребности — в воде, потом я осознал: то память о прежней жизни, когда я жил на просторе. Она, эта память, требовала от меня действия, заставляла меня чем-то занять себя здесь. А вдруг и в самом деле придется пробыть здесь долго, вдруг не удастся выбраться отсюда — все у меня будет какое-то дело, все будет к чему приложить руки.

Нет, нет, нет, тут же истошно завопил во мне «я» другой, который заставлял меня бегать по лабиринту в поисках выхода, заставлял пробивать стены, метить их мелком, нет-нет-нет, я выберусь, выберусь непременно!

И я вскочил, чтобы схватить лом, чтобы снова пойти на штурм стены, глаза мои заметались в поисках его, наткнулись на пролом, который я пробивал последним, и я остолбенел.

Пролома не было.

Была выдолбленная мной ниша в стене, а собственно пролома, той небольшой сквозной дыры, которую я не стал расширять из-за полной потери сил, глянул в нее, увидел новую стену и выпустил лом из рук, — этой дыры не было.

Я бросился к нише, пригнулся к ней — там, на месте дыры, был кирпич. Он стоял среди других так плотно, так влито, так *изначально*, будто ее никогда и не было, этой дыры, будто она примерещилась мне.

Я обернулся и посмотрел на пролом в другой стене. В другой стене пролом был.

Я подхватился и побежал к нему.

И когда еще бежал, понял: пролом стал меньше, чем был. В такой я бы уже не пролез.

Но все же я попробовал протиснуться в него. И ничего, разумеется, не вышло.

Отыскав лом, брошенный возле вырытой ямы, я вновь расширил дыру, пролез в нее — пролом, который я сделал в предыдущей стене, раньше этого, уже превратился в маленькое, чуть больше моего кулака, отверстие.

Стены восстанавливались! Пробитые мной проломы затягивались кирпичом, как затягиваются новой кожей царапины на теле. Сначала пленка ее тонка, нежна, готова в любой момент прорваться, но потом грубеет, и вот уже не найдешь рубца.

Однако затянуться до прежней толщины проломы еще не успели, и мне удалось восстановить их до начальных размеров довольно быстро.

Я восстановил их — и принялся искать под стенами какую-нибудь железяку и что-нибудь вроде наждака, чтобы этим наждаком заточить железяку, сделать из нее нечто похожее на нож. А вдруг действительно мне придется провести здесь всю жизнь? Тогда и нужно взрыхлить землю и посеять это зерно. Почему, собственно, мне не иметь на всякий случай запаса еды? А ну как рано или поздно потребность в еде у меня все же возникнет?

Ни железяку, ни наждак искать особенно долго не пришлось. Они лежали рядышком под стеной. Стоило мне подумать о них — и они попались мне на глаза. словно бы лабиринт исправно исполнял мои желания.

Правда, лишь те, которые не угрожали моему пребыванию здесь. моему желанию выбраться из него он навстречу не шел. скорее наоборот: всячески противодействовал.

Я поймал себя на мысли об этом — и ужаснулся. Боже мой, да ведь я и в самом деле думал о лабиринте как о некоем живом существе, материализо-

ванной высшей воле, приговорившей меня к заточению в этих стенах..

Но, поймав себя на этой мысли, я постарался тут же и отогнать ее от себя. Что проку от моих мыслей, как равным образом и чувств, затеяно конкретное дело — и нужно исполнять его.

Заострив железяку, я обмотал ее с нетронутого конца платком, и у меня получился нож. Потом подправил затупившийся лом и снова оббил начавшие зарастать проломы в стенах. От того пролома, который я не возобновлял, уже почти ничего не осталось, небольшая, неглубокая выбоина в стене — и все.

Сошка из дерева вышла чудесная. Ладная, удобная, как раз по росту — мне просто приятно было держать ее в руках.

Жирная черная земля подалась ей легко и словно бы с удовольствием. Я всаживал в землю толстый крючкастый сук, колотил им по вывернутым комьям — и за мной оставался взрыхленный бархатный ряд.

Посеяв зерно, я вновь оббил проломы и, вылезши в последний коридор, заглянул в вырытую мной яму. Все дно ее было покрыто водой. Углубить ее еще немного — и воды хватит мне и для питья, и для полива.

Чем вот только таскать воду на «поле»?

И снова, стоило подумать о ведре, я его немного погодя и увидел. Оно валялось прямо посередине коридора, старое, примятое сбоку, с проеденными ржавчиной дырами в дне, но это было ведро!

Я залепил изнутри дыры глиной, и ведро стало вполне пригодным к употреблению.

Воды в яме набралось уже столько, что зачерпнулось не меньше половины ведра. Больше и не нужно было в любом случае. Все-таки дно было проржавелое и могло оторваться. На всякий случай часть воды я даже отлил обратно в яму.

Я пролезал в проломы с ведром, осторожно проталкивая его перед собой, курсировал туда-сюда — с полным, с порожним, с полным, с порожним — и впервые за ту пору, как оказался в лабиринте, у меня появилось чувство бессмысленности своего существования здесь.

Когда воды в яме осталось совсем немного — не зачерпнуть, в ожидании, пока она наберется снова, я углубил яму еще сантиметров на тридцать, рыхля чавкающую землю ножом и выгребая ее затем руками.

В передыхи я ходил оббивал проломы. Найти выход по стрелкам я больше не пытался. Я был уверен: лабиринт опять проведет меня по кругу.

Вода набралась, я полил «поле» и принялся заново пробивать ту стену, пролом в которой полностью зарос. Пробил, расширил дыру до тех же размеров, что и остальные, сходил, вылил на «поле» два раза по полведра и принялся за следующую стенку.

Теперь я постоянно, безостановочно был в движении, постоянно, безостановочно был занят, я так приспособился к своему лабиринтному существованию, что, даже уставши, теперь уже никогда не отдыхал, а только переходил к какой-нибудь работе полегче. Я гордился сам перед собой, как я веду себя, как рационально организовал все свои действия, и это чувство довольства помогало мне, укрепляло и придавало сил.

Сколько времени протекло так? Не знаю. Я потерял счет ему. Не наблюдают часов счастливые, да? И еще смирившиеся. Время для них останавливается. Оно останавливается — и наблюдать становится нечего. Быть может, смирение тождественно счастью? Или же смирение и есть счастье?

...Я вылил из ведра на черное, в корочке спрессовавшейся почвы «поле» очередную порцию воды, развернулся, чтобы бежать за новой порцией, — и вдруг меня как ударило: да ведь ничего уже на нем

не проклюнется. Что из того, что для меня время остановилось. Ведь оно шло, и для всходов давно минули все сроки. Все сроки минули — и ничего уже тут у меня не взойдет, напрасны все мои старания. Или я перелил воды и зерно сгнило, или оно просто было невсхожее. Или то, или другое — а результат один.

Я погрузил пальцы обеих рук в землю, ощутив ее жирное мягкое тепло, разгреб ее, перебрал, перемял все комки — нет, мне не попалось ни единого зерна. Оно сопрело и сгнило, и давно уже, а я все поливал.

А я все поливал.

И все оббивал проломы, и пробивал новые — бегал, бегал, бегал...

Силы оставили меня в какой-то один миг. Дрожали и подгибались ноги, тряслись руки, немощь была во всем теле — будто из меня вынули костяк и осталась одна оболочка. Я посмотрел на трясущиеся руки — они были с дряблой, сморщившейся кожей, с подагрически распухшими в суставах пальцами. Провел зачем-то ладонью по лицу — и ощутил, что кожа на нем тоже дряблая и сморщенная, а лоб — как стиральная доска.

Боже мой, да ведь я уже старик!

Боже мой, вот и все; жизнь прошла, кончилась, и мне так и не удалось выбраться отсюда!..

Силы оставили меня вконец, я опустился на землю, но позвоночник не держал тела, и, напрягшись, я переместил себя к стене и прислонился к ней спиной.

Я прислонился — и почувствовал, что проваливаюсь назад, словно я прислонился не к камню, а к какой-то ватной трухе, проваливаюсь и не могу удержаться, и то, к чему я прислонился, проваливается вместе со мной.

Я проломил стену своим телом насквозь, вывалившись головой наружу и оглушительно ударившись затылком о землю. И когда смог после удара

открыть глаза, то увидел, что вся нависающая надо мной громада стены рушится, заваливается на другую стену, и та, другая, тоже начинает заваливаться, летит сверху какой-то прах, застилается все вокруг мелкой, как пудра, пылью...

Я понял — сейчас меня ударит летящим со страшной скоростью камнем, и потом уже, потерявшего сознание, раздробит, превратит в кровавое месиво, засыплет многометровым слоем целый град камней, и инстинктивно вновь закрыл глаза, чтоб не увидеть, как это произойдет, но время шло, шло — только какая-то пыль сыпалась на меня, колющая какая-то мелкая сечка непонятно чего... и я открыл глаза, и мне их тотчас забило пылью, которой было заполнено все вокруг, и я не мог проморгаться, пока воздух мало-помалу не стал очищаться от нее.

Он стал очищаться, я, наконец, проморгался — и увидел: не было вокруг меня никаких стен, не было лабиринта — голое, пустое пространство окрест. И до меня дошло, что стены моего лабиринта в какой-то неуловленный мной момент утратили свою прежнюю каменную крепость, они и в самом деле превратились в труху, и хватило того небольшого толчка, который я произвел случайно, прислонившись к одной из них, чтобы они, рушась друг на друга, рассыпались в прах.

Небо над головой было блекло-голубое, предсмеречное, солнце заканчивало свой дневной путь и уже наливалось красным. Прахом стен была засыпана вокруг меня вся земля, до самого горизонта — на все четыре стороны света. И прямая, как полет выпущенной из мощного лука стрелы, пронзала его груды, уносилась в лежащую за краем земли даль широкая, ровная, великолепная в своей ухоженности и чистоте дорога.

Я сразу узнал ее. Хотя нога моя не ступала на нее целую прорву лет. Это была дорога моей молодости, начальных лет моей взрослой жизни —

оказывается, она все время была тут, рядом, в двух шагах!

Пошатываясь от немощи, я поднялся, увязая в сыпучем прахе бывших стен лабиринта, добрался до дороги, и, наконец, ноги мои ощутили ее восхитительную гладь.

И как только я оказался на ней, мне тотчас стало понятно, куда она ведет. По ней можно было пойти только в одну сторону — убегая за край земли, она начиналась тут, где я стоял; это была прежняя дорога, она; но та часть ее, которую знала моя нога прежде, была невозстановимо засыпана обрушившимся прахом.

Меня толкнули. Я посторонился. Человек, проходя мимо, глянул мельком на меня, и я узнал его. Это был друг моего детства, друг юности, самый ближайший, самый родной, как же мне плохо было без него, когда он оставил меня! Но ничего не шевельнулось в душе от этой нашей встречи: идешь? ну и иди! Он тоже узнал меня, замедлил шаг, оглянулся и остановился. Ты, что ли, спросил он. Я, конечно, сказал я. То-то, я думаю, вроде ты, сказал он, повернулся и заспешил по дороге.

Двинулся и я. И, пройдя какое-то расстояние, стал замечать, что, кроме того моего друга детства и юности, дорога оживлена и другими людьми, мужчинами и женщинами, такими же немощными стариками, как я сам, и все это, оказывается, были прежние мои друзья, прежние мои знакомые, прежние мои товарищи по делам — которых я утратил, угодив в лабиринт. Они меня тоже узнавали, некоторые кивали, некоторые даже подходили пожать руку, но, как и с тем моим другом детства и юности, были мы теперь чужды друг другу, неинтересны и не задерживались около друг друга, перебрасывались словечком и тут же расходились, шли и шли по дороге каждый сам по себе.

Солнце сделалось совсем красным и коснулось нижним своим краем земли. Я увидел, как бывший

мой друг детства и юности, далеко обогнавший меня, стал вдруг истаивать, истаивать и исчез — пустая дорога на том месте, где он был еще несколько мгновений назад. И еще, увидел я, исчез один человек, и еще...

И увидел неожиданно для себя, что я по-прежнему нахожусь в лабиринте, и даже не в одном, а сразу в двух, в трех, в десяти, пересекающихся, накладывающихся друг на друга, — только стены их были прозрачны для меня, я проходил через эти стены, следуя своей дорогой, как через некое сгущение воздуха, и не больше; это были чужие лабиринты. По ним метались, суетились бестолково, пытались пробить стены, занимались какими-то бессмысленными, суетными делами люди, но меня они не видели, а я мог бы беспрепятственно пройти сквозь них, как проходил через заковавший их камень.

Какая-то родная фигура почудилась мне в одном из этих мечущихся по лабиринтам людей. Я рванулся к ней — да, это был мой сын. И ему, значит, выпало то же.

Я попытался заговорить с ним — ничего не вышло. Он не слышал меня.

Я попытался дотронуться до него, дать ему знать о себе прикосновением, но и это, разумеется, было бессмысленно.

А его лабиринт, сделалось мне ясно мгновение спустя, пересекался с лабиринтом его сестры, они, мои дочь и сын, находились рядом, совсем близко друг от друга, на расстоянии вытянутой руки, но не видели друг друга. Не чувствовали, не слышали.

И я ничем не мог им помочь. Не мог протянуть им руки, не мог ничего подсказать, видел их там — и должен был там оставить. Родные мои, любимые мои, отрада моя, отчаяние мое!..

Солнце уже совсем исчезло, и только сноп его разноцветных лучей бил еще из-за горизонта веером

в небо. Сумеречная прохлада начинала разливаться в воздухе.

Сзади меня догоняли шаги. Они торопились; задыхались, сбивались — и все же торопились.

Я обернулся. Кто это там?

Это была жена.

— Фу, догнала! — сказала она, вцепляясь мне в руку, и тяжело повисла на ней. Она стала сырая, толстая, ноги ей в лодыжках будто раздуло. — Быстро идешь как. Куда спешишь?

— Да куда же спешить теперь, — сказал я.

— Вот именно, — ответствовала она. — Давай не спеша. Вместе. Вместе лучше.

— Ну конечно, — согласился я. — Само собой.

И подумал, что кому-то одному из нас все равно завершать этот путь в одиночестве.

1989 г.

СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ

Трава растет и на песке.

Дома ставят и без фундамента.

Были ассирийцы, были вавилоняне, были персы, эллины, римляне...

Все ушли, и нет их.

Там, где шумели веселой зеленой листвой оазисы, теперь пустыня, и веет песок свою горячую колючую песню под жарким ветром.

Дом, поставленный на земле без опоры в ее чреве, сгнил и рухнул, не дав вырасти рожденному в нем ребенку до возраста юноши.

Ястреб кружит в вольном голубом небе, высматривая полевку. Чутко прядет ушами во сне, пересидевшая под еловыми лапами опасную дневную пору, заяц. Стоит как застывшая в ледяном быстром потоке, носом противу течения, серебристой листоющей сабелькой форель...

Господи, воля твоя, и все это уйдет, исчезнет без следа — будто никогда этого ничего и не было? И ястреб обратится в птеродактиля, заяц в бронтозавра, форель в чудовище Несси?

А сам я, не помня себя нынешнего, встану на четвереньки, руки мои превратятся в когтистые лапы, рот в пасть, зубы в клыки, и дикий, страшный, нечленораздельный рев исторгнется из моей широкой, как мехи, груди вместо прежней внятной и ясной речи?

Господи, воля твоя, ведь ты сам сотворил меня. По образу своему и подобию. И значит, твоею волей свершается то, что делаю я, твоею волей означен мой путь, твоею волей проведена впереди черта конца?

За что, Господи? Нет, не за что — зачем?

Зачем тебе тогда было все это нужно, Господи? Зачем вел меня из темной глубины веков к нынешнему дню, дал мне Заратуштру и Конфуция, Христа и Мухаммеда, Ньютона и Эйнштейна, поднял меня в летучем корабле над этой планетой, что определил мне на житье?

Для того чтобы оттуда, из черного мрака, глянул я перед своей гибелью на мир, который утрачу, единым взглядом, чтобы увидел его во всей его хрупкой цельности, — чтоб знал, что потеряю?

Страшна, Господи, воля твоя.

Он проснулся. Солнце, бившее в окно, лежало на подушке рядом, не затрагивая лица. «Страшна, Господи, воля твоя», — еще звучали в мозгу последние слова сна.

Что за странный сон приснился ему? Не картины, а голые звучащие слова. Он даже и не знал, что могут сниться такие сны. И ладно б, если бы это говорил он. Но то была просто одна речь, одни слова, и никаких образов. Словно бы кто-то от его имени говорил за него.

Солнце дошло до лица, и подглазью стало жарко. Он откатил голову в тень, и голова его упала с подушки. В ней взболтнулось что-то дряблое и неприятно, — будто колыхнулась, потревоженная, и закачалась, заходила в воде облаками озерная муть.

Что за странный сон, снова подумалось ему. От сна в груди мозжило горькой надсадной болью.

Заиграл писклявым голосом гимн страны электронный будильник. Надо было вставать. Собираться на работу, приводить себя в норму. Сделать гимнастику, побриться, умыться, разгладить измятое лицо

крепким чаем в ясную замкнутую маску, с которой проживешь весь предстоящий день до вечера.

Он скинул ноги с кровати, и они тут же попали в тапки. Это ему понравилось. Он любил, когда все выходило как бы само собой, легко и просто.

Солнце было жарким уже совсем по-дневному. Ляжкам, попавшим в его падавший из окна луч, сделалось горячо во мгновение ока.

В коридоре послышались шаги, и в дверях появилась жена в пеньюаре. Пеньюар был розовый, весь из складок, весь из оборок, и она, должно быть, чувствовала себя в нем абсолютно воздушной. Такие у нее были движения. Впрочем, сохранить в сорок с лишком ее фигуру — и впрямь можно полагать себя воздушной.

— Доброе утро, — сказала она, не переступая порога. — А я думала, ты не услышал будильника. Проснулась — а у тебя ни движения. Встала будить. Жалость какая. Так спать хотелось. Полчаса сна у себя украла.

Она произнесла «сна», и ему вспомнилось: «Страшна, Господи, воля твоя». Странно, очень странно. Все эти слова вообще не из его лексикона. И чтоб еще «Господи» звучало так — словно б с прописной буквы...

— Ну иди, поспи еще, возверни украденное, — не без желания уязвить ее сказал он.

Ей нужно было на работу получасом позднее его, и она обычно не вставала вместе с ним, поднимаясь с постели, когда он уже садился за стол. Ему было все равно: вместе ли завтракать или по отдельности. Они уже много лет и спали отдельно — квартира им позволяла это и тогда, когда сын был меньше, еще не женился и жил с ними.

— А-а! — сказала жена, потягиваясь, выгибая бедро и по-кошачьи прижмуриваясь. — Чего теперь, раз уж встала. Подожди, в туалет сначала я. — И, придав лицу мучительное выражение, приподняла двумя руками подол пеньюара, поводила бедра-

ми из стороны в сторону, показывая, как ей сильно нужно туда.

Он проводил ее взглядом, встал, прошел к балкону и распахнул остававшуюся открытой на ночь балконную дверь во всю ширь. Хотя солнце и было жаркое, воздух еще не нагрелся, и в распахнутый проем хлынул живой, прохладный поток.

А любовнику ее, наверно, все это жутко нравится, жутко его, наверно, все это возбуждает — эти ее ужимки, подумалось ему.

Он был уверен, что у нее есть любовник. А может быть, сразу два. Для остроты ощущений. С одним парочку раз в неделю, с другим раз в месяц. Во всяком случае, если б ему было до любовниц, он бы хотел именно так.

Но ему было не до любовниц. За все двадцать с лишним лет их совместной жизни — пять-шесть случайных женщин на стороне, где-нибудь в командировке, на каком-нибудь выездном совещании, да как-то раз — в пору отдыха на Кавказе, и все быстро, скоком, второпях — никакого удовольствия.

Работа — вот что доставляло ему такое удовольствие, какого не могло дать ни одно женское тело. Он не ревновал жену к ее возможным любовникам. По сути, он сам изменял ей со своей работой, получая настоящее удовольствие только от нее. Жене такого не дано; ну и пусть тешится постелью. Паскуда, добавилось, впрочем, в конце этих мыслей.

Когда он сам был в туалете, стоял, тупо глядя на красные пластмассовые цветы в зеленой пластмассовой корзинке, висевшей на дверце туалетного шкафа за сливным бачком, сквозь журчание струи внизу он услышал, что жена куда-то звонит. Куда, он не понял. Он слышал звуки ее голоса, но смысл их был невнятен.

— Раз уж встала, выйду вместе с тобой, — сказала жена, заглядывая к нему в ванную. В зеркале над умывальником рядом со своим он видел ее лицо. Она говорила и смотрелась в зеркало, провела ла-

доньями по скулам, провела по надбровьям. — Подбросишь меня на машине до кольцевого метро. Зайду до работы к портнихе.

Шофер, когда он в обычное время, уже готовый выходить, уже при галстукe и в пиджаке, выглянул в окно, как раз выбирался из машины. Выбрался, захлопнул дверцу и, взглянув наверх, на его окно, встал у капота. Это он так приучил шофера: приехавши, не сидеть внутри в ожидании, а выйти, показаться. Черных «Волг» в эту пору собирается у подъезда чуть ли не десять штук, и пойдя разбери сверху, подъехала ли твоя.

— Ой, бедняжка, — когда они выходили из квартиры, оглядывая его, сказала жена. — В такую жару — и в галстукe, да еще и не расстегнись.

В голосе ее было сочувствие превосходства.

— У меня в кабинете кондиционер, — сухо ответил он.

Шофер, как обычно, был преисполнен почтительного уважения. Поздоровался, пойдя навстречу, открыл заднюю дверцу — для жены, переднюю — для него, он поблагодарил шофера кивком головы, и тот тоже пошел садиться. Захлопывать шоферу дверцу за собой он не позволял. Это уже отдавало бы барством.

— Все, пока, до вечера, — дотянулась до него со своего заднего сиденья, чмокнула куда-то в висок жена, когда машина остановилась у кольцевого метро. — Во сколько сегодня? Как всегда?

— Как всегда, — сказал он.

Несколько секунд, пока она шла краем тротуара, не теряясь в цветном многолюдье пристанционной толпы, он смотрел ей вслед.

Это было маловероятно, что она поехала к портнихе. С ее портничихой следовало договариваться о встрече за несколько недель. К любовнику и отправилась, куда еще. Синекурная ее работа, на которую он ее сам же своими связями и устроил, позволяла опаздывать хоть на весь день.

— Трогай, чего стоим, — сказал он шоферу.

Ну и катись на хрен, произнес он про себя, лоя в толпе молодую, обольстительную фигуру жены еще раз.

Ему сделалось хорошо в машине без нее. Она ему мешала здесь. Машина — это уже была работа, вынесенная на колеса часть его кабинета, и жена здесь была инородным телом.

Секретарша в приемной еще не появилась — так ему и нравилось: приходить до нее. Это давало какое-то особое чувство самоуважения.

Двери кабинета — одна, другая — были на магнитных присосках, и их мерный, неторопливый обратный ход за спиной, кончавшийся тихим, еле слышным тяжелым чмоком, тоже доставлял ему удовольствие. Такие двери были во всей Москве только в нескольких учреждениях.

Окна кабинета выходили на ту же сторону, что и окно его домашней комнаты, кабинет был полон солнца и уже успел нагреться.

Он включил кондиционер и задернул штору около своего стола.

День начался.

Звонили все его пять телефонов, и он звонил по всем пяти. Вызывал подчиненных, и сами подчиненные приходили к нему, уведомляя через секретаршу о своем желании увидеться с ним. Одних он принимал, другим отказывал. В назначенный час он провел совещание. После совещания просмотрел несколько срочных важных бумаг и передал их со своими замечаниями исполнителям. Вызвал машину и съездил в параллельную организацию, встретился там с кем было нужно, все обговорил и по возвращении к себе провел еще одно совещание. Маховик дел крутился и крутился с тяжелой инерционной силой, зацепляя своими зубцами десятки и десятки людей, хотели они того или не хотели, и в движение этот маховик приводил он. Он знал, что подчиненные побаиваются его, видел, как они робеют перед ним, и ему это нравилось. Ощущать их боязнь и робость — это тоже входило в чувство удовольствия от работы.

Было уже далеко за середину дня, когда он пошел в буфет. В буфет он ходил обычно с Гречишниковым. Гречишников имел его ранг, и им было просто друг с другом. Просто даже было ходить и в буфет. Оба имели на этот буфет право, и не возникало при входе необходимости ни в каких объяснениях.

— Ну ты и засиделся нынче, однако, — упрекнул его Гречишников, когда они встретились у буфета. — Я уж думал, у меня живот к позвонкам прилипнет.

Гречишников был изрядно толст, тройной подбородок его лежал на груди мехами гармони, и слова о прилипшем животе звучали достаточно комично. Рядом с Гречишниковым он чувствовал себя молодым, полным юношеского азарта, способным еще на две жизни впереди.

Окна в буфете тоже были зашторены от солнца, тоже работал кондиционер, и в небольшом, обставленном хорошей мебелью, уютном зале стоял полумрак, как бы даже веял прохладный ветерок, обедающих из-за поздней поры — никого, только они двое, и что-то вдруг рассиделись за кофе, взяли по второй чашке, сидели и говорили — слово к слову, слово за слово, одно цепляло другое.

— Засрала матушку-Землю вконец, — говорил Гречишников, ярясь, встряхивая всеми своими тремя подбородками, и тут-то вот становилось видно, сколько в нем на самом деле энергии, не зря он занимает свое место. — Скоро от собственной вони не будем знать, чем и носы затыкать!

Он возражал:

— Суть не в том, что носы затыкать. Вообще выродиться можем, затыкать нечего будет.

Гречишников соглашался возмущенно:

— Ну так я об этом же самом! Обленились люди, комфортом разнежались, думать о себе не хотят. Работать не хотят как следует, одни им утехи подавай!

— Да, вот те же безотходные производства возьми, — сказал он Гречишникову. — Ведь половину промышленности ими охватить можно, свести все эти выбросы к нулю практически. Дороже только построить — да, но ведь это если в рублях считать! А если в человеческих жизнях? Что перевешивает? Яснее ясного, а нет, сколько уж лет талдычат о безотходке, но так нигде и не вводят!

— А безответственность человеческая, безответственность! — с прежней яростью отозвался Гречишников. — Толпа проклятая, масса, все хочет, чтобы за нее ломил кто-нибудь, чтобы такие, как мы с тобой, горбы свои подставляли. А нас с тобой — раз-два и обчелся, и ведь мы не атланты!

Теперь согласился он:

— Надо с людей требовать, надо — это верно! Такие обстоятельства создавать, чтобы они несли ответственность. А без этого — конечно, не выйдет ничего, небесный свод нынче потяжелее, чем прежде...

День расслабленным буфетным застольем с Гречишниковым будто располовинился и начался заново. Он чувствовал в себе прилив свежих сил, кровь играла, мозг был ясен и быстр — маховик, который он приводил в движение своей волей и энергией, закрутился еще мощней и скорее, чем с утра.

Звонок от Громовержца, как он в шутку, принижая свое невольное благоговение и трепет, называл его про себя, раздался с час спустя, как закончился общерабочий день. Он собирался посидеть над секретными, которые нельзя было брать домой, бумагами еще часок — и вызывать машину.

— Сидишь? — спросил Громовержец, и в голосе его он почувствовал одобрение.

Сам Громовержец сидел много дольше, и он всегда ощущал его еще большим маховиком, чем был сам, волей и энергией его маховика он питался, от них зависел в своем движении.

— Вот что, послушай-ка, — сказал Громовержец после того, как они обменялись ничего не значащими вступительными фразами. — Я тебя попрошу поехать сегодня на телевидение. Нужно выступить там в прямой передаче по поводу этих несчастных хлорфторуглеродов, ни у кого, кроме как у тебя, лучше не выйдет. А то они совсем распоясались, эти защитники среды обитания. Озоновые дыры, озоновые дыры! Завтра будет поздно! Сами, что ли, не думаем? Они одни умные, получается. Не может сейчас страна прекратить производство, у нас все на фреоне, замены нет и пока не предвидится. Об этом они думают?!

Поручение было малоприятное, и он попробовал отбить его.

— А это ничего, что совсем не по нашей епархии? — осторожно сказал он. — Мы тут все-таки некомпетентны. Лучше б, наверное, чтоб это взяли на себя специалисты?

— А вот и хорошо, что не по нашей епархии, — не оставляя ему никаких возможностей открутиться, сказал Громовержец. — Это уже политическая ситуация, а не специальная. Специалисты там будут, с них свой спрос. А ты — как человек со стороны, третейский судья. И чтоб последнее слово за тобой, а не за крикунами! Буду смотреть, потом тебе позвоню!

В нужный час он был на телевидении. Специалисты оказались жидкие, общественники их забили, ведущий, журналист с телевидения, тоже был на стороне крикунов, и, когда казалось, что эти борцы за природную чистоту уже взяли верх, он вмазал им так — у них, должно быть, аж захрустели шейные позвонки. Пикнули было раз-другой, но на том и заткнулись. Политики фиговы!

Когда он вышел на широкую, просторную площадь перед зданием телевидения, был уже совсем поздний вечер. Солнце зашло, и только еще высокие белые облака в голубом небе были окаймлены красно-золотым великолепным сиянием.

— Завтра как обычно? — назвав его по имени-отчеству, предупредительно спросил шофер, выходя из машины вслед за ним.

— Да, как обычно, — сказал он, испытывая сильное, глубокое удовлетворение от тона, каким спросил шофер. Выходить шоферу вслед за собой и провожать взглядом до подъезда, пока не войдет, — этому он его не учил. До этого тот додумался сам. — Всего доброго, — подал он шоферу руку.

День был закончен.

Дома жена снова уже летала в пеньюаре.

Он вспомнил, как она уходила утром от приткнувшейся к дорожному бордюру машины, чтобы смешаться с цветной, шумной летней толпой около станции метро, и ощутил в себе острое, жаркое желание ее тела. Паскуда, выговорилось в нем беззвучно. К любовнику, паскуда, ездила, лежала под ним...

Она сопротивлялась, не хотела, но это только больше распалило его. И когда она, наконец, сдалась и он вошел в нее, — испытал мучительное и восхитительное чувство. То, что она сегодня уже лежала точно так же под каким-то мужским телом, что внутри нее, как он сейчас, уже ходил кто-то вверх-вниз, вверх-вниз, — оказывается, это доставляло ему такое наслаждение, которое невозможно было сравнить ни с чем. Ни с каким прочим жизненным удовольствием. О, ему бы хотелось жить во времена первобытных стай, где все самки равно принадлежали всем самцам, и обладать любой, любой, любой!..

Удовлетворясь, он поднялся, не заботясь о том, нужен ли он жене еще, молча похлопал ее по обнаженной узкой ягодице и, не надевая тапок, пошлепал в ванную. А в первобытной стае, иронически отметило сознание, когда открыл краны, с горячей водой было, наверно, туговато.

Вытершись махровым полотенцем, так босиком, не зайдя больше в комнату жены, он прошлепал к себе, разобрал постель и рухнул в нее. И тотчас уснул, не пролежав без сна и минуты.

Страшна, Господи, воля твоя.

Не верю, Господи, чтоб ты хотел этого.

Помоги, Господи, спаси заблудшего раба твоего, наставь на путь истинный, отверзи душу мою, исторгни мерзкий гной из гнойников ее, очисти меня. Сделай, Господи, чтоб я воистину стал подобен тебе. Не силой, Господи, не могуществом твоим, а чистотой твоей. Ставлю дом без фундамента — и рушится он. Собираю сгнившие бревна и ставлю новый из них же. Сею траву на песке, но забываю о живительной влаге. И снова сею, и снова забываю...

Верю, Господи, в чистоту твою и высоту помыслов твоих, отдаю себя в руки твои — властвуй надо мной во славу имени твоего. Властвуй, Господи, и направь шаги мои. Укажи путь, по которому пойду — и спасусь. Не боюсь, Господи, кустов терновых, углей жародышащих, вод глубоких и хладных, — только укажи, Господи!..

Он проснулся.

Все в нем будто дрожало и стояло торчком. Что за бред ему снился, что за сон такой — один голый звучащий голос, и он вовсе не знает всех этих слов, это не его лексика, он не понимает даже, как эти слова составить друг с другом...

Ночная темь была разлита вокруг. В распахнутую балконную дверь доносились чьи-то пьяные уличные голоса.

Он повернулся на другой бок и закрыл глаза.

И лишь закрыл их, в нем зазвучало: «Только укажи, Господи...»

Он сел на постели и пусто вперился в черно блистающее ночное стекло окна перед собой. И вновь въявь ощутил, как все в нем внутри будто стоит торчком — так встают от ужаса волосы на голове.

Он почувствовал, что спать он не сможет. А завтра утром нужно быть свежим, бодрым, энергич-

ным — соответствовать своей должности. О дьявольщина!..

Он встал, поискал ногами тапки в темноте — тапок не было. Ступням стало холодно. Он вспомнил, что оставил тапки около постели жены. О дьявольщина, снова сказалось в нем.

Он дошлепал до тапок, надел их и потряс жену за плечо.

— Где у тебя снотворное? — спросил он, когда она отозвалась.

— Там, в аптечке на кухне. Уйди, не мешай, — сквозь сон сказала жена.

Но он заставил ее подняться и найти ему снотворное собственноручно. И выпил, чтобы наверняка, три таблетки. Хотя жена закричала на него:

— Ты что, не больше двух!

Но он боялся, что две на него не подействуют.

Он побродил по квартире минут десять, чтобы таблетки начали действовать, и лег.

Он лег, закрыл глаза, и его тотчас понесло в сон — тяжелый, темный, бездонный. И безгласный.

Еще минуту спустя он уже спал, и дыхание его сделалось спокойным и ровным — хорошим сонным дыханием нормального человека.

«Господи, образумь меня! Слаб я, Господи, создан тобою грешным и низким, сам виноват в грехах своих, но не оставь меня своей поддержкой, Господи!» — бился, толкался во мраке его спокойного, глубокого сна голос; но голос был еще глубже, чем его сон, в такой глубине, откуда уже не мог пробиться в одурманенное сознание, — и до спящего не доносилось ни звука.

1989 г.

ГИЛЬОТИНА

Стон стоял в горле, рвался наружу, и он глотал его, заталкивал внутрь, как рвоту. Мозг в черепной коробке не вмещался в нее, распирали ее изнутри, она трещала по всем своим младенческим, давно сросшимся швам, хотелось сунуть голову в какое-нибудь круглое, плотно бы обьяввшее ее железное лоно, и чтобы оно стиснуло ее, как челюсти щипцов стискивают орех, сжало бы со всей своей железной мощью, — и все бы померкло, исчезло, сделалось тьмой: желанной, прекрасной, чудесной, как подлиственная прохлада в испепеляющий летний зной...

Что за мука, Господи, что за мука! Умереть бы сейчас — и конец, ничего не видеть, не знать, не чувствовать... Сердце бы разорвалось, машина бы сшибла, уличное хулиганье стукнуло бы ножом... Невозможно больше, нет сил, жизнь — как пустой сосуд, не вытрясешь из него больше ни капли, умереть бы, умереть, чтобы все кончилось... Господи Боже, мука какая!..

Мужчина только что вылез из жаркой, окутанной острым запахом пота, тесно спрессованной очереди за стиральным порошком «Лотос». Ему дали пять пачек. Когда он вставал в очередь, давали по десять, потом стали по пять. Ничего там не произошло, в этой очереди. Не обращая внимания на ссоры, что вспыхивали то тут, то там, на непрерывно висев-

шую в воздухе брань, он терпеливо отстоял полчаса в кассу, потом полчаса к продавцу, загрузил полученные пачки в авоську, которую всегда носил с собой в кармане, вышел из магазина, пошел по направлению к дому — и вдруг захлестнуло.

Не могу больше жить, Господи, не в состоянии, нет сил. Найди способ — освободи от жизни, отпусти отсюда, прекрати эту муку, рвалось из груди стоном; и в самом деле, не было никаких сил идти, двигать ногами — встал и стоял, крепко зажмуря глаза, весь перекривившись в гримасе боли.

— Вам плохо? — услышал он голос рядом.

Мужчина открыл глаза и, преодолевая себя, покачал головой:

— Нет, пустяки.

Спрашивала старушка. Сморщенная, согбенная, подвяленная годами, как вобла на солнце. Молодые, здоровые — те шли, не обращая внимания. Обязательно должна остановиться такая вот подвяленная.

— Нет-нет, пустяки, — повторил он, видя, что старушка не верит, кивнул ей и, понукнув себя, стронулся с места, пошел дальше.

Стон утекал внутрь, уползал потихоньку в свое тайное логово, откуда вырвался единым махом, втискивался, забирался обратно, и только истощенное «не могу-у!», пока шел к дому, затихая понемногу, еще дребезжало внутри ржавым листовым железом.

— Ты чего это, пять штук всего?! — с возмущением в голосе воскликнула жена, когда он подал ей авоську с пачками порошка. — Очень жаль! Никогда ничего толком! Штук двадцать надо было, не меньше. Мне стирать совсем нечем!

— Больше не давали, — оправдываясь, сказал мужчина.

— Надо было несколько раз встать.

— Так я и так час стоял.

— А сообразить в одном, да в другом, да в третьем месте занять?

— Я так не умею, — с тою же терпеливостью, с какой стоял в очереди, сказал мужчина. — У меня так не получается.

— Не получается! — передразнила жена. — У всех получается, у него нет. Уж лучше бы вообще ничего не приносил тогда. Только расстроил.

Мужчина не ответил ей. Он давно уже привык в таких случаях отмалчиваться. Он знал по опыту, что лучше отмолчаться.

Ночью он проснулся оттого, что хотел повеситься.

Не проснулся даже, а вдруг обнаружил себя лежащим на спине с открытыми глазами, мозг не вмещался в черепной коробке, разрывал ее, и внутри нее бухало как молотом: повеситься, повеситься, повеситься!

Желание было так сильно, что он поднялся, стараясь не разбудить жену, и, бесшумно ступая на носках, пошел в темноте в прихожую. Там, в стенном шкафу, помнилось ему, в старой коробке из-под обуви лежали всякие веревки, и среди них была одна, гладкая, скользкая, крепкая, — как раз то, что нужно.

Все так же в темноте он открыл дверцу шкафа, нашарил на полке коробку и вытащил ее оттуда. Покопавшись в мотках, он нашел на ощупь нужный, взял его и поставил коробку обратно на полку.

Дверца шкафа, когда закрывал его, скрипнула.

Мужчина замер в испуге и стоял, не двигаясь, с полминуты. Но никто в квартире не отозвался на раздавшийся звук, и он закрыл дверцу до конца, сделал шаг от шкафа — и тут оказалось, что он не знает, где ему сделать *это*.

В квартире для *этого* места не было.

Квартира состояла из двух маленьких комнат: в одной, что побольше, спали сын с невесткой и внуком, в другой — они с женой, а на кухне, на втиснутой подле газовой плиты раскладушке, спала дочь. Свободными оставались ванная с туалетом и прихожая вот, где он сейчас находился. Но в ван-

ной с туалетом потолок были совсем низкие, он свободно доставал до них с пола рукой, да и вообще там не за что было зацепить веревку. Разве что за вентиляционную решетку, но решетка пластмассовая и, конечно, не выдержит его веса. В прихожей можно было бы зацепить веревку за крюк для люстры, но тут, в прихожей, капитальный, настоящий стальной крюк сломался, он его заменил самодельным, из двух пружинистых проволок, для люстры крепости их было достаточно, но веса его тела они бы тоже не выдержали.

Мужчина подумал о лестничной клетке — можно ли там. Там, наверное, было можно, особенно если забраться на чердак, но следом за тем он подумал о том, что на чердаке, скорее всего, обнаружит кто-нибудь чужой, о самоубийстве узнает весь дом и все потом будут смотреть на его семью совершенно особенным образом, и понял, что на лестничной клетке сделать *это* тоже невозможно.

Оставался еще один вариант. Потихоньку одеться, спуститься на улицу и, дойдя до лесопарка неподалеку, забраться в какой-нибудь дальний, глухой угол. Перебросить веревку через крепкий высокий сук, вскарабкаться на сук пониже...

Однако, подумавши о парке, мужчина почувствовал, что не в состоянии идти куда-то. Ему нужно было совершить *это* сейчас, немедленно, не отвлекаясь ни на какие другие действия, а пока идет до парка, за те десять или пятнадцать минут, что идет, желание, поднявшее его с постели, может оставить его или просто ослабнуть, и тогда он не пересилит своего страха, не одолеет той боязни, которой всегда окатывало его при мысли о самоубийстве. Хотя он и произносил про себя постоянно «Господи», и обращался к нему, верующим он не был, ему лишь нужно было обращаться к кому-то, ощущать кого-то сильного над собой, однако к самоубийству он относился именно как верующий, самоубийство мнилось ему преступлением, грехом, страшнее ко-

того невозможно придумать: жизнь была дана ему не по его воле, и, значит, не в его воле было отнять ее у себя.

Он снова открыл стенной шкаф, нащупал внутри на полке обувную коробку и опустил в нее гладкий и скользкий моток. Закрыв дверцу и пошел обратно в свою комнату, ступая теперь всей ступней.

Жена по-прежнему спала. Пока он отсутствовал, она легла на постели вольнее, заняв почти всю его половину. Мужчина взял ее за плечи, приподнял и рывком переложил на половину, принадлежащую ей. Жена шумно задышала, заворочалась, укладываясь заново, — но не проснулась.

Днем на работе он подал заявление об увольнении.

Никакого другого места, куда уходить, у него не было, и еще за десять минут до того, как подать заявление, он вовсе не собирался подавать его. Но вызвал к себе заместитель начальника и стал всучивать задание, которое, сорвав все сроки, провалила молодая, крупнотелая, наглая девка с крашенными под блондинку волосами — любовница замначальника. Мужчина отказался: было унижительно, оскорбительно даже — то, что предлагалось ему. Вроде как ему предлагалось жениться на этой наглой девке, чтобы прикрыть ее грех с замначальника. Тем более было унижительно и оскорбительно, что девка сидела здесь же, в кабинете замначальника, и, когда мужчина отказался, прикрикнула на него, словно она-то и была хозяйкой кабинета: «Вам что, интересы производства не дороги?!» Он вышел из кабинета, хлопнув дверью, но через самое малое время его вызвали к самому начальнику. В кабинете у того этой наглой девицы не было, но был замначальника, и начальник в категорической, ультимативной форме потребовал: беритесь за работу и выполняйте, да поживее, а не выполните — разговор будет особый.

Тут-то, в кабинете начальника, он и почувствовал, что больше не может работать здесь, не может

больше терпеть все унижения и оскорбления, которым он здесь подвергается, и если не подаст сейчас заявление об уходе — залепит оплеуху этому замначальника, залепит оплеуху его любовнице... и бог знает что еще понаделает, если не подаст заявление...

Заявление об уходе мужчина забрал на следующий день. Кому он делал хуже, уходя с этой работы? Себе и только себе, и никому другому. Искать новую работу, бегать, как мальчишка, из двери в дверь, добиваться приемов, объясняться, получать отказы... и что еще ждет там, на новом месте, после всех усилий?

Он возвращался домой, и портфель, неизменный спутник его ежедневных утренне-вечерних маятниковых поездок, почти совершенно пустой, казался ему набитым кирпичами. Руки не держали портфель, ноги не шли. Жизнь была как пустой сосуд, из которого не выцедить больше ни капли. Сбей, сбей, сбей, переходя улицу, говорил он автобусу, со страшной скоростью неудержимо несущемуся на него. Но автобус тормозил в последний момент и давал ему невредимо достичь тротуара. Откажи, откажи, ну откажи, кричал он сердцу, но оно лишь ныло в левой половине груди невротической болью и стучало сильно и ровно.

Это было невыносимо — жить так дальше.

Врач-гипнотизер, которого ему устроила двоюродная сестра, принимал дома, только по надежной рекомендации и брал за сеанс двадцать пять рублей.

Мужчина сказал сестре, что врач нужен для одного старого приятеля.

В назначенный час он сидел у врача в его набитой редкими, дорогими книгами, со вкусом обставленной квартире, в кресле напротив него и рассказывал, что с ним происходит.

У врача были слишком ласковые, слишком добрые, слишком понимающе-предупредительные глаза, и мужчина сразу же почувствовал к нему нерас-

положение. Однако он пришел сюда — и ничего другого, как вверить себя врачу, ему не оставалось. Врач был значительно старше мужчины, и это помогало открываться ему — как если бы отдавал себя отцовской опеке.

— А как у вас с потенцией? — прерывая мужчину в удобном месте, внимательным голосом спросил врач.

Мужчина не понял:

— В смысле?

— С половой потенцией, — все тем же внимательным, добрым голосом, ровно сказал врач. — Это ведь все связано, вы понимаете.

— Да бог его знает как, — пробормотал мужчина. — Обыкновенно, по-моему.

— Не чувствуете, что стали слабей? Реже желание, хуже эрекция?

Мужчина подумал про себя: а с чем сравнивать? С той порой, когда он был молод? Странно было бы сравнивать с собой молодым. И откуда желание быть частым, когда при мысли о жене чувствуешь лишь раздражение и, даже когда она не кричит, постоянно ощущаешь, как от нее течет к тебе невидимый ток недовольства тобой.

— Нет, с эрекцией все в порядке, — сказал он.

— А отношения на стороне, кроме жены, с другими женщинами?

— Нет, нету, — сказал мужчина.

— А не пытались завести? Я почему спрашиваю, — тут же поторопился объяснить врач, — это все взаимосвязано, вы понимаете. Бывает достаточно связи на стороне — и все как рукой снимает.

Какого хрена, подумал про себя мужчина, тут жить не хочется, какие тут бабы...

— Нет, не пытался завести, — ответил он.

— Понятно. Очень хорошо, — отозвался врач — как погладил. — У вас апатия — это легкая такая форма депрессии, десять сеансов — и все как рукой снимет, гарантирую вам. Только доверяйте мне, и

все, больше от вас ничего не требуется. Только доверяйте.

Мужчина не поддался гипнозу ни в первый сеанс, ни во второй, ни в третий. «Вы чувствуете себя крепким, жизнерадостным, полным сил. Вас радует наступающий день, вас радует предстоящая сегодня работа, вы обращаете внимание на каждую проходящую мимо женщину... — слышал мужчина тихий, внушающий, ласковый голос врача над собой, лежа на диване с закрытыми глазами, как ему было приказано. — Сегодня вы чувствуете себя еще более крепким, еще более жизнерадостным, чем вчера... — слышал он то, чего не должен был слышать, чему должен был, погрузившись в сон, внимать подсознанием. — У вас прекрасное настроение, вы счастливы, вы заряжены бодростью и энергией. Сейчас я буду считать, и на счете «три» вы откроете глаза, — говорил над ним врач, начал считать, на счете «три» мужчина открывал глаза и обнаруживал над собой лицо врача. Оно ласково, добро улыбалось, и врач спрашивал: — Ну как себя чувствуете?»

Мужчина чувствовал себя отвратительно. Но своей ласковой, доброй, понимающе-предупредительной улыбкой врач ждал другого, и мужчина бормотал виновато: «Ничего, нормально». «В следующий раз будет еще лучше, — продолжая нависать над ним улыбающимся лицом, говорил врач. — С каждым разом мы будем входить с вами во все более глубокий контакт, и с каждым разом будет все лучше и лучше. А на то, что слышите меня, не обращайте внимания, — отвечал он на вопрос мужчины. — Когда мы с вами войдем в глубокий контакт, вы перестанете слышать».

Мужчина не вошел в контакт с ним ни в следующий сеанс, ни в пятый, ни в шестой, ни в седьмой. Какого дьявола, думал он под звучащий над ним голос врача, лежа с закрытыми глазами, какого дьявола мне таскаться сюда, платить такие день-

ги, — все бессмысленно. Надо кончать, все бессмысленно, какого дьявола!

Он уже пробовал до того принимать таблетки, и гипноз был его последней надеждой. От таблеток, когда принимал их, только заливало свинцовой тяжестью голову, мозжило ее страшной, отупляющей болью, и от этой физической муки делалось еще тошнее.

— Я, пожалуй, больше не приду к вам, — сказал мужчина, одевшись и отдавая врачу деньги.

— Пожалуйста, как хотите, как вам лучше, — принимая деньги, по-обычному ласково и понимающе сказал врач. — Но как только почувствуете необходимость... я тотчас к вашим услугам, телефон мой, смотрите, не выбрасывайте.

Первым делом, выйдя от врача, мужчина вытащил из кармана записную книжку и зачернил его телефон в книжке до полного исчезновения. Пошел бы ты к дьяволу, «я к вашим услугам», бормотал он, работая ручкой. Последнюю пору, сам не замечая того, он часто поминал дьявола.

Было начало осени, когда мужчина перестал посещать врача. Деревья оголялись, земля и тротуары были усыпаны багровым и желтым палым листом. Но дожди еще не начались, днем ясно светило солнце, воздух вечерами был сух, прозрачен, чист и прохладен. Мужчина решил, что, пока стоит такая погода, нужно ежедневно ходить на прогулки — прогулки будут расслаблять его и взбадривать, осенняя умиротворенность природы должна перелиться в него и дать ему, наконец, успокоение.

В будние дни, после работы, он ходил обычно по улицам, выбирая улицы тихие, малолюдные, с редкими машинами на дороге, в субботу и воскресенье ходил в лесопарк неподалеку, где тоже облюбовал себе самые укромные, глухие дорожки. На него и в самом деле сошла некая благодатная расслабленность, и временами ему казалось, что он достиг своими прогулками желаемого.

Но в один из дней, сдав начальству очередную выполненную работу и получив в ответ небрежные, скорые слова похвалы, вернувшись к своему столу и начав расчищать его, готовя к новой работе, мужчина почувствовал словно был приступ удушья, рыдание стояло в груди, рвалось в гортань, требуя выхода, и не могло выйти наружу. Автобус, которым мужчина ехал после работы домой, был набит людьми, как бывал обычно набит в эту пору, дышали в затылок, давили локтем под ребра, наступали на ноги, толкали, пробираясь к выходу, — все как обычно, но ему больше невольно было жить в этом, среди этого и чтобы все это повторилось завтра, послезавтра... Он вышел из автобуса, не доехав до своей остановки, зашел в магазин «Галантерея» и купил там опасную бритву с широким, зеркально блестящим лезвием — первую, которая угодила ему на глаза. Ноги сами понесли его в лесопарк и привели в лиственнично-еловую, желто-багрово-зеленую чащобу, куда, он знал по своим прогулкам, наверняка никто не сунется.

Он бросил портфель на землю, достал из бордового бархатистого чехла бритву, вытащил из раздвоенной пластмассовой рукояти зеркальный нож лезвия, зажал его между большим и указательным пальцами, пропустив рукоять между средним и безымянным... и с ужасом почувствовал, что не может, не в состоянии сделать *это*. Инстинкт жизни был в нем сильнее желания смерти, не давал поднять руку, она дрожала, в ней не было крепости... Господи, помоги, зарычал он утробно, стоя с поднесенной к горлу бритвой. Помоги, отпусти, не могу, Господи!.. Ну помоги же, дьявол тебя поberi!..

Что-то мокрое увесисто плюхнулось ему на веко и потекло. Мужчину всего передернуло, он судорожным движением отбросил бритву и провел по веку пальцем. Это было птичье испражнение.

Мужчина поднял глаза вверх. Ветка березы над ним покачивалась, но никакой птицы там не было.

Не поднимая бритвы с земли, мужчина взял портфель и пошел вон из чащобы, к прогулочным дорожкам, проложенным по всему лесопарку. Веко от неприятного ощущения подергивало, как в тике, и он достал из кармана платок и тщательно вытер им всю глазную впадину. Потом вытер палец, которым снял белесую жидкость с века, и выбросил платок в кусты.

За осень с ним случился еще один такой приступ.

Он вернулся домой немного навеселе, пропустив после работы в стеклянной забегаловке по случаю дня рождения сослуживца несколько рюмок коньяку. Он вообще был непьющий, как-то не тянуло его никогда на это, но, выпив, он старался, чтобы жена дома ничего не заметила, и вел себя самым тишайшим образом. На этот раз, однако, она его унюхала.

— Боже мой, это же надо было — выйти замуж за тебя! — воскликнула она, когда мужчина, не устояв под ее напором, признался, что да, действительно выпил. — Нет, это же надо было умудриться!

Он по своей привычке не ответил ей. Уже много лет ее упреки в его адрес облекались в такую вот форму. Другой он уже и не ждал.

Сын, как всегда, заступился за него:

— Ну что ты, в самом деле, мам... Папа что, на бровях пришел?

Их разговор с женой происходил на кухне, сын сидел тут же, за кухонным столом — в комнате, отведенной его семье, невестка убаюкивала ребенка, — делал в большой клеенчатой тетради выписки из толстой книги, а подле этой тетради лежала другая, поменьше, и она вся была исписана, как исчеркана, какими-то хитроумными формулами. Так же вот, только за другими книгами и другими формулами провел свою молодость и мужчина...

— А лучше бы на бровях, — ничуть не озабочась родительским достоинством мужчины, сказала

жена. — На чем угодно, если б настоящим отцом был. А то другие для своих детей такое сделать смогли... а ты что?! — снова уже обращаясь к мужчине, воскликнула она. — Ты элементарно защитить его не сумел! У твоего сына изо рта вытащили, отобрали, что ему полагалось, а ты только утерся. Что толку, что ты деньги домой таскаешь? К деньгам еще и сила нужна. Где твоя сила? Взрослый мужик, а никакими настоящими связями не обзавелся, только и умеешь пахать!

Мужчина ничего не ответил ей. Она была права.

И сын теперь тоже промолчал. Его сын, его радость, его утешение... Отличник, голова, победитель олимпиад, публикация в научном журнале на третьем курсе института! И вот все прахом, все под откос — из-за того, что нужно устроить в науку деток сильных людей. А его сыну — подпрыгивать шелудивым щенком за подвешенным приманым кусочком мяса, который с каждый прыжком поддергивается все выше, все выше, и ну как все силы уйдут в эти пустые прыжки и ни на что больше их не останется — что и случилось с отцом...

— Что ты молчишь? — закричала на мужчину жена. — Ты еще и онемел, что ли? Мало что пьяным домой вваливаешься, так еще и разговаривать не желаешь?

Она закричала — и мужчина не выдержал.

— В следующий раз приду на ушах, — нарочито развязно сказал он. — Как ты смотришь на то, чтоб на ушах?

— Ой, уйдите ругаться куда-нибудь в другое место, — не поднимая на них глаз, с надрывом попросил сын. — Мне еще работать и работать сегодня... мне нужна свежая голова!

Господи Боже, с раздирающей все внутри болью подумалось мужчине, как силен запах приманного куска, как силен!..

Час спустя он обнаружил себя запершимся в ванной над целой грудой таблеточных коробок, ссы-

панных в раковину под краном. Руки у него, когда раскрывал коробки, тряслись. Он надрал из хрустящих целлофановых упаковок, натряс из маленьких желтых флакончиков целую мыльницу таблеток — разноцветных, ярких, весело блестящих, — пустил из крана струю воды, чтобы запивать, и, набрав из мыльницы полную горсть, поднес таблетки ко рту.

Он поднес — и вновь, как тогда, в лесопарке, когда взял бритву на изготовку, почувствовал, что не может, не в силах переступить эту невидимую черту, отделяющую от той тьмы, в которую его так неудержимо влечет. Он стоял на ней, на этой черте, носки его нависали над пропастью, куда он должен был полететь, не доставало маленького толчка, чтобы равновесие нарушилось, но сам он толкнуть себя не мог. А вдруг доза окажется недостаточной, с лихорадочным испугом увещевал, кричал внутри него инстинкт жизни. Откуда ты знаешь ее, достаточную? Не убьешь себя, а только станешь дебилом, ничего не помнящим о себе животным с разжиженным мозгом и будешь доживать свою животную жизнь где-нибудь в психиатрической лечебнице, пуская на грядь пузыри слюны?

Господи, какого дьявола, снова воззвал он, стоя перед умывальной раковиной с крепко зажмуренными глазами, с искореженным мукой лицом, с зажатými в горсти таблетками. Какое дьявола, Господи, мука какая!..

На вечерних своих прогулках после этого случая мужчина стал искать встреч с хулиганскими молодежными компаниями. Он определял их по громким уверенным голосам, исполненным довольства собой, презрения ко всем, кто вне их группы, и почти ничем не прикрытой жажды насилия. Ясного отчета, зачем он делает это, мужчина себе не отдавал. Какой-то дальний, трезвый угол его сознания подсказывал ему — это совсем не тот путь, можно стать калекой, и все, но в то же время другая часть сознания, управлявшая всеми его дей-

ствиями, толкала и на такой *опыт*, и он был не в силах противиться самому себе.

Он подходил к компаниям и просил закурить или же останавливал и спрашивал, который час. По его представлениям, он должен был нарваться на какую-нибудь грубость, не сдержавшись — ответил бы на нее, и после этого жаждущая насилия ватага с удовольствием развлеклась бы с его жизнью.

Но ему давали закурить и отвечали, который час, и он, теряясь, благодарил и шел своим путем дальше. Должно быть, нужно было как-то возбудить их агрессивность и обратить ее на себя, нужно, видимо, было как-то самому оскорбить их и унижить, чтобы они не простили ему такого, но, представляя, как это сделать, сделать это он был не способен.

Лишь раз, когда угощавший сигаретой сунул сигарету ему прямо в губы, он отбросил от лица чужую руку, и с языка сорвалось невольно: «Что же ты как скотина?!»

Угощавший рванулся было схватить его за грудки, но вожак опередил того, прикрыл мужчину собой, а следом оттолкнул, сильно ударив в плечо, и сказал с высокомерным презрением: «Иди, не нарывайся давай. Ты нам в отцы годишься. Хочешь, чтоб мы тебя сделали? Мы отцов чтим. Мы тебе только рога к жопе прикрутим — набегаешься по больницам, пока на место вернут».

Опыт был поставлен, и с того раза мужчина больше не искал на улице никаких встреч — ничто внутри не толкало его к тому.

А вскоре пошли дожди, в воздухе дни напролет сеялась, мокро колола лицо холодная морось, под ногами хлюпали лужи, и мужчина перестал ходить на прогулки.

Дожди отлились, установилось предзимье с закокеевшей землей по утрам, с сахаром изморози на пожухлой траве, тротуары сделались сухи — ходи сколько угодно, разве что непроглядно темны стали вечера, но мужчина не вернулся к прогулкам.

Мысль о них теперь только раздражала его. Что там можно было выходить на этих прогулках... Какого дьявола и таскался!

О том, что дочь снова сделала аборт, уже третий, мужчина узнал совершенно случайно. Он подслушал. Он вернулся домой немного раньше обычного — невестка за дверью своей комнаты разговаривала по телефону, все, о чем она говорила, было прекрасно слышно, а сама она, разговаривая, звука открывшейся входной двери, видимо, не услышала. Невестке предлагали что-то купить, и она, сожалеюще вздыхая, отказывалась, говоря, что нет денег. Тут еще золовке, сказала она, двести рублей дать пришлось, неизвестно, вернет или нет. Несоввершеннолетняя, в больнице — только через родителей, на дому делала, как было не дать.

Подлая шлюха! Семнадцать с небольшим, только-только закончила школу — и на тебе, уже третий! Что из нее выйдет в жизни? Мужчина сидел за ужином, глядел на дочь, невинно отвечавшую ему взглядом: ты чего? — и думал с отчаянием: что должно выйти, то уже вышло. Вышло уже, вышло!

Но все же он попытался поговорить с ней. Улучил момент, когда остались на кухне вдвоем, — и заговорил.

— Отстань от меня, отстань! — мгновенно взвившись, сдавленным шепотом, чтобы никто в квартире не услышал, закричала дочь, и в интонации ее он узнал жену. — Как хочу, так и живу, это моя жизнь, не твоя!

Просилось ударить ее по лицу — по лицу, которое он так любил целовать еще совсем недавно, к нежной коже которого так любил прижиматься своей щекой, — но он сдержался. Только велел ей уйти от него, закрыл глаза и некоторое время стоял так, с крепко зажмуренными глазами, со стиснутыми до скрежета зубами. Стон выдирался из груди, и он изо всей силы держал его внутри, не давал вырваться наружу.

Жене о дочери он не сказал ничего.

А ночью ему приснился чудовищно безобразный сон.

Сны ему снились редко, а когда снились, он забывал их, не успевая даже как следует проснуться, но тут, проснувшись утром, помнил его до мелочей.

Ему приснилось, будто они столкнулись нос к носу где-то на улице с тем самым врачом, у которого он пытался лечиться гипнозом.

«С вами все в порядке?» — спросил врач вместо приветствия. «Носки и пятки», — ответил он. И там, во сне, этот ответ выглядел вполне логичным. «Нет, я хочу спросить, вы живы?» — настаивал врач. «А с кем вы говорите?» — сказал мужчина. «Да-да, действительно, — с облегчением проговорил врач и через паузу, со смешком сказал: — А то мне приснилось, понимаете, что вам отрубили голову...» — «Что вы говорите, как замечательно, — с язвительностью сказал мужчина. — И каким же, интересно, образом?» — «На гильотине», — сказал врач. «Изумительная смерть, — сказал мужчина еще более язвительно. — Ею бы вот, вашими заботами, и умереть».

Сон помнился ему все утро, и, пока ехал в битком набитом автобусе на работу, тоже все время то и дело вспоминал о нем. Что-то жуткое, ужасное, невыносимо гнетущее было в этом сне, хотя он совершенно не напоминал кошмар, от которого просыпаешься в холодном, липком поту страха, — всего-то лишь дикий, абсурдный разговор...

Но рабочий день начался, нужно было с кем-то общаться, кому-то улыбнуться, хотя бы и против воли, куда-то пойти, что-то взять, что-то отдать, делать дело, которое кормило и пило твою семью, и сон мало-помалу забылся: тускнел, тускнел и исчез из памяти вовсе.

К телефону его позвали — мужчина как раз вернулся с обеда, только успел войти в дверь.

— Это вы? — спросил в трубке ласковый, внимательно-предупредительный голос, и мужчина сразу узнал его: то звонил приснившийся ему сегодня

врач. И когда мужчина назвался, врач проговорил с особой ласковостью: — С вами все в порядке?

Какую-то пору мужчина не мог вымолвить ни слова. У него отнялся язык. Он онемел. Вот это уже походило на кошмар. Только не хватало сейчас, как бы против воли, ответить: «Носки и пятки».

— А что это вдруг вы решили позвонить мне? — собравшись с силами, спросил он.

— Ну как же, — сказал врач, — я себя чувствую ответственным за вас.

Ну, разумеется, он себя чувствует ответственным.

— А конкретный повод? Что вас подтолкнуло?

Врач немного замялся.

— Вы мне, знаете, — сказал он затем тоном вины, — приснились сегодня...

«Будто меня гильотинировали?» — хотелось спросить мужчине, но язык у него не посмел произнести этот вопрос. Мужчине сделалось страшно. Или что, они в самом деле вошли все же с врачом в контакт; да такой, что со стороны одного, пусть и в искаженном виде, может сниться другому?

— Все со мной в порядке, — сказал он врачу.

И положил трубку.

На слова прощания у него уже не достало сил.

А как он мог позвонить мне, подумалось мужчине все с тем же страхом, когда положил трубку. Ведь я зачеркнул его телефон. И только долгое мгновение спустя до него дошло: это он не мог позвонить врачу, а врач ему — конечно же мог, его телефон у врача, разумеется, сохранился.

Дорабатывать день мужчина был не в состоянии.

Отпрашиваться следовало идти к замначальника, и мужчина было пошел к нему, но, не дойдя до его кабинета, остановился и пошел обратно. Он был не в состоянии и отпрашиваться.

Под удивленными взглядами сослуживцев он собрал портфель, покинул, ни с кем не попрощавшись, комнату, спустился вниз, надел в гардеробе пальто и вышел на улицу.

С улицей за те несколько часов, что мужчина провел в помещении, произошло преобразование.

Ехал на работу — вокруг была стылая предзимняя чернота тротуаров, земли, деревьев, теперь же все было бело. Снег шел крупитчатый, быстрый, и воздух вокруг был будто заштрихован им и словно шуршал.

Мужчина поднял воротник пальто и пошел по усыпанному снежной крупой тротуару куда повели ноги. Ноги повели было привычным путем к автобусу — мужчина обнаружил это, пересек улицу и свернул в отходивший от нее узкий коленчатый переулок.

Переулок, прокрутившись несколькими коленами, вывел его на широкую, продуваемую ветрами, всю в несущихся автомобилях магистраль, загазованную до спазма в бронхах, и мужчина поторопился уйти с нее.

Улица, на которую он попал, была незнакома. То есть он представлял, как она идет, с какими другими улицами соседствует и куда примерно должна его вывести, но именно ее, эту улицу, он не знал. Никогда не ходил по ней и не слышал ее названия.

Этого ему сейчас и хотелось. Оказаться в таких местах, где бы все было незнакомо, непривычно для глаз, ничто не напоминало бы ему о нем каждодневном, обычном, с которым ему было уже невмочь, — отделиться от самого себя, ощутить себя, хоть на краткий миг, кем-то иным... Раз невозможно *другое*.

Снежная крупа все продолжала сыпать и мялась под ногами с пружинистым тихим хрупом.

Мужчина приостановился поменять руку с портфелем, глянул на дом, около которого находился, — и по телу его прокатилась жгучая холодная судорога.

Он стоял напротив просторных стеклянных дверей, забранных в раму хромированного металла, и на стене, над этими просторными дверями, было

написано яркими буквами: «Институт легкой и быстрой смерти».

Это было настолько дико, что мужчина не поверил себе. Он посмотрел вдоль улицы, в ее заштрихованную белыми стежками даль и снова перевел взгляд на стену над дверями. «Институт легкой и быстрой смерти» было означено там. А на самих дверях, увидел он теперь, в квадратно-округлой рамочке, в каких обычно пишут часы работы общественного заведения, тоже яркими, видными буквами было написано: «Ищущий да обрящет».

Не отдавая себе отчета, что он делает, мужчина толкнул дверь. Она была тяжелая, тугая и лишь слегка качнулась. Мужчина надавил на нее сильнее, створка подалась, и он переступил порог.

За порогом следовал коротенький, в два шага, тамбур без внутренних дверей, мужчина сделал эти два шага и оказался в небольшой, эдаким закутком, но очень чистой, светлой передней, от боковой стенки которой, отчего и рождалось впечатление закутка, отходил коридорчик, должно быть соединявший переднюю с остальным помещением. В одном из углов передней стояли вешалка-рогатина и два уютных кресла подле нее.

Мужчина было остановился в нерешительности, но откуда-то из глубины помещения к нему уже торопились чьи-то шаги, и мгновение спустя из коридорчика в переднюю вышли двое.

— Ну, мы вас заждались! — сказал тот, что вышел первым.

— Давайте ваше пальто, давайте, я приму, — сказал второй, заходя мужчине за спину и берясь сзади за отвороты его пальто.

Мужчина, почему-то подчиняясь, покорно расстегнул пуговицы и высвободился из рукавов.

— Благодарю вас, — сказал он, оборачиваясь к тому, что помог ему.

— Ну что вы, это наша обязанность, — уклоняясь от взгляда мужчины, быстро проговорил тот.

— Давайте ваш портфель, не волнуйтесь, все будет в сохранности, — беря у мужчины из рук портфель, сказал вошедший первым и поставил портфель на пол за вешалку.

Они были доброжелательны и деловиты, все их действия и движения выдавали великолепную профессиональную выучку. Одеты они были в белые свободные куртки-халаты, едва достигавшие колен, в белых же штанах, аккуратной складкой спускавшихся на белые, наподобие парусиновых, туфли, и на головах у них сидели белые круглые шапочки — они напоминали хирургов, приготовившихся к операции.

— Проходите, прошу вас, — сказал тот, что снимал пальто, указывая в сторону коридорчика.

И мужчина все с той же послушностью последовал его предложению — ступил в коридорчик, миновал его и вышел в просторный, наполненный ярким белым светом, такой же чистый и опрятный, как крошечная передняя, зал.

Зал походил на машинный. Стояли там и сям, по всей его обширной площади, сверкая хромированными частями, разнообразными металлическими устройства, и какой-то вибрирующий тяжелый гул колебал воздух.

— Желаете — можно провести экскурсию, — заходя поперед мужчины и становясь перед ним, сказал один из этих двух, он не знал — кто, тот ли, что снимал пальто, тот ли, что брал портфель: оба они были на одно лицо, и, оставив их тогда у себя за спиной, он теперь не мог различить их. — Просто для интереса, конечно. Выбор для вас уже сделан.

— Какой выбор? — хрипло спросил мужчина, и до него дошло, что с того момента, как попал сюда, он впервые лишь подал голос: ужас пережимал горло и просто не давал ему ничего говорить.

— Гильотина, — сказал у него за спиной второй из них.

Он произнес «гильотина», и мужчина с пронзительным облегчением и какою-то даже веселостью

совершенно ясно осознал, что он спит, сон все длится, он вовсе не просыпался. Так бывает: снится, что проснулся, а потом оказывается, что проснулся там, во сне, и так случается и два, и три раза, и только проснувшись действительно, понимаешь, что все остальные пробуждения были не настоящие. Так и сейчас: ему лишь приснилось, что он проснулся, а на самом деле он продолжает спать. Потому что никаких институтов легкой и быстрой смерти не может быть в реальной жизни, откуда они возьмутся, что за бред! Хотя и жаль, конечно.

— Ну и давайте скорее, какая там экскурсия, — сказал он. — Гильотина так гильотина.

— Вот сюда, — направил его движением руки тот, что зашел вперед, и, как бы следуя невидимой линии, протянувшейся от его руки, мужчина безошибочно пошел в сторону одного из устройств, стоящих в зале. Оно имело форму буквы П, рассеченной в верхней своей части надвое, внизу между стойками «буквы», далеко выдвинувшись наружу, крепился наклонный узкий помост, и тот конец его, что поднимался к стойкам, тоже имел разъем, а за разъемом в металлическом теле помоста было овальное углубление, обтянутое шероховатой кожей.

Повинуясь чужой, непререкаемой воле, мужчина, не задерживаясь ни на мгновение, лег на помост лицом вниз, подобрал под себя руки, и голова его вошла в овальное кожаное углубление удобно и прочно.

Он почувствовал, как ноги и туловище ему захлестнули и крепко притянули к помосту тугие ремни.

И голову что же, тоже ремнем, подумалось мужчине с неожиданным отчаянием.

Но, словно отвечая ему, тот, что шел первым, встал у него в изголовье и взял его голову в руки. И когда он взял, мужчине вдруг показалось, что не руками он взял ее, а словно бы обхватил крыльями. Мужчина посилился приподнять голову, чтобы увидеть, чем его держат в действительности, но даже не смог шевельнуть ею.

— Не волнуйтесь. Все будет легко и быстро, — сказал над ним голос, и в тот же миг какая-то блестящая тень бесшумно и невесомо скользнула сверху, мужчина зажмурился и почувствовал, что взлетает.

Он удивленно открыл глаза и увидел, что он и в самом деле парит в воздухе. Но следом затем он увидел на помосте свое обезглавленное тело и понял, что парит в воздухе лишь одна его голова, поднятая с помоста тем, который стоял у него в изголовье. А еще следом он увидел у того, который сейчас отстегивал ремни, державшие его тело, крылья за плечами, белые как снег, что шел на улице, и увидел соломенно-желтое сияние, нимбом стоявшее вокруг его головы.

Мучительно вывернув вбок белки, мужчина попытался увидеть того, кто держал его голову, и угол глаза схватил: ослепительное белое, как сегодняшней снег на улице, вблизи, и желто-соломенное сияние за ним, только разомкнутое посередине и оттого как бы двурогое.

Почему не просыпаюсь, подумал мужчина, хочу проснуться, хватит, достаточно, и сделал над собой усилие, чтоб пробудиться.

Но вместо того чтобы всплыть из глубины сна на поверхность сознания, как после нырка в темную глубь воды поднимаешься ко все более светлеющей границе воды и воздуха, он почувствовал, что его уводит вниз, вглубь, в темноту, что глаза смеживаются непосильной усталостью и темнота с каждым мгновением — все гуще, все плотнее, все тяжелее, как никогда не бывает в сонном кошмаре: всегда после самого ужасного — пробуждение.

Да неужели же это по-настоящему, вяло подумалось мужчине. И тогда, выходит... Но ведь он бы хотел жить, он бы хотел!.. И что-то еще тшился додумать, выкрикнуть самому себе мозг, но уже не мог ничего больше, тьма вокруг залила собой все... и потом исчезла сама.

Молодой человек, шедший метрах в пятнадцати за понурым пожилым мужчиной с портфелем, вдруг увидел, что тот исчез. Шел, пришаркивая ногами, остановился переложить портфель из руки в руку — и исчез. Словно растворился в воздухе.

Его не было какое-то мгновение — не больше, наверное, секунды, — и молодой человек увидел его вновь. Только теперь мужчина лежал, уткнувшись лицом в снежную порошу на тротуаре, подвернув под себя руки, а портфель его отлетел далеко в сторону, раскрылся, и из него вылетело, рассыпалось веером по снегу содержимое: сколотые скрепками какие-то листы бумаги, картонная красная папка, зеленая телефонная книжка, коробка сигарет, зажигалка...

Молодой человек бросился к лежащему, перевернул его лицом вверх — глаза у того были закрыты, рот растянулся в судорожной непонятной гримасе: то ли боли, то ли слабой улыбки.

Молодой человек огляделся вокруг быстрым взглядом. Никого не было на выбеленной первым снегом улице, кроме него да лежащего мужчины, и надеяться надо было только на себя.

Мужчина упал как раз напротив телефонной будки, молодой человек трясущейся рукой пошарил в кармане и, еще не найдя ничего, вспомнил, что в «Скорую» и в милицию звонить без монеты. Он рванул стеклянную, в раме из хромированного металла дверь на себя, вломился в будку и сорвал трубку с рычага.

Реанимационная машина ехала минут двадцать. В ожидании ее молодой человек снял с себя шарф и подложил его под голову мужчины. Он бы хотел сделать что-нибудь еще, но что еще — он не знал. Мало-помалу вокруг них собралась толпа человек в десять, но никто из толпы тоже не знал, что делать в подобных случаях.

Наконец машина, сверкая огнями, громко сигналя, подкатила. Врач выскочил еще на ходу и побежал к мужчине.

— Он шел, исчез, а потом смотрю — уже лежит, — захлебываясь, начал объяснять ему молодой человек.

Врач отмахнулся от него:

— Это милиции скажешь. В общем, никто не ударял, ничего — вдруг повалился, да?

— В общем, да, — согласился молодой человек.

— Помогите фельдшеру в машину занести, — попросил его врач.

Молодой человек помог занести носилки с мужчиной в машину и, как-то так вышло, остался там.

Врач расстегнул на мужчине пальто, пиджак, рубашку, послушал его, подключил какие-то приборы — и отключил.

— Э, чего теперь, — сказал он молодому человеку. — Если бы сразу массаж сердца да дыхание «рот в рот». А теперь бесполезно. Надо сразу. Тогда бы еще может быть.

— А что с ним? — спросил молодой человек.

— Острая сердечная недостаточность почти наверняка, — сказал врач. — Слышал о таком?

Молодой человек не слышал.

— Ну вот, теперь знаешь.

— Но он, понимаете, исчез, — снова попробовал сказать молодой человек. — На мгновение, понимаете...

— Это тебе показалось, — сказал врач. Он наклонился над мужчиной еще раз, задрал ему зачем-то подбородок и внимательно посмотрел на шею. — Резался, что ли... — пробормотал он.

Молодой человек тоже посмотрел на шею мужчины. Тонкий, как волос, едва заметный белый шрам пересекал ее.

— Вы знаете, мне не показалось, — снова было начал он, но врач отмахнулся:

— Хватит. — И стал выбираться из машины. — Вон и милиция наконец.

Он выбрался из машины и пошел навстречу милиционеру «газику».

— Острая сердечная недостаточность, — услышал молодой человек, как сообщает врач вылезшему милиционеру. — Седьмой нынче случай по городу. Просто невообразимое что-то. Перемена погоды, видимо. Может быть, если б сразу дыхание «рот в рот» да массаж сердца — так спасли бы, а то пока ехали...

Молодой человек тоже подошел к милиционеру и, когда врач закончил, стал объяснять:

— Я за ним шел, метрах в пятнадцати, понимаю. И он вдруг исчез. Исчез — и не было его. А потом появился. Только уже лежит.

Милиционер посмотрел на него как на придурка и через паузу переспросил с иронией:

— И вдруг исчез?

— И вдруг исчез, — подтвердил молодой человек.

— Ой, слушай, ну перестань! — разозлился на него, наконец, врач. — Простой случай, все ясно, давай не пудри мозги.

— Показалось тебе, парень, — с неожиданным сочувствием сказал милиционер. — Увидеть такое впервые... что не померещится. Сейчас протокол составлять будем — нам только факты нужны. Понимаешь?

Молодой человек смотрел на милиционера некоторое время молча, потом кивнул:

— Да нет, для протокола, я понимаю...

— Ну и все, — одобрительно сказал милиционер, беря его под руку и ведя к своей машине, чтобы писать протокол в тепле. — А нам ничего больше и не нужно.

ДОМ

Дом стоял на болоте.

Впрочем, если не знать этого, то никакого болота заметить было невозможно. Ярко зеленела трава ухоженных газонов вокруг, полыхая оранжевым, голубым, малиновым огнем цветущих клумб, разбитых повсюду, мощно тянули себя к небу, шелестя на ветру листвой, деревья с могучими, раскидистыми кронами, — никаких болотных кочек в перьях осоки, никаких танцующих, хлипких стволов в мшистом налете плесени, и певчие птицы, что селились в зарослях боярышника, сирени, акации, окружавших дом, были те же самые, что и возле других домов, и по утрам жильцов пробуждали те же чудные песни, от которых просыпались обитатели домов соседних. К дому вела прекрасная асфальтовая дорога, твердая, ровная, широкая, детская площадка для забав и игр ищ подрастающего поколения была разбита во дворе: с деревянными песочницами, доверху наполненными песком, с металлическими каруселями и качелями, решетчатыми беседками для настольных игр.

Болото было засыпано, завалено привозным чужим грунтом при строительстве, и тем, кто это делал, наверное, казалось, что оно полностью задавлено, с ним покончено навсегда, — было и нет, можно о нем не думать.

Однако там, в глубине, в темном земном чреве, под слоем привозного чужого грунта болото продолжало жить своей тайной ужасной жизнью, оно дышало, оно вздымалось и опускалось, шевелилось, ворочалось, и дом постоянно ощущал на себе эту затаившуюся под ним хлябь. Старожилы вспоминали рассказы обитателей дома, что были в их нынешнем возрасте, когда старожилы были еще детьми: дом, стоявши на месте того, что стоял сейчас, засосало под землю нижним венцом, потом вторым, третьим, четвертым, сырость пропитала его бревна до самого верху, они сопрели, и в один прекрасный день то, что еще не было втянуто хлябью, просто рухнуло, погребя под собой всех, кто находился внутри. Оставшимися без крова на скорую руку, лишь бы появилась крыша над головой, был поставлен временный, маленький, тесный домишко, а рядом с ним начал возводиться большой, основательный, каменный — красивый и просторный, удобный для житья и, самое главное, вполне надежный: сваи его фундамента вгоняли, прошивая болото, до скального грунта.

Это и был тот дом, где мы жили. Однако это был вовсе не тот дом, который предполагалось построить, когда он вычерчивался на бумаге. Во времянке было настолько тесно, что, едва у дома появился первый этаж, его заселили. Строительство замедлилось — пришлось как-то облаживать для житья этот заселенный первый этаж, подводить всякие коммуникации, устраивать отопление, а там, только взялись за второй этаж, хотя и была подперта со всех сторон контрфорсами, времянка развалилась, и достраивать дом по проекту не осталось никакой возможности. Спешно, спешно, только хоть как бы достроить, тянули вверх стены, вставляли в кривые оконные проемы перекошенные рамы, и вместо мраморных плит на облицовку пошла обычная керамическая плитка, а вместо майолики, где она предполагалась, стены расписали, расцветили для глаза, обыкновенной масляной краской. И, будто

ласточкины гнезда, в возмещение утраченных при корректировке проекта эркеров, террас, лоджий налепились повсюду всякие самодельные верандочки, балкончики, глухие кладовки, — видок у дома вышел еще тот.

Но нас, обитателей дома, вид его, откровенно говоря, не очень смущал. Главное, фундамент его был вполне надежен, и нам не грозила участь тех, что жили здесь, на этом же месте, в том, рухнувшем доме.

Хотя болото и не давало забывать о себе.

Оно напоминало о себе прежде всего комарами. Ознобное их зудящее пение возникало в доме с первым весенним теплом и не оставляло вас до осенних холодов. Комары были необыкновенно злы, кровожадны, никакие мази против них не действовали, и душные летние ночи превращались из-за того в истинную пытку. Чтобы спать спокойно, почти все в доме прибегали к одному-единственно надежному способу: закрывали на ночь наглухо окна и, включив пылесос, обходили с ним потолки всех своих помещений, втягивая комаров струей воздуха. Но спать после этого нужно было, не открывая окон, и что было большим злом: комары всю ночь напролет или жаркая липкая духота, после которой наутро поднимался с такой головой, будто мозги у тебя сделаны из кирпичей.

Другим столь же постоянным напоминанием болота о себе была вода в подвале. Дренажные канавы, окружавшие дом, впитывая в себя тающий снег, спускали вешние воды в болото, и оно, переполняясь, выталкивало их из себя коричневой мутной жижей в фундаментный котлован. Приезжали водокачки, заталкивали рифленые толстые шланги заборных рукавов в слуховые отверстия, металлические стаканы поршней, отсасывая воду, со стуком и чмоком ходили вверх-вниз, и коричневая струя выплескивалась на асфальт, бежала по нему ручьем под уклон, чтобы стечь в ближайший канализационный колодец. Но или канализация была несовершенна и не могла при-

нять такое количество воды разом, пропуская какую-то ее часть обратно в почву, или уж виной тому было только болото, вбивавшее в себя стоки со всей округи, а только осушенный подвал через самое недолгое время начинал вновь наполняться водой и бывал действительно сухим лишь неделю-другую раз в несколько лет — в какое-нибудь необычайно засушливое лето.

Собственно, комары были только следствием этой непроходящей воды в подвале. И в конце концов они не были малярийными, оставляли после себя зудящие красные волдыри, и все; сырость же, что шла от воды, пропитывала собой весь дом, и многие в доме страдали от болезней, причиной которых являлась именно влажная атмосфера нашего жилья. Артрит; ревматизм, эмфизема легких — это были болезни, которые имел в нашем доме едва не каждый взрослый. А дети все время ходили с насморками, кашлями, то и дело температурили, — растить детей, живя в нашем доме, было едва не подвигом: каждый знает, что это такое — болезнь ребенка, сколько она отнимает сил.

Особенно страдали от сырости конечно же те, кто жил на первом этаже. Когда-то первый этаж считался привилегированным — ведь в свою пору в него из времянки заселялись наиболее уважаемые, заслуженные, *первые* люди или просто в конце концов наиболее дошлые, — теперь при малейшей возможности все старались с первого перебраться на второй. Но спускаться со второго на первый никто не хотел, то и дело между жильцами первого и второго этажей возникали конфликты, в которые по цепочке втягивались все новые и новые участники, то затухая, то вновь разгораясь, эти конфликты длились, случалось, годами, жить, ощущая под ногами их тлеющий жар, — тоже в этом не было ничего хорошего.

Но в общем-то мы привыкли к такой жизни. Главное, что фундамент был вполне надежен. А в

других домах, в тех существовали свои проблемы, не могли не существовать, ничуть не меньшие, чем наши, и живи мы в каком-нибудь из них, мучились бы, глядишь, еще больше. Так мы себя успокаивали. Так помогали сами себе терпеть все это дальше. И учили тому терпению своих детей. И разве мы были не правы?

Трещина, измеившая наискось дом от фундамента до крыши, появилась не вдруг, она не оказалась неожиданностью, она была сначала такой тоненькой, паутинной, что глаз, схватывая ее, не обращал на нее внимания, привык, что она есть, и когда, наконец, сделалось ясно: да ведь трещина же! — она была уже весьма изрядна: местами кое-где едва не в полпальца толщиной.

В доме могло рухнуть где-нибудь перекрытие — это было бы скверно, но это была бы не беда. В доме могли сгнить стропила, потечь крыша, разморозиться трубы отопления — все это не было бы бедой, потому что все это в конце концов оказалось бы поправимо. Но трещина в стене — это была действительно беда. Потому что причиной ее могло быть только одно: поехавший фундамент.

Ультразвук показал, что несколько свай, на которых стоял дом, уходят в болотную глубь не вертикально, а наискось, и выяснилось, когда подняли архивные документы, так наискось они и были вбиты, с самого начала, пошли так — и нечего было делать, но расчеты показали, что это не должно сказаться на устойчивости дома, запаса прочности остальных вполне достаточно, и никаких дополнительных свай вбивать не стали.

Открытие было ошеломляющим. Вон что! Мы-то думали, пусть простуды и артриты, пусть мучительные летние ночи и неприязненные отношения между соседями, главное — фундамент стопроцентно надежен, и уж тут беспокоиться нечего. А он вовсе

не был надежен, и нам, получается, угрожало то же, что произошло с нашими предками, жившими в деревянном доме!

Некоторое время после совершившегося открытия в доме царила паника. И, как всегда в пору паники, никто ничего не делал, никто и не знал, что, собственно, делать, а трещина между тем становилась все шире, шире, было ощущение, что скоро она прорвет стену насквозь.

И тут, наконец, проявился управдом. Это в его обязанности входило вызывать водокачку, когда подвал начинал переполняться водой, он собирал квартплату и время от времени обходил все квартиры, проверяя правильность заполнения книжек квартплаты с показаниями электросчетчика, это он заведовал перемещениями из квартиры в квартиру, когда какая-нибудь освобождалась, — в общем, он был заметной фигурой в доме. И конечно же кому первому и следовало озаботиться возникшей ситуацией, так это ему.

На подъездных дверях появились подписанные им, отпечатанные на машинке листы, в которых как бы официально сообщалось о проведенных исследованиях, их результатах, а затем — и эти строки были отщелканы на верхнем регистре, прописными буквами — уже не как бы, а действительно официально объявлялось о выводах совершенного исследования: на косо вбитые сваи нет никакой нагрузки, вся нагрузка лежит на нормальных, вертикально вбитых сваях, для беспокойства нет никаких причин, а трещина — результат естественных напряжений в стеновой конструкции, и достаточно ее просто заделать раствором.

Мы собирались около этих листков целыми толпами; читали их вслух, обсуждали, и, хотя большинство не то чтобы не поверило объявленным выводам, но как бы не почувствовало их истинности, спустя несколько дней почти все, однако, обнаружили, что вполне удовлетворены этими выводами,

успокоились и в каких-либо дополнительных сообщениях не нуждаются. Ну, в самом деле, не могли же наши предки, строившие дом, после всего происшедшего ужаса не подстраховаться, не забить лишнюю сваю-другую вместо тех, пошедших вкось, обязательно бы подстраховались, если бы в том действительно была нужда!

Появились строители, с крыш на стальных блестящих канатах свесилась заляпанная раствором и известкой люлька, — от трещины за полдня работы не осталось и следа, а строители вдобавок ко всему в последующие дни еще и освежили весь дом: подштукатурили, подкрасили и подновили кафельную облицовку цоколя.

Трещина обнаружила себя совсем через недолгое время: разорвав паутинно плитки цокольной облицовки, вновь прозмеила собой стену до крыши. Но теперь на нее никто не обратил никакого внимания. Пусть себе будет, пусть растет, если ей нужно, а станет необходимо — замажут.

Так с той поры мы и зажили: трещина появлялась — и ее замазывали, появлялась — и замазывали, и все привыкли к этому, и перестали даже убирать со стены подвесную люльку. Что ее убирать да вешать, убирать да вешать; вот когда напряжение в кладке перестанет раздирать стену и трещина после очередного ремонта больше не появится, тогда уж и убрать ее, раз и навсегда. Правда, заделывать трещину приходилось слишком часто, средств на ремонт стало не хватать, и управдом теперь то и дело ходил по квартирам, собирал дополнительные деньги. Каждый раз при этом он говорил со смешком: все, в последний раз, и по этому его смешку всем было ясно: может, конечно, и в последний, но кто его знает, не от его воли зависит, может, и совсем не в последний даже.

Но когда он в очередной раз пошел по квартирам собирать деньги, вдруг оказалось, что сумма, которую он просит с каждого, многократно превос-

ходит ту, которую бы требовалось внести для обычного ремонта. Словно бы он собирался заделывать десять трещин. Или даже двадцать.

Да ну что вы, да это я решил впрок, чтобы сразу на несколько ремонтов собрать, чтобы не бегать мне то и дело, улыбаясь — винясь и успокаивая одновременно своей улыбкой — говорил управдом, отвечая на недоуменные встревоженные вопросы.

Однако, когда около дома появился компрессор и рабочие с перфораторами принялись вскрывать асфальт около стен, вгрызаться в землю, обнажая коммуникации, всем стало ясно, что управдом лукавил — не трещину замазывать собирал он деньги. А когда уровень коммуникаций был пройден и все эти тонкие и толстые, в изоляции и без, серые и черные трубы обнажились, повиснув в воздухе, будто части скелета, на котором каменной плотью держался дом, длинная членистая машина привезла и свалила гулко сотрясшие землю бетонные спицы свай, прикатил копр, — и земля затряслась уже от равномерных мощных ударов, которыми копр вгонял сваи в ее темное нрево...

Ну что ж, может быть, управдом и был прав: зачем было сообщать нам, для чего действительно собираются деньги, тревожить понапрасну, — все равно узнали. Стали бы обсуждать, что да как, лезть с уточнениями, советами, да еще б и денег не дали, а так — некуда деться, машина запущена, и, видимо, невозможно было обойтись без такого ремонта, все-таки нужно было укреплять фундамент, и нельзя более тянуть, — иначе бы, конечно, он не решился на подобное.

Дом от ударов копра ходил ходуном, летела штукатурка, трещина в стене делалась все шире, все мощней и буквально разломила ее, став сквозной. Внутри в доме никого не осталось. Все от мала до велика высыпали на улицу, и не только из любопытства, — страшно было оставаться внутри. Казалось, еще удар, еще один — и крыша обвалится, перекрытия рухнут

и дома не станет. И боже мой, как же всем нам стало жалко наш дом, сколько мы кляли его, сколько честили, какими словами ни поносили, а тут, в шаге от его возможной гибели, мы обнаружили, как он, оказывается, дорог нам, как мы сжились с ним, как нам уютно в нем, хорошо и как скверно нам будет, если мы его утратим!..

Но нет, все, видимо, было рассчитано: дом не развалился. Сваи встали на положенной глубине, краном и бульдозером с лебедкой под дом подвели несколько дополнительных несущих балок, намертво приварили их, — и коммуникационный скелет вновь исчез под землей, каток своей многотонной машиной утрамбовал дымящийся свежий ноздреватый асфальт, и отделочники живо заделали, закидали раствором, затерли шпателями щель, заштукатурили заново те места, где штукатурка отвалилась, прошли, завязав лица марлей, вокруг дома с распылителем, и дом, заблагоухав краской, засиял чистотой и невинностью новорожденного.

Из соседних домов приходили посмотреть на нашего новорожденного. Обходили вокруг, качали головами, прицокивали языками. Что говорить, хотя мы и не блистали красотой, а с архитектурной точки зрения являлись, может быть, даже уродцем, все-таки мы были необыкновенным домом. Исключительным. Стоять на болоте, на волнующейся под тобой жидкой хляби, но все-таки стоять и пусть через напряжение, через сверхусилие, но выглядеть вполне прилично — это что-нибудь да значило! Нам было чем гордиться. Попробовали бы они жить в таких условиях. У них-то дома стояли на твердой почве.

Новая трещина прозмеила дом совсем в другом месте, чем прежняя. И она не заставила себя долго ждать. Она появилась — мы еще не успели привыкнуть к отремонтированному, заново рожденному облику нашего дома. Появилась внезапно, в один миг: ночью многие вдруг проснулись словно б от сотрясения, от резкого, мощного толчка, как бы

подбросившего их на постелях, от некоего гулкового, будто орудийный выстрел, надсадного звука, проникшего извне в их сонное сознание, и, когда утром стали выходить на работу, обнаружили, что было причиной ночного их пробуждения. Трещина пересекала дом сверху донизу, и повсюду была шириной в палец, не меньше, и местами пробила стену насквозь.

Вечером управдом устроил собрание. Обычно он являл собой само довольство и цветущее благодушие, нынче он был бледен, тревожен, и глаза его никак не могли остановиться на одном месте. Однако смысл его речи сводился к тому, что все сделано правильно, не сделать того, что сделано, было нельзя, все расчеты верны и согласно этим расчетам происшедшее ожидалось, должно было случиться, вес дома переместился, возникли новые напряжения и дали себя знать, могут дать о себе и еще, но во всем этом ничего страшного, фундамент теперь укреплен на вечные времена, а заделывать трещины — пара пустяков.

И снова, как тогда, после ошеломивших нас результатов ультразвукового исследования фундамента, всем нам хотелось верить ему; нам хотелось — и мы поверили. У всех у нас были свои дела, свои заботы, а его делом, его заботой было следить за домом, и, если мы полагали о себе, что справляем свои профессиональные обязанности вполне качественно и никто со стороны не может судить нас, почему мы должны были не доверять ему?

Другое неприятно оцарапало всех, насторожило и поселило в каждом невнятную, но вполне отчетливую тревогу: на собрании почти не было молодых лиц. Конечно же причиной тому являлась и сама молодость, не очень-то любящая рассиживаться по всяким собраниям — многие из молодых просто-напросто не пришли, но, оглядывая собравшиеся плечи, морщины, седины, все мы, с не посещавшей до того никого остротой, ощутили, что каждый

из нас вместе с тем не слишком уверен в будущем дома. Ведь все мы старались, чтобы наши взрослые дети, выходя замуж, женись, переселялись бы к своим новым родственникам, в семьи жен и мужей, — чтобы там жили, не здесь. Все так старались. И оказывается, в доме у нас на первом этаже пустовало несколько квартир, в них не было ни одного жильца, и уже порядочное время!

Впрочем, жизнь продолжалась. Мы приняли к сведению сообщение управдома и разошлись, посудачив лишь о его лице и бегающих глазах, снова появились рабочие, повисли в люльке над щелью... но тут произошла другая неприятность.

Провалилась ведущая к дому асфальтовая дорога.

Подобное случалось и раньше, и не только с дорогой, повсюду на нашей территории, — то не выдерживал напора болотной стихии насыпной привозной грунт. Однако обычно это случалось весной, когда таяли снега, а сейчас от весны нас отделяло уже весьма изрядное время. И кроме того, вдруг выяснилось, что мы не можем отремонтировать дорогу. Обычно, когда происходило подобное, тотчас появлялись самосвалы, возили, вываливали в образовавшийся провал песок, щебенку, всякий строительный мусор, ползал, разравнивал вываленные кучи бульдозер, и если то была дорога — приходил следом грейдер, если же какая-нибудь газонная, зеленая часть — высаживались новые деревья, разбивались новые клумбы, и все становилось как прежде. Теперь же, оказывается, нам нечем было оплатить все эти работы. Наш счет в банке зиял бездонной пустотой, — то, что там имелось, вместе с деньгами, собранными по квартирам, ухнуло на укрепление фундамента...

В конце концов провал был засыпан песком, который мы взяли из песочниц. Мы сами засыпали его. Собрали в выходной день, кто с ведрами, кто с носилками, и засыпали. Жалко было опустошать песочницы — ужас, хоть и мало у нас в доме оставалось детей, но были, и получалось, что мы лиша-

ем их радости возни с песком. Но что было делать, чем еще засыпать, и пришлось.

Ничего, не беда, говорил управдом, таская вместе со всеми носилки к провалу. Не на веки же вечные мы забрали. Вот поднакопим деньжат — и снова завезем полные песочницы. Поднакопим, непременно, как же иначе, дом отремонтирован, у нас теперь больших трат долго не будет.

Да, конечно, думалось нам вслед его словам, теперь со всеми этими ремонтами мы надолго закончили.

Но, видимо, расчеты были все же неверны. Видимо, нельзя было вбивать новые сваи — болото было под нами, не твердый грунт, — должно быть, от сотрясения конструкция фундамента потеряла жесткость, а новые несущие балки на новых сваях оказались или просто бессмысленны, или, еще хуже, вредны, — сразу три трещины иссекли дом в разных местах, и он буквально на глазах стал разваливаться. За несколько дней трещины пробили стены насквозь и все увеличивались, все росли, сыпалась штукатурка, вылетали, вывернутые невероятным давлением, осколки кирпичей, вода в подвале поднялась необыкновенно высоко, она стояла едва не вровень с землей.

Мы все, семья за семьей, семья за семьей, переселились на улицу. Кто вытащил с собой почти всю свою мебель, кто лишь кровати с бельем и одежду, кто умудрился прежде всего снести книги, кто посуду, но после какого-то момента вдруг стало ясно — что взял, то и взял, больше заходить внутрь нельзя, опасно, жизнь дороже любых вещей. Управдом ходил между нами с бледным, напряженным лицом, но теперь ни от кого не уклонял глаз, смотрел прямо, и взгляд его светился печалью. Это было неизбежно, говорил он. Я это знал. Я это давно знал. Я просто не хотел никого пугать. Но вообще до конца дом не развалится. Запас прочности у него большой, это точно. Вот остановится процесс, который идет, поставим контрфорсы, укрепим перекрытия, заделаем как сле-

дует щели — и будем еще жить в нем и жить. Это на-верняка.

Должно быть, он действительно так думал. Потому что прошел по окрестным домам, те по его просьбе организовали некое общество помощи нам, пустили шапку по кругу, собрали какие-то средства, — по отремонтированной с помощью детских песочниц дороге прикатили машины, сгрузили во дворе контейнеры с кирпичом, мешки с цементом и вывалили даже с десятков кубометров песка, чтобы замешивать раствор, — нашим детям мигом появилось чем играть.

Группа нетерпеливых мужчин, когда все это завезли, потребовала от управдома начать строительство контрфорсов немедленно. Вызвать рабочих, пообещать им любые деньги — и чтобы немедленно.

Управдом не соглашался. Процесс должен завершиться, увещевающе говорил он. Иначе контрфорсы тоже подвергнутся ему. Напряжения в конструкции исчезнут, процесс завершится, щели перестанут расти, и тогда мы совершенно беспрепятственно поставим контрфорсы, и укрепим перекрытия, и заделаем щели, и будем еще жить в доме и жить...

Но мужчинам не терпелось. И, потеряв надежду уговорить управдома, они решили ставить контрфорсы сами. Здесь, ходили они вокруг дома, ставим два, здесь один и здесь один, а здесь тоже два... Реквизировали у кого-то несколько корыт замешивать раствор, нашли лопаты, перетаскали из контейнера к месту намеченной кладки кирпичи.

Они не успели положить ни одного кирпича, только сделали замес и, передыхая, закурили, — дом рухнул.

Все произошло так быстро и так заурядно, что никто из наблюдавших это толком в тот миг и не понял, что происходит, не успел ни испугаться, ни вскрикнуть, ни тем более отозвать тех мужчин от дома — чтоб отбежали. Крыша вдруг поехала вбок и просела, что-то ухнуло внутри — провалились,

должно быть, чердачные перекрытия, выметнуло вверх громадное, плотное облако пыли, и стены, надломаясь, с гулом ухнули к своему подножию, рассыпаясь на кирпичи, лохмато ломая оконные рамы, стреляя стеклом... дом во мгновение ока стал грудой мусора, погребя под собой и стоявших около него с сигаретами в губах нетерпеливых мужчин.

Нам помогают. Теперь, когда произошло непредвиденное и ужасное, сами собой, без всяких просьб с нашей стороны, возникли всякие комитеты помощи нам, собираются деньги, вещи, закупаются строительные материалы, техника, дети дают благотворительные концерты, и сбор от концертов тоже идет в нашу пользу. Нам помогают всем миром — мы живем в палатках, купленных на средства, собранные жителями вон того, видите, вон вдаль, на возвышении, красивого белого дома с греческими колоннами, мы готовим себе еду на «буржуйках», подаренных нам обитателями вот этого, да, вот этого высокого, с дымчатыми стеклянными стенами дома, и вон дом, да вон же он, вон, чуть левее, который весь в зелени и цветах, он тоже здорово поможет нам, и вот этот еще, и вот этот...

Нам все помогают. И готов уже проект нового дома — скоро можно начинать строиться.

Но строиться нужно на прежнем месте. Другого для нас нет, ведь дом — это не только стены под крышей, дом — это и пространство вокруг него, необходимое для здоровой, разумно организованной, комфортной жизни, и никто с нами своими территориями не поделится. Да, помочь деньгами и палатками — это конечно, это пожалуйста, но свое пространство — нет, это нет. И мы бы, случись на их месте, тоже бы не поделились.

Однако мы на своем месте, и строиться нам снова здесь, на болоте. При мысли об этом опускаются руки и не хочется браться ни за какое строитель-

ство. Где гарантия, что в нынешнем проекте нет никаких ошибок и дом, поставленный нами, не постигнет участь предыдущих? И где тем более гарантия от ошибок в ходе самого строительства, от тайного брака, от какой-нибудь небрежности какого-нибудь выпившего монтажника, что выплывет наружу потом, годы спустя?

Нет ни от чего никаких гарантий. И потому мы никак не можем взяться за дело. Живем в продувных палатках, готовим на «буржуйках» еду — и ничего не строим, а только все ходим кругами вокруг развалин, ходим и смотрим, смотрим и стонем про себя: Господи, да почему так нам досталось, за что?!

А уже подступает зима, уже пожухли цветы, облетела листва с деревьев, уже выпал снег, и по утрам земля схвачена морозцем. И уже в соседних домах говорят о нас дурно, возмущаются нашей ленью, сердятся, что привезенная ими техника стоит в бездействии под открытым небом, уже жалость и сочувствие готовы заместиться там негодованием и холодным презрением, но Боже, Боже, кто б знал, кто знает, кроме нас самих, что это такое — строить без надежды, что построенное тобой будет стоять — нет, не вечно, разумеется, — но именно так: будет *стоять*, просто *стоять*, знает ли кто это, кроме нас?

Мы будем строиться, будем, куда мы денемся. Нельзя же бесконечно жить в этих мерзлых палатках и готовить еду на ветру. Но как это тяжело — строить без *надежды*, как это тяжело — строить без *веры*, Боже милостивый, как это тяжело — строить без *любви*!..

1991 г.

МУЗА

Ночью мне приснился рассказ. Возможно, так было с Менделеевым, когда ему приснилось его таблица. Однажды до того такое со мной уже случалось. Но тогда мне приснился рассказ собственный, и я проснулся тогда с ощущением безвозвратной, ужасной утраты: я знал во сне, что рассказ изумительный, блестящий, шедевр; написав такой — не страшно и умереть, а пробуждаясь, почувствовал, что он ускользает от меня, выливается из моей памяти, как вода из незаткнутой воронки, выливается — и у меня нет никаких сил удержать его...

Но нынче мне приснился рассказ чужой. И я проснулся среди ночи с ощущением великого облегчения и, пожалуй, радости. Автором рассказа был один мой давний литературный знакомец, давно уже живущий в Париже, и даже не он, а герой его рассказа. Потому что тот мой давний знакомец писал о некоем своем друге юности, и этот его друг перечитывал в его рассказе свой собственный старый рассказ, и содержание этого рассказа, что перечитывал юношеский друг моего знакомого, и было собственно содержанием того рассказа, что мне снился. То есть мне снился как бы дважды чужой рассказ. И снился он мне не просто как текст, он был текстом и одновременно *происходил*. Я все это видел, все чувствовал, невольно жил в этом — в чужом, чуждом мне, инородном, и был не волен ос-

вободиться из объявшего меня плена. Некая развратная, почитающая себя утонченной интеллектуалкой женщина, еще не остывшая от постели, говорила своему любовнику, принимая от него чашку свежего кофе и нося сигарету к губам: «Знаешь, теперь, после тебя, я переоцениваю Фадеева. С тобой восхитительно, но мне бы теперь хотелось снова с ним. Чтобы сравнить по-настоящему».

С утра, после завтрака, я работал. Жена ушла на свою службу, сын — в университет. Я остался один, открыв дверь кабинета, ведущую в соседнюю комнату. Маленький мой кабинетик, с трудом вместивший в себя письменный стол, три книжных шкафа под потолок, скрипучую раздвижную тахту и старый венский стул в закутке между шкафами и дверью, сразу раздвинулся, стал громадным, мне стало в нем легко, просторно, и, обдумывая мысль, я вставал и обходил всю квартиру, от восточного окна до западного. В один из таких обходов я вскипятил чайник, всыпал в стакан с подстаканником две ложки растворимого кофе из яркой жестяной банки с крупной надписью «COFFEE CLUB» и, добавив сахару, залил блестящие коричневые кристаллики кипятком. Кофе на вкус был не горький, а какой-то кисловодо-приторный, неприятный для языка. Я давно не пил кофе и совсем забыл, что кофе в этой банке — видимо, какая-то подделка, напрасная трата денег, и пить его — не особо большое удовольствие. Но все же, работая, глоток за глотком, надолго отставляя стакан в сторону, так что в конце концов сделался совершенно холодный, я выпил этот кисловодо-приторный кофе до дна. Под ложечкой от него замозжило. В небо из пищевода накатила муть, ударила в голову, мысли мои утратили ясность. Они стали похожи на истлевшую, ползущую от любого прикосновения ткань. Я пытался прострочить шов, сшивая их друг с другом, а они разлезались на куски, рвались в неопрятные ошметки, слипались в какой-то

темный, бесформенный, не имеющий границ ком... мерзейшее ощущение.

Работа кончилась. Я закрыл ручку, бросил ее на стол и, взяв подстаканник с пустым стаканом внутри, пошел на кухню разогревать свой обед. По пути взгляд мой упал внутрь стакана. Там на дне, бритвенно прижавшись к стенке, лаково блестела засохшая коричневая каемка невытекшего кофе. Я испытал к ней острое неприязненное чувство, словно к живой. И в тот же миг мне вспомнился кофе в руках той женщины из сна. От него шел восхитительный горячий аромат, покрытая пузырящейся шапкой пены его фортепьянная поверхность в тонкой работы фарфоровой чашке так и манила к себе, звала окунуть губы в его роскошную горчайшую глуть.

Пшел вон, мысленно сказал я сну, отгоняя его от себя, как чужую шелудивую собаку, что вдруг пристала к вам по дороге, бежит рядом, ластится и набивается в вашу жизнь.

Вечером я должен был ехать за город, договариваться о машине, чтобы привезти для моего несуществующего деревенского дома двери, которые мне делали в организации под названием Лесхоз. Я их заказал, когда еще казалось, что дом окажется мне по силам, но «сил» хватило только на фундамент и конечно же двери к голому фундаменту — это выглядело полной бессмыслицей, им теперь предстояло лежать бездельно годы и годы в сарае у родственников, но и не взять их — это было бы еще большей бессмыслицей. Шофера, с которым я планировал договариваться о машине, звали Володя, у него был в аренде «ЗИЛ»-самосвал, и мне нравилось пользоваться его услугами: ему не приходилось отрываться от государственной работы для левого рейса, он не приезжал в обговоренное место с двухчасовым опозданием, не орал потом, что опаздывает, и не требовал денег сверх условленного, наоборот — все всегда вовремя, без торопливости, и

расценки ниже, чем у левака. Нужда ехать в темноту, под ночь, обуславливалась тем, что созвониться с Володей не имелось возможности: он жил в общежитии и появлялся там после семи вечера. Вернее, не раньше семи, а мог, конечно, и позднее, так что для верности следовало ориентироваться часов на восемь.

Стояла оттепель. До того чуть не месяц держались морозы, выпавший снег схватил дороги твердым панцирем, сейчас все рассолодило, и вдобавок ко всему с утра шел снег — большие, влажные, пушистые хлопья, — метелило, погодка для поездки была еще та.

Незадавшаяся работа, необходимость бессмысленной поездки, вязкое хлюпающее месиво под ногами, снег, мохнато залепляющий стекла очков, — все располагало к дурному настроению. Отопление в электричке не работало, свет был мерклый, — через полчаса глаза мне жгло от непомерного напряжения, не разобрать ни строчки, и холод от деревяшки сиденья, обивка с которого была напрочь содрана, пробрал до костей.

Когда я вышел на нужной мне станции, у меня было полное ощущение ночи. Людей в вагоне почти никого не осталось, и вместе со мной на платформу сошло человека три. На площади перед станцией в метельной штриховой заволочи толклось в ожидании автобусов несколько человеческих клубков. Мне нужно было в поселок под названием Скобянка, автобус от станции туда не ходил, и узкой тропкой в комкастых, бугрящихся сугробах я двинулся к тихой, непроезжей улице, которая должна была вывести меня к широкой центральной дороге, по которой, я знал, ходит автобус, что и довезет меня до поселка.

Бревенчатые одноэтажные дома за изгородями, утонувшими в сугробах, стояли подобно окаменевшим посланцам минувшего века, омертвелые деревья с набухшими на их ветвях снежными гусеница-

ми вязали свое кружево на фоне темно-белесого неба, как вечность назад, и к ощущению ночи у меня прибавилось ощущение вневременья.

На остановке, к которой я шел, обреталось в ожидании автобуса человек пять. Какие-то автобусы, слепя издали фарами, шли, но почему-то один за другим, не доходя до остановки, сворачивали на перекрестке, и, пока подкатил первый, на площадке рядом со мной собралась уже порядочная толпа. Но этот автобус был не мой, не мой оказался и следующий, и только простояв полчаса и совершенно окоченев, я, наконец, влез в железное, бронетанково обледеневшее на стеклах чрево нужного мне номера.

Летом дорога от этой остановки до конечной, где мне и предстояло сойти, занимала минут семь — если, конечно, не приходилось стоять на железнодорожном переезде, пропуская ту же электричку, — теперь, мне показалось, автобус шел чуть не час. Оттепель превратила дорогу в подобие искореженной стиральной доски, дорога была сплошным чередованием ям и колдобин, ухабов и ям, и автобус, крикая рессорами, по-утиному переваливаясь из стороны в сторону, не шел, а полз. В тонюсенькую полоску глянцево-черной прогалины на самом верху мохнатой ледовой брони, одевавшей собой окно напротив, я пытался понять, где мы едем, глаз с трудом узнавал знакомые по летнему пейзажу места, и всякий раз, когда узнавал, оказывалось, что автобус куда дальше от пункта своего назначения, чем предполагалось из ледового неведения.

Автобус переваливался из стороны в сторону, кричал рессорами, гудел и гудел однообразно мотором, и ощущение вневременья, посетившее меня, когда я шел тихой улочкой от вокзала, неожиданно вновь вошло в меня, подобно руке в перчатку, заполнив собой без остатка. Я обнаружил свою жизнь как бесконечную, бессмысленную дорогу, возникающую где-то в беспредельности еще до моего рожде-

ния, данную мне во временное пользование на недолгий срок, чтобы быть отнятой, когда этот неведомый мне срок исчерпает себя. Наверное, то было что-то сродни описанному Толстым чувству, которое он назвал «арзамасским ужасом». Я знал, что пуста и бессмысленна прожитая жизнь, я знал, что бессмысленно и пустопорожне то, что я делаю сейчас, ради чего болтаюсь в этом бронированном ледяном чреве, подобно Ионе в чреве китовом, как бессмысленна, лишена содержания и цели жизнь будущая, которую мне назначено прожить до итожащей черты того самого срока.

Назвавшаяся «чертой» смерть глянула на меня из тридцатилетнего далека девятнадцати лет великолепным в своем идеальном рисунке круглым черным глазком автоматного дула. Патрон был заслан в патронник, предохранитель поставлен в положение «одиночные выстрелы», и палец лежал на спусковом крючке, и даже слегка ходил около него взад-вперед, показывая возможность того действия, которое было названо словом. «А хочешь, застрелю?» На лице Гены Прокопьева, второгодка из курганской деревни, играла улыбка, его тонкие, бритвенные губы, оттянувшись к ушам, испытывали самое невероятное, тончайшее наслаждение, и по его светящимся счастливым буравчатым синим глазкам я видел, что мысленно он уже притянул палец к себе на миллиметр ближе — на тот миллиметр, который отделял меня живого от меня труп. В казарме Гена Прокопьев испытывал ко мне какие-то особые, странные чувства, его постоянно тянуло сесть рядом со мной на занятиях, говорить со мной, и даже писать письма он просил мою авторучку. В ласковости, с которой он обращался со мной, салагой, было что-то, выходящее за пределы моего разума, его тонкие, бритвенные губы не предполагали в нем ничего подобного, и нужно было выехать на стрельбы, получить от старшины из патронного ящика свои три патрона для исполнения первого упражнения «Стрельба по грудной мишени с

расстояния 50 метров», чтобы понять причину его тяги ко мне.

Его естество просило крови. Ему требовалось кого-то убить, и он избрал в свои жертвы меня. Его внимание было вниманием палача. Его ласковость была рефлексивным, неосознанным действием, призванным усыпить объект его палаческого внимания, и о, как, должно быть, он торжествовал, как упивался своим лукавством, неожиданно для меня передернув затвор, наведя мне на грудь жало ствола и сняв автомат с предохранителя! И какое, должно быть, чувство неудовлетворенности пережил, так и проиграв до конца желаемый акт лишь в своем представлении, — все два года, оставшиеся до его демобилизации, мы прожили в постоянных драках, и никогда больше я не выходил на огневой рубеж в одной группе с ним.

Автобус круто забрал в сторону, остановился, дернулся, замер, двери его, заскрежетав сочленениями, раскрылись, и народ вокруг пришел в движение. Это была конечная. Скобянка. Нужно было выходить и мне. Раз я приехал сюда.

На улице все так же пуржило. Залепляло очки, лишая зрения, и; пока я крутился на месте, осваиваясь, пока оглядывался, народ из автобуса рассосался, растворился в белой заволочи, некого спросить, где тут дом-общежитие с почтой на первом этаже. Володя-водитель, сообщая мне при первом знакомстве адрес, сказал, что дом находится прямо на площади, где останавливается автобус, но так получилось, что я всегда встречался с ним где-нибудь на улице и шел к нему домой в общежитие впервые. На площади дома с почтой не было. Я пересек ее в одном направлении, в другом — никакой почтой и не пахло. Наконец в метели появилась женская фигура с сумками, я бросился к ней, и женщина, не останавливаясь, пряча лицо в меховой воротник, на ходу подтвердила: да-да, никакой почты тут нет.

Дом с почтой обнаружился в полукилометре от площади. Это было пятиэтажное панельное здание с единственным жилым подъездом, вахтерша внутри, сидя за своим столом, в голос ругалась с двумя парнями, и я прошел внутрь мимо ее стола словно незамеченный, без единого вопроса ко мне. Узкий длинный коридор пах созревшей тряпкой, которой был вымыт. Коридор был так узок, что, когда мимо меня прошла к выходу молодая женщина с маленькой дочкой, неся в руках санки, мне пришлось втиснуться в стену. На лестничной площадке между маршами стоял и курил мужчина среднего возраста с похмельно помятым лицом, несмотря на вечер, в шапке на голове, но без верхней одежды. Он встретил меня недоуменным ощупывающим взглядом и, должно быть, таким же и проводил — пока я поднимался по следующему маршу. На третьем этаже, который мне требовался, сразу у входа находилось помещение кухни. Дверь в нее была открыта, оттуда опахивало теплыми сильными запахами готовящейся еды, звуками шкварчащего масла, стучащего ножа, внутри около поставленных в ряд газовых плит с зажженными конфорками возилось несколько человек — мужчин и женщин, и все торопливо, словно уговорившись, когда я проходил мимо, повернули головы и посмотрели на меня.

Нужная мне дверь оказалась совсем неподалеку от кухни — вторая или третья. Был уже девятый час — много больше, чем следовало по моему плану, но тем вернее Володе надлежало оказаться дома.

Дверь открыла женщина в байковом красном халате. Халат был туго перехвачен в талии пояском, в запахнутый его ворот выглядывал ворот белой ночной рубашки с расстегнутой верхней пуговицей. Пуговица была голубая. Мелкие кудряшки тривиально завитых волос осыпали голову женщины, оставив от ушей лишь мочки, — я увидел ее в синем сатиновом халате: работницей почты, расположенной в этом же доме, только с входом со стороны

торца, крановщицей в цехе или разметчицей — такое стояло тавро на ее припухшем, блеклом сорокалетнем лице. От двери в глубь комнаты вела вытопанная ковровая дорожка, в конце ее стоял на растопыренных ножках и светился черно-белым экраном телевизор, и оттуда, от телевизора, изогнувшись, чтобы лучше видеть, лупил на меня глаза мальчик лет восьми.

Володя же здесь больше не жил. Он больше не работал на машине и здесь не жил. Он вообще теперь в Москве, сказала женщина как о крае света, и в старавшемся быть бесстрастным голосе я уловил жестяную интонацию мстительности.

В известной мере, она была права в таком своем отношении к Москве: если даже в Москве Володя снова крутил баранку, гнать его сюда оттуда — это было все равно что с края света.

Ситуация, в которую я попал, оказывалась довольно идиотична. Вывозить двери в Лесхозе было мне назначено завтра на утро. Завтра утром там меня ждала мастер, которая одна лишь и могла отдать эти самые двери, до того я неделю не мог застать ее на месте, и не вывезти завтра утром — значило все начинать сначала. Я ехал обратно в холодном бронированном чреве нового автобуса и растерянно прокручивал в голове свои возможные действия в этой идиотической ситуации. Я так понадеялся на вариант с Володей, что не позаботился ни о каком запасном.

На переезде автобус встал. Минуту спустя накатил, заполнил собою все тяжелый железный грохот груженого товарного поезда, висел в воздухе минуту, другую, начал стихать, исчез — и автобус дернулся, поехал: шлагбаум открылся, перевалив переезд, автобус прокатил еще немного и снова встал. Двери его, одышливо визжа, раскрылись. Здесь была остановка, так и называвшаяся: «Переезд». Если бы я договорился с Володей, мне следовало сойти на ней, перейти дорогу и сесть там на другой автобус. Который увез бы меня в поселок к

родственникам, и утром оттуда я бы отправился в Лесхоз.

Меня подняло со своего места, я бросился к закрывающейся двери и, придерживав ее створки, вырвался наружу.

Табличка с расписанием сообщала, что мой автобус только что отошел и следующий будет через сорок минут.

Внутри остановочного навеса, вдоль его длинной стенки, тянулась деревянная брусчатая скамейка. Я подошел к ней и, сняв с плеча, составил на ее крашенные маслом скользкие брусья сумку. В сумке у меня лежало дорожное чтение, взятое с основательным запасом, свертки с едой, чтобы внести свою долю в стол родственников, тоже с запасом, а также две поллитровые бутылки водки, без которых едва ли мог обойтись мой завтрашний день, сумка получилась основательно тяжелой, и я уже устал таскать ее.

Неподалеку от меня, укрывшись под навесом от ветра и густо валивших мохнатых хлопьев, стояли кружком, также сгрузив на скамейку свои многочисленные сумки, три немолодые женщины в толстых ватных пальто с ворсистым пушевом крохотных воротничков вокруг шеи. В кружке их шел тот вязкий и страстный одновременно разговор, что возникает обычно в любом долгом ожидании с целью убить время между знакомыми, но не очень близкими людьми.

— Козел он был, ваш Горбач, — пылая голосом, говорила одна из женщин. — Козел и козел, больше никто.

— А Ельцин не козел?! — с этим же пламенем спросила другая.

— И Ельцин козел! — подхватила первая. — Закоптил весь Белый дом — не козел разве?

— Хасбулатов с Руцким — тоже козлы изрядные, — вмешалась третья. — Тэтчериху эту бабешкой назвал, чеченец проклятый, можно разве?

— Чечен, — поправила ее вторая. — Теперь положено «чечен» говорить.

— Мало ли что положено! — снова полыхнула первая. — Всю жизнь говорили так, теперь — неверно стало? Козлы и козлы, больше никто!

— Все козлы, — согласилась вторая. — Забрались в огород и жрут капусту — только похрумкивает. Выборы-то вот эти будут — пойду на пункт, всех к чертовой матери повычеркиваю.

— Чего ходить, и ходить не надо, — вступила третья. — Я вообще не пойду и другим не советую.

— Козлы, все козлы! — проговорила первая. — Один царь-батюшка был...

— Тоже козел изрядный, — перебила, как продолжила, третья. — Сколько малых детей девятого января положил — забыли?!

Медленно, словно изображение на чистом листе фотобумаги в ванночке с проявителем, из молочной перспективы улицы выделился, сначала обозначив себя огнями фар, а затем и собственно корпусом, автобус. Это не мог быть мой номер. Мой раньше обозначенного в расписании времени никак появиться не мог, разве что не прийти совсем, и жди следующего, но все же, оставив сумку стоять на скамейке, я вышел из-под навеса и ступил к дороге, чтобы убедиться, что автобус чужой.

Автобус приближался, крохотное, тускло освещенное квадратное окошечко над ветровым стеклом прорисовывало стоящую в нем цифру все четче, все яснее, и, наконец, она сделалась вполне различимой. Это был не мой автобус.

Он подкатил к остановке, глубоко утопая колесами в гребнях рыхлого снега, двери его раскрылись, и из задней тотчас, вперед спиной, выпал человек. Шапка от удара о землю с него свалилась, он заворочался в снегу, завозил руками, пытаясь достать ее, но человек, выскочивший из дверей за ним следом, пробежавшись, отпнул шапку в сторону. Шапка мягко взлетела в воздух, ударилась о спаренный задний скат

и, упав, кувыркнулась в снежную колею. Пнувший подбежал к шапке и захвнул ее ногой под самое колесо.

Упавший тем временем поднялся на ноги. Это был молодой мужчина, вернее сказать — парень, в полупальто из искусственного меха, распахнутом на груди до рубашки, и тот, другой, игравший в футбол его шапкой, тоже был такой же парень, только в кожаной куртке и островерхой шерстяной шапочке на голове.

Народ из автобуса весь вышел, теперь дверные проемы были заняты теми, кто сел. Парень в полупальто из искусственного меха увидел парня в кожанке, бросился на него, схватил за отвороты куртки, и они полетели в снег.

Человеческие клубки, прикинувшие к автобусным дверям, втянулись вовнутрь, пространство около автобуса расчистилось, и стало видно, что, катаясь по снегу, парни оказались головами под автобусом, на пути заднего колеса. Автобус всфыркнул мотором, двери, визгливо вскрикнув, закрылись, автобусная туша, освободившись от держащего ее на месте ручного тормоза, качнулась... но прежде меня и всех остальных, рванувшихся к парням, возле них очутились двое — до того спокойно стоявшие чуть поодаль и спокойно наблюдавшие за происходящим.

Колесо прокрутилось по шапке и выбросило из-под себя назад темным лохматым комком. Автобус круто забрал в сторону, выезжая на проезжую часть, и с каждой секундой все стремительнее стал исчезать в метельной заволочи. Парни, катавшиеся по земле, поднялись. Они и те двое, что вытащили их из-под колеса, были вместе. И теперь эти двое держали дравшихся за руки, громко говорили что-то, всхохатывая, — возникало впечатление, что драка была ненастоящей, не драка, а дружеское меряние силой.

Но вдруг тот, что в кожаной куртке, вырвался из державших его рук, отскочив назад, и ударил голо-

голового в лицо. В волглом, напоенном влагой воздухе звук удара прозвучал глухо и мягко, будто легкий шлепок.

Мгновение спустя парень в полупальто из искусственного меха снова был свободен, и кажется, это те двое сами отпустили его, они отступили на шаг, потом еще и чуть даже отбежали рысцей, как бы давая гологоловому с кожанкой простор для их действий. А простор тем требовался. Они вновь возились в снегу, то один, то другой оказываясь сверху, и утрамбовали в снегу вокруг себя изрядного размера площадку. Все это с их стороны происходило абсолютно молча, без единого звука, только вырывался, разлетался в клочья жаркий пар изо ртов, — что-то сосредоточенно-звериное было в их драке, поглощающе-животное: так, если кому приходилось наблюдать, дерутся собаки, и только когда одна из них чувствует, что силы ее иссякают, жалко просит пощады тоненьким скулящим голосом.

Гологоловый в полупальто попросил пощады бегством. Уловив безопасную паузу в их возне, он вскочил на ноги, кожанка с земли попытался подсечь его, но промахнулся, цапнул рукой лишь воздух, и гологоловый, тяжело, увязая в растоптанном снегу, побежал прочь от остановки. Один из двоих, стоявших в стороне, помог подняться кожанке, другой подобрал со снега расплющенный ком шапки, и все втроем двинулись следом за убегающим гологоловым. И опять эти двое, как тогда, когда держали тех за руки, громко и возбужденно говорили, всхлывали, а тот, что подобрал шапку, взял и насадил ее сверху спортивной шапочки на голову кожанке.

Словно отрубленную голову на пику, независимое от воли, возникло во мне сравнение. Хотя голова кожанки в островерхой спортивной шапочке могла потянуть в сходстве всего лишь на шишкастый древнерусский шлем.

Плечо у меня отдохнуло, и, чтобы не стоять около женщин, которых замкнуло на образе бородатого животного, я взял сумку и вышел из-под навеса.

Неподалеку от остановки приподнимал тяжелое веко ставня над витринным окном коммерческий киоск. Жалкое его тесное нутро было тускло освещено, на подках за стеклом сомкнутыми рядами стояли многочисленные бутылки самых затейливых форм, свезенные со всех концов света, но силы киосочной слабой лампочки не хватало просвечивать их насквозь, а со стороны улицы к стеклу приникала ночная зимняя мгла, и прочесть этикетки на бутылках не представлялось возможности. В свободном месте к стеклу были приклеены два листка. На одном угадывалась знакомая по всем подобным киоскам, где бы тот ни стоял, в центре Москвы у ГУМа или в самой последней тьмутаракани, лапидарная надпись: «Покупаем \$, DM», \$ и DM — цветными фломастерами. Я наклонился к амбразурному окошечку в самом низу витринного стекла и ненужно спросил курс покупки-продажи. И, как всегда в этих киосках, вместо ответа меня спросили сквозь жадное движение челюстей, оживающих во рту терпеливую жевательную резинку: «А сколько меняете?» Я назвал сумму. После короткого раздумья мне ответили. Курс был самый грабительский. «А чё ж ты хочешь!» — с веселой небрежностью произнесли из киоска в ответ на мое произвольное хмыканье.

Второй листок, прилепленный к стеклу, был оригинального содержания. В нем сумел я разобрать, складывая слова из отдельных, различных букв, некий торговый дом под названием «Лар» предлагал портленд-цемент по две тысячи пятьсот за пятидесятикилограммовый мешок и листовое оцинкованное железо два метра на метр десять, толщина ноль пять миллиметра, по пять тысяч за лист. Цемент мне уже не требовался, железо для кровли очень даже требовалось, но, прикинув быстро в уме

сумму, которую должен бы был выложить, я постарался тут же забыть о прочитанном.

Холод по-прежнему цепко держал меня в своих невидимых жестких лапах, и, чтобы вконец не окоченеть, я принялся ходить по тротуару взад-вперед — между киоском с одной стороны и навесом остановки с другой. Стараясь, впрочем, не удаляться от остановки слишком далеко и, когда шел к движению спиной, все время оглядываясь. Метель заглушала звуки моторов, машина могла пройти от тебя в двух метрах, ты бы услышал ее лишь тогда, когда она сравнялась с тобой.

Минут через двадцать подкатил еще один автобус. Моему по-прежнему было рано, но на всякий случай я опять подошел к дороге и посмотрел номер. Автобус был не мой.

Парень с девушкой, сошедшие с автобуса, привлекли мое внимание громким разговором.

— Ну что, — говорил парень, сунув голые руки в карманы куртки из искусственной кожи и слегка покачиваясь взад-вперед, — приехали. Довольна?

— Приехали, ну приехали, — отвечала девушка. — Приехали так приехали, давай идем.

— Нет, ну приехали! — будто споря с ней, сказал парень. — Приехали. Вот. Довольна?

Покачивало его от явной нетрезвости, и в голосе, каким он говорил, была та же, несомненная нетрезвость.

— Ну, приехали — так пойдем! Ну, чего стоять, ну пойдем! — быстрым, жарким, понукающим говорком посыпала девушка.

— Пойдем, да? — спросил парень. — Теперь пойдем? Да?!

В них угадывалась молодая, недавно сложившаяся семья, едва ли более года назад отгулянная свадьба, а до того — танцы на местной «сковородке», выезды компанией на природу по первому майскому теплу; ночные летние обжимания до утренней росы под окнами родительского дома девушки... и вот

отныне из прежней сладкой воли — одна жизнь на двоих.

— Пойдем, значит, да? Пойдем? — повторил парень.

И стал вырывать из рук у жены сумку. Это была большая хозяйственная сумка, чем-то тяжело и полно набитая, и конечно же, коль скоро в руках парня больше ничего не было, нести ее следовало ему.

Жена, однако, не отдавала сумку.

— Оставь! Пусти! Отойди! Я сама! — кричала она, крутясь на месте, пытаясь удержать сумку в своих руках. — А-аа! — закричала она затем от боли, и сумка оказалась в руках парня.

— Ну и все, — сказал парень и, обдав свежим пивным духом, прошел совсем рядом со мной к навесу остановки, миновал его, пересек тротуар и двинулся, покачиваясь, по дорожке, наискось бегущей через небольшой скверик к двум стоящим поодаль приземистым четырехэтажным домам.

Покачивало его весьма основательно. Удерживая равновесие, он взмахивал руками, и сумка, вслед движению руки, прыгала в воздухе, моталась рывком вперед-назад.

— Осторожней! Я тебе говорю, осторожней! Иди не мотай! Не картошку несешь! — шла за ним и говорила нудяще жена. — Выискался тоже, несет он! Разобьешь — будешь звать!

— А-ах! — долгим, протяжным выдохом вырвалось из парня, и он со всего размаху плашмя ударил сумкой по стволу березы, росшей у края дорожки.

В сумке гулко и звонко лопнуло, вздрезбжали сотни осколков, ссыпаясь на дно, — и звуковая картина окружающего мира вернула себе прежние спокойные краски. Жена парня остановилась, будто наткнулась на этот звук лопнувшего стекла, как на стену, замерла — вся ее поза была той, про которую говорят: ноги приросли к земле, — она и хотела двинуться дальше, и не могла.

А парень, пройдя еще немного, размахнулся и ударил сумкой о следующее дерево. Теперь биться в сумке было больше нечему, и она лишь отозвалась мгновенным стеклянным звяком множества осколков.

Парень дошел почти до конца дорожки, был еще виден в метельной заволочи, а жена его все стояла; где встала, потом неожиданно сорвалась с места и молча побежала за ним.

Момент их встречи увидеть от остановки было уже невозможно. Сначала он, потом и она исчезли в белом штриховом тумане, были — и не стало, как растворились, жизнь их, начавшаяся не здесь, отмерившая детство, юность и вступившая в самую долгую свою пору — зрелости, нечаянно задела меня, опахнула веющим внутри нее ветром и, не заметив того, ушла длиться в назначенное ей будущее.

Мой автобус пришел всего с пятиминутным опозданием. Внутри он был так же ледяно бронирован, как и те, которыми я уже ездил сегодня, — то же полное выделение из мира, клаустрофобная замкнутость на себя и во времени, и в пространстве, — но ничего подобного тому «арзамасскому» чувству, что испытал по пути в Скобянку, меня больше не посетило. Ему не во что было *входить*. Я не мог быть вместилищем для него: потому что оно было больше меня, громадней — несоизмеримо, оно поглотило меня, растворило в себе, оно было океан, я — малой каплей этого океана, а капле не дано жить своей жизнью, не дано знать, что океан — штормит или в мертвой зыби; я был в полной власти этой стихии, в ее прихоти было загнать меня в свою бездонную глубину, взбить в воздух шипящей пеной, выбросить в прибое на береговой камень, чтобы испарился под солнцем, превратившись в летучий пар...

Кроме меня, желающих сойти на моей остановке никого не оказалось. Автобус ушел, исчез звук его мотора, и я остался в безмолвном белом пространстве один, лишь кое-где его слабо просвечи-

вали желтыми огнями светящиеся окна и фонарные лампочки. Поселковая улица, которая вела к дому моих родственников, была давно не чищена, вся завалена снегом, но вдоль ее проезжей части тянулась глубокая, совсем недавно освеженная колея, пробитая грузовой машиной, и это делало улицу пригодной для пешего хода.

То, что колея была недавно освежена, вселило в меня оптимистические надежды. Сила, что заставила меня вскочить с места и броситься к уже закрывающимся автобусным дверям там, на переезде, была забывшимся воспоминанием о минувшем строительном лете, когда во дворе одного из домов, проходя мимо, я постоянно видел грузовую машину. И если я не удосужился познакомиться с хозяином машины, то потому, что ни разу не возникло в ней надобности: все лето мне требовались самосвалы, а не бортовые грузовики.

Окна, однако, в нужном мне доме не светились. Не светились окна, и с дороги к калитке не была расчищена, была завалена толстым слоем пушистого снега тропинка. А машина в глубине двора за примыкающим к забору сараем, увидел я, сравнившись с участком, укрыта на кабине и капоте высокими, многодневными шапками снега.

Машина, что прошла по дороге недавно, не имела никакого отношения к этой.

Время было уже далеко за девять, почти половина десятого — пора, которую по зимним часам должно считать ночью и когда заявляться в чужие дома уже неприлично. Но все же я решил пройти улицу до самого конца, до леса, и переговорить с Лехой, бывшим военным летчиком, майором в отставке. Выйдя в отставку совсем молодым и крепким, он занялся шашкой, имел в кармане много денег, едва не каждодневно гулял — и знал в поселке всех. У него и самого, еще весной, стоял во дворе личный «КамАЗ», но к лету он его на что-то выменял и только не говорил, на что.

Леха и сегодня был пьян и меня не узнал. Я узнал его, несмотря на то, что он отпустил бороду, которой у него не было летом, а он меня нет. Мы простояли в холодных сенцах минут десять, он все с недоверием вглядывался в меня и отказывался давать какие-либо сведения. «Откуда я знаю, господин хороший, как вы это потом все используете», — непререкаемо объявил он мне несколько раз. Я попрощался, вышел на улицу и был уже у калитки, когда меня остановил его вопль: Леха бежал ко мне по укрытой снеговым пуховиком тропке в одних носках и кричал, называя по имени: «Так это же ты!..»

У дома, к которому я пришел по Лехиной наводке, стоял потрепанный, весь какой-то обношенный, с залатанными бортами, помятыми крыльями, но, судя по чистому от снега капоту, вполне исправный, бегающий «ЗИЛ». Все три фасадных окна дома светились, и, когда я шел к крыльцу, под каким-то углом в стеклах, в одном за другим, пробежал голубой отблеск работающего телевизора. Сердце мое возликовало: Это была удача. Хозяин машины явно сидел дома.

В доме, однако, оказалась одна сырая, медленная старуха, согбенно шаркающая по полу серыми катанными котами. Это она жгла свет во всю силу ввернутых электролампочек, это для нее светился экраном телевизор, который, впрочем, она смотрела, не сидя в покое перед ним, а расставив посередине комнаты козлоногую гладильную доску и, перед тем как открыть мне, топчась около нее с тяжелым, взодраным сейчас носом вверх электрическим утюгом. Леха же, как того и следовало ожидать, все напутал: никакой Валерка на машине не работал и вообще здесь такой не жил, а были в доме Валентин и Андрей, и вот Андрею, тому да, и принадлежала стоящая у дома машина. Но и тот и другой отсутствовали, и когда вернется, старуха не знала. А завтра утром, в семь часов — это уж точно, ответила она на мой вопрос, когда все-

таки можно будет поговорить с Андреем. Но и не особо позднее, а то, глядишь, уедет, посоветовала она мне вдогонку.

До родственников я добрался в половине одиннадцатого. Там меня ждали уже много дней, но не так поздно, и собирались ложиться спать. Хозяин, каперанг в полной отставке, сел, однако, со мной за стол и поужинал еще раз. Они с женой жили здесь вторую зиму безвыездно, совсем почти не выбираясь в Москву, экономя на всем, на чем только можно, в том числе и на билетах на электричку, он изголодался по общению, и ему хотелось поговорить.

Это что такое, я не пойму, говорил он, накаляясь от звуков собственной речи, этот Жириновский что, все телевидение скупил? Как ни включишь — Жириновский, Жириновский и Жириновский. Жириновский здесь, Жириновский там. Как Фигаро. В магазин пойдешь, только и разговоров — о Жириновском. На почте — то же самое. За кого голосовать будете? За Жириновского! Ведь это же Гитлер, самый натуральный новый Гитлер! С ним бороться нужно. Остановить его. Сейчас, не потом, когда поздно станет. Как бороться? — переспросил он в ответ на мой вопрос. А кто как может. Каждый свою лепту. Я вот, например, про него частушки сочинил. Хожу, с кем заговорю, — читаю. Высмеиваю. Каждый должен внести свой вклад!

Уволенный в отставку по возрасту, выдавленный реформой со штатской работы в безделье смехотворным заработком, он бурлил гражданской энергией, но найти себе разумного применения в этом их с женой вынужденном затворничестве его энергия не могла.

Стройные красоточки — атомные лодочки!
Я вас в Индию пошлю добывать нам колбасу.
Ой-ля-ля, ой-ля-ля, голосуйте за меня!
Тросики, колесики — погибай, матросики!

— прочел каперанг одну из своих частушек.

В шесть утра я был уже на ногах. «Удобства» у родственников, как то обычно почти в любом сельском доме, несмотря на конец двадцатого века, подарившего своим обитателям сказочные чудеса сантехники, располагались во дворе, в неизменном скворечниковом строении, на выкрашенной карминной краской двери которого красовалась сделанная белилами надпись: «Добро пожаловать!» Надпись была неизлишняя, особенно для зимней поры: теплота ее непритязательного юмора согревала хотя бы душу. Пробежка до «удобств» в старой морской куртке на меху взбодрила и напрочь выбила из головы остатки сна. Ветер ночью улегся, снегопад прекратился, температура опустилась градусов до пяти, не меньше, облака рассеяло, и небо над головой мерцало звездами. Я почувствовал в себе невольный укол радости. Мороз был мне на руку. По сухому снегу машина не будет буксовать, и, возможно, удастся подъехать с этими дверными блоками к самому дому родственников. Если, конечно, удастся договориться с Андреем.

Андрей оказался молодым парнем лет двадцати семи с чистым, незамутненным похмельем лицом, он уже возился около машины, бегал из дома и обратно в дом то с ведром дымящейся горячей воды, то с небольшой белой пластмассовой канистрой масла, заводя мотор; мотор, остуженный морозом, не заводился, и ему было не до меня. Минут через пятнадцать этой беготни с ведрами двигатель, наконец, завелся, и Андрей облегченно вылез из кабины.

— Чего? — спросил он.

Мне по-прежнему не везло. Сейчас, с утра, Андрей должен был ехать возить кирпич с завода за пятьдесят километров отсюда, а после возвращения, до темноты, помочь с похоронами умершей соседки — отвезти гроб на кладбище. Поехать со мной он мог только завтра.

Завтра в это же время я подхожу, и, если не случится ничего неожиданного, поедем, — так мы договорились.

Поездка моя затягивалась на целые сутки, а самое главное, уговор с мастером был у меня на сегодня и завтра она могла отсутствовать! Получалось, сейчас мне следовало отправляться в Лесхоз и договариваться с мастером заново. И, если она назначит мне другой день, не завтра, возвращаться сюда и заново договариваться с Андреем.

По дороге в Лесхоз, снова выйдя на «Переезде», я сходил в располагавшееся там неподалеку автохозяйство, — машину здесь мне могли дать, но только послезавтра, а оплатить ее надлежало прямо сейчас.

В Лесхоз я приехал в начале десятого. Мастера на месте не было, уехала на склад за досками, удалось мне вырвать ответ у одного из рабочих в воющем моторами работающих станков помещении мастерских. Бригадир, которого я попросил найти мне мои двери, чтобы посмотреть на них в ожидании, послал меня матом.

На улице после оглушающего шума мастерских, наполненных древесной пылью, было царственно спокойно и морозный воздух — чист, ясен и облегчающе прозрачен.

В огороженный хлипким забором двор мастерских въехал «ЗИЛ»-самосвал с полным кузовом досок. Развернулся, подрулил поближе к дверям и стал поднимать кузов. С легким скребущим звуком доски съехали вниз и уперлись концами в снег. Это были отличные толстые, пятидесятимиллиметровые еловые доски, — вид их вызвал во мне приступ зависти: хотел бы я, чтобы эти доски были привезены не сюда.

«ЗИЛ» тронулся с места, поехал, и штабель досок, стоящий торчком, хлестко и гулко рухнул на землю. Самосвал остановился, кузов его стал опускаться.

Мысль, осенившую меня, назвать озарением было бы нелепо. Странно было бы, если б она не пришла мне в голову.

Придерживая скачущую на бедре полегчавшую сумку с бутылками водки, я подскочил к кабине и постучал в боковое стекло, вызывая водителя. Он открыл дверцу и выглянул.

Дело, которому я отдал вчерашний вечер и нынешнее утро, сладилось в две минуты. Цена, запрошенная водителем, рубль в рубль равнялась той, которую назвал Андрей, ему нужно было взять и отвезти доски еще в одно место, и через час он обещал снова быть здесь. Ну, через час десять, час пятнадцать, уточнил водитель.

Мастер появилась минут через двадцать. Это оказалась молодая женщина с сухим, отстраненным взглядом, она, не отвечая мне на приветствие, прошла в свою комнату на втором этаже, сняла там пальто, повесила в шкаф и только после того приняла от меня листок с моей копией накладной. Покопалась в бумагах у себя на столе, вынула нужную папку, извлекла оттуда накладную, исполненную в первом экземпляре, и положила передо мной оборотной стороной: «Расписывайтесь в получении». Но мне бы хотелось сначала посмотреть, сказал я. Чего их смотреть, двери и двери, сухо отозвалась она. Но тем не менее, настаивал я, откровенно говоря — не зная зачем. А вы что, ждали меня здесь, не могли это сделать, неуступчиво спросила она. Мне пришлось рассказать о реакции бригадира на мою просьбу. Она, опять молча, поднялась, пошла к двери, я двинулся за ней, и так, цугом, мы спустились по лестнице, прошли насквозь мастерскую, заглянули в бригадирскую каморку, где оказалось пусто, снова вернулись в мастерскую, там она спросила что-то у одного из рабочих, и мы вышли на улицу.

На улице визжала, вгрызаясь в податливую пахучую древесную плоть, электропила. Около груды

досок, сваленных самосвалом, возилось человека четыре рабочих, сортировали их, раскладывали на несколько разномерных штабелей, отмечали размер, и пильщик, покачивая пилу вверх-вниз, шил ее бегущей острой цепью насквозь через весь штабель.

Пильщик и был бригадир. Он выключил пилу, оставив ее торчать в распиле, мастер, держа ладонь на груди, чтобы не застудить бронхи, заговорила с ним, он глянул на меня маленькими, буравчатыми голубыми глазками, и я неожиданно узнал в нем Гену Прокопьева из времени армейской службы. Те же глаза, те же бритвенные губы, тот же широкий, округлый, как труба, надавливающий на глаза лоб; только это был Гена Прокопьев, состарившийся, в отличие от меня, не на тридцать прошедших лет, а лишь наполовину срока, он был моим младшим братом по возрасту, племянником; но это был Гена Прокопьев, он.

Пила в его руках снова взревела, мастер подошла ко мне и прокричала:

— Сейчас они здесь закончат, и он вам покажет!

Пила ревела, опилки осыпали снег желтым быстрым фонтаном, рабочие бросали, перебрасывали доски, складывали штабелями, брали нарезанные и уносили их внутрь, в мастерские. Гена Прокопьев возраста моего младшего брата или племянника больше не смотрел на меня, но, как тогда, тридцать лет назад, в армии, мы были теперь связаны с ним, как спаяны, и развязать нас не могло ничего, кроме исчезновения одного из нас из жизни другого.

Наконец последний пропилен был сделан, груда досок во дворе превратилась в небольшую кучу обрезков, и пила смолкла. Так же молча, как до того мастер, бригадир Гена Прокопьев, сматывая на ходу шнур пилы, пошел в мастерские, мне не оставалось ничего другого, как потянуться за ним следом, и наше безмолвное путешествие через всю мастерскую в его каморку к стеллажу с инструментом и обратно на улицу завершилось у боковой стены

строения мастерских, где, засыпанные вчерашним снегом, шпалерами стояли готовые дверные и оконные блоки.

— Вот эти, — ткнув рукой в сплоченный поперечной рейкой набор дверей, нарушил бригадир свое молчание.

Двери были не моими, размер их был иной — видно даже на глаз.

— Чего не ваши, с какой стати, а чьи тогда? — Бригадир как взорвался.

Но рулетка, которая оказалась у него в кармане, принудила его признать мою правоту. Признал мою правоту он молча. Просто ничего не произнес после обмера дверей.

Когда мы отыскивали мои двери и вытащили их из завала, обнаружилось, что рама одного из блоков — совсем не того размера, который был задан на эскизе. Это были входные, двойные двери, между ними полагалось быть некоторому пространству — достаточно толстой прослойке воздуха, чтобы держать тепло, — а тут расстояние от двери до двери оказалось минимальным — только уместить ручку.

— Хрен! — закричал бригадир в ответ на мой вопрос о соответствии чертежу. — Хрен вам всем, чтоб по-вашему делать! Мало ли что вы там понапишете! У меня технология! У меня шире станок не берет! Все! Не хочешь — оставляй!

Это был он, Гена Прокопьев. Жажда крови мучила его безмерно, неуголенность ее раздирала его, как на дыбе, палец его гулял возле спускового крючка, но — мысленно, только мысленно, и физическая невоплощенность желаемого понуждала его заливать внутренний огонь суррогатами тех действий, которые бы дали ему ощутить жизнь как праздник.

«Арзамасское» чувство, объяввшее меня вчера, подобно океанской стихии, сделавшее своей малой каплей, исчезло. Пропало. Перестало существовать. Его не было, потому что я не мог больше ощущать его: оно растворило меня в себе, разъело, как кис-

лота живую ткань; во мне остались одни инстинкты, первобытные животные рефлексy — ничего больше, и я действовал, подчиняясь им.

Я снова оказался у мастера, мы вместе с нею звонили технологу, потом снова пошли в мастерские, снова начался разговор с бригадиром... и вот двое рабочих протасили мою дверь с улицы внутрь мастерских — переделывать.

Машине, с водителем которой я договорился о перевозке, давно полагалось приехать, час, полтора, два часа назад, но ее все не было. Задержись, задержись, молил я. Едва ли бы, прибыв и обнаружив, что везти пока нечего, водитель стал ждать вместе со мной.

И не все же бывает, что везенье обходит тебя стороной. Машина, вскидываясь кузовом на скрытых вчерашним снегом колдобинах, ворвалась во двор минут через пятнадцать, как мой дверной блок, переделанный согласно эскизу, был вынесен из мастерских на улицу. «Бутылка с тебя», — сказал Гена Прокопьев. Я пообещал.

Бутылка за переделку, бутылка за погрузку, — обе бутылки водки из сумки перекочевали в карманы рабочих, и даже Гена Прокопьев, улыбнувшись своими бритвенными губами, ответил на мое «Всего доброго»: «Ну, ага».

Машина понеслась, стремительно уходили под ее колеса километры, и вот уже промелькнула за окном остановка, на которой вчера вечером в метельной белой игре я провел без малого час своей жизни, еще несколько километров, — и поворот, скрежетанье шестерен в коробке передач, и машина пошла едва не ощупью, старательно следуя колее, пробитой в снегу «ЗИЛом» Андрея.

На перекрестке, перед заваленной снегом улицей, по которой следовало бы проехать еще метров шестьдесят, чтобы оказаться у дома родственников, водитель остановился. Мы сошли с ним, он потоптался на тропинке, постучав по ней ногами, пробуя

крепость, посовал в сугроб рядом, взяв из кузова, шест и отказался сворачивать сюда:

— Сяду — и с концом, только трактором за уши. Забуксую на первом же метре. Видишь, опять рас-солодило, снег так и липнет.

Я только сейчас увидел, что мороз, державшийся утром, сдал, небо в плотных облаках, в воздухе перепархивают влажные крупные хлопья, и колея, только что обновленная нами, слюдянисто поблескивает.

Мы разгрузили машину, складывая дверные блоки на обочину, прямо в сугроб, я расплатился с водителем, машина развернулась, укатила, и я остался с дверями один. Теперь мне оставалось надеяться, что родственники, собиравшиеся с утра на рынок в соседний городок, вернулись и каперанг мне поможет. Без помощи закончить начатое я бы не смог.

И снова мне повезло. Родственники как раз вернулись, еще не успели переодеться в домашнее, и каперанг тотчас снова стал облачатся в уличное.

Мы придумали с ним возить блоки на санках. Санки были детские, маленькие, блок на них не лежал, и мы ставили его на боковую сторону, ребром, каперанг шел сзади, держал блок, а я тащил санки за веревку. Снег налип на двери громадными комками, мы сбивали его, он не сбивался. Первые санки я протащил, как охапку хвороста. Вторые были уже гружены дровами. Третьи — камнями. Двойные двери мы оставили напоследок и везли их после едва не час. Раз пять они у нас падали с санок, и мы их поднимали заново, лазая по сугробам, санки на остановках, под грузом двойного блока, прикипали к снегу так крепко, что я сдвигал их с места лишь с десятой попытки, и после всякого очередного падения дверей приходилось передыхать, чтобы собраться с силами.

По дороге с прорезанной в снегу колеей празднично ходили туда-сюда небольшими группками какие-то люди. Они останавливались около нас с каперан-

гом, заговаривали — сколько стоят, где делали, когда заказывали, — и скоро я понял, что это ходят прибывшие на похороны родственники той старухи-соседки Андрея, которую он обещал свезти на кладбище. Уехав утром возить кирпич, он до сих пор не вернулся, и они маялись ожиданием.

Перевезя двери, мы с каперангом пообедали и снова вышли на улицу. Нужно было расчистить в сарае место, куда складывать двери, обскрести их от примерзшего, заледеневшего снега и, наконец, перетаскать.

Когда мы все закончили, было уже совершенно темно и вечер даже по времени. Мне предлагали остаться, переночевать, но в Москве меня ждали сегодня, и я поехал. Перед тем как пойти на станцию, я свернул к дому Андрея, предупредить его, чтобы завтра он меня не ждал. Машины в его дворе не было, а на площадке, где она стояла вчера, толклось несколько человек. Это были все те же родственники умершей. Андрей по-прежнему еще не вернулся, и они продолжали ждать его.

В электричке, едва я сел, меня сморило, и я спал, время от времени просыпаясь и тут же снова проваливаясь в сон, едва не до самой своей станции в Москве. До закрытия молочного магазина, когда я вышел на перрон, оставалось пятнадцать минут. Я еще мог успеть туда. Молочный магазин был моей обязанностью, вчера я не сходил, и сегодня следовало это сделать обязательно.

Из магазина я вышел последним. Плечо мне оттягивала сумка с литровыми прямоугольными пакетами молока, которые я купил делать домашний творог. Дома меня уже давно ждали. Я пообедал по второму разу, посмотрел на кухне по старому черно-белому телевизору программу новостей, и вечерние хозяйственные дела жены вовлекли меня в свою орбиту: она готовила еду на следующие дни, и нужно было что-то подать, достать, унести, потереть, почистить, сполоснуть...

Была уже ночь, двенадцатый час, когда я оказался у дверей своего кабинета. До того за все время, что пробыл дома, я не заходил сюда. Я чувствовал себя безумно усталым и старым. Мне было лет семьдесят, а может быть, восемьдесят, я истрепался, как ношенная-переношенная одежда, истерся до дыр, как подошва у старого башмака, у меня не осталось никаких желаний, и если бы сейчас пришла смерть — я был готов к ней.

Из кабинета, когда я открыл дверь, меня обдало запахом свежего сигаретного дыма. Это было странно. Кому там было дымить. Жена выкуривала свою единственную сигарету за день перед самым сном, около форточки в большой комнате, и ее сигарете было еще рано.

Я закрыл за собой дверь, и женский голос рядом, слева от меня, проговорил с укором и облегчением:

— Ну, наконец-то!

Я повернулся. На венском стуле, стоявшем в стенном проеме между дверью и книжными шкафами, сидела, закинув ногу на ногу, курила та самая женщина из моего ночного сна. Только теперь вместо пеньюара она была в строгом, под самое горло темном платье, строга была ее прическа, и лишь глаза выдавали ее суть: это были прежние развратные, порочные глаза — глаза продажной девки, предать для которой — такой же пустяк, как подстричь ногти.

— Ну, наконец-то! — повторила она, вставая, и забросила мне руки на шею. — Сколько можно ждать? Я вся изждалась! — прижалась ко мне всем своим блядским, потаскушечьим телом, коснулась губами уха и прошептала с коротким смешком: — Знаешь, я попробовала с Фадеевым. Это просто кошмар! Никакого экстаза. Я хочу быть с тобой!

Струйка дыма от ее сигареты, огибая голову, неприятно щекотала мне ноздри. Я снял ее руки у себя с шеи и отстранился. Во мне не было никаких иных чувств, кроме усталости, я хотел только добраться до

постели и лечь. Но все же я нашел в себе силы оскорбить ее:

— Пошла вон! К кому хочешь!

Она засмеялась. Смех у нее был хрипловатый, низкий, такой же порочный и подлый, как ее глаза. Наглый смех.

— Фига с два! — сказала она вульгарно, и руки ее снова оказались у меня на шее. — Никуда ты от меня не денешься...

Я попробовал вновь отшвырнуть ее от себя, но она держалась так цепко, что ничего у меня не вышло.

— Иди, садись за стол! — приказала она.

И я, непонятно подчиняясь ей, вместо тахты у правой стены, пошел к столу у левой, сел за стол и вставил в машинку чистый лист. Она зашла мне за спину, встала там и положила мне руки на лоб. И сейчас, когда я ее не видел, ее руки оказались нежны, преданны, любящи — восхитительные руки женщины, с которой ты можешь чувствовать себя надежно и спокойно. Это были руки, знавшие всех великих, что теснились сейчас книжными переплетами на полках вокруг меня...

— Пиши! — нежно понукнула она меня из-за спины. — Пиши, давай, ну!

И — будто это делал не я, будто некто, кто был мною, — руки мои потянулись к клавиатуре и отстучали первую фразу:

«Ночью мне приснился рассказ...»

1993 г.

КОМПОЗИЦИЯ № 7

Красное плавно перетекло в голубое и стало лиловым. Точка разбухла до размеров теннисного мяча и, казалось, была готова зазвенеть о струны нацеленной на нее ракетки. Свист вырывался из квадрата. Тетраэдр пытался вписаться в лиловое, но, промахиваясь, попадал в розовое. Нескончаемая прямая пронзала воды и тверди, хляби и огненные пространства, нанизав на себя гирлянды запахов. Запахи заполняли все поры, закупоривали их, и мгла текла подобно черному свету, свирепо вращая лопастями своих временных провалов.

Свист, лихо работая рычагами, громом и молнией пронесся мимо в вихре. Ножи бешено вращались на осях, оставляя в прозрачной плоти луча рваные борозды. Луч стремил себя в огненное пространство, источая восторг и счастье. Шум, удобно развалившись в буре, обогнал свиста. Вместо ножей в буре, сверкая лезвиями, мелькали топоры. Они вырывали из луча куски его нежной плоти, и за бурей тянулось шлейфом облачко вспоротого света.

Квадрат опустошенно и потерянно болтался из стороны в сторону, невероятным усилием не давая себе сложиться в безвольный ромб. Его коржило тоской и болью. Он чувствовал в себе зависть к тетраэдру: всегда пьян и все до фени и если не лиловое, то розовое, а не розовое, так все, что угодно, другое. Запахи щекотали квадрату ноздри, у него не

хватало умения разделить их, и сквозь тоску он чувствовал в себе нарастающее бешенство.

Ракетка вдруг оказалась в прекрасной мускулистой руке юной теннисистки и, взметнутая ее взмахом; с ожидаемой упругой силой звонко вколотила по точке, раздувшейся до размеров теннисного мяча. Но размеры точки оказались обманной, неумолимое стремительное приближение переплетенных лоснистою ячеей белых жил вскрыло ее истинную суть — точка невидимо и неслышно прошла сквозь сетку, а ракетка, неся в себе неутоленную инерцию роскошного взмаха, вырвалась из рук теннисистки и, кувыркаясь, полетела в мглу, исчезая в молохе временного провала.

Красное хотело вырваться из-под покровов одевавшего его голубого и точило голубое изнутри тонкими узкими ходами жука-древоточца. Оно набухало силой и в тайных своих желаниях стремилось овладеть лучом, его ясной прекрасной плотью — дабы этой плотью стать самому.

Груда дождя валялась в углу. От его быстрых шуршащих струек веяло спокойствием и умиротворением, и прямая, уставшая тянуть себя в бесконечность, изнемогшая натягивать себя усилием воли идеальной струной, присела на дождевую груду, изогнувшись петлей. Плоскость перекорежило, свернув в трубу. Луч вонзился во мглу и, не осветив ее, потерялся в ее провалах вслед за ракеткой. Мгла захлестнула луч в тщетной попытке поглотить его до полного растворения, но он, все в том же упоении восторга и счастья, вырвался из нее сияющим мечом и рассек запахи на благовоние и мерзость. Мерзость тотчас скаталась в мелкие дробные шарики, и они, прыгуче скача по пространству, рассеялись по нему невидимым, тайным духом. Шум обнаружил себя мчащимся в буре далеко позади свиста. Обескураженный свист мгновение спустя ликовал, упиваясь победой, не видя, что дождь, прогнутый прямой, сеял теперь свою влагу в пространство огня, и душный пар уже тек оттуда, что-

бы заволочь собой путь. Красное радостно сбросило с себя голубое, голубое, подточенное изнутри тысячами скрытых до времени тайных сквозных ходов, рассыпалось во мгновение ока в труху, и красное, могуче и торжествующе разворачиваясь, захлестнуло собой меченосную плоть луча, гася исторгаемые им восторг и счастье. Бешенство, объяввшее квадрат, лопнуло с громким, взрывообразным звуком, и с яростным рычанием, раздиравшим его прямые углы в тупые, он уже ринулся сокрушить тетраэдр, когда неожиданно из мглы скользкой сливовой косточкой, выстреленной большим и указательным пальцами, вылетела ракетка в блескучих лохмах порванных струн. Траектории движений квадрата и ракетки пересеклись, и ракетка с размаху врезалась в отрезки прямой, образующие стороны квадрата, намертво обмотавшись вокруг них перманентом лопнувшей лески.

Хляби, жадно впитывая в себя тайный дух мерзости, неумолимо затягивали собой пространство, погребая в себе огонь и мглу, красное, овладевшее лучом, и свиста с шумом, потерявшихся в облаках жаркого пара. Серое яростно фонтанировало неумолимым, неутомимым гейзером и пожирало пространство в согласии с хлябями. Благовоние свернулось в клубок и все уменьшалось в размерах, стремясь к точке, а точка все истончалась, экстраполируя к бесконечности со значением нуля.

Груде дождя стало непосильно держать на себе груз прямой. Она слегка шевельнулась, и потревоженная прямая пришла в движение, петля ее вывернулась, придав прямой прежний вид, со страшным гулом и грохотом раскаталась плоскость, и, обваренные жарким водяным паром, свист с шумом очутились в ласковых объятиях голубого, с безмятежной первозданностью скрывавшего собой бунтующее внутри него красное. Вихрь лежал вперемешку с бурей, обессиленно скрестив свои еще медленно вращающиеся ножи с ее топорами, мгла с бешеной скоро-

стью проваливалась в самое себя, в свои аспидные временные провалы. И, сверкая и светясь радостью, пронзал собой пространства сияющий луч. Аромат благовония испарялся с его блистающей меченой длани.

Маленькая, как укол иголки, невидимая, незаметная сначала, возникла в самой глупи пространства точка. Потом она стала размером с теннисный мяч, с мяч баскетбольный, с шар аэростата, с земной шар... и все продолжала расти, все увеличивалась, затопля своей вакуумной тьмой пространство... но, наверное, это было не более чем обманом зрения и всех остальных чувств, потому что точка есть нечто несуществующее, эфемерное, условное, и надо лишь дождаться той прекрасной мускулистой руки юной теннисистки, что должна возникнуть из небытия и, размахнувшись ракеткой, влупить изо всей силы по растекшейся тьме...

1995 г.

СФИНКС

ЭПИЛОГ

— Как ты думаешь, а Стас знает? — спросил он.

— Не имею понятия, — ответила она, сосредоточенно и сильно ходя под ним тазом, отталкивая его от себя и тут же, словно зовя вернуться, убегая назад, чтобы в следующее мгновение снова отправиться навстречу, снова оттолкнуть и снова убежать. — Меня это не интересует.

— Нет, ну ты же что-то думаешь по этому поводу.

— Я думаю, как мне умудриться дать вам обоим, — сказала она.

— Хорошо давать нам обоим?

— Хорошо. Хорошо. Хорошо, — отозвалась она с паузами — всякий раз в тот момент, когда посылала его от себя.

Ему нравилось разговаривать с ней во время соития. Только в это время она принадлежала ему. И ему хотелось взять от нее, пока она была его, как можно больше — сколько она позволит взять, — узнать, что она думает об их тройственных отношениях, что чувствует, что испытывает, как вообще оценивает всю ситуацию. В другое время они не говорили ни о чем подобном. Она ему не разрешала.

— Ну ты же и блядь, — сказал он, изо всей силы вминая ее в пружинящее, одышливо пофукивающее сиденье.

— Я не блядь, — послала она его от себя сильнее, чем до того. — Я не блядь. Я сфинкс!

Вот это было точно: сфинкс. Он сам так однажды назвал ее, и она, чуть подумав, радостно согласилась: «Сфинкс, молодец! Именно!»

А она и в самом деле напоминала ему сфинкса. Таинственное крылатое чудовище, проглотившее двух мужиков. Впрочем, не просто чудовище, а прекрасное чудовище. Восхитительное. Бесподобное.

У него никогда не было таких женщин. Вернее, он просто не знал до нее подобных. И даже не думал, что бывают женщины, с которыми может быть так, как с нею. «Дать вам обоим», — говорила она, но она не давала, а скорее брала. Однако в том, как брала, была такая самоотдача, она занималась этим с таким упоением и безоглядностью, что доставляла наслаждение, которое никак не могло сравниться с тем, как если б она «давала». В отличие почти от всех женщин, которых он знал помимо нее, она пила таблетки — и, значит, не нужно ловить момент, думать со взбухающими висками: вот сейчас, вот сейчас, выскакивать, наконец, наружу и, корчась от потерянного рая, исторгаться на пустыню живота. Но это уже было пустяком, незначительной мелочью по сравнению с тем блаженством, что она дарила, просто принимая в себя и отдаваясь любовному действию. Возможно, она была в деле любви таким же гением, как Лев Толстой в литературе. Как Пушкин. Как Достоевский.

— Боже мой, бедняжка, — сказала она с улыбкой, оборачиваясь к нему перед тем, как исчезнуть в полосе кустарника. В левой руке у нее была белая пластмассовая фляжка с водой, в правой — пушистое, мохнатое красное полотенце, которое он видел у нее в этой поездке только после того, как у них случалась близость. Вернее, по утрам, когда выбиралась из палатки, где они ночевали с мужем, если становился тому свидетелем, он также видел ее с этим красным полотенцем. — Ужасно долго пришлось ждать возможности, да? Ты в меня столько вылил — весь прямо течешь по ногам!

Он почувствовал, что вновь готов к близости с нею. Вот подобных ее слов, подобной ее улыбки было ему достаточно, чтобы желать ее третий, пятый, седьмой раз подряд. Хотя таким их отношениям исполнилось уже полных два года.

Но длить дальше то восхитительное занятие, которому они предавались в машине, было уже невозможно. Уже опасно. Стас ушел за грибами часа два назад — и мог скоро вернуться. Мог и через час, и больше, но два часа — это то время, меньше которого он не ходил.

Им, как правило, в этой поездке удавалось быть вместе в такие вот грибные походы ее мужа. Он был страстным грибником, походить по лесу, пошарить палкой в зарослях травы, поворошить ржавчину осыпавшихся иголок — никакого занятия лучше для него было не придумать.

И грибы, надо сказать, он находил — будто их чуял. Будто они сами стремились к нему в корзину. Эту довольно приличного объема корзину, которая обычно покоилась в дороге на заднем сиденье рядом с Ниной, если более-менее грибное место, он набирал за те самые два часа. Ходить за грибами ему конечно же приятней было бы компанией, и он, может быть, даже решился бы оставить машину среди леса без всякого присмотра, но Нина просто терпеть не могла собирать грибы. Это была не выдумка, это было действительно так, она никогда не ходила с ним за грибами еще и до того, как возник их «треугольник». И вот результатом получалось, чтобы ей не быть одной. Клим приходилось оставаться с нею. На всякий случай, для маскировки, он каждый раз порывался пойти со Стасом, но тот лишь раздражался: «Слушай, ты хочешь лишить меня удовольствия?! Как я буду ходить, искать, когда знаю, что она одна? Нет уж, пожалуйста, сделай одолжение. — И добавлял через паузу: — Я надеюсь, ты как друг не можешь позволить себе ничего такого». — «Стас, ты с ума сошел!» — возмутился Клим. «Ну и все», — отвечал Стас.

Он появился из леса минут через двадцать после того, как они выбрались из машины. Корзина у него была полна.

— Э-гей! — закричал он, вздымая ее в воздух. — Готовьте ножи! Хочу жареных грибов. Составите компанию?

— Ой, мы тебя уже заждались! — захолопала в ладоши Нина.

— Наконец-то. А то пропал, — ворчаще проговорил Клим.

Кажется, они выглядели вполне естественно в своем притворстве. Все-таки опыт того был у них изрядный.

Ночью, в машине, перед тем как уснуть, Клим вспоминал их дневные занятия с Ниной, и в голову неизбежно приходила мысль о том, что сейчас в палатке она, наверное, занимается этим же со Стасом. Но ревности к нему он не испытывал. Все же Стас был ее муж. Которого она не собиралась бросать. Жизнь с которым ее вполне устраивала. Такой обеспеченной, устроенной, благополучной жизни Клим ей не мог дать никак. Не потому, что был моложе Стаса на пять лет. Он просто не имел в руках той профессии, что кормила Стаса. Конечно, к профессии требовалось еще и искусство переводить ее в звонкую монету, но этим искусством Стас владел в совершенстве.

Впрочем, Клима вполне устраивало, как оно все сложилось. Он вовсе не хотел бы быть мужем Нины. Ну к черту — мужем! Он лишь жалел, что не может сейчас оказаться между ее ног вместе со Стасом. Этот вариант Нина полностью исключала. Отказывалась даже и обсуждать.

Удавленник висел в недалекой глубине леса, на торчащем суку нестарой сосны, окруженной веселым лиственным подростом. Это был парнишка лет шестнадцати, его поджарое юношеское тело в узкой

джинсовой рубашке из-за непомерно вытянувшейся шеи казалось невероятно длинным. Голова у него вывернулась вбок, из носа, из углов приоткрытого рта на подбородок тянулись запекшиеся жгуты крови. Глазные впадины были плотно облеплены мухами, мухи копошились и у ноздрей, и на губах. Судя по запаху, он, должно быть, висел уже несколько дней.

Обнаружила его Нина. Свернули с шоссе, проехали сотню метров по заросшей, еле видневшейся колеями дороге, вырулили с нее на небольшую поляну со стоящей посередине свежесметанной копной сена, и Нина, как остановились, тут же выбралась из машины и пошла в лес. На ее крик Клим со Стасом бросились: Стас — схватив монтировку из-под сиденья, Клим — раскрывая на ходу большой охотничий нож, который в этом их путешествии по Прибалтике всегда держал в кармане.

— Ништяк себе дорожное приключение, — проговорил Стас, когда причина Нининого крика стала ясна. Отдал монтировку Климу и, зажав нос, подошел к удавленнику вплотную. Хотя он и ковал деньгу, занимаясь лечением венерических болезней, а не вскрытием трупов, профессиональный интерес к смерти был ему не чужд. — Ништяк себе приключение, ништяк, — повторил он и, отпявшись от удавленника, повернулся к ошеломленному, обездвиженному Климу: — Ну что, надо ехать в милицию, сообщать. Посмотрим сейчас по карте, где тут ближайший населенный пункт.

Клим остался на обочине шоссе со своим охотничьим ножом, чтобы, возвращаясь с милицией, Стас без затруднения нашел место необходимого поворота, и, пока ждал, играл в давно забытую, детскую игру в ножички. Начертил круг, брал нож за кончик лезвия, бросал вниз, вытаскивал из земли, проводил черту, снова бросал. Перед глазами стоял покачивающийся на бельевой веревке парнишка, просто ожидать, ничем не заняв себя, — это было в пору удавиться и самому.

Из багажника милицейских «Жигулей», когда лесной дорогой вновь выехали на ту самую поляну, один из милиционеров вытащил раздвижную металлическую стремянку. Следователь — гладковолосый голубоглазый эстонец с холодно-отстраненным выражением лица — обратился к Климу:

— Что, куда? Показывайте.

Должно быть, ему казалось, что раз Клим встретил их здесь, то именно он и знает лучше, как пройти к удушеннику.

Нина осталась на поляне около машины.

— Нет, избавьте меня, с меня достаточно, — отрицательно помахала она рукой, отвечая Стасу.

— Ладно, идет, — согласился он.

Впрочем, она оставалась тут не одна. Водитель милицейских «Жигулей» — тихий юноша послеармейского вида, говоривший по-русски с сильным эстонским акцентом и украинскими интонациями, — тоже остался у своей машины.

Следователь, не давая никому подойти к сосне близко, пошелестел по листовенному подросту вокруг, пошарил там-здесь руками в траве и кивнул фотографу: давай. Фотограф, запечатлевая удушенника, шелкнул затвором «Зенита» раз, другой, третий, и следователь снова кивнул — тому, со стремянкой: давай ты.

Клим стоял в отдалении, не смея подойти к образовавшейся вокруг лежащего на земле мертвеца невидимой, но явной черте окружения. Стас, напротив, вышагнул прямо к ней и внимательно вглядывался в труп парнишки.

Фотограф снова защелкал камерой. Потом над трупом наклонился тот, который, видимо, был судмедэкспертом. Оглядел шею, взял за волосы, покрутив голову в одну сторону, в другую. Расстегнул джинсовую рубашку, оглядел, ворочая тело, грудь, плечи, спину. И начал расстегивать брюки.

Клим не выдержал. Он повернулся и, прошелестев веселым подростом, отошел в сторону метров на

пятнадцать. Пространство земли под сосной сделалось для него за листвой невидимым. Остались только голоса, доносившиеся оттуда, но расстояние делало звучащую речь невнятной.

Стас подошел к нему, вытащил пачку «Столичных», выщелкнул сигарету, закурил и, выдохнув дым, сказал:

— Мой пациент.

— Как? — не понял Клим. — Почему?

Стас затыкнулся и вновь выдохнул дым.

— А только штаны с него сняли, я это сразу понял. У повешенных как, знаешь? Мышцы распускаются, и все, что внутри, наружу. Оттуда и оттуда. Элементарная гонорея. И вот, представляешь, из-за такой-то малости...

— Почему ты думаешь, что из-за этого? — спросил Клим.

— И так можно было бы предположить, но у него там в кармане еще записка.

В воздухе между тем ошутимо попрохладнело, и он посерел. Вечер продвигался к сумеркам. Если бы не эта страшная находка, они бы сейчас уже расставили палатку, разогрели на плите ужин и кейфовали у костра.

Следователь подошел к ним.

— Значит, так, — сказал он. — Тут около него останутся, дождутся спецтранспорта для перевозки. А мы с вами на вашей машине давайте в отделение, мне нужно снять с вас показания.

Нина на поляне, в своем темно-синем джинсовом костюме, лежала на траве, забросив руки за голову, а над нею стоял тот послеармейского вида юноша-водитель. Они болтали.

— Ой, наконец! — поднялась Нина, увидев их. Вид у нее был откровенно повеселевший. — А то я уже заждалась!

Точно это же, с этими интонациями она говорила вместе с Климом Стасу, когда он возвращался из грибного похода.

Клима пробило: а может быть, она успела с водителем? А что, почему нет. С нее станет. Вот к нему, к этому эстонцу с послеармейским украинским выговором, он почувствовал ревность. Бешеную, сжигающую — словно ударил внутри горячий дымящийся гейзер.

Стас открыл дверцу, сел на свое место и стал заводить мотор.

Клим схватил Нину за руку и придержал ее. Они находились сзади машины и сбоку, так что Стас не мог видеть их даже и в зеркале.

— А ты тут не успела с этим? — спросил Клим.

— Конечно, — сказала она, вызывающе глядя ему в глаза.

— Что «конечно»?

— Конечно, успела.

— Ты только не ври.

— Зачем мне врать?

— Ну и как?

— Так себе.

— Что «так себе»?

— Так, как.

И вроде бы это было невероятно, чтобы она действительно занималась здесь с этим незнакомым эстонцем любовью, пока они были там, около кончившего с собой из-за дурацкого триппера парнишки, вроде бы она говорила в такой манере, что, утверждая, отрицала, но в то же время сомнение оставалось, и освободиться от него было невозможно.

— Ну ты же и блядь! — сказал он, отпуская ее руку и чувствуя, как все в нем желает ее.

— Я не блядь. Я сфинкс, — ответила она, встряхивая рукой и глядя на него дразнящим смеющимся взглядом.

Отпуск завершился. Путешествие подходило к концу. Намеченный план был выполнен наилучшим образом: удалось побывать везде, где собирались, и

сверх того. Удовольствие омрачалось лишь воспоминанием о той ужасной находке в лесу. Но в конце концов, этот несчастный парнишка, так трагично воспринявший открывшуюся ему личным опытом изнанку любви, был им никем, они не знали его при жизни, не представляли разговаривающим, смеющимся, что-то делающим, первое — острое, обжигающее — впечатление понемногу тускнело, сходило на нет, и воспоминание о происшедшем уже напоминало собой все быстрее и быстрее редующее облачко на безмятежном голубом небе.

Впереди оставался только Вильнюс, провести в нем дня два — и двигать на Минск. Через Белоруссию, не считая недолгой остановки в Минске, собирались проехать не останавливаясь.

Что произошло, почему — Клим достоверно так никогда и не узнал. При ясной погоде, сухой дороге. При самой обычной скорости. Они легли под встречный трейлер, вдруг вынесшись на противоположную сторону — словно потеряли управление. Такое случается, слышал он потом от всех гаишников и медиков, когда у водителя внезапно выключается сознание: инфаркт, инсульт — в общем, болевой шок. Но стряслось ли со Стасом что-то подобное, установить было невозможно: его исхристало, перемолотило, изорвало так, что вскрывай, не вскрывай — ничего не определишь. Впрочем, еще позднее, задним числом, Климу пришло в голову, что Стас мог вывернуть руль специально. Правда, эта версия становилась вероятной лишь в том случае, если ему стало известно о них с Ниной. Стало известно — и решил убить всех троих. Но убил только себя.

Сам Клим накануне отравился консервами. Ели все вместе, из одной банки, однако печень против содержимого жестянки взбунтовалась у него одного. На его обычное место впереди села Нина, а он переместился на заднее сиденье, лежал там, подогнув ноги, плаваясь в температурном полубабытье, в висок закругленным боком упиралась грибная кор-

зина Стаса. Другим боком, повиснув в воздухе, она упиралась в спинку переднего сиденья за Ниной. Корзина мешала, надо было бы перебросить ее в ноги, но сделать это не хватало сил.

Возможно, именно корзина ослабила удар, сыграв роль амортизационной подушки. Во всяком случае, предохранив голову. Хотя ее хряснувшие прутья и впились сломанами в лицо, разодрали его так, что те, кто вытаскивал Клима из машины, сначала решили, что с кем из них троих судьба обошлась суровее всего — это с ним. Но для него на самом деле все обошлось двумя десятками швов на лице, сотрясением мозга, сломанным ребром и обильными синяками, а для кого столкновение оказалось печально — это для Стаса с Ниной. Стас, видимо, умер еще там, на дороге, не приходя в сознание. А Нину, не закрепленную ремнем, за какое-то мгновение до того, как сорванный с места двигатель должен был вмять ее в кресло, инерцией движения выбросило через лобовое стекло вперед. Ей сдвинуло кости черепа, сломало нос, сломало в двух местах руку, обе ноги, разорвало плевру, селезенку, сместило сердце...

Климу уже разрешили вставать — она все лежала в реанимации, впереди ей предстояло еще несколько операций. Он пытался увидеть ее — ему не разрешили, и в конце концов он уехал в Москву, так и не увидевшись с нею.

Они увиделись только несколько месяцев спустя. Одна нога у нее стала короче другой, и она ходила, опираясь на палку — как-то боком и отвратительно виляя бедром, — нос у нее обрел чудовищную горбинку, напоминавшую верблюжий горб, и, как она призналась с неловкой улыбкой, все у нее внутри болит, мучают беспрестанные жуткие мигрени и требуется новая пластическая операция.

— Нужны деньги? — спросил он.

— Разумеется, — сказала она.

— Какие у меня деньги, ты же знаешь, — нарочито резко произнес он. — Ну, дам сколько-то...

Она ошеломила его своим видом. Он ожидал всего, но не такого. Клим пробыл с нею час — в нем не шевельнулось ничего от того желания, что он испытывал прежде от одного лишь взгляда на нее.

— Что, — проговорила Нина, когда он собрался уходить, — не интересна я тебе больше, да?

* * *

С некоторой поры ей стало казаться, что у мужа есть другая женщина. Прежде, в первые годы, когда он начал выстраивать свой бизнес и исчезал из дому в шесть утра, чтобы вернуться к полуночи, она была уверена в нем на сто процентов. Как бы ни дурен он бывал с нею, никогда в этом не чувствовалось его *отдельности*. Его обособленности от нее.

Теперь же он словно бы обособился. Вот она — и вот он. А между ними нечто вроде стены. Прозрачной, проницаемой для слуха и вполне преодолимой физически, но тем не менее — стены. Перегородки. Явной и несомненной. О, конечно, они жили вместе уже семь лет — немалый срок, — и седьмой год шел их дочери, но вот так обособлен от нее он стал лишь в последнее время. Что это могло быть иное, если не другая женщина?

Алина не сомневалась, что женщина. Она осязала это кожей. И в то же время у нее не имелось никаких доказательств. И не было никакой возможности проконтролировать его. Мобильный телефон всегда с ним — раз. А если не отвечает, мало ли каким делом он занят, — два. Может быть, у него сейчас важная встреча, чрезвычайные переговоры, и коль скоро он никогда ни о каких своих делах не докладывал ей, с какой стати должен начать сейчас?

Алина с силой вдавила кнопку переговорного устройства вглубь и вызвала секретаршу:

— Маша, зайдите ко мне, — и, когда та вошла, спросила, стараясь, чтобы голос звучал с обычной сухой твердостью. — Машенька, вы говорили, что

ваш двоюродный брат работает в частном сыском агентстве.

— Да, Алина Евгеньевна. Уже четвертый год.

— И вы, я помню, говорили о каких-то феноменальных его способностях. И вообще хвалили его агентство.

— Хорошее вроде агентство. Здорово так там зарабатывают. Было бы плохое — кто бы к ним обращался. А Васька, он да, прямо актером стал — так перевоплощается. В слесаря-сантехника, в крутого — в кого хочешь.

— Позвоните ему, сообщите, что мне необходимо с ним переговорить. Желательно как можно скорее.

— Хорошо, Алина Евгеньевна, конечно, — послушно закивала секретарша. — Прямо сейчас и начну звонить.

Она вышла, закрыв дверь, и Алина, крутанувшись в кресле, тотчас поднялась, быстро прошлась через весь кабинет по диагонали, из угла в угол.

Она не хотела терять Клима. Конечно, той безумной влюбленности в него, в которой был прожит их первый семейный год, в ней уже не осталось, но это было бы странно, если б она спустя семь лет чувствовала все так же, как вначале. Однако по-прежнему ей кружило голову от его объятий, по-прежнему нравилось в нем все: от голоса, осанки, походки до этих грубых рваных шрамов на лице, полученных им в какой-то давней, еще до их знакомства, автокатастрофе.

Кроме того, она просто не могла позволить себе остаться без него. Что ж, что у нее был свой бизнес. Ее издательство существовало лишь благодаря ему. Его поддержкой, его связями, его прикрытием. Без него она бы мгновенно пошла камнем на дно. Стала бы никем. Ничем. Пустым местом. Много ценности в женщине, будь она самой первой красавицей, если она пустое место?

Телефон прозуммерил вызовом. Алина бросилась к своему креслу, схватила трубку.

— Я до него дозвонилась, он на связи, — сказал голос секретарши. — Соединять?

— Соединяй, — коротко отозвалась Алина.

Через неделю на столе у нее лежал отчет о каждом перемещении мужа в течение дня, начиная с выхода из дома и заканчивая возвращением. На полтора дня он летал по делам своего бизнеса в Лондон — были зафиксированы поминутно все его перемещения там и даже приложена многостраничная расшифровка его деловых переговоров, сделанная неведомым ей образом. В агентстве, где работал двоюродный брат ее секретарши, даром хлеб не ели.

Среди мест его лондонских посещений значился и магазин «Берроуз». Один из самых дорогих, как было отмечено в отчете, магазинов Лондона. В «Берроузе», сообщал отчет, ее муж купил шиншилловую шубу за четырнадцать тысяч девятьсот девяносто девять фунтов стерлингов, а также бриллиантовый гарнитур — кольцо, подвеска на шею, сережки — за двадцать семь тысяч четыреста девяносто девять фунтов.

Прочитав об этом, Алина, не в силах сдержаться, ударила по лежащему перед ней отчету обеими ладонями, зажмурила глаза и откинулась на спинку кресла. Боль была ужасна, невыносима. Хотелось свалиться на пол и кататься по нему. Эти его покупки с бесстрастной безжалостностью свидетельствовали, что ее ощущения были верны. Кому еще, как не той — другой — женщине, могли предназначаться такие покупки? Ей он, вернувшись из Лондона, сказал, что поездка была безумно напряженной, ни единой свободной минуты, не получилось никуда выбраться, и вот тебе подарок — набор авторучек, схватил на ходу в аэропорту. Ей — на ходу в аэропорту, а той — специально в «Берроузе». И до того безумные деньги: шестьдесят тысяч, если перевести в доллары. Это надо совсем свихнуться, чтобы тратить такие деньги на любовницу. Или ей что, пятнадцать лет? Откупается, чтобы не загреметь на нары за совращение малолетней?

Алина открыла глаза, посидела некоторое время неподвижно, чувствуя, как поджимаются в нитку, скручиваются жгутом губы, и снова наклонилась над отчетом. Там, среди других адресов, где побывал за неделю муж, имелся один, о котором она никогда прежде не слышала и который, несомненно, был домашним. Она нашла его в отчете и выделила красным фломастером. По этому адресу на следующий день после возвращения из Лондона муж заходил. И пробыл там целых три часа. С лишним.

— Подлое молодое мясо! — вырвалось у нее невольно.

Но она тут же взяла себя в руки, перевела дыхание, достала пудреницу, прошлась по лицу, глядясь в зеркало; бархоткой, бросила коробку пудреницы обратно в стол, сняла трубку и набрала номер агентства.

— Здравствуйте, рады вас слышать, — услужливо отозвались там.

— Это ваш клиент, — сказала она и назвала привоенный ей номер. — Я нуждаюсь в дополнительной информации.

— Ты за мной устроила слезку? — Сказать, что Клим был потрясен, — это слишком. Он был обескуражен. Вроде бы он вел себя вполне осторожно, предусмотрительно и не подавал никаких поводов не доверять ему.

— Всего лишь слезку, — выделила голосом жена. — Рога мне наставил ты!

Это она так старалась подчеркнуть, что если и есть ее вина перед ним, то она оправданна: Гораздо больше, неизмеримо больше виноват перед нею он.

Ну, в общем-то, конечно, виноват. Клим не стараясь найти внутри себя некое оправдание. Он просто не слишком переживал, что ей все открылось. В известной мере, он даже остался равнодушен к случившемуся. Ну, открылось и открылось. Если она захочет развода — Бог с ней. Если начнет уст-

раивать ему концерты — он уйдет от нее сам. Таких обычных коз — девять штук на десяток. Поменять ее на любую из этой остальной восьмерки — не заметишь, что и поменял.

— Так, ну, — сказал он, не зная, что говорить. Нечего ему было говорить. — И что ты сейчас хочешь?

— Что я хочу?

По губам жены пробежала странная усмешка. Как если б, узнав о его неверности, она неким странным образом возвысилась над ним.

— Да, что ты хочешь, — подтвердил свой вопрос Клим.

— Я хочу тебе сказать, — с этой странной усмешкой, перебирая камни бус у себя на груди, проговорила Алина, — что ты сам рогатый, как тот олень.

Это было неожиданно. Ее слова взбудрили Клима.

— В смысле, что ты изменяешь мне?

— В смысле, что у нее есть любовник! — торжественно произнесла Алина. — Хочешь, зачитаю тебе, когда он к ней приходил, сколько был, где они встречались помимо ее дома? Его имя, возраст, род занятий, место жительства. Все запротоколировано.

Вот теперь она достала его. Клим молча отошел к бару, открыл, цапнул оттуда, не выбирая, первую бутылку с полки сорокаградусных, отвинтил крышку, налил половину бокала и, не разбавляя, как привык за последние годы, опрокинул в себя. Любовник, вот что! Следовало, наверно, ожидать.

— Врешь ты все, моя дорогуша, — сказал он, поворачиваясь к жене. — Бабы ваши примочки. Чтобы самой легче стало?

— Про шубу из «Берроуза» и бриллиантовый гарнитур тоже вру?

— Не врешь, нет, не врешь. — Клим налил из бутылки еще и снова разом махнул в рот. — Видишь, я с тобой вполне откровенен. Будь откровенна и ты.

— Пожалуйста. — Алина отошла к журнальному столу, взяла с кресла около него свою черную,

с красным блестящим нутром рабочую сумку, с которой ездила в издательство, и вынула оттуда пластмассовую папку, туго набитую листами. Достала несколько и, вернувшись к Климу, дала их ему. — Смотри. То, что отмечено зеленым фломастером.

Клим взял листы и глянул.

А впрочем, что ему нужно было смотреть? Он и так знал, что это правда.

— Благодарю, — сказал он, возвращая жене листы. — Очень интересное чтение. И что дальше?

Какое-то долгое, бесконечное мгновение она стояла около Клима, глядя на него горящим ненавидящим взглядом, и вдруг взгляд этот стал молящ, жалок, и она упала перед Климом на колени.

— Клим! Климушка! — обхватив его за ноги, тесно вжимаясь в них лицом, проговорила она сквозь рыдания. — Не бросай меня, Климушка! Не бросай!..

Он положил руки жене на голову, поворошил ей волосы. Погладил и снова поворошил. Потом сказал:

— Не брошу. Почему ты решила, что брошу? Не брошу...

Не доезжая до ее дома, Клим велел шоферу сделать круг по соседним кварталам. Он хотел проверить, нет ли за ним слежки на этот раз. Нет, никого не было. Алина пообещала — и слово свое сдержала. Да и что ей, собственно, теперь следить. Она все знает, и нового ей ничего не откроется.

Нина встретила его в той самой шиншилловой шубе.

— Я бы ее не снимала ни на мгновение. И спала бы в ней, и под душ, — сказала она, целуя Клима, и потерлась кончиком своего горбатого носа о нос его. — Как жалко, что еще не зима. Я уже вся изждалась!

— А что насчет меня? — спросил Клим. — Изждалась?

— М-м-м, — протянула она, зажмуриваясь и с улыбкой блаженства водя носом перед его шеей. —

У тебя новый одеколон. Совершенно чудный. Пользуйся им всегда. Я от него прямо балдею. — И открыла глаза. — Я тебя издалась, но дождалась. Смотри!

Она быстро расстегнула крючок на шубе и запахнула ее. Под шубой у нее ничего не было, кроме чулок на ногах. Клим сглотнул взбухший помимо его воли в гортани ком. Он желал ее точно так же, как тогда, десять лет назад. Если бы кто сказал, что такое возможно, он бы не поверил. Но все это произошло с ним — спустя десять лет после того, как виделись последний раз, — и что тут было верить, не верить. Оставалось лишь принимать все как данность. Хромота у нее окончательно не исчезла, хотя она и провела чуть не год в илизаровском институте в Кургане, но совсем легкая хромота, и она выработала какую-то такую походку, что сумела придать этому вихлянью бедром особое, необыкновенное очарование. А если у нее что внутри и болело — она о том не распространялась.

Пересиливая вспыхнувшее желание, Клим запахнул ей шубу, прошел в комнату, сел там на диван и, забросив ногу на ногу, откинулся на спинку.

— Моя жена узнала о тебе, — сказал он вошедшей вслед за ним Нине. — Только она думала, что ты какой-нибудь пятнадцатилетний цыпленок.

— Ой, — прыснула Нина и даже присела от смеха. — Неужели? Подумать обо мне такую гадость... — Сняла с лица улыбку и посерьезнела. — Бедняжка ты мой! И что же ты?

— Ничего. Ей придется смириться с тобой. Но вот я кое с чем смиряться не собираюсь.

— Да. Что такое? Слушаю. Вся внимание. — Она подошла, села у него в ногах на корточки и положила руки на колени.

— Солодов, — произнес он. — Андрей. — И умолк.

— Так. И что? — спросила она снизу.

— Я уже все сказал.

Она шелкнула языком, поднялась и села на диван с ним рядом. Шуба у нее распахнулась, она запахла ее.

— Как я рада, что ты узнал о нем, — проговорила она, разворачиваясь к Климу, закидывая ему одну руку за голову, берясь ладонью другой за щеку и принуждая его взглянуть на себя. — Я, знаешь, все думала, думала, как сделать, чтобы ты узнал о нем, и ничего не могла придумать.

Клим ощутил в себе поднимающееся бешенство. С этой женщиной ухо следовало держать востро. Она могла из любой изнанки сделать лицо. Но тем не менее он вынужден был спросить:

— И зачем тебе нужно было, чтобы я узнал о нем?

— Потому что я не люблю двусмысленностей.

— Каких двусмысленностей? — не понял он.

— Ну, вот это, что ты не знал о нем. Теперь ты знаешь, и у меня нет от тебя никаких тайн.

Клим помолчал, обдумывал ее слова. Да ведь она же хочет, осенило его, чтобы этот мальчишка, Солодов по фамилии и Андрей по имени, оставался ее любовником и чтобы он, Клим, зная о нем, смирился с этим, принял это, как примет Нину, никуда не денется, его жена.

— Он должен исчезнуть из наших отношений, — сказал Клим. — Это не условие. Это требование.

Нина засмеялась. Расстегнула ему на сорочке пуговицу, запустила внутрь руку, прошла ею по соскам, по животу, а затем легла Климу головой на грудь.

— Тебе чудно со мной, а? — спросила она, выворачивая голову вверх и ища его взгляд. — Так зачем же тебе, чтобы я была другой. Без него я не смогу быть такой, какая я есть. Когда я давала тебе вместе со Стасом, ведь тебе ничего, было нормально?

— Он был твой муж.

Нина снова засмеялась. Рука ее расстегнула ему на сорочке все пуговицы и принялась за брючный ремень.

— Какое это имеет значение? Ведь я же давала, — она сделала бедрами движение вперед, и шуба на ней вновь распахнулась, — не штампу в паспорте. Так что ничего не изменилось. Все то же самое.

Клима пробило: Стас знал об их тройственных отношениях. И может быть, даже не может быть, а точно — специально уходил за грибами.

— А что, Стас знал? — спросил он.

— Ну, конечно, знал, — сказала она, продолжая управляться с его одеждой.

— А этот твой... Андрей, — помедлив, произнес он, — знает обо мне?

— Ну, конечно, знает, — с тою же интонацией, что о своем погибшем муже, проговорила Нина. — Ему я уже сказала. Только ему не нужно знать, что знаешь ты.

— Это почему?

— Потому что так нужно мне. Мне. Мне, — повторила она. — Она уже совсем раздела его, Клима пылал, желая ее, и Нина, не снимая шубы, накрыв его ею, с закрытыми глазами, вслепую устраивалась у него на коленях. — Ведь ты же хочешь меня такую, а не другую? Вот и бери меня такую. Бери такую... Бери.

— Ну ты же и блядь, — сказал он, держа ее за ягодицы и что есть силы вжимая в себя.

— Я не блядь, — проговорила она, не открывая глаз. — Я сфинкс! Понятно тебе?

В этот миг с окончательной, четкой, недвусмысленной ясностью Клима вдруг осознал: Стас тогда сам вывернул руль. Он хотел спросить Нину, а как полагает она, — и не спросил.

— Сфинкс, это точно, — подтвердил он.

1995 г.

СЧАСТЬЕ ВЕНИАМИНА Л.

Как же его зовут? Вениамин Л. не мог вспомнить.

Его звали Вениамином, его фамилия начиналась с буквы «Л», но он не мог вспомнить этого. Он вообще ничего не помнил о себе. Он знал, что он — это он, он ощущал свое тело, воспринимал мир вокруг себя, все видел и слышал, осознавал, что это значит, но сам для себя он был чистый лист. Только не белый. Мутно-серый. Грязно-серый. Словно бы на этом листе было много чего написано, потом смыло, размазало все письмена, как мокрой тряпкой, и вот он стал таким — чистым от каких-либо записей, но грязным.

— Иди пожри, — позвали его.

Мысли об имени тотчас отлетели от Вениамина Л. — как и не возникали. О, он жутко хотел жрать, жутко. Ему сводило челюсти от голода, под ложечкой насквозь просвистывало болью от выделявшегося желудочного сока.

Он схватил брошенную ему куриную ножку и остервенело вгрызся в нее. Рот ему заливало слюной вожделения, из горла, услышал он, вырвалось такое же вожделенное громкое урчание.

— Во дает! — сказанное со смешком донеслось до него.

— Вурдалак! Настоящий вурдалак! — отозвался другой голос.

Вениамин Л., не отрываясь от сладостной ножки, посмотрел на тех, что обсуждали его. Морды у них лоснились чувством высокомерного превосходства, из приоткрытых в ухмылке ртов бело выглядывали резцы зубов, похожие на короткие сабли. Невольно рука потянулась к собственному рту и потрогала зубной ряд. У него таких резцов не было, зубы шли ровным плотным полукругом, что вверху, что внизу. Если бы как у них, подумал он, было бы куда удобней сгрызть с косточки эту пружинящую жилистую плоть...

Он догрыз ножку, обкусал хрящи, обсосал ее до костяной сухости, покрутил с сожалением в руках и, бросив на пол, вопросительно посмотрел на инициаторов и соглядатаев своей трапезы.

— О, еще хочет! — толкнул другого в бок тот, кто прежде произнес «Во дает».

— Хочет он. Мало ли что он хочет, — буркнул второй. — Пусть заработает сначала. Задарма его кормить никто не будет.

Но все же он, покопавшись в кармане, вынырнул оттуда еще с одной ножкой и кинул ее Вениамину Л.

— На, падло. Обожрись, — сказал он при этом.

Вениамин Л. поймал брошенный ему увесистый бумеранг на лету. Словно вратарь летящий в его ворота мяч. Но вратарь затем выбивает мяч обратно на поле, а Вениамин Л. с прежним вожделением и все так же урча вновь впился в умерщвленную куриную плоть. Ножка была ошипана довольно небрежно, рот забивало пухом, — он перемалывал и пух, только время от времени приходилось лазить в рот пальцем и соскребать с неба налипающую шерстистую пленку.

— А говорил, падло, что сырого не ест, — хохотнул тот, что кинул Вениамину Л. ножку. И тоже толкнул, в свою очередь, своего напарника в бок. — Жрать захочешь, все сожрешь, да?

— И птичку не жалко, — ответно хохотнул парник. — А говорил, что гуманист, что иначе не может.

Вениамин Л. прекратил рвать зубами лоснящееся, пахнущее кровью мясо. Когда он говорил, что гуманист, не ест сырого? В мозгу, казалось, готова открыться некая дверца, чтобы ему вспомнить все это, вспомнить себя, но мгновение — и дверца исчезла, как бы растворилась в тумане, он снова стал чистым грязно-серым листом, и если на нем что и было написано, то только одно: жрать, жрать, жрать. Мясо, вновь наполнившее Вениамину Л. рот, доставило ему своим вкусом такое наслаждение, что наружу из него вырвался громкий продолжительный рык.

Это устроителям трапезы уже не понравилось. Тот, что кинул ему вторую ножку, подошел к Вениамину Л., выдрал у него ножку из рук и метнул в дальний, темный угол подвала. Там от падения огрызка сухо прошелестел вековой мусор и поднялся столб пыли.

— Хорош! — сказал распорядитель ножки. И, взяв Вениамина Л. за шею, толкнул его в сторону приоткрытой двери. — Покажи сначала, что заслуживаешь жратвы. Пошли давай.

— Пошли, пошли! — тоже толкнул его в шею другой. — Посмотрим, что от тебя проку. Обжора нашелся!

Толкая Вениамина Л. в шею, и тот и другой слегка оцарапали его своими когтями, может быть даже специально подвыпустив их из подушечек, и Вениамин Л. почувствовал, как из ранок, собравшись в ручеек, медленно потекла за шиворот кровь. Вновь невольно взгляд его упал на собственные руки. Ногти на его пальцах были длинные, но прямые и тонкие, они никак не походили на когти. Что за бессмысленная вещь — ногти, подумалось ему. Когти — вот вещь.

Его сопровождающие поняли смысл взгляда Вениамина Л.

— Ничего, — сказал кто-то один из них у него за спиной. — Человеку полезно пускать кровь. У него после этого голова лучше работает.

— И вообще кровь у него вкусная, — подхватил второй, и Вениамин Л. тотчас ощутил на себе вес чужого тяжелого тела, и по шее ему шершаво и влажно быстро прошлись раз и другой языком.

Он содрогнулся, рванулся вперед, стряхивая с себя чужое тело, то грузно осело на землю, и следом за синой раздался дружный смех обоих.

— Не боись! Никто с тобой ничего! Еще каждый день курочек будешь жрать! — перебивая друг друга, смеялись его сопровождающие.

Путь занял весьма изрядное время.

Подвалы переходили один в другой, они были связаны друг с другом: где просторными, выложенными кирпичом переходами, где узкими земляными лазами. Пробираясь по лазам, приходилось низко нагибаться, временами становиться на четвереньки и едва не ползти. Вениамину Л. это давалось с трудом. Коленям было больно, крупичная, щебенчатая крошка резала ладони, пыль лезла в глаза, забивала ноздри, в носу свербило, и он все время сотрясался от чиха. Его же сопровождающие проделывали все это с необыкновенной легкостью и даже, казалось, удовольствием: припадали к земле, вытягивались вдоль нее — и будто скользили. Тот, что шел сзади, время от времени нетерпеливо подталкивал Вениамина Л. в зад:

— Поживей! Не зли меня, шевелись! А то сейчас хватану за яйца — тогда побежишь!

Угроза действовала — Вениамин Л. резко убыстрал ход. Он знал их зубы, знал, с каким удовольствием пускают они их в действие и как тяжело заживают потом раны.

Помещение, в которое его привели, в отличие от всех других, было чисто подметено, из забран-

ных решеткой вентиляционных окошек сверху, под самым перекрытием, узкими снопами падал белый дневной свет, и вообще оно больше походило на какую-нибудь канцелярскую комнату, чем на подвал: стояли письменный стол с чернильным прибором посередине, кожаный диван, два кожаных кресла, рядки стульев у стен. Правда, все это — обшарпанное, оббитое, траченное временем, будто со свалки.

Незамеченная Вениамином Л., когда его ввели сюда, дверь в дальнем углу подвала-канцелярии распахнулась, оттуда вышел ухоженный, сытый господин и, оглаживая на ходу свои длинные, метелками торчащие усы, властным тяжелым шагом прошел к венскому креслу за письменным столом. Это был именно господин, иначе не скажешь. Те двое, что привели Вениамина Л. сюда, тоже были в дорогих длинных темно-синих кашемировых пальто, с дорогими длинными белыми шарфами на шеях, но в выражении их морд, в том, как лупили глазами и даже как шевелили длинными метельчатыми усами, свозила суетливая хамская угодливость, а этот знал себе цену, любил себя, и в движениях его была хозяйская уверенность. Одет он был в шелково играющий на складках черный костюм тонкой портновской работы, шелково блистающую ослепительно белую сорочку, с шелковым фиолетово-красным галстуком на груди.

— Присаживайтесь, — показал он Вениамину Л. на одинокий стул неподалеку от стола, прежде чем самому сесть в венское кресло.

Вениамин Л. послушно опустился на стул. Собственно, он даже уже приготовился попросить на то разрешения — так он устал от этого получасового перехода с ползанием на брюхе, и послушность его была более исполнена радостного довольства, чем угрюмой покорности.

Он опустился, с тайной радостью предвкушая отдых телу, и тут же оказался на земле, больно уда-

рившись копчиком. Это под ним, громко вскрикнув, развалился стул.

Те двое, что привели его, не хохотали — ржали. Хватаясь за животы и мотая головами. Господин за столом тоже смеялся, но сдержанно, с достоинством, и лишь поглаживая от полученного удовольствия усы.

— Что за стул вы подсунули? — отсмеявшись, с суровым видом посмотрел он на тех двоих. — Дать сейчас же такой, чтоб корову выдержал.

Те двое схватили от стенки другой стул, живо поднесли его к Вениамину Л., усадили на него, нажав на плечи, так же живо подобрали обломки кракнувшего стула, кинули их к стене, где стоял целый стул, и, сунув руки в карманы, замерли в вольно-напряженных позах.

— Видите, в каких условиях существуем, — сказал Вениамину Л. господин за столом. — Жуть! Разве это существование?

Вениамин Л. внутренне поежился. Он не знал, должен ли отвечать. А если должен, не знал, что ответить.

Но его ответ господина за столом, видимо, не заботил.

— Что, — произнес он после непродолжительной паузы, — как самочувствие?

Вениамин Л. снова внутренне поежился. Он снова не знал, что ответить.

Но господина за столом, очевидно, не интересовал его ответ и на этот вопрос.

— Вижу, вижу, — быстро проговорил он, — нормальное самочувствие, сыт, здоров, готов к действию.

— К какому действию? — спросил наконец Вениамин Л.

— Это я вообще, — сказал господин за столом. — Хотя необходимо и кое-что конкретное, вы правы.

— Что конкретное? — вновь спросил Вениамин Л.

— Не торопитесь. — Господин за столом сделал осаживающий жест рукой. Или это правильнее было бы назвать лапой? Для руки ладонь была слишком коротка, и коротки пальцы, и как-то подобранны, подогнуты внутрь, не сложены в кулак, а именно подобраны. — Я вам сначала должен кое-что объяснить. Чтобы вы уяснили вашу задачу как следует. И чтобы прониклись всей ее важностью. В том числе и всей сложностью вашего положения.

— Какого моего положения? Какой сложностью? — пробормотал Вениамин Л. — Я не понимаю.

Господин за столом согласно покивал:

— Сейчас поймете. Вы знаете, кто вы?

— Кто я? — эхом отозвался Вениамин Л.

— Вы не знаете?

Вениамин Л. помолчал. Он не понимал, о чем его спрашивает господин за столом.

— Я — это я, — проговорил он потом неуверенно.

Те двое, что привели его сюда, засмеялись у него за спиной. Вениамин Л. оглянулся на них, — в оскале их ртов было особое, живое довольство. Как бы они хорошо сделали некую работу, и своими словами Вениамин Л. невольно признал ее высокое качество.

Движение усов господина за столом выдало те же чувства.

— Вы человек, — сказал он. — Понимаете, что это такое?

Вениамин Л. напряженно смотрел на него. Человек? Нет, он не понимал. Имя, имя, вспомнил он. Перед тем как эти двое позвали его, чтобы кинуть куриную ножку, он думал о том, как его зовут. Но как — так у него и не вышло отыскать в себе своего имени.

— Как меня зовут? — вместо того чтобы ответить на вопрос господина за столом, спросил он.

Господин за столом вдруг издал странный продолжительный звук, похожий на громкий взвизг, и

в одно мгновение вспрыгнул на стол. Пригнулся, встал на четыре точки, низко припал к столешнице и быстро, раз и другой, хватанул ее за край зубами. Зубы у него были такие же, как у тех двоих, словно небольшие кривые сабли, и на дереве от них остался четкий двойной взлохмаченный след.

— Это не имеет значения, как вас зовут, — сказал он, вернувшись на свое место за столом. В голосе его звучало с трудом сдерживаемое торжество — то самое, что заставило его взметнуться на стол и запустить в него зубы. — Вы человек — вот что существенно.

— А вы кто? — вырвалось у Вениамина Л.

Господин за столом помолчал. Взгляд его круглых немигающих глаз, и без того неприятный, обдирающий, как зазубренным стеклом, исполнился горячей жестокой злобности.

— А мы пасюки, — сказал он затем. — Имеете представление о пасюках?

Голову, спину, ноги до самых кончиков мизинцев — всего Вениамина Л. наждачно продрало морозной волной озноба. Пасюки! Крысы. Точно, точно, крысы, всем видом крысы. Но почему он оказался здесь, среди них? И почему они такие громадные, ростом с него? Если он человек, то крысы — это сидело в его сознании непреложным знанием — должны быть значительно меньше его. Даже если какие-то крупные экземпляры... ну так ведь не такие же!

— Думаете, пасюки — и такие большие? — будто считав его мысль у него с лица, проговорил господин за столом. — Вот именно. Такие большие. Это я вам и хотел объяснить. И не только большие. Но, как вы видите, и обладаем речью. Ясно вам что-нибудь?

— Но... но... почему вы такие большие? — запинаясь, выговорил Вениамин Л.

Губы господину за столом растянуло в сардонической ухмылке.

— Почему обладаем речью, вас не интересует, — сказал он. — Вас интересует, почему такие большие. Ладно! — прикрикнул он, не давая на этот раз Вениамину Л. ничего ответить. — Знаю, что вы мне скажете! Не желаю слушать! Послушайте меня! Слушаете?

— Да, конечно, как же, — суетливо выдавил из себя Вениамин Л.

— Мутация, — как впечатывая в сознание Вениамина Л. это слово, произнес господин за столом. — Феномен природы. Ее необъяснимая прихоть.

Он сделал паузу. Немигающий его взгляд выжигал Вениамина Л. своей кипящей злобностью, как автогеном.

— И вот при всем этом мы живем здесь, под землей, в подвалах! — вскричал господин за столом. — Почему? С какой стати? Люди наверху, под солнцем, а мы здесь, в вони, тухлости, сырости! Мы что, мы должны мириться с этим?!

Вениамин Л. сидел перед ним, не смея открыть рта. Ему казалось, еще мгновение — и господин за столом вскочит, бросится на него, вопьется в горло...

Но тот так же резко, как взвинтил себя до крика, и вышел из него.

— Мы не собираемся мириться, — сказал он. В голосе его, нормальном по высоте, теперь появилась ледяная, бритвенная презрительность. — Подобное положение вещей нас не устраивает. Но мы бы хотели решить вопрос мирным путем. Цивилизованно, дабы избежать ненужных жертв.

Вениамин Л. молчал. Смутно, будто вырисовываясь из тумана, в нем начало возникать понимание, чего хочет от него господин за столом, но он не хотел верить сам себе. А кроме того, это понимание было слишком смутно, — может быть, он все же ошибался, неверно расшифровал намерения своего собеседника.

Господин за столом, впрочем, не особо нуждался в его речах.

— Вы пойдете парламентаром, — выдержав недолгую паузу, продолжил он. — Передадите наши предложения. Потом вернетесь, сообщите ответ. И снова пойдете. Будете ходить сколько потребуется. Мы, повторяю, хотим решить вопрос цивилизованно.

Пойти — и не возвращаться, лихорадочно забилося в голове у Вениамина Л. Сделать вид, что согласен, а самому сыграть собственную игру. Раз уж он человек, то и нужно быть с людьми.

— Не думайте только от нас сбежать, — вновь как считав с лица его мысли, сказал господин за столом. — Не выйдет! Мы вас достанем. Где угодно. И не думайте, что вы там, — он указал глазами наверх, — кому-то нужны. Нам нужны. С нами у вас перспективы. Будущее. А там, — он снова указал глазами наверх, — вы ничто. Никто. Что вы есть, что вас нет.

— Вы же говорите, я человек, — сумел разомкнуть губы Вениамин Л.

— Вы ник-то! — внятно, по слогам отчеканил господин за столом. — Ничто и никто! Чтобы быть кем-то, нужно иметь имя. Как ваше имя? Вы меня спрашивали, ну-ка ответьте сами: как ваше имя?

— Это вы меня сделали таким, — более вопросом, чем утвердительно произнес Вениамин Л.

— Не все ли равно! — поморщившись, ушел от ответа господин за столом. — Что бы вы ни выяснили, для вас уже ничего не изменится. Таким вам уже и жить. Хотя, — губы ему раздвинуло в плотоядной ухмылке, — мы умеем многое. У нас большие возможности. Это так.

— Но имя! Имя! — в отчаянии воскликнул Вениамин Л. — Как без имени? Без имени нельзя!

— Имя! — эхом откликнулся господин за столом. — Ладно. Будет тебе имя. Тебя звать... Уко!

Вениамина Л. всего передернуло.

— Я не знаю таких имен. Таких имен в природе не существует.

— Теперь будет, — вновь плотоядно ухмыльнулся господин за столом. — Твое имя — Уко.

До того как наречь Вениамина Л., он неизменно обращался к нему на «вы», теперь, дав ему имя, он словно присвоил Вениамина Л., сделал своей вещью, и обращение на «вы» полностью утратило какой-либо смысл.

— Вы у меня отобрали имя, лишили памяти о себе! — Отчаяние, владевшее Вениамином Л., становилось все гуще, ядовитей, оно проникало в самую его глубь, заливало его, душило, он уже не мог справиться с ним. — Ради каких-то своих целей... ради... Подонки! Грязные мерзкие твари! Крысы!

В следующее мгновение, сбитый с ног, он уже лежал на полу, один из тех, в пальто, сидел на нем всеми четырьмя конечностями и, прокусив насквозь, держал в зубах, больно оттягивал в сторону ухо, а другой, также опустившись на четыре точки, припав к полу, стоял у него перед лицом, щерил пасть, готовый в любой момент тоже вцепиться и рвать.

— Отпустите его. Он уже все понял, — услышал Вениамин Л. голос господина за столом. И когда, покачиваясь, с трудом различая окружающий мир вокруг, поднялся, рухнул на стул, — услышал, как тот обращается уже к нему: — Тебя лишили памяти, потому что она тебе не нужна. Потому что ты раньше не жил. Это была пустая, никчемная жизнь, тебе ее незачем помнить. Настоящая жизнь у тебя начинается только сейчас. Благодаря нам. Или ты что, отказываешься жить? Отвечай! — закричал он, не получив ответа от Вениамина Л., и в ярости, увидел Вениамин Л. возвращающимся зрением, вскочил на стол, присел на краю столешницы — в той же позе готового броситься на жертву хищника, что минуту назад один из тех, в пальто. Из-под обшлага штанины у него, увидел Вениамин Л., выглядывает сантиметров на тридцать и от возбуждения

постукивает по столешнице кончик грубошерстного толстого хвоста.

— Почему... Я хочу жить... Я готов... Конечно... — торопливо, боясь, что ему не дадут высказать все до конца, залепетал Вениамин Л.

Кончик хвоста у господина на столе замер, взметнулся, стукнул еще раз и втянулся в штанину, исчез в ней. Собеседник Вениамина Л. спрыгнул обратно на стул, сел на нем, выпрямился и быстрым движением огладил метельчатые усы.

— Тогда слушай, — сказал он. — Внимательно слушай. Все это было предисловие, сейчас же дело...

* * *

Мусорный бак был пуст. Вениамин Л. перерыл его до самого дна — но ничего не обнаружил. Точнее, бак был полон всякого мусора, до самых краев, однако ничего съестного. Ни крошки. Похоже, его содержимое уже перевернули десять раз, и все, что было съестного, выгребли. До последнего объедка.

Вениамин Л. выбрался наружу и со злостью пнул бак ногой. Металлическое тело того отозвалось гулким грязным дребезжанием.

— Что, тут тоже нечем поживиться? — продолжением этого дребезжания спросил рядом надтреснутый голос.

Вениамин Л. посмотрел на спросившего. Это был мужчина средних лет, в прошлом, видимо, довольно солидной комплекции, но сейчас все у него висело складками и морщинами: щеки с подглазьями, шея, одежда. Просторные брюки были подвязаны белой бельевой веревкой, и лохматые концы ее выглядывали из-под обвисшего пиджака свидетельством жизни, потерпевшей крушение.

— Восемь дворов обошел, все подчистую выбрано, — поймав взгляд Вениамина Л., продолжал мужчина. — И тут, как я понимаю, то же самое?

— То же самое, — с неохотой отозвался Вениамин Л.

— Проклятые крысы! — с негодованием воскликнул мужчина. Вернее, он хотел с негодованием, но надтреснутость его голоса придала интонации жалкую беспомощность. — Разве можно было им верить? Нужно было их травить, травить, травить! Нельзя было их выпускать из подвалов!

— Да? И как бы вы их не выпустили? — желчно усмехнулся Вениамин Л. — Ввязались бы с ними в войну? Можно выиграть войну у грызунов?

— Но лучше было погибнуть с оружием в руках, чем сейчас подыхать от элементарного голода! — с прежней надтреснутой патетикой воскликнул мужчина.

— А когда было всеобщее голосование, тоже, наверно, проголосовал за добрососедские отношения? — спросил Вениамин Л.

— А вы нет? Вы нет, да? — быстро проговорил мужчина. — Какая агитация была, вспомните! Мутация! Наши друзья! Братья по разуму! Братья по разуму... Занял, сволочь, мою квартиру, соединил со своей, меня не пускает: появишься — загрызу! И пожаловаться нельзя — никто на них никаких жалоб не принимает!

Вениамин Л. почувствовал в себе столь жуткую ярость — казалось, будь у него зубы, как у тех, точно бы набросился на мужчину и перегрыз ему горло до самых позвонков. Грыз бы и грыз, пока не отвалится голова.

— Ну пошел отсюда! — ощериваясь, будто у него и в самом деле были такие зубы, выговорил он. — Пошел живо! Не то до голодной смерти своей не дотянешь!

Мужчина дернул от Вениамина Л. — его просторная одежда только полоскалась на бегу, будто флаг под ураганным ветром.

Вениамин Л. глядел ему вслед с чувством горячего мстительного презрения: болван! Еще, навер-

но; и состоял в каком-нибудь обществе сочувствия пасюкам. Принципы гуманизма требуют от нас!.. Пожинай, что посеял.

Мимо по дороге, обдав Вениамина Л. с ног до головы веером грязной воды из невысохшей после дождя лужи, пронеслась машина. Вениамин Л. невольно выmaterился, повернувшись вслед машине, погрозил кулаком. Вслед тому он с ужасом увидел, что машина резко затормозила, замерла на мгновение и, все убыстряя и убыстряя движение, понеслась задним ходом к нему обратно.

Она катила к нему, а он от ужаса был не в состоянии пошевелиться, двинуть ногой, стоял — и смотрел, как она приближается. И лишь когда она сравнялась с ним, остановилась и все ее четыре дверцы начали раскрываться, лишь тогда к нему вернулась способность двигаться, он рванулся — куда понесли ноги, прочь, прочь от обитателей машины, только бы убежать, только бы убежать!

Мешок за спиной, в который он складывал найденную еду, прыгал там и мешал бегу; он начал сбрасывать его на ходу; стряхнул одну лямку, другую, изогнулся, чтобы мешок соскользнул с руки окончательно, глянул назад — и понял, что его попытка уйти от них бессмысленна. Они были от него уже в нескольких метрах; они уже почти догнали его — неслись на всех четырех, стремительно перебирая ими, полы их расстегнутых цветных пиджаков раздувались подобно крыльям; они неслись, как на крыльях!

Вениамин Л. успел пробежать еще какой-нибудь десяток шагов — и удар обрушившегося на него тяжелого тела сбил его с ног. Это, догнав, прыгнул на него сзади один из преследователей. Вениамин Л. полетел кувырком, перевернулся через голову, перевернулся еще раз, проехал на спине, попытался в продолжение этого движения вскочить на ноги, но его тут же бросило назад на землю. Прямо в упор на него глядели два круглых злобных глаза. Оче-

рившиеся для укуса зубы, похожие на две короткие кривые сабли, были совсем рядом с лицом, а по бокам от себя он чувствовал тяжелое жаркое дыхание остальных. Их было четверо, если не пятеро. Неужели конец, мелькнуло в голове у Вениамина Л.

— Кулаки, падло, показывать? — чугунно проговорил тот, что был перед ним. — Совсем, падло, котлом не варишь? Жить устал? Соображаешь, падло, кому кулаки показывал?

— Я... я... у меня... — хрипом лезло из Вениамина Л., — я для вас... у меня бумага... заслуги... у меня в кармане пиджака бумага...

— Клал я на твою бумагу! — взвизгнул пасюк.

И дернулся мордой к лицу Вениамина Л.

Молниеносным, непостижимым для собственного сознания движением Вениамин Л. выбросил перед собой руку, закрывая лицо. В следующее мгновение он завопил от боли: зубы пасюка вонзились ему в кисть и проскребли по ней, разрывая кожу, сосуды, хрустя сухожилиями.

— Вы что!.. Вы что! — преодолевая боль, сумел он придать своему крику членораздельность. — В кармане!.. Бумага!.. Посмотрите!..

Что он базлает, какая бумага, в каком кармане, услышал Вениамин Л. вокруг себя, и услышал, как по груди у него стали шарить, забрались во внутренний карман пиджака, и следом зашелестело. Выдана настоящая, начал читать бумагу над Вениамином Л. изгаляющийся голос. А следом, перебивая его, раздался новый голос:

— Так ты Уко? Во встреча! Ты изменился, Уко! Не твоя бы бумага, так и не узнать!

Вениамин Л. сел на земле, — теперь ему это позволили. Он встал на колени, а затем и на ноги, — и все вокруг в цветных пиджаках тоже поднялись в рост. В том, который был в желтом, канареечном пиджаке, Вениамин Л. узнал одного из тех двух, что вели его долгими переходами и лазами к канцелярскому господину, а потом стояли стражей. Яркая,

подобная солнечному свету, брызнувшему в неожиданную прогалину в облаках, победная радость пронзила Вениамина Л.

— Я! Это я, Уко! Я Уко! — быстро закивал он, с подобострастием заглядывая в глаза канареечному. — Ты же знаешь меня. Я столько сделал! У меня перед вами неоценимые заслуги! Кому знать, как не тебе.

— Ты только давай не тыкай! — сказал канареечный. — Тыкать еще он мне будет. Молись, что я тут оказался. А то бы ребята, — глянул он с ухмылкой на своих товарищей рядом, — положили с прибором на твои заслуги. Хрена им твои заслуги! В следующий раз знай, как себя вести! В следующий раз и я положу на твои заслуги. Понял? Отвечай, понял?!

— Понял, — кивая, выдавил из себя Вениамин Л.

— Вот хорошо, — сказал канареечный. Быстро пригнулся, схватил пульсирующую кровью руку Вениамина Л. и приник к ней пастью, зачмокал.

Вениамина Л. трясло, перед глазами плыл туман, он был едва не в обмороке — и не решался вырвать руку. Может быть, ему бы это не удалось. Но он даже не смел предпринять такой попытки.

— Роскошно, — отрываясь наконец от окровавленной кисти Вениамина Л. и отбрасывая ее в сторону, выговорил канареечный. — Если на что человек и годен, так на то, чтобы похлепать из него. Стой, хрен с ним, пусть живет, — остановил он своих товарищей, попытавшихся вслед ему тоже завладеть рукой Вениамина Л. И похмыкал: — У него заслуги. Заслуги у него! Где его бумага? Отдайте ему его бумагу.

Врач, обрабатывая Вениамину Л. раны, накладывая швы, беспрестанно ругался:

— Яйца бы им всем поотрывать, кто этих крыс выпустил из подвалов. До такой степени утратить

инстинкт самосохранения! Настоящий дебилизм. Не гуманизм, а дебилизм. Сейчас уже никакого житья от них, творят беспредел, а что будет, если пройдет этот закон об эволюции?

— Какой закон об эволюции? — вышел из своего бесчувствия Вениамин Л.

На этот раз, не желая вновь обрушиться в ярость, как с тем мужчиной у мусорного бака, он не отвечал на ругань ни звуком, никак не поддерживал разговора, уплыл в бесчувственную деревянную прострацию и ждал окончания операции, но последние слова врача произвели на него действие — будто его укололи чем-то острым, вроде шила.

— Какой закон об эволюции! — поддернув нитку и вновь прокалывая иглой кожу, отозвался врач. — Тот, который они хотят протащить. О том, что они — новый этап эволюции. А все остальные, значит, из прошлого этапа.

— В смысле? Кто «все остальные»? — спросил Вениамин Л.

— Мы с вами, кто! — с раздражением отозвался врач. — Она вон, — ткнул он пальцем в медсестру. — Все, в общем, кто не они.

— Да ну неужели же... — пробормотал Вениамин Л.

— Что «неужели же»?

— Неужели до такого дебилизма может дойти?

— Так я и говорю! — воскликнул врач. — Все прочее что, не дебилизм? Дебилизм, чистый дебилизм!

Теперь Вениамину Л. хотелось ответить ему. Но он удержался. Посидеть бы тебе в тех подвалах, только произнес он про себя.

Врач закончил накладывать швы, бросил иглу в ванночку к остальным инструментам и пошел из операционной в кабинет.

— Завершите тут с ним, пока я писаниной занимаюсь, — бросил он на ходу медсестре.

Медсестра обработала кожу вокруг швов тампоном со спиртом, наложила марлевую салфетку, подклеила ее и позвала Вениамина Л.:

— Идемте.

Врач в кабинете за своим столом быстро бегал ручкой внутри бумажного разграфленного складня. Видимо, делал описание произведенной Вениамином Л. операции.

— Вот, оформите, — закрыв карточку, перебрал он ее на стол медсестре. Поднялся и двинулся через кабинет обратно в операционную.

Медсестра положила карточку перед собой удобнее, быстро черкнула в углу лицевой стороны какой-то шифр и переместила ручку к середине:

— Имя? Фамилия?

Вениамин Л. на мгновение задержался с ответом. Если бы можно было обойтись без регистрации, он бы предпочел обойтись без нее, не называться. Но как было не назваться?

— Уко, — сказал он.

— Как-как? — сморщась, наставила на него ухо сестра.

— Уко, — повторил Вениамин Л.

Врач, исчезнувший было в операционной, появился в ее дверном проеме вновь.

— Что это за имя? — спросил он.

— Мое имя, — ответил Вениамин Л.

— Это не человеческое имя.

В голосе, каким врач произнес это, была острая металлическая враждебность. А в руках у него, увидел Вениамин Л. со своего места около стола медсестры, откуда-то появился, будто дополняя своей физической реальностью металл голоса, зеркально поблескивающий лезвием скальпель.

— Это мое имя, что я могу поделать, — с покорным отчаянием проговорил Вениамин Л. И полез в карман: — Вот паспорт, хотите посмотреть?

— Возьмите, — приказал врач медсестре.

Медсестра взяла у Вениамина Л. паспорт, раскрыла и прочитала вслух:

— Уко. — Она оторвала глаза от гербовых страниц: — Все, больше ничего. Уко. И имя, и фамилия, и отчество — все вместе.

— Ну-ка, — протянул руку врач.

Медсестра поднялась, отдала ему паспорт, он глянул внутрь, глянул на Вениамина Л., снова посмотрел в паспорт — и снова на Вениамина Л.

— Ты что, из этих? — спросил он. Враждебность в его голосе вспыхнула сабельным клинком, на который упал солнечный луч.

— Что? Из каких «из этих»? — делая вид, что не понял, переспросил Вениамин Л.

Врач, не отрывая от него взгляда, вернул паспорт медсестре и, все так же продолжая держать в руке скальпель на изготовку, дернул повелевающе подбородком:

— Ну-ка открой рот. Покажи зубы.

Вениамин Л. послушно последовал его указанию.

— Расстегни ремень, повернись спиной, — велел врач. И когда Вениамин Л. выполнил его распоряжение, добавил: — Приспусти штаны!

— Вы хотели удостовериться, что у меня нет хвоста? — спросил Вениамин Л., продемонстрировав врачу свой копчик, вновь повернувшись к нему лицом и принимаясь одеваться. — Удостоверились?

У врача было потерянное, выжженное изнутри смертельным изнеможением, виноватое лицо.

— Простите, бога ради, — сказал он. — Это уже какое-то сумасшествие. Навязчивая идея. Мне кажется, они начинают превращаться обликом в обычных людей. Или наоборот... Я не знаю. Простите меня, простите!

* * *

Вениамин Л. готов был биться об заклад, что проехавший в машине на заднем сиденье с устремленным вперед свинцовым начальственным взором —

не кто другой, как глава города. Вениамин Л. ходил к нему на прием, встречался с ним столько раз, что не мог ошибиться. Но как изменился глава города! Какая метаморфоза произошла с ним!

Все его лицо в верхней части резко вытянулось вперед, лоб скосился, образовав с носом одну линию, а нос слился с верхней губой, и над нею теперь жестко торчали в стороны длинные метельчатые усы. Нижняя же часть лица у главы города, начиная с верхней губы, круто утянулась назад, подбородок исчез, челюсть переходила в толстую короткую шею почти без угла, так что граница между ними сделалась практически незаметна. Зато очень заметны сделались уши. Они взлезли вверх, к макушке, заострились и буквально торчали над головой.

Глава города был похож на крысу. Даже не похож, а вылитая, настоящая крыса!

Вениамин Л. ошеломленно проводил глазами пронесшуюся мимо машину и еще с минуту стоял, смотрел в направлении, в котором она исчезла. Как это могло быть, что глава города стал крысой? Ведь он был человеком, совершенно точно, что человеком!

Из столбняка Вениамина Л. вывел звон разбитого, неподалеку стекла. Он повернулся на звук, — толпа из полутора десятка молодых пасюков, все, как один, в коротких дубленых куртках на резинке внизу, только разного цвета, громила небольшой продовольственный магазин. Они были вооружены увесистыми булыжниками, тяжелыми деревянными дубинками, обрезками металлических труб. Два магазинных окна уже были разбиты, третье разлетелось вдребезги на глазах у Вениамина Л. Сначала в окно полетели булыжники, оно обрушилось со звоном, и те, что были с дубинками и обрезками труб, со сноровистой жадностью бросились оббивать оставшиеся торчать из рамы куски стекла.

Мгновение спустя вся толпа, толкаясь и мешая друг другу, хлынула через разбитые витрины внутрь.

«Да здравствует эволюция! Эволюция — мать порядка!» — кажется, что-то вроде такого вырывалось у них при этом из глоток.

Вениамин Л. давно уже не пробовал на зуб никакой нормальной, свежей еды, только одни объедки из мусорных баков, и ноги непроизвольно повлекли его поближе к магазину. От мысли, какой вкуснятиной набит магазин, совершенно свободно доступный для проникновения, рот ему мгновенно наполнило горячей жаждущей слюной.

Навстречу погромщикам из глубины торгового зала, увидел Вениамин Л. в разбитое окно, выскокчил хозяин магазина с ружьем в руках.

— Стой! Буду стрелять! — закричал он.

И действительно выстрелил. Предупредительно: вверх, в потолок.

Больше ему не удалось сделать ни единого выстрела. На него, вмиг опустившись на четыре конечности, бросилось сразу несколько погромщиков. Хозяин магазина рухнул под тяжестью их тел на пол и исчез под ними. Только прыгали, толкались, суясь мордами вниз, превратившись в единый живой клубок, повизгивающие погромщики.

Немного спустя один за одним они стали отрываться от клубка, подниматься в рост, и хозяин магазина снова открылся взгляду Вениамина Л. Одежда его была изодрана в клочья, торс, руки, плечи — все обнажено, и все это представляло сейчас сплошную рваную кровавую рану. Вместо лица было кровавое месиво. Вениамин Л. даже не сразу понял, что это лицо: шею хозяину магазина перегрызли до самого позвоночника, и голова его, вывернувшись вбок, лежала на плече — будто красный продолговатый мяч для игры в регби.

Страх, пробравший Вениамина Л. наждачным ознобом с пальцев ног до самой макушки, заставлял его кинуться прочь, убежать отсюда как можно дальше, но вожделение, которым пробило его при виде отверстого магазинного нутра, было сильнее

страха. И вместо того чтобы убежать, незаметно сам для себя он шагком за шагом продвигался к магазину ближе и ближе. Его буквально физически сотрясало от желания оказаться там, внутри. И он бы уже был там, если бы посередине торгового зала зримым напоминанием о возможном исходе его присоединения к погромщикам не лежал труп хозяина магазина.

Между тем погромщики носились по магазину, набивая карманы понравившейся им снедью, откуда-то, наверно из подсобных помещений, появились холщовые мешки, полиэтиленовые сумки, — набивали их, сгребая с полок все подряд. Время от времени то один, то другой подбегал к трупам хозяина магазина, опускался на все четыре конечности и, быстро работая языком, принимался слизывать засыхавшую кровь.

Затем, видимо, кто-то из них дал команду, и они все, волоча набитые мешки и сумки, бросились к окнам, начали выбираться наружу. Каждый старался пробиться вперед другого, получилась давка, кто-то напоролся на торчащий из рамы обрезок стекла, дико завизжал, на него заорали, чтоб заткнулся. Но он визжал, визжал, пихал своего соседа, чтобы тот пропустил его, и сосед, изогнувшись, укусил визжавшего в шею. Визжавший смолк от неожиданности, но в следующий миг набросился на обидчика, и шея того тотчас тоже окрасилась.

— Бросьте на хрен, сматываемся! — крикнули им, но эти двое уже ничего не слышали...

Они вцепились друг в друга, кусали, рвали когтями, набитые их сумки отлетели в сторону, из разорванных карманов вылетали наружу банки, пакеты, свертки. Кто из них был кто, уже было не понять, не разобрать. Остальные погромщики все выбрались на улицу, разбежались, таща свою поклажу, в разные стороны, исчезли из поля зрения, а эти все дрались, рвали друг друга, вывалились из окна на асфальт, и асфальт вокруг сделался мокрым от

крови. Один неожиданно поскользнулся, опрокинулся на спину, и его противник не упустил своей возможности. В тот же миг он оказался на упавшем, морда его утонула в оголившейся шее неудачника, раздался хруст раздираемых сухожилий...

Вениамин Л. впрыгнул в окно — победитель, покачиваясь от потери сил, еще собирал в сумки свою рассыпавшуюся добычу. Но один и в таком состоянии он теперь был не страшен.

Слюна, переполнявшая рот, просила схватить, ощутить языком, нёбом что-нибудь особое, что-то такое, что даст наслаждение, которое ни с чем невозможно будет сравнить, сотрясет организм до основ, достанет до дна всех чувств.

Вениамин Л. схватил с полки бутылку с соком — и отбросил. Нет, это было не то. Схватил целлофановую упаковку с нарезанным лоснящимся сыром, разодрал ее — и тоже отбросил. Сыр также был не то. Не то была нарезка ветчины в паке́тиках, зеленые оливки в прозрачной пластмассовой банке, творог, сметана, йогурты... То есть все это было то, достанься Вениамину Л.: эта еда в другое время, он бы схряпал ее — только летели ошметья от упаковки, но сейчас, здесь в магазине, где было столько всего... сейчас нужно было иное!

Мясо, громадными кусками, пластами антрекотов, лангетов, лежавшее в прозрачных витринах-холодильниках, — вот что ему было нужно. Вениамин Л. увидел это роскошество — и сразу все стало ясно.

Он подскочил к мясному прилавку, перемахнул через него, торопясь, обломав ноготь на указательном пальце, откинул в сторону створку, выцарапал изнутри первый попавшийся в руки кусок и впился в него зубами.

О, это было то, самое то. Наслаждение, пробившее Вениамина Л., достигло, казалось, каждой клетки его организма. Урча, задыхаясь, пузыря изо рта слюной, он рвал мясо на мелкие куски и, не жуя, глотал их. Как это было здорово — есть мясо

не жуя. Просто восхитительно. Почему раньше, когда ему перепадало что-нибудь мясное, он не догадывался есть не жуя.

В соседней витрине лежала свинина. Вениамин Л. перебежал туда, распахнул створку, вытащил кусок шейки на кости и принялся за него.

Как в магазине появилась милиция, он не заметил. Вдруг вокруг затопали, загрохотали, он поднял глаза и увидел, что прямо на него несутся, перемахивая через прилавок, двое в форме. Рванулся от них в сторону, но бежать было некуда — стена, мгновение — и он уже лежал на полу, давясь непроглоченным куском мяса, и ему заворачивали за спину руки.

— Это не я, не я! — замычал он, осознавая с отчаянием, что труп хозяина магазина могут повесить на него. — Это все эти... не я!

Ответом ему было — удар тяжелым форменным ботинком по ребрам. И после короткого перерыва — еще один.

— Не гунди, падло! Попался — значит, попался!

Вениамин Л. осторожно, чтобы не получить нового пинка, вывернул голову, скосил глаза, чтобы увидеть вершителей своей судьбы, и его оглушило: милиционеры в пятнистой боевой форме были поллюдьми-полукрысами. Верхняя часть лица у них была совершенно крысиная, нос плавно переходил в верхнюю губу, жестко топырились в стороны крысиные метельчатые усы, а нижняя являла собой абсолютно человеческий подбородок. Словно они превращались из крыс в людей. Или наоборот: из людей в крыс. Вениамину Л. невольно вспомнился глава города в машине.

— Теперь поднимайся! — снова засадил ему ботинком по ребрам.

Потом, когда его выводили из магазина на улицу, держали с расставленными ногами около стены, везли на заднем сиденье джипа в участок, его били не переставая, и когда, наконец, толкнули за

решетку в камеру, Вениамин Л. был одним вопящим перекрученным жгутом боли, а лицо у него, он чувствовал, превратилось в кровавую вспухшую лепешку.

— Коронно они тебя, — сказала, промакивая скомканным платком ему кровь, текущую из рассеченных бровей, соседка по камере — по-уличному накрашенная девица в профессионально короткой юбке. Поплевала на платок и продолжила ухаживать за ним. — Оборзели совсем после этого закона об эволюции.

— Какого такого закона? — прошевелил разбитыми губами Вениамин Л. Он насторожился. Тот разговор с хирургом, зашивавшим ему раны на руке, крепко сидел в памяти, и что же, выходит, закон, о котором говорил врач, принят?

— Того самого закона, — снова поплевала на платок девица. — Проголосовали, приняли, опубликовали — будто они высший этап эволюции. Они высший, мы низший, и что они хотят, то и делают.

— Но они же вроде бы... вот эти, которые меня... они не совсем эти, — проговорил Вениамин Л.

— А хрен знает, кто они есть, — ругнулась девица. — У них тут всякие водятся. И полностью люди, и полностью эти. Вон посмотри — на дежурстве сидит, и около.

Вениамин Л. лежал на полу, она помогла ему приподнять голову, и через решетку камеры он увидел: тот, что сидел за столом дежурного, был человеком, а пасшийся рядом, ходивший от стола к двери и обратно, поигрывавший дубинкой в руках, — полная крыса.

— Но вообще они тут в основном эти, — сказала девица, опуская Вениамину Л. голову обратно на пол. — Уж я знаю, что говорю. И каждый день этих все прибавляется.

Дежурный за столом вызвал Вениамина Л. составлять протокол о задержании много часов спустя — когда на улице была уже ночь. О том свиде-

тельствовала входная дверь, когда открывалась: за нею была чернота, и только крыльцо освещал мерклый фонарь.

— Давай рассказывай, как оно было, — сказал дежурный, выведя крупно вверху листа «Протокол задержания» и откладывая ручку. — Как оно было! — поднял он указательный палец.

Вениамину Л. и не было надобности ничего выдумывать.

— А почему сырое мясо жрал? — с подозрительностью спросил дежурный, когда Вениамин Л. дошел до момента, как после бегства погромщиков он вскочил внутрь.

— Не знаю. — Вениамину Л. и здесь не требовалось ничего выдумывать. — Жрать так хотелось. Так давно мяса не пробовал...

Дежурный выматерился. И тотчас заоглядывался по сторонам, будто боялся, что, кроме Вениамина Л., его услышит кто-то еще.

Но они сейчас были тут вдвоем, больше никого. А тот, другой, крыса, ушел в дальний конец коридора и спал там на топчане.

— Значит, слушай, — сказал дежурный, понизив голос. — Дело твое швах, тебя взяли на месте, тебе и отвечать. А с этими, — он сделал рукой движение около своего лица, изображая крысиную морду, — все равно никто связываться не станет. Особенно теперь, после закона. Слышал о законе?

— Слышал, — кивнул Вениамин Л.

— Высший этап эволюции, куда денешься! — Дежурный снова с осторожностью матюгнулся. — Но ты слушай!

— Да, — вытянулся перед ним на стуле Вениамин Л.

— Я тебя сейчас отпущу. Выйдешь — и рви, чтобы ветер в ушах свистел. А я тревогу чуть погода подниму. Будто ты только что рванул. Поймают — жив не останешься. Убежишь — твое счастье. Сможешь бежать? — с сомнением оглядел он Вениамина Л.

Сможет ли? Еще минуту назад Вениамин Л. едва двигался. Что говорить, коронно его отделали, как сказала проститутка. Но сейчас он ощутил, что не просто побегит, а полетит быстрее пули. И что, в конце концов: быть растерзанным этими — или сгнить в тюрьме...

— Когда? — поднялся он со стула. — Прямо сейчас?

— Прямо, — подтвердил дежурный.

Вениамин Л. бросился к двери, распахнул ее, выскочил на крыльцо под фонарный свет и, скатившись в темноту, понесся по пустынной ночной улице — будто летел.

Вениамин Л. увидел своего спасителя еще раз — много месяцев спустя, — чтобы стать свидетелем его смерти. Он увидел его сначала в слуховое окно с чердака, — тот бежал через дорогу к дому, за ним в каком-нибудь десятке метров несло сразу несколько *этих*, он оглянулся на ходу и выстрелил, не попал, и ещё спустя мгновение и он, и несущаяся за ним стая исчезли из поля зрения Вениамина Л. Потом снизу, с лестничной клетки, через чердачную дверь, слуха Вениамина Л. достигли запаленные громкие крики; топот множества бегущих ног — видимо, дежурный заскочил в подъезд и мчался по лестнице наверх.

Вениамин Л. отпрянул от слухового окна и, в один миг вскарабкавшись по стропилам, оказался под самой крышей, на выступе печной трубы. Он потому и облюбывал этот дом для обитания, что здесь, на чердаке, были эти кирпичные трубы с площадками-выступами под самой крышей. Печи давно не действовали, в доме стояли газовые плиты, но разбирать трубы никто не стал, и на их уступах было удобно прятаться от облав.

Сверху, из-под крыши, Вениамину Л. было видно, как чердачная дверь отлетела к стене, и вместе с хлы-

нувшим вовнутрь светом на чердак ворвался дежурный. Он ворвался — и заметался туда-сюда, не зная, что делать дальше. Затем рванулся к слуховому окну, у которого только что находился Вениамин Л., но то мгновение, что он метался, не зная, что предпринять, оказалось для него гибельным. На чердак, один за другим, вломилась вся стая. Дежурный, пятась, выстрелил — раздался истошный, будто обиженный, визг раненого, выстрелил еще — и, судя по новому визгу, снова попал, но это и все. Остальные из стаи прыгнули на него, сбили с ног — и повторилось то, что Вениамин Л. наблюдал тогда с директором магазина.

Закончив с дежурным, вдоволь нализавшись вытекшей из ран крови, его преследователи поднялись со всех четырех на задние конечности и, подтащив тело к слуховому окну, выволокли его на крышу, сбросили с крыши на землю. Пусть полежит там, падла человеческая, в назидание другим, чтобы неповадно было, переговаривались они, влезая с крыши обратно на чердак.

Они ушли, таща на себе раненых, а Вениамин Л. еще долго не мог спуститься с короткого, узкого, неудобного выступа вниз. В нем будто все окоченело. Он не в силах был пошевелить ни одним членом.

Он прятался здесь, на чердаке, уже бездну времени, почти никуда отсюда не выходя. На чердаке жила колония голубей, Вениамин Л. приноровился ловить их, а то, что приходилось есть их сырыми, — тут у него никаких проблем не возникало. Наоборот, ему это нравилось, и он даже научился пить их кровь, перекусывая жилку на шее, — еще совсем живую, толкающуюся ударами замирающего сердца. Вот как он наловчился ловить голубей — вот что восхищало его в самом себе. Тихо подкрасться, броситься молниеносным движением, не позволив взлететь... как у него это только и получалось!

Иногда на чердак забирались бездомные кошки или собаки, — их Вениамин Л. тоже не упустил ни

одной. К кошкам и собакам он испытывал какую-то особую, жгучую неприязнь и бросался на них вовсе не потому, что видел в них пищу, а потому, что ему было ненавистно само их существование, то, что они просто были; бросался несмотря на то, что рисковал потерять глаза — это когда кошка, — а то и вовсе не одолеть противника — среди собак попадались довольно крупные экземпляры. Однако пока Вениамин Л. всякий раз выходил победителем. Он научился, как и они, пользоваться зубами — это оказалось совсем просто и было эффективно, следовало лишь не дать ухватить за шею себя. А в руках для таких случаев у него всегда был нож, и зубы с ножом — получалось в высшей степени действенно. Правда, последнее время руки странным образом стали плохо держать нож, вообще что-либо держать, и он уже начал тренировать себя, чтобы в следующий раз обойтись без ножа, используя вместо него ногти. За время этой дикой жизни здесь, на чердаке, ногти у него окрепли, перестали быть ломкими, он дал им отрасти подлиннее и иногда, поймав голубя, не перекусывал ему жилку, а взрезал ее ногтем. Получалось — будто ножом.

О том, что после происшедшего здесь убийства могут прийти осматривать чердак журналисты, Вениамин Л. и думать не думал. Потрясение, которое пережил, было столь сильным, что его в конце концов оглушило сном, он упал на свою лежанку в углу под сводом крыши, отключился — и проснулся оттого, что вокруг стоял гул голосов, а в глаза бил яркий, обжигающий свет. Он сел, ничего не соображая, и около лица тотчас оказалось несколько микрофонов. «Расскажите, что вы здесь делаете? Кто вы такой? Вы были здесь, когда это все произошло?» — разом, перебивая друг друга, спрашивали его. Все они, разглядел Вениамин Л., были *этими*. Ни одного человека.

— У меня заслуги... я удостоен... я наоборот, — заторопился Вениамин Л., полез во внутренний кар-

ман и вытащил на свет выданную ему когда-то бумагу. За это время она совсем обтрепалась, облохматилась, протерлась на сгибах, текст внутри тоже вытерся, побледнел, но все же Вениамин Л. хранил ее, берег — вдруг понадобится. Вот понадобилась.

Реакция на бумагу, когда кто-то один из этих с микрофоном в руках прочитал вслух ее содержимое, оказалась неожиданной для Вениамина Л. Он не ожидал такой. Он ждал, что над бумагой снова, как бывало прежде, начнут изгаляться, обхохотываться ее, но нет: в воздухе вокруг словно бы разлилось почтение, бумагу бережно свернули, вернули ему, после чего он был спущен, уже без прежней развязной хамовитости, а уважительно, и одним, а не всеми разом:

— Что с вами случилось, Уко, почему вы оказались здесь?

— Я здесь живу, — ответил Вениамин Л.

Что ему было отвечать еще?

— А вы вполне удовлетворены вашими нынешними жилищными условиями?

Вениамин Л. ничего не понимал. С какой стати они разговаривают с ним подобным образом? Это была какая-то хитрость с их стороны, какой-то обман! Сколько он ни прятался от них, он к ним попался, и теперь его в лучшем случае ждет смерть, как этого несчастного дежурного из милиции, или то, что произошло с остальными уцелевшими людьми. Вениамин Л. знал, что произошло с остальными. В слуховое окно он неоднократно наблюдал, как их по утрам выгоняли из подвалов, строили в колонны и под конвоем уводили на работу. К вечеру так же под конвоем их приводили обратно и вновь загоняли в подвалы.

Из груди у Вениамина Л. вырвался жуткий, истошный крик, он вскочил и бросился к слуховому окну. Предпочтительнее было отправиться вслед за тем дежурным, чем оказаться в подвале.

Ему не дали добежать до окна. Подставили подножку, свалили, завернули за спину руки...

Вот это было более понятное обращение. Такого Вениамин Л. ожидал с самого начала.

Он кричал, бился, пытался кусаться — его связали по рукам, по ногам, положили на одеяло, служившее ему лежанкой, и понесли с чердака на лестничные марши.

Что они со мной будут делать, что будут делать, билось в Вениамине Л. Он сейчас безумно завидовал тому дежурному: того хоть в одно мгновение, а что они устроят с ним?

Его привезли в больницу. То есть это было похоже на больницу, но на самом деле это, видимо, была какая-то лаборатория, и они собирались умертвить его здесь, выкачав из него всю кровь. Блестели хромом рукояток приборы со множеством стрелок в окошечках, сияла крахмальной белизной белья кровать.

Его в несколько рук повернули на бок, сняли с него штаны, трусы, оголив зад, и приведенная под конвоем дюжей крысы медсестра-человек сделала ему укол. Через несколько минут у Вениамина Л. все поплыло перед глазами, он успел подумать: «Вот он, конец», — и потерял себя.

Когда Вениамин Л. очнулся, то обнаружил, что лежит совершенно обнаженный — в той же самой бело-крахмальной кровати, в той же самой палате-лаборатории, среди тех же приборов со множеством стрелок. Но руки у него были свободы, свободны были ноги, он мог шевелить ими, сгибать-разгибать, то есть он был свободен?

Вениамин Л. огляделся, — вокруг никого не было. Значит, он мог сбежать отсюда, оставалось только решить вопрос одежды.

Вениамин Л. встал, прошелся по холодному полу, заглядывая во все углы, — ничего, что можно было бы надеть на себя, нигде не лежало. Дикая мысль пришла ему в голову: опуститься на четыре

конечности и так, изображая из себя *этого*, кося под крысу, выйти отсюда. Вдруг получится прикинуться, будто бы он из них. Тем более что после жизни на чердаке, где приходилось карабкаться по стропилам и драться с кошками и собаками, он вполне овладел этим умением — двигаться на всех четырех. Вовсе оказалось не сложно.

Но только он встал на все четыре, дверь растворилась, и в нее вошел... Вениамин Л. сразу узнал, кто это вошел. Это был тот господин из подвала. Разве что несколько располневший, так что щеки его сейчас напоминали хомячки. Но одет он был с прежней безукоризненной элегантностью: такой же, как тогда, замечательный черный костюм, струящаяся ослепительно белая сорочка и только галстук не фиолетово-красный, а маренго с бордовым.

— Уко! — сказал он, раскидывая в стороны лапы, словно для объятия. И действительно подошел, взял Вениамина Л. за плечи, потряс его. — Смотрю у себя в кабинете телевизор — кого показывают? Уко показывают! И в таком положении: на чердаке, в антисанитарии. Не мог не навестить!

Вениамин Л. смотрел на него с враждебным недоверием. Чего от него снова хотел этот господин? Зачем он ему понадобился?

Господин из подвала между тем снова похлопал его по плечам:

— Все, Уко! Все! Теперь все будет нормально, ты у нас не простой, ты с заслугами, правильно, заслуги нужно ценить. Я всегда придерживался этой точки зрения: заслуги нужно ценить. Видишь, специально пришел, оторвался от дел, чтобы подтвердить тебе это. Теперь все будет нормально, обещаю!

Вениамин Л. продолжал молчать, по-прежнему глядя на него с недоуменной враждебностью, и господин из подвала рассердился:

— Ты что, не помнишь меня? Отвечай!

Вениамин Л. вынужден был ответить:

— Помню. Конечно.

— Меня помнишь, отлично! Что еще помнишь?
— Все помню, — бессмысленно ответил Вениамин Л.

— А как твое имя, помнишь?

— Уко, — сказал Вениамин Л.

— А до него, до него? Помнишь?

Вениамин Л. вновь позволил себе молчание. Чему он был обязан этим визитом, этим странным, похоже, вполне миролюбивым обхождением?

— Где я? — спросил он.

— Где? — переспросил господин из подвала. — В больнице. В самой лучшей, отличнейшей больнице.

— Зачем?

Метельчатые усы у господина из подвала снова рассерженно подергались.

— Как зачем! Восстановишь силы. Побудешь в нормальных, достойных условиях, а тебе той порой подберут достойную работу. Достойное жилье.

Вениамин Л. не верил ни единому его слову.

— С какой стати? — спросил он. — Что вы тут про заслуги... Я же человек.

Круглые злые глазки господина из подвала выразили обескураженность. А вслед тому он захохотал, привзвизнул от изнеможения, быстро опустил на все четыре и раз, и другой хватанул зубами пол перед собой. Из штанины внизу у него выскокил кончик хвоста и несколько раз мелко простучал по полу.

— Ты полагаешь, — еще продолжая сотрясаться от хохота, проговорил он, когда выпрямился, — что ты человек? Вот болван! Ну-ка посмотришь! — Он шагнул к белому встроенному шкафу и распахнул его створку. На внутренней стороне створки блеснула пластина зеркала. — Посмотришь, посмотришь!

Вениамин Л. переступил ногами — и оказался в зеркале. Он оказался в зеркале — и обомлел. Его прежнего не было, а на него со створки глядела совершенно настоящая, голая крыса. Худая, грязная,

с плешинами в шерсти, но — крыса! И ноги, которыми он переступил, чтобы подойти к зеркалу, были вовсе не ногами, а лапами. И лапами были руки, — вот почему ему стало трудно хватать ими что-либо. А ногти на них — это были не ногти, а когти! Только, видимо, все эти изменения происходили так медленно, так постепенно, что он не отдал себе в них отчета!..

Слезы радости, слезы счастья, восторга вырвались у Вениамина Л. Он мутировал! Он стал крысой! Как глава города, как другие. И значит, ему не грозит судьба этих несчастных, которые загнаны сейчас в подвалы. И как хорошо, как это замечательно, что он ничего не помнит о себе том, прошлом, когда его звали не Уко. Как хорошо. Он Уко, и только. Пасюк, и больше никто. Крыса.

— Что, убедился? — спросил господин из подвала, закрывая створку.

Вениамин Л., вытирая тыльной стороной лапы глаза, подтверждающе кивнул. Он был не в состоянии говорить от раздирающих его восторга и счастья.

1998 г.

ЖИЗНЬ КРУТЫХ

Слова «крутой» тогда еще не существовало. То есть оно было, но не в том смысле, в каком стало употребляться позднее. Тогда оно было еще прилагательным и без существительного ничего не значило. «Крутой берег», «крутой мороз», «крутой нрав» — в таком сочетании получало оно право жизни.

Но я уже тогда, в те времена, был «крутой» в нынешнем смысле. Такой то есть, что закачаешься, сразу, с первого взгляда видно — особый, не похожий на других, из ряда вон. Во-первых, я был красного цвета. И не какого-нибудь там грязно-вульгарного, с коричневым или морковным оттенком, а ярко-красного, карминного — необычайной благородной насыщенности. Ха-ха, кто бы мог похвастаться в ту пору таким цветом. Все вокруг были белые, белые, белые, и только изредка встречались голубые или кофейно-розовые. Но разве сравнишь с карминным какое-то розовое?

Во-вторых, меня сделали не простым, чисто функциональной формы — как обычно, сплошь и рядом, в девятисот девяноста девяти случаях из тысячи, — а с широкими размахистыми крыльями по бокам, чтобы они могли держать на себе книгу, коробку сигарет, зажигалку — что понадобится, придали моему телу орлиную могучую размахистость, — на эту великолепную гордую птицу я и походил. И это отнюдь не мое мнение, в жизни не

видел орла, так что никак не смог бы сравнить себя с ним, — люди, что приходили ко мне, говорили между собой о нашей схожести.

В-третьих, наконец, чтоб я поместился в положенное нам помещение, его специально перестраивали для меня, расширяли, отобрав пространство у коридора, — сколько у кого я потом ни спрашивал, никто больше не удостоился такой чести. Все обитали в маленьких, тесных закутках, десять сантиметров — и стена слева, десять — и стена справа, сзади вообще впритык, а спереди — чуть побольше, чем по бокам, в общем, никакого воздуха, никакого объема, чтобы ощутить себя комфортно, уверенно, надежно, а у меня — хоть танцуй, такая площадь.

Надо признаться, временами мне и хотелось пуститься в пляс — так меня распирало от полноты жизни. Таким я чувствовал себя сильным, уверенным, *крутым*.

Но что невозможно, то невозможно, стоять на месте — это наша судьба. Стоять крепко, неколебимо, не шелохнувшись, намертво схваченным с фановой трубой.

Люди считают, что мы бездушны, неживы, лишены сознания, не можем говорить сами и не понимаем чужой речи. Я подразумеваю под «мы» не только собственно унитазы, но и ванны, и умывальные раковины, и краны со змеиными головками душей, и трубы, которыми мы все связаны между собой, как люди своими телефонными проводами. Людям присуще делить мир на косную и живую материю, и коль мы сделаны из глины, металла, синтезированной резины — того, что они называют косной материей, они и полагают, будто бы мы слепы, глухи и немые.

На самом же деле все, чему придана форма, разделяется жизнью. А где жизнь, там и душа. А где

душа, там возникает сознание, неотъемлемой частью которого является зрение, слух, речь. Другое дело, что это зрение не похоже на человеческое, совсем иной, чем у человека, слух и иная речь. И еще вопрос, чьи органы чувств совершенней. Да, человек всемогущ, мы вылеплены им из земного праха, призваны им к жизни, и она всецело зависит от него, но вот мы слышим его речь, понимаем ее, а он нас не слышит. Он даже не догадывается, что мы в курсе всех его дел, все знаем о нем и могли бы в каких-то случаях помочь хотя бы советом, однако это невозможно: он может слышать только себя, упоен собой, только о себе и думает, и ничего в мире, кроме него самого, для него не существует.

Впрочем, у меня к нему никаких претензий. Какие могут быть претензии к своему Создателю. Он вылепил меня, дал мне жизнь, вдохнул в меня душу, — и за это я признателен ему и обязан по гроб жизни.

Я, разумеется, знаю, что у людей есть лицо, по которому они и различают друг друга, но для меня лицо человека — его попа. Я общаюсь именно с нею, и было бы странно, если бы лицом было для меня что-то иное. Попа — удивительная часть человеческого тела, нет двух поп, похожих одна на другую. Руки у людей похожи, торсы, уши, носы, глаза — в общем, то, что они называют у себя лицом, а попы — нет. И как по-разному они ведут себя на мне, какие у всех разные привычки! Незнакомую попу я узнаю тотчас. К знакомым я равнодушен, и мне все равно, как у них и что получается, а когда садятся свои, домашние, — ох, я переживаю, болею за них, хочу, чтобы все у них было как надо, наилучшим образом, без боли и крови, быстро и качественно.

В семье, где я живу, пятеро. Мужчина, которого зовут Николаем, его жена по имени Надя, двое де-

тей, мальчиков, и еще старая женщина, мать Нади. Когда-то, когда я только появился здесь и для меня расширяли помещение за счет коридора, был еще такой Валерий Галактионович, громогласный, лысый, глава семьи, работавший где-то в системе человеческих отношений крутым начальником, почему ему и удалось отхватить столь крутого, как я, но некоторое время спустя после моего появления он умер, и главой семьи стал Николай. Что значит «умер», я так до конца и не понял. То есть я понял, что это как-то связано с каким-то переездом, вроде того, что из одной квартиры в другую, причем довольно маленькую, но зачем ему нужно было переезжать, отрываться от своей семьи, какие обстоятельства заставили его сделать подобное, — это для меня так и осталось непроясненным.

После его переезда семья бедствовала, питание у них стало безобразным до невозможного, — об этом можно было судить по их шлакам. Они все, даже дети, ели что-то такое низкокачественное, что их печень отказывалась перерабатывать съеденное, и мне приходилось принимать в себя не единую, переваренную, туго спрессованную массу, как я люблю, а ошметья чего-то разжеванного, какие-то переплетенные волокна, отдельные куски, от чего мне всякий раз становилось дурно.

В семье начались скандалы. Из-за двери моего помещения, из глубины остальной квартиры, доносились громкие разговоры Николая и Нади, иногда они переходили в крик. «Если ты женился и родил детей, ты должен! — кричала Надя. — Если ты мужчина, ты просто обязан!» — «Как я обязан, как я обязан?! — так же криком отвечал ей Николай. — Воровать? В партию вступить, чтоб карьеру сделать? Воровать мне нечего, а в партию твою выю гнуть — застрелюсь, не пойду!» Здесь, случалось, в разговор вступала мать Нади. «Ты чистеньким хочешь быть, невинность соблюсти, а дети пусть голодают, да? — присоединялась она к дочери. — Это, по-твоему,

нравственно? Если это нравственно, то я царица Савская, а не вдова партработника!»

Ужасно было слышать их ссоры. Меня просто всего выворачивало от них наизнанку: то и дело случались засоры, все из фановой трубы шло обратно вверх, забивало меня сточной водой по самую кромку, и откуда-то приходил грязно одетый, отвратительно пахнувший водкой грубый мужик с толстой стальной проволокой, всаживал ее в меня и принимался ходить ею туда-сюда, туда-сюда — операция, выдержать которую и не треснуть в горле можно было, лишь теша себя надеждой, что все в доме снова исполнится жизненного успеха, задышит благополучием, зафонтанирует радостью и довольством.

Мучения мои были не напрасны. Стойкость моя была вознаграждена. Настал день, когда дом огласился не криками ругани, а торжества и ликования. Кричала Надя, вторила ей мать, кричал сам Николай, и вслед им, не очень понимая суть дела, но разделяя общий восторг, кричали мальчишки.

Твердость Николая, его верность избранной жизненной позиции принесли ему успех. В стране, в которой я имел счастье обрести жизнь и обитать в положенном мне помещении, людям дали добро на занятия кооперативной деятельностью. Иначе говоря, стало можно устроить для себя благополучную жизнь, достичь жизненного успеха, не воруя и не вступая в партию, не согнув ни перед кем выи. Николай тотчас бросился в эту деятельность очертя голову, отдал ей всю свою энергию, которая накопилась в нем за прежние годы, и крики торжества, огласившие дом, были связаны с принесенными им в дом первыми кооператорскими деньгами. Это были деньги, на которые они сразу могли купить машину. Или загородный дом. Или... да что угодно могли купить!

Мир, довольство, благодать и согласие поселились в доме. Теперь в нем то и дело раздавался смех, го-

лоса хозяев сделались звонки и веселы, часто приходили гости, тоже весело и громко шумели, навещали меня, — я их перевидел за самое короткое время столько, сколько не видел за всю предыдущую пору, что появился на свет.

Случалось, что некоторые приходили ко мне опорожниться совсем не из положенного места, а изо рта, стравливая в меня совсем уж непереваренные куски пищи и наполняя мое нутро литрами переработанного алкоголя. Меня мучило от этого, спазм сжимал горло, хотелось вытолкнуть из себя все обратно, но я не позволял себе ничего такого. Воспоминания о прошлых тяжелых днях удерживали меня от проявления своих чувств. Пища, которую теперь ели в доме, была самой великолепной, какую только продавали в магазинах, и, когда мною пользовались нормальным образом, я всякий раз мог удостовериться в ее высоком качестве. Шлаки были превосходны, настоящее наслаждение. И я работал отлично, не допуская никаких засоров, и однажды, как бы мне это ни было трудно, сумел протолкнуть через себя даже кучу арбузных корок, которую в меня зачихнули. Ох, мне пришлось потрудиться! Но я очень хотел сделать это.

Хотя, надо сказать, и позлился изрядно. Арбузные корки — в меня! Как можно было додуматься? Все же человек для моего сознания в некотором роде загадка. Странное существо!

(Кстати, касательно выражения «настоящее наслаждение», употребленного выше. Это однажды дверь в мое помещение оставили открытой, и я услышал рекламу какого-то продукта по телевизору. Там говорили: «Райское наслаждение!» Но насчет рая, я знаю, у людей имеются разные мнения, некоторые считают, что его не существует, а другие — что только для избранных, и я предпочитаю не использовать этого определения. Лучше даже вообще без определения, чем с таким, существование которого под большим вопросом.)

Именно в эту пору я влюбился. Возможно, тому способствовала общая атмосфера счастья, разлитая в доме. Моей избранницей стала ванна с четвертого этажа из небольшой однокомнатной квартиры. Хотя сам я стоял в трехкомнатной квартире, да еще пятью этажами выше, так что она была мне совершенно не ровней, я втрескался в нее буквально по уши.

Хозяин той однокомнатной квартиры, как и Николай, тоже занялся кооператорством, у него тоже завелись деньги. Он сделал в ванной комнате ремонт, выложил ее всю, сверху донизу, розовым кафелем, заменил прежнюю, крашенную серой масляной краской трубу полотенцесушителя, новой, зеркально сверкающей никелем, поставил вместо старого, унылого, проржавелого смесителя для воды замечательный, тоже весь сверкающий никелем агрегат с шаровыми кранами, с изящной головкой душа на внушительном кронштейне, — и моя старая знакомая раскрылась с совершенно необыкновенной стороны. Она оказалась просто красавицей! На ее сердце претендовали еще трое: надменный польский душ из роскошной квартиры в соседнем подъезде, сирийский сливной бачок с верхнего этажа дома и стальная вечная раковина из кухонного румынского гарнитура, стоявшая в соседней со мной квартире, — красавица с четвертого этажа ответила взаимностью мне.

Днем, случалось, у нас не было достаточно времени, чтобы насладиться друг другом, — то занята она, то я. Но уж ночью мы принадлежали друг другу всецело. У людей для ласк всего две руки и губы с языком, наши возможности куда значительнее. Трубы холодной воды, трубы горячей, канализационные трубы соединяют наши тела до последнего атома, мы ласкаем друг друга каждой мельчайшей структурой веществ, из которых сделаны. Трубы схватывают самые тончайшие вибрации твоего организма, несут их по себе и передают адресату; в ночной тишине, ког-

да все спят, все краны выключены, молчат сливные бачки, возможно такое слияние — перестаешь понимать, где ты, где она, вы что-то новое, единосущное, без границ, без тел... непередаваемое состояние! У меня, правда, нет труб горячей воды — в этом отношении я, наверное, похож на человека без ноги или руки, — но их отсутствие никогда не мешало мне чувствовать себя абсолютно полноценным и ничуть не помешало возникнуть нашим отношениям. Все равно, несмотря на их иностранное происхождение, я был круче и душа из соседнего подъезда, и сливного бачка с верхнего этажа. Не говоря уже об этой лесбиянке — кухонной раковине. Как призналась мне однажды моя красавица, она уже давно обратила на меня внимание и, когда обратил на нее внимание я, слила из себя воду, заполнявшую ее до краев, в одно мгновение.

Кроме того, у нас с нею обнаружили общие интересы. Это была жизнь наших хозяев. Моя красавица даже просветила меня кое в каких вещах касательно этой жизни. Оказывается, кооперативная деятельность была вовсе не таким уж простым и счастливым делом, как я о ней думал. Оказывается, там было много сложностей, она требовала много изворотливости и хитроумия, занимаясь ею, приходилось много *вертеться*. Что значит «вертеться», спросил я. Это значит изменять своей сущности, сказала она. То есть как если б я должен был выполнять роль сливного бачка, а ты — умывальной раковины, так? — уточнил я. Именно, подтвердила она. Ничего себе! — я даже присвистнул от потрясения. Уровень воды во мне понизился до самого дна и, восстанавливаясь, долго еще колебался. Да, ужасно, подтвердила моя возлюбленная. Но они так радовались, сказал я, вспоминая тот день, когда Николай пришел с первыми кооператорскими деньгами. Радость доставляется не деньгами, а чувством полноты жизни, отозвалась она. Просто деньги тогда смогли дать им это чувство. Я согласился с нею.

Нам, например, всем вообще не нужны деньги. Обходимся без них, и хоть бы что.

Бывало, мы проводили с моей возлюбленной в разговорах часы и часы. Говорили и не могли наговориться. Мы говорили не только о наших хозяевах. Бог знает, о чем мы говорили. Я был счастлив в ту пору. Замечательная была пора. Непередаваемо счастливая.

— Мне кажется, он сошел с ума! — Голос моей красавицы был не просто исполнен страха, а переполнен им — до самых краев. — Он каждый день пьян до безобразия, и если со мной обращается еще ничего, то что творится вокруг... Я тебе раньше не рассказывала, стеснялась, но больше не могу. В комнате он оборвал все обои. На кухне весь пол в осколках от битых бутылок. А вчера он принялся за ванную комнату. Расколотил весь кафель, ни одной живой плитки, я в ее крошечке чуть не доверху. Выворотил краны из стены. Сорвал душ с крошечки и бил им о меня. Мне ничего, я крепкая, даже не особо больно, но на душ теперь просто страшно смотреть, он льет из всех щелей!..

Ее откровение не было для меня такой уж большой новостью. Я уже и так от наших общих друзей в соседних с нею квартирах знал, что в ее доме происходит нечто из ряда вон. Она лишь конкретизировала мое знание. Призналась в том, в чем прежде, когда я, тревожась за нее, пытался ее расспросить, никак не хотела признаваться. Вот, наконец, не выдержала.

— Ты догадываешься, почему он такой? — спросил я.

— Я так понимаю, у него что-то не в порядке с его делами, — ответила мне моя красавица. — К нему приходили какие-то люди, кричали о какой-то крыше, требовали делиться, даже били его. А, вот, — вспомнила она. — Он говорил, что сам крыша, и это

с ним делятся, а не он с кем-то, тогда они и стали его бить. И разговаривал потом по телефону — жаловался, что его опускают.

— Ничего, это все чепуха, все нормализуется, — сказал я, успокаивая мою красавицу. — Обычный ход вещей у деловых людей. Это на него наехал рэкет. Так было и с моим Николаем. Тоже ужасно психовал. А потом все отрегулировалось, и сейчас полный порядок!

— Нет, правда, да? — проговорила моя красавица.

Так проговорила — будто оперлась на меня. Безоговорочно доверилась мне — во всем, без остатка.

— Правда, конечно, — подтвердил я.

В действительности я жутко запаниковал. Дело было скверно. Эпоха кооперативной деятельности уже кончилась, люди совершили революцию, которую назвали троллейбусной, настало время реформ — еще более счастливое, чем то, когда разрешили заниматься кооператорством, но возникли всякие непредвиденные обстоятельства, которые стали отравлять это счастье. Когда наехали на моего Николая, атмосфера в доме стояла такая, что пора после смерти Валерия Галактионовича вспоминалась мне как идиллическая. Только Николай ничего не громил, наоборот — молчал, не отвечал ни на какие вопросы ни Нади, ни ее матери, не подходил к телефону и просил сообщать, что он в отъезде, но это его молчание было похуже любого крика. В нем была тяжесть могильного камня. Так сказала об этом его молчании Надя. Николай ничего не ответил ей — как бы согласился, а я понял из этих Надиных слов, что могильный камень — это вроде замка на той квартире, куда переезжаешь после смерти, и такой замок, что если повешен, то оттуда уже не выйти. «Убить» — вот слово, которое я узнал тогда из разговоров Нади с ее матерью. «Убьют — и все, им это как водки выпить» — так сказала Надя. «Убить», понял я, — это значит «заставить

умереть». Причем неожиданно. Твои родные ни о чем не знают, а тебя застрелят в подъезде из пистолета или подорвут взрывчаткой машину, и после этого уже ничего не остается, как переезжать от всех своих родных под могильную плиту.

Правда, у Николая и в самом деле довольно скоро все устроилось. Он пошел под «крышу». Отчего у него стало порядком меньше денег, но зато жить сразу сделалось спокойнее и безопаснее. Он сам так сказал Наде — когда начал с ней разговаривать. Надя назвала его болваном. «В партию под крышу не пошел, а под крышу к бандитам — так бегом», — сказала она. Николай ее ударил. В лицо. Дал пощечину. «Ты бы хотела, чтоб меня убили?!» — заорал он. Я никогда прежде не слышал у него столь ужасного голоса. Он был тяжелый, такой тяжелый — так, наверное, тяжело та самая могильная плита. Он ударил, а просила у него потом прощения Надя. Извини, извини, все время повторяла она. И опять плакала. Он не успокаивал ее, но некоторое время спустя проговорил уже обычным своим голосом: «Под ту крышу никто не звал. Под нее забраться — еще очень постараться следовало».

Но если все устроилось у Николая, это не значило, что так же будет у хозяина моей красавицы. Мало ли как он себя поведет. Есть ведь такая вещь, как характер. Натура. Николай тоже психовал, я видел: у него даже шлаки, несмотря на великолепную еду, шли отвратительные, то будто камень, то жидкие, вода водой, — но он же ничего не крушил, не пьянствовал. Только молчал, и все.

Нужно было что-то предпринимать. Только что? Впервые в жизни я пожалел, что не подключен к горячей воде. Я бы сговорился со сливным бачком, мы бы разъели прокладку, мы бы дали такой фонтан, пробили такой «SOS», залив все этажи до подвала, — сбежались бы все жэковские слесари, и без милиции тоже бы не обошлось. Но с холодной водой таких вещей не устроишь. Если только неболь-

шую протечку. Так кто на какую-то протечку обратит внимание?

В конце концов, не придумав ничего другого, я устроил засор.

Я устроил его ночью, дабы последствия засора оказались как можно значительнее. Вернее, оглушительнее — так будет точнее. Сговорился со сливным бачком, чтобы он как следует подтекал водой, меня переполнило, и к утру все помещение, где мы стоим, было в воде до ушей. Она выплеснулась в коридор, протекла на кухню, — мы залили под нами целых пять этажей!

Примчались и слесари, и еще всякие люди из ЖЭКа, и милиция. Собственно, ради милиции я и старался. Наводя порядок, милиционеры должны были пройти по всем квартирам, строго предупредить их владельцев об ответственности за состояние сантехники; так они естественным образом оказались бы и в квартире моей красавицы. А оказавшись там, они бы увидели, что делается в квартире, и, само собой, ее хозяин вынужден был бы объясняться с ними, все им рассказать, — и тогда милиция пришла бы к нему на помощь.

Но милиционеры туда даже не зашли! Они все столпились у нас, в квартире моих хозяев, и заставили объясняться Николая. И не только они столпились. И эти люди из ЖЭКа; и все жильцы из нижних квартир, которые я залил. Какой разнос они устроили Николаю, какие обвинения ему предъявили! Получилось, что своей акцией я не добился ничего, что хотел, ровным счетом, а только поставил Николая в такое положение; что теперь он должен был раскошелиться на ремонт всех залитых квартир. Получилось, обобрал его на громадную сумму, не хуже рэкетиров.

В тот день я был в таком состоянии, что понял хозяина моей красавицы: имел бы руки, тоже пошел крушить все подряд. Не будь я и без того карминным, от ярости, что владела мной, я бы точно на-

лился красным. Ярость красного цвета, это точно. А я был в дикой ярости. Надо мной хохотал весь дом. Особенно усердствовали со своими издевками польский душ, сирийский сливной бачок и стальная кухонная раковина из румынского гарнитура. «Тебе, наверно, нравится, когда тебя тыкают проволокой, — похихикивал душ. — Она такая стальная, такая крепкая и гибкая, ты получаешь необыкновенное удовольствие!» — «Да ты гомосексуалист, крутой! — подхватывала раковина. — Эй, которая из однокомнатной! Твой крутой-то двуствольный!» — «Не, он не двуствольный, — отзывался сливной бачок. — Он все одним стволом. Тот у него многоцелевого назначения!»

Но моя красавица проявила необыкновенное благородство. Она не обратила на все подначки ни малейшего внимания. А ведь они были адресованы, как и мне, в равной степени ей. Она оказалась настоящей подругой. Дождалась, когда все натарахтятся до отвала, смолкнут, и я услышал в себе биение ее голоса: «Милый мой, прости меня, не сердись. Это я во всем виновата — растревожила тебя. Между тем ты был прав, я все проанализировала и пришла к выводу: ничего страшного. Если твой Николай прошел через такое, почему должно миновать моего? И если у твоего теперь полный порядок, почему у моего должно быть иначе?»

Она утешала меня, она хотела облегчить мои муки!

Милая моя, спасибо, как я благодарен судьбе, что она свела нас, только и смог я ответить моей красавице. Мне буквально пережимало горло от любви и нежности к ней.

* * *

У людей есть поговорка: «Человек предполагает, а Бог располагает». Я не знаю, кто такой Бог и чем он располагает, но знаю, что люди говорят еще и

так: «На Бога надейся, а сам не плошай». Хозяин моей красавицы не сплошал. У него все *утряслось*. Его приняла под свое покровительство самая могучая, новая силовая структура в стране — охрана самого президента, — и вся шваль, которая его осаждала, тут же брызнула в стороны, исчезла с глаз долой, как ее и не было. Конечно, покровительство силовой структуры даром не получишь, он за него вынужден был *отстегивать и отстегивать*, но есть все-таки разница, кому отстегивать: подворотной швали или президентской охране. С таким покровительством сразу станешь крутым.

У нас с моей возлюбленной снова наступили дни полного, безмятежного счастья. Один сменялся другим — мы не чувствовали разницы между ними. Счастливые часов не наблюдают — так говорят люди.

Неприятности пришли оттуда, откуда, казалось, ждать их никак не приходилось. У Николая появилась другая женщина.

Все началось с того, что он каким-то образом сумел проломиться в нефтяной бизнес. Это его слово, он сам так говорил — «проломиться». Попасть в нефтяной бизнес было мечтой каждого делового человека, нефтяной бизнес стал необыкновенно привлекателен, он давал баснословные доходы, но проломиться в него удавалось далеко не каждому. Вернее, мало кому. Единицам. Николай проломился.

Николай проломился в нефтяной бизнес — и безумно разбогател. Так, что деньги начали у него лезть из ушей. Это не мои слова, это сказала о нем Надина мать. И когда он разбогател, он загулял. Дорвался медведь до овсов, сказала Надина мать.

Он стал менять одну за другой машины, покупая все более и более мощную и дорогую, стал пропадать во всяких ночных клубах, которых раньше не было, а теперь развелось необозримо, играть в казино, которых тоже раньше не было, а теперь — на

каждом шагу, вокруг него принялись во множестве порхать всякие ночные бабочки, и он окончательно слетел с катушек. Это тоже выражение Надиной матери.

Потом Николай купил себе новую квартиру в самом престижном районе, поселил там одну из этих ночных бабочек, а некоторое время спустя переселился туда и сам.

Все это сделалось известно мне в такой полноте задним числом, когда он оповестил о своем решении Надю и у них состоялось выяснение отношений. Конечно, я и раньше слышал кое-какие их разговоры, некоторые были просто настоящими скандалами, да и обратил внимание, что Николай последнее время слишком редко заглядывает ко мне, но в нашем счастье с моей красавицей я не сумел проанализировать свое знание и соединить воедино все факты. Теперь, когда тайное стало явным, мне и вспомнились все те слова, которые говорила о Николае Надина мать. Вот, оказывается, что они означали, вон какие события!

— Ты мерзавец, подонок! — кричала Надя. — Мало того, что тратил деньги на шлюх, так еще и квартиру купил — втихую, как тать в ночи! Подстелил соломку, чтобы мягко спикировать!

— Ты не понимаешь, что несешь, — не повышая голоса, отвечал ей Николай. Он, должен заметить, с тех пор как проломился в нефтяной бизнес, вообще стал удивительно спокоен, вальяжен, нетороплив и движениями, и речью — респектабельный, такое есть слово. Не знаю, какие у него костюмы, но нижнее белье, обратил я внимание, когда он приходил ко мне, было самого высшего класса. — Втихую — чтобы избавить тебя от лишней нервотрепки, только и всего. Разве не замечательно, что мы имеем возможность разъехаться, не трепля долго друг другу нервов? Это раньше, когда у нас была тюрьма вместо страны, человек, даже имея деньги, не мог купить себе квартиру. Должен

был жить с нелюбимым человеком, мучить его, мучиться сам. А теперь свобода, покупай — и разъезжайся к общему удовольствию.

— Я нелюбимая? Стала нелюбимой, да?! — Раньше на этих своих словах Надя бы истекла слезами, но теперь в голосе ее была только злость. Обида и злость. — Отдала тебе лучшие годы, тащила тебя на себе, чего от тебя только не натерпелась, теперь стала нелюбимой?

— Не привязывайся к словам. Что за привычка — все толковать буквально! Просто настала другая жизнь. Я для такой был создан. Мне элементарно нужна другая женщина, без всяких корней в прошлом. Чтобы соответствовала мне сегодняшнему.

— Скажи честнее: на свежатину потянуло!

— Меня тянет новая жизнь. А ты меня тянешь в старую. Пardon! Обратнo я не ходок.

— Дети твои — это тоже старая жизнь? На детей тоже можешь плюнуть?!

— Вот наглядный пример твоей клейменной психологии: шантаж детьми. Не пройдет. Дети будут иметь от меня все, что нужно. Еще чуть подрастут, год-другой — и поедут учиться в Америку. Или в Англию. Можно в Германию. Куда предпочтительнее?

Вот это, то, что он сказал о детях, примирило меня с Николаем. Хотя, конечно, не мне быть судьей людям. Жизнь их исполнена непостижимого для нас смысла, — откуда мне знать, что в их поступках верно, что нет? Возможно, то, что мне кажется странным, на самом деле для них естественно, верно и необходимо. Это моя функция четка, ясна, определена: принимать от них шлаки и бесследно уносить в канализацию. А функция человека не поддается никакому осмыслению. Это, похоже, даже не одна функция, а целый букет. Но вырастить детей, оставить после себя потомство — это, как я сумел понять за годы своей жизни, очень важная функция человека. Может быть, не столь важная, как моя, но почти такая же.

С этого времени я стал относиться к детям Николая и Нади с особым вниманием и нежностью. Я радовался, когда они приходили ко мне, наслаждался их маленькими нежными попками, млел от счастья, когда они задерживались на мне подольше. Хотя это и означало, что у них нелады с желудочно-кишечным трактом. И вот тем не менее.

Я растворял в этой нежности ту горечь, которой саднило во мне происшедшее между Николаем и Надей. Трудно было привыкнуть к тому, что Николай больше не появляется у меня. Временами я забывался и начинал ждать его, мне чудилось, что шаги за дверью — это он, сейчас повернется ручка, щелкнет замок — и я приму его на себя, увижу его. Но ручка поворачивалась, замок щелкал — это была Надина мать или сама Надя, и я вспоминал, что Николай живет теперь в другом месте, с другой женщиной.

Некоторое время в моем помещении не объявлялось вообще ни одного мужчины. А потом как хлынуло. Оказывается, Надя вытребовала у Николая довольно изрядное содержание и была весьма лакомым куском. Так, во всяком случае, услышал я, говорила ее мать. Надины любовники, пахнущие чужим, не похожим на Николая запахом, сменяя один другого, приходили ко мне, сидели, тужились, кричали, некоторые брызгали кровью и тихонько постанывали, — я оставался равнодушен к их трудностям. Они не были моими хозяевами, с какой стати я должен был испытывать к ним какие-то чувства? Можно сказать, хотя среди них и не было двух похожих поп, все они были для меня на одно лицо.

Впрочем, все мы, земные создания, удивительно эгоистические существа. Как бы ни переполняло меня происшедшее между Николаем и Надей горечью, я вместе с тем оставался по-прежнему счастлив. По-прежнему мы с моей красавицей проводили

вместе часы и часы, не замечая течения времени, по-прежнему вели долгие, нескончаемые разговоры, говорили и не могли наговориться. Наша близость была наслаждением, дать определение которому я не возьмусь — нет слов.

Под покровительством президентской охраны дела ее хозяина неудержимо шли в гору. В нем, рассказывала мне моя красавица, появилась та же вальяжность, та же холодная сосредоточенная бесстрастность, что были известны мне по Николаю. Он стал носить дорогое, великолепное нижнее белье, вместо прежнего махрового банного халата у него появилось сразу несколько атласных, а шампунь, которыми теперь мылся, благоухали, как целый цветочный магазин. Он сам с гордостью произнес это в трубку мобильного телефона, погружаясь во вспененную воду, наполнявшую белое тело моей красавицы. На шее у него висела толстая крученая золотая цепь, однажды, моясь, он снял ее, чтоб не мешала, положил на край моей возлюбленной, — там было, с восторгом поведала она мне после, килограмма полтора, не меньше, она сразу почувствовала вес! Имея опыт Николая, я встревожился и посчитал необходимым сообщить моей красавице, что означают те изменения в поведении ее хозяйна, которые она наблюдает, чем чреваты и в чем их опасность. «Да, заведет другую женщину и уйдет из дому? — засмеялась моя красавица. — Пожалуйста, пусть заводит. Другую; третью. Их у него и так десятков на дню, новых. И ни одна не жена. От кого ему уходить из дому?» Я ржал вслед ей так, что от сотрясения у бачка надо мной выскочила из отверстия груша и он весь слился в меня. Ну, не прелесть была моя красавица? В самом деле, от кого ему было уходить из дому! И зачем покупать новую квартиру? Ему неплохо было и в этой.

Тут я, правда, ошибся. Хозяину моей красавицы, конечно, совсем неплохо было в своей квартире, но лишь в определенном смысле, а в другом —

как раз не очень-то хорошо. Все же квартира была однокомнатной, и она уже никак не соответствовала ему нынешнему. Тому, каким он стал. Ему нужна была большая. По которой можно было бы пройтись. В которой было бы где гульнуть с приятелями и приятельницами. Было бы, в общем, где развернуться.

Он мог, судя по всему, купить себе квартиру в самом престижном районе, там же, скажем, где Николай. Но он предпочел остаться на месте. Никуда не перебираясь. Он купил соседнюю квартиру. Таковую же трехкомнатную, как та, в которой стою я. И соединил со своей старой.

Нашей радости с моей красавицей не было конца. Она могла очутиться у другого хозяина, и что бы еще там оказался за человек? — а осталась с прежним хозяином, с которым свыклась, которого знала, как самое себя, с которым, в общем-то, не смотря ни на что, ей всегда было хорошо и надежно. Да еще из однокомнатной очутилась в квартире из четырех комнат. Она даже немного в шутку позадирала передо мной нос: не просто в четырехкомнатной, а с двумя входами, двумя кухнями и еще одной, кстати, ванной!

Ее хозяину между тем хотелось жить не просто в просторной квартире, а в квартире, которой можно было б гордиться, которая бы одним своим видом свидетельствовала, какой человек в ней проживает, ему требовалась роскошная квартира, штучная — *крутая*.

Он начал ремонт. Застучали молотки, заскребли шпатели, зашелестели, распыляя краску, пульверизаторы. Я его понимал. Кому, как не мне, было понять его.

О том, что нашему счастью с моей красавицей уже положен предел, я не мог и предположить.

Было утро, начало дня. Люди поднимались с постелей и первым делом шли к нам, в наши помещения — освобождать организм от ночных шлаков,

умываться, принимать душ. Мы расстались с моей красавицей считанные минуты назад, я как раз принял на себя старшего Надиного сына, весь отдался работе, полностью сосредоточась на ней, и вдруг вновь услышал ее голос. То, что она принеслась ко мне в столь неурочное время, означало что-то чрезвычайное. Я сразу весь внутри встал дыбом:

— Что случилось?

— Я не знаю, пока не знаю, только чувствую... — Голос у нее звенел и чуть даже дребезжал, можно было б подумать, что она не из благородного чугуна, а из тривиальной жести. — Они избавились от той, второй ванной. Вынесли ее, дели неизвестно куда... теперь там будет только туалет, комната больше, чем у тебя, и только что, я слышала, привезли другой унитаз, прямо из Германии...

Во всем том, что она говорила, новостью для меня было лишь известие об унитазе. Все остальное я уже давно знал, а в том, что для нового, столь просторного помещения прежний унитаз никак не годится и его будут менять, сомневаться не приходилось. Хотя, надо сказать, то, что в доме появится кто-то круче, чем я, и ему отведут более крутые апартаменты, отнюдь не приводило меня в восторг.

— Подожди, подожди, успокойся, — остановил я свою красавицу. — То, что вторую ванну вынесли из квартиры, говорит о том, что тебе... нам с тобой, — тут же поправился я, — ничего не грозит. Двух ванн в доме, конечно, не нужно, но совсем без ванны тоже не обойдешься. Так что нам с тобой совершенно нечего беспокоиться. И уж чего-то бояться — тем более.

— Нет, я боюсь, боюсь! — воскликнула моя красавица. — Я раньше плохо знала людей, теперь я знаю их лучше. Они сами не знают себя — вот в чем ужас! Они думают о себе, они такие, а оказываются совсем другие. От них можно ждать всего, чего угодно. Любой низости! Я раньше думала,

они, как мы, у них есть назначение в жизни, а теперь вижу — ничего такого. Только чтобы все у них лучше, чем у других. Чтобы быть сильнее. Богаче. Круче.

— Перестань, что за обобщение на ровном месте, — сказал я. — Все, чего можно ожидать от твоего хозяина, — так это того, что он расширит твою комнату. Зачем ему два туалета? Снесет перегородку между тобой и твоим соседом, моим коллегой, а его самого уберет. Будешь стоять одна, как в танцевальном зале. Станешь еще задирать нос передо мной, — пошутил я. — Что ты круче меня.

Я не дурил мою красавицу, не вводил в заблуждение, стремясь успокоить, я так и думал, как говорил. Я не мог и подумать по-другому.

Но, оказывается, моя возлюбленная была права в своем беспокойстве. Оказывается, женская интуиция бывает точнее мужского знания. Ее ощущение человеческой природы оказалось вернее, чем мое.

Спустя несколько часов после нашего разговора в комнате моей красавицы появились ремонтные рабочие. Загрохотали отбойные молотки, посыпался мат — и перегородка между нею и моим коллегой исчезла. Когда весь мусор был вытасен, рабочие отсоединили моего коллегу от сливного бачка, сняли толстую резиновую манжету, соединявшую его с фановой трубой, открутили винты крепления и выломали его из пола. Все, как я и предполагал.

Но дальше... дальше они принялись за мою красавицу. «Любимый, прощай...» — крикнула она, а мне не удалось попрощаться с ней. Мой голос был перекрыт скрежетом разводного ключа, сдиравшего с места крепежную гайку, старая фановая труба, не выдержав напряжения, хрустнула и развалилась, и я уже не слышал, так никогда и не узнал, как мою красавицу стаскивали с ее места, как вы-

волакивали наружу, спускали на лифте вниз во двор, чтобы бросить у мусорных баков... Одно утешение: этим рабочим пришлось наломаться с нею, понадрывать пупки — весу в моей красавице было дай боже, она была не какая-нибудь пластмассовая трескучая штучка, она была истинно в теле — это уж точно.

А через три дня вместо нее в новой, просторной ванной комнате стояла уродливая, бесформенная, похожая на бегемота, поперек себя шире, розовая туша ванны-джакузи. Самодовольная, сытая американская особа, гордая тем, что у нее десять дыр для всяких разнообразных душей и она может запускать в себя воду и сверху, и снизу, и сбоку, бить струей и щекотать слабым дождиком. Чем эта писающая из всех щелей бегемотиха показалась бывшему хозяину моей красавицы лучше? Какими такими особыми качествами привлекла? Мечтал лежать в ней часами и подставляться под ее струи то тем местом, то этим? Полежал два раза — и больше не лежал. Насытился.

Я потерял всякий интерес к жизни. Я механически выполнял свои обязанности, не замечая, кто ко мне приходит — свои, чужие, я даже перестал различать попки детей, только иногда под рычащий звук извергающейся в меня воды спохватывался: ах, это же был старший! это был младший! — но уже все, поздно: хлопала крышка стульчака, я погружался в темноту, и чувство вины, что не осознал присутствия ребенка, вскоре растворялось в моем обычном бесчувствии. Моя жизнь — это теперь были воспоминания о нашей любви с моей красавицей. Ночами, в тишине, я перебирал в памяти наши встречи, как мы ласкали друг друга, как говорили, не могли наговориться — и все по десятому, по сотому, по тысячному разу... Жизнь моя сделалась пуста. Я думал о самоубийстве. В прин-

ципе, это было несложно. Следовало лишь почаще устраивать засоры, и тебе или раздерут глотку стальной проволокой грубые слесари, пахнувшие водочным перегаром, или, устав от твоих капризов, тебя просто отнимут от фановой трубы, выломают из своего гнезда и выбросят на помойку.

Но я оказался не в силах совершить самоубийство. Я устроил засор раз, еще раз — и больше не выдержал. Как выяснилось, инстинкт жизни — слишком сильная вещь. Я не хотел жить — и хотел. Я был не в силах жить — и был не в силах лишиться себя жизни.

В этой снедающей меня тоске я неожиданно для себя близко сошелся со своим сливным бачком. Мы с ним и прежде жили вполне дружно, но все же настоящий дружеской близости между нами не было, а тут он проявил себя как настоящий товарищ. И часами выслушивал меня, когда мне было невмоготу держать в себе раздиравшую все нутро боль, и давал толковейшие советы, — он, ко всему тому, оказался весьма не глуп, чего я в своей спеси почему-то никогда раньше не замечал. Мы с ним, как разобрались, были даже кем-то вроде братьев, если не родных, то уж во всяком случае единоутробных или единокровных: и я, и он сделаны из одной глины и в одно время. И он того же ярко-красного, карминного цвета, что и я, только я велик, широк, могуч, а он мал, неказист, всегда на вторых ролях, — вот я его не особо и замечал.

Мы говорили с ним о тысячах вещей, обо всем на свете, но особенно много, конечно, о людях. Мы много узнали о них за эти последние годы — столько, сколько не узнали бы, не произойди у них та троллейбусная революция и не начнись новая свободная жизнь.

Люди, сошлись мы с бачком во мнении, сколько бы мы о них ни узнавали, навсегда останутся для нас непостижимой тайной. Вот наш брат, накрепко связанный с фановой трубой. Мы можем засоряться, подтекать водой, грязниться, и тогда нас приходится

чинить и чистить, но в основном — в верности своей функции — мы непоколебимы. Умывальная раковина не примет в себя шлаки, точно засорится; сливной бачок не послужит, в свою очередь, умывальной раковиной; а в унитазе никак не вымоешься, как ни старайся.

Человек же все время изменяет себе. Тот, кто вчера кричал «держи вора», завтра может украсть больше всех. Кто опасался обидеть даже букашку, возникни опасность для его жизни — станет жесток и немилосерден. Кто обличал других за неправедность, окажется неправеднее их во многожды раз.

Как это так получается? Непостижимо!

А главное, их функция в жизни. Смысл их существования. Не может же быть, что деньги. А ничего другого мы с бачком увидеть не в состоянии.

Минуло года два, примерно так, когда понемногу я начал приходить в себя и возвращаться в мир. Два года — немалый срок. Тут и обнаружилось, что за эти два года вокруг очень многое изменилось.

Не было уже в доме Надиной матери — она умерла, как ее муж, Валерий Галактионович, и переехала к нему под могильную плиту. Видимо, она очень устала от этой жизни здесь, если решила перебраться в тесноту той квартирке, которую занимал Валерий Галактионович. Не удивительно, что устала, — жуткое неблагополучие вновь, оказывается, царило в доме.

Еда, которую они ели, вновь была чудовищно скверной — как в те времена, когда умер Валерий Галактионович. А пожалуй, даже и хуже, чем тогда. Шлаки, которые мне приходилось принимать, свидетельствовали просто о нищете. Я не имел и понятия, что теперь можно так питаться. Я полагал, что все осталось в тех годах, когда не было свободы, на всех людей имелась только одна крыша и они мечтали, чтобы ее не стало.

Николай, как мне удалось выяснить вскоре, и был причиной всех перемен, происшедших в доме.

Его выбросили из нефтяного бизнеса. Он поехал с той своей женщиной кататься на лыжах в Швейцарские Альпы, и тех двух недель, что отсутствовал, наслаждаясь жизнью за границей, хватило, чтобы он потерял все свои должности, остался без акций — стал никем. Получилось, в полном смысле слова *никем*, потому что нигде больше он был не нужен. Потому что за эти два года, как я слышал от Нади, люди поделили весь пирог и схряпали без остатка, не осталось ни крошки, а у кого выдрали его кусок изо рта — сам и виноват, не нужно было уезжать в Швейцарию. Это, я понял, все равно, как если б я с кем-то еще претендовали на один выход фановой трубы. К одному двоих не подсоединишь. Кто-то точно окажется невостребованным. И какой от него прок, как он ни будь хорош, если он без трубы?

В результате поездки в Швейцарию Николай потерял также и свою новую квартиру, которую у него забрали за долги, потерял свою новую женщину, которая не пожелала делить с ним тяготы жизни, но главное, перестал выделять вспомоществование Наде. Так и не выполнив обещания послать своих мальчиков в Америку или в Англию.

А потом он появился в доме и собственной персоной. Появился — и снова стал жить в нем. Как я понял, он уже и раньше после происшедшего с ним появлялся тут, может быть, даже приходил ко мне, проводил на мне какое-то время, но я не заметил этого. А возможно, я потому и вышел из своего забытья, что он вновь стал появляться? Только я не отдавал себе в том отчета, не осознавал, а среагировал неким внутренним чувством. Как бы то ни было, я безумно обрадовался его появлению. Оказывается, я был привязан к нему, мне его не хватало все это время. Даже так: ужасно не хватало.

Его обратное переселение под одну крышу с Надей не облегчило ее жизни с мальчиками. Скорее,

напротив. В считанные дни атмосфера в доме разогрелась до грозовой.

Надя с Николаем постоянно говорили сейчас о каких-то бумагах в портфеле Николая. Бумаги имели название «компромат». В этих бумагах содержалось разоблачение тех людей, с которыми Николай вел совместные дела и которые выбросили его из бизнеса. Эти бумаги могли помочь ему вернуться в бизнес. Нужно было только умело их использовать. В точно рассчитанное время, в точно рассчитанной ситуации. Надя была против того, чтобы Николай использовал бумаги.

— Все, достаточно, поиграл в крутого — и хватит! — кричала она. — Не лезь туда больше, благодари Бога, что жив остался! Сожги этот свой компромат, в унитаз спусти — что хочешь сделай, только чтоб больше его у тебя не было! Если вернулся, хочешь жить с нами, озаботься, чтоб твои дети сыты-одеты были!

— А я что, не для того, что ли, чтоб они сыты-одеты были?! — тоже криком отвечал ей Николай.

Он утратил свою прежнюю вальяжность, прежнее спокойное бесстрашие и кричал в разговорах с Надей не реже ее.

— Не для того, конечно! Не для них! — парировала его ответ Надя. — Для себя, и только. Чтобы снова в Альпы всякие ездить!

— Да пошла ты с Альпами! — отмахивался Николай.

— А нет, да?! — не отступала Надя. — Если нет, так чего тебе на какую-нибудь простую работу не пойти? Зарплату получать? Пойди на работу, ну?! Детей же кормить как-то нужно. Нужно, я спрашиваю? Твои дети!

— Хрена с два! Хрена с два! — Николаю уже не доставало крика, и он, схватив что-нибудь, что попало под руку, швырял на пол. Раз это был утюг, раз стакан, разлетевшийся вдребезги, раз настольная лампа, которую после пришлось выбросить. —

Не буду я на карачках ползать, они меня не заставят! Не для того я родился, я им так не спущу! На карачках ползать я и раньше мог! Но я и раньше не ползал, а уж теперь подавно!..

— Да они тебя ползать заставлять не будут! — Надя будто не замечала, что он хватил об пол очередной предмет домашнего обихода. — Ползать — это еще за счастье почтешь!

После таких разговоров с Надей Николай часто приходил ко мне. Опускался на меня, я изготавливался принять его шлаки, настраивался на работу, но, оказывается, он даже не снял штанов! И так он сидел и сидел на мне — столько, сколько никогда прежде, буквально часами. Что-то бормотал, иногда вскрикивал, бил себя кулаком по колену, судорожно вздыхал. Случалось, он так и уходил от меня, даже напоследок не распустив пояса брюк. И вся моя работа заключалась лишь в том, чтобы просто держать его. Сначала мне был обидно. Потом я привык.

В принципе, мне было не до обид. Я весь замер внутри, напрягся в ожидании. Я ждал, чем это все закончится. Не могло же так продолжаться долго. По опыту жизни я знал, что так просто такие ситуации не разрешаются. Что-то должно было произойти.

Я его сразу узнал. Бывшего хозяина моей красавицы. Хотя никогда и не видел его. Но она столько описывала мне его, его голос, его манеру говорить, все его любимые словечки и присловья, с такими подробностями и деталями описывала, что он только заговорил — и я понял: он!

Но зачем он пришел сюда, в дом Николая и Нади? Что за странность? Они не были знакомы с Николаем — это мне было точно известно. Они даже не подозревали о существовании друг друга — все это мы с моей красавицей доподлинно в свое время устано-

вили. Или с той поры, когда моя красавица еще стояла в его квартире, каким-то образом произошло их знакомство, и теперь они общались? В общем-то, конечно, могли познакомиться, ничего в том удивительного — живя не только в одном доме, но и в одном подъезде.

Однако же разговор, что шел между Николаем и бывшим хозяином моей красавицы, вовсе не свидетельствовал о каких-либо добрососедских отношениях. А уж тем более дружеских. Скорее, это был разговор людей, принадлежавших к двум вражеским станам.

— Лучше тебе отдать эти бумаги, кент, — говорил бывший хозяин моей красавицы. — Тебе же будет лучше, если их у тебя не будет. Сразу станешь спокойней жить. Тебе, кент, что, нужна беспоконная жизнь?

— Кто тебя послал? — спрашивал Николай.

— Тебе, кент, это без разницы, кто меня послал, — отвечал бывший хозяин моей красавицы. — Тебе — отдать мне эти бумаги, и живи спокойно. Тебе что, повторяю, нужна беспоконная жизнь?

— Знаю, кто тебя послал! — восклицал Николай. — Зашевелились, гады! Забеспокоились! То-то! Передай им — они мои условия знают, как будут выполнены — получают и бумаги. Тотчас. В тот же миг!

— Нет, кент, ты меня не понял, — со скользкой, мылкой усмешечкой в голосе продолжал тянуть свое бывший хозяин моей красавицы. — Бумаги нужны сейчас, без всяких твоих условий. Отдаешь бумаги — потом и со своими условиями можешь.

Ну, он был большой стервец, бывший хозяин моей красавицы. Меня всего так и переполнило ненавистью к нему. Сначала он заменил мою красавицу на этого самоуверенного американского бегемота, брызжущего водой из всех дыр, теперь он хотел зла Николаю. Даже и мне, ничего не понимающему в людских делах, было ясно: отдавши бумаги, о всех своих условиях Николай мог забыть.

— Иди! — сказал ему Николай. — Сосед нашелся! С поручением пришел! «По-соседски»! Иди и скажи: фиг! Фиг они что получают! Три дня им на размышление, не соглашаются на мои условия — весьма пожалеют. Все!

— Ты, кент, не понимаешь, что говоришь. — Усмешки в голосе бывшего хозяина моей красавицы не осталось, он был как бы усталый и сочувственный. — Кто меня послал, шутить не будет. Они сказали «давай», значит, давай.

— Знаю, кто послал! — выкрикнул Николай. — Передай, я тоже не шучу: три дня! Три дня, и все!

— Смотри, кент, я тебя предупредил. — Голос бывшего хозяина моей красавицы был все так же исполнен тяжелой усталости и сочувствия. — Сам нарываешься, никто не виноват.

Он ушел, щелкнул выключатель за дверью, в моем помещении зажегся свет, и ко мне пришел Николай. Сел на меня, не снимая брюк, и просидел так бог знает сколько — я потерял счет времени. Его отняла у меня Надя — заколотила в дверь, спросила с возмущением: «Ты там спать собрался?!»

Николай вышел от меня, закрыл дверь, погасил свет, а через какие-нибудь десять минут за дверью бушевала очередная гроза.

— Отдай! Я тебе говорю, отдай! — кричала Надя. — Такой страшный тип, да по его морде видно — лучше не связываться!

— Да что он мне, еще мне его бояться! — Николай, отвечая ей, как бы признавал тоном ее правоту, а с самими словами не соглашался. — Он кто? Он не посредник даже, он посыльный, мальчик на побегушках. Он и понятия не имеет, кто его на самом деле послал!

— А те, кто послали? Компаньоны твои бывшие. Они тебе угрожают, не он! Их ты не боишься?

— Боюсь, ну и что?! Не убивать же они меня будут! Они не убийцы. Никуда не денутся, примут мои условия. Что они, идиоты, чтобы тонуть?

— Ну, а не примут, не примут?! — спросила Надя.

— Не будет им никаких бумаг! — Николай, услышал я, хватил об пол что-то похожее на телефон — так хрумкнуло, зазвенело, задребезжало в коридоре. — Фиг! Пусть хотя бы отступного мне заплатят! А так — никаких! Только через мой труп!

Труп Николая нашли через три дня после того, как он исчез. Он висел в глухом углу лесопарка на собственном брючном ремне — словно бы повесился сам, но запястья у него были в густых кровоподтеках от веревок.

Надя похоронила его, не проронив ни слезинки. Во всяком случае, я не слышал, чтоб она плакала. Только несколько раз, приходя ко мне, сидела так же подолгу, как Николай перед смертью. Оказывается, смерть — это не совсем то, что я полагал раньше. Человек, оказывается, не просто переезжает, но становится другим. Не может больше говорить, двигаться, находиться в вертикальном положении, а может только лежать. Начинает новую жизнь — и уже никогда, ни при каких обстоятельствах не в состоянии вернуться к старой. И эта его новая квартира, где он поселяется, находится не на поверхности земли, а внутри — в самой земле.

— Может быть, смерть у них — это вовсе не другая жизнь, а ее конец? — сказал сливной бачок, когда мы обсуждали с ним происшедшее с Николаем. — Уж очень странной она выглядит, эта новая жизнь. Лежать себе там — и все. Не двигаться, ничего. Все равно как мы у фановой трубы.

— Нет, как это, — не понял я. — Мы не двигаемся, конечно. Но мы живем!

— Мы живем, — согласился бачок. — Но если нас разбить, чтобы мы потеряли форму, мы исчезаем?

— Мы исчезаем, — теперь согласился я.

— А их форма — это движение. Они перестают двигаться — значит, и они исчезают.

Я пришел в восторг. Вот уж не ожидал от моего бачка такого. Он был настоящий философ!

— Но только зачем они двигаются? — спросил я, отдышавшись от своего восторга. — Или это и есть их главная функция — двигаться?

— Я сейчас скажу тебе то, — проговорил бачок, — что мне и самому кажется диким. Но я все чаще думаю так. Их главная функция — умереть. Перестать существовать. Они для того так и двигаются, чтобы побольше устать, — и тогда к ним приходит смерть. Или они кого-нибудь так утомляют своим движением, что их убивают. Вот как Николая. Хотя сам он еще не устал.

Тут я взорвался. Философ философом, но вешать мне лапшой на уши бред — это уже слишком.

— Да?! Жить для того, чтобы умереть? А умереть — это, значит, перестать существовать? Ты понимаешь, что несешь?!

— Я понимаю, что несу. — Бачок как бы повинился голосом. — Но по-другому я не могу объяснить человека. Другого объяснения просто нет. Я не вижу другого!

Этими последними словами он очень облегчил мне ответ ему.

— О! — воскликнул я. — «Не видишь!» Ты не видишь, я не вижу. Этим все и сказано. Не видим! Человек — великая тайна. А мы просто не в состоянии в нее проникнуть. Не в силах постичь. Только и всего.

Бачок, похоже, смутился.

— Да, может быть. Наверное, так, — помолчав, пробормотал он.

Я остался доволен, как завершился наш неожиданный спор. Додуматься до такого: будто жизнь человека — полная бессмыслица. Будто человек не знает, для чего он живет. Мы, которых он создал своими руками, знаем, а он нет. Ну не бред?!

С большим черным портфелем, хромово поблескивающим цифровыми замками, Надя появилась у меня на следующий день после похорон. Прощелкала замками и распахнула портфель. Поставила его на бачок, стала вынимать изнутри один за другим какие-то листы бумаги, сминать их в комки и бросать в меня. Когда таких комков набралась целая куча, она извлекла из кармана зажигалку и поднесла вспыхнувшее пламя к скопившейся во мне куче.

Сначала я не ощутил ничего. Только удивление и, пожалуй, восторг от нового ощущения: оказывается, во мне можно еще и разводить костер! Но пламя разгоралось, огонь охватывал новые и новые комки, охватил все, и во мне все возопило. Это было так жарко, так нестерпимо жарко! А Надя подбрасывала и подбрасывала в огонь очередные комки. Доставала листы из портфеля, сминала — и бросала. Сминала — и бросала.

От жара разведенного во мне костра меня буквально раздирало на части. Никогда с момента моего появления на свет не было мне так плохо. Что она делала, Надя, зачем, за что я заслужил такое?

Бумаги в портфеле закончились. Надя захлопнула портфель, бросила в меня последний комок, дождалась, когда он прогорит, превратившись в черный, рассыпающийся прах, и спустила воду из сливного бачка.

Что она сотворила со мной, что сотворила! Я думал, ужаснее огненного жара не может быть ничего, но холод воды, прокатившейся по моему раскаленному телу, оказался тысячекратно ужаснее! Какая-то сила будто скрутила меня, сжала, рванула, я услышал надсадный кракающий звук, и все мое тело рассадилось змеящимися трещинами.

— Боже! — вскрикнула в ужасе Надя, отпрянула к двери, уронила в бурлившую во мне воду черный портфель.

За этот вскрик, этот ужас, прозвучавший в нем, я ей простил то, что она сделала со мной. Она не

понимала, что делала, — вот что. А поняла, только сделав.

Быстроязыкий вертлявый человек, пришедший к Наде через несколько дней, заглянув ко мне, с выразительным чувством поцокал языком:

— Очень нехорошо, нехорошо! Такие вещи понижают стоимость. Вроде чепуха, не слишком значительный недостаток, но в психологическом плане очень отрицательно действует. Может быть, заменим?

— Нет, не будем, — отмахнулась от его предложения Надя. — Мне главное — скорее. Мне не на что детей кормить.

— Но очень действует, очень! — воскликнул быстроязыкий человек. Его имя было Риелтор.

— Нет, я сказала, — повторила Надя.

Я преисполнился к ней в этот момент такой благодарности — нет слов, чтобы передать ее силу. Я понял, что предлагал Риелтор: заменить меня. Отнять от фановой трубы и поставить сюда вместо меня какой-нибудь новенький. Да, это я раньше был крутой, а теперь я весь был в трещинах, как в морщинах, — уж конечно, тот еще видок, не слишком привлекательный. Но Надя не захотела со мной расстаться. Как тут было не почувствовать благодарность!

Того, что речь шла о продаже квартиры, сосредоточенный мыслями на себе, я не схватил. Я осознал это лишь тогда, когда Надя с обоими мальчиками исчезли, никто не приходил ко мне несколько дней, а потом в квартире вдруг объявились чужие незнакомые люди, и по тому, как они себя вели, стало ясно, что это — новые хозяева.

Их было двое, мужчина и женщина. По ухваткам они были похожи на бывшего хозяина моей красавицы. Только вместо «кент» мужчина все время произносил «дрын моржовый».

— А это, дрын моржовый, что нам подсунули?! — завопил он, открыв дверь ко мне и увидев меня. — Ты

куда, дрын моржовый, смотрела, — обернулся он к женщине сзади, — ты не видела, что тебе этот Риелтор подсунул?

Женщина из-за его плеча глянула на меня и тоже завопила:

— Ну, мы его прижмем! За обман ответит! На цирлах стоять будет!

Мужчина пнул меня:

— Дрын моржовый!

Очень они были похожи на бывшего хозяина моей возлюбленной. Стоять у таких, похожих на него?!

Я устроил засор. Бачок после Надиного костра как следует подтекал водой, я наполнился — и вода хлынула на пол.

Рабочих, пришедших утром заняться ремонтом, встретил потоп. И у дверей, ругаясь, уже стояли хозяева нижних квартир. С новосельем, дрын моржовый! Ты думал, только ты крутой? Ха-ха! Есть крутые и на тебя. Знай, дрын моржовый!..

☺

* * *

Все было как с моим коллегой — соседом моей возлюбленной, стоявшим за перегородкой с ней рядом. Меня, сняв манжету, отняли от фановой трубы, отвинтили винты крепления, выломали из пола. И потащили вон из квартиры. Погрузили в лифт, привезли на первый этаж, выволокли на улицу...

— Во унитаз! Крутой какой, да? — сказал надо мной мальчишеский голос. — Прямо как орел.

— Да какой орел, — сказал другой. — Кончился уже. Гляди, весь в трещинах. Дать по нему хорошенько камнем — и развалится.

Немного спустя я ощутил на себе удары чего-то тяжелого и более крепкого, чем я. Видимо, камня. Ну вот, сказал я себе, наконец. Тогда, после утраты моей красавицы, я хотел покончить самоубийством, но мне не достало воли. Теперь я был готов

к уходу из жизни. Сейчас мальчишки расколют меня, я потеряю форму — и исчезну. Перестану существовать. Хватит, пожил. Пускай с этими дрынами моржовыми и кентами живут другие. Какие будут угодны им. Которые смогут с ними.

Удар следовал за ударом, я ощущал, что трещины во мне становятся все глубже, все шире, чувствовал, как они раздвигают мое тело, рассаживают его... и вот это случилось: я раскололся. Сразу на много кусков, превратившись в бесформенную груду. Прощай, мир, успел произнести я, прежде чем угаснуть сознанию.

Яркая молниевая вспышка пронзила меня. Словно бы некий огонь вышел из моего тела. Вот теперь все, подумал я.

И обнаружил, что продолжал существовать, — только теперь я был уже не я. Я был теперь самой землей, самой сущностью мира, его основой. И увидел их всех: и Валерия Галактионовича, и его жену, Надину мать, и только что перебравшегося под могильный камень Николая — они лежали во мне, плотно спеленутые мной, а я проникал в них, разъедал их недвижимые тела, растворял в себе... так что от Валерия Галактионовича уже почти ничего не осталось, один костяк да кожаные штиблеты, в которых он был положен в свою земляную квартиру.

У них здесь не было никакой жизни. Они не существовали, сливной бачок не ошибся. Вся их жизнь была там, на земле.

А моя здесь продолжалась. И это была истинно другая, новая жизнь. Вернее, так: когда-то прежде я уже жил ею. Но мне придали форму — и я утратил ее. А рассыпавшись на куски, вновь ее обрел. Словно съездил в дальнее тяжелое путешествие — и вот вернулся. И моя красавица — она тоже была тут, со мной. Она была мною, я был ею — мы вновь соединились!

Бедные мои бедные, подумал я о Валерии Галактионовиче, Надиной матери, Николае. Да и о всех

тех, кто там остался на земле жить дальше. И о кенте, бывшем хозяине моей красавицы, и о дрыне моржовом с его женой — цирлой. Мне было ужасно жаль их. Они думали, что это я служу им, а это они служили мне: жили, чтоб лечь в меня и чтобы я превратил их в себя. В этом и была вся их функция. Как все просто.

Впрочем, меня же вводило от мыслей о них — все властнее, все явнее, все дальше. Я так давно был отторгнут от себя самого. Столь долго пробыл в своем путешествии. Мне нужно было насытиться собой. Меня снадало нетерпение погрузиться в себя и исчезнуть в себе — так, чтобы ничего от того, земного.

Прощай, мир, снова сказал я. Сказал с наслаждением, определить которое у меня недостает слов.

1999 г.

ОШИБКА МСТИТЕЛЯ

Ружье лежало где-то на чердаке. Так он помнил. Это была древняя одноствольная «тулка». Ободранная, выдававшая виды. Не ружье, а дубье с железякой, с которым стыдно показаться людям на глаза.

Впрочем, он и не собирался нигде с ним показываться. Наоборот. Он даже был рад, что об этом ружье никто не знает. Никто, кроме него. Это еще лет двадцать с лишним назад одинокий сосед-дедок, уезжавший из деревни доживать к дочке в город, когда помогал ему паковать вещи, не зная, как отблагодарить за помощь, так вот отдалился: «Мне уж не стрелять, а у дочки там все равно передать некому. Еще только ругаться будет: зачем оружие в дом привез!» «Оружия» не нужна была и ему, но зачем-то взял. Наверное, чтобы дедка не жало чувством вины за неоплаченную помощь.

Сначала брезентовый мешок с торчащим из горловины отомкнутым от приклада стволом валялся в доме — по шкафам, под кроватями, повсюду мешаясь и вызывая раздражение своей ненужностью, — потом он созрел, чтобы избавиться от него в доме, — поднялся в один прекрасный день по лестнице на чердак, открыл смотрящую на улицу дверь и, не ступая внутрь, прямо от двери, метнул мешок с ружьем в грудку хлама под сводом крыши. И затем, изредка, раз в год забираясь на чердак по какому-нибудь делу, неизменно натыкался взглядом на мешок, а еще пос-

ле, отыскивая в этом хламье какую-то понадобившуюся вещь, переложил мешок с ружьем в другое место, тот со временем заложился и перестал попадаться на глаза. Так что с годами он и забыл, что у него есть ружье. Напрочь. И вспомнил об этом в полусне, уже засыпая и думая с сожалением: а вот было бы какое оружие, хотя бы какое-нибудь паршивенькое ружьишко... Так есть же, вспомнилось ему!

Утром он проснулся с этой мыслью: так есть же! Часы на столике перед кроватью показывали половину седьмого. Времени, в общем, не было. Даже если не делать гимнастику, все равно: умыться, побриться, приготовить завтрак, быстро поесть — и все, пора выходить, идти в школу. Директор школы, может, конечно, прийти и не к началу уроков, а ощутимо позднее, тем более у него самого первого урока сегодня нет, но как не прийти к началу, когда все эти годы, не изменив заведенному правилу даже после смерти жены, он неизменно, подобно солнцу, которое в назначенный час просто не может не выкатиться из-за горизонта, стоял у входной двери, самолично встречал каждого пришедшего, и каждый из них знал, он должен стоять, встречать, его отсутствие явилось бы для них потрясением.

И все же он не удержался, полез на чердак. Решил: за счет гимнастики. Бог с ней, с гимнастикой. Гимнастика — это для себя, а ружье... о нет, в нем не было никакой высокопарности, он вообще, от природы, был не высокопарным человеком, но все-таки что-то вроде того, что от имени народа, от имени всех поруганных и обкраденных, во имя исторической справедливости — что-то вроде такого в нем прозвучало.

Искать пришлось чуть не час. И он весь перепачкался в пыли, превратив костюмные брюки и белую рубашку, в которых умудрился залезть, в рабочую спецодежду, видел по времени, что запаздывает, не успевает — впервые в жизни! — на свое

место у входных дверей, и не мог заставить себя спуститься. Вот еще тут посмотреть, и вот тут, ну, вот это уж точно последнее место, говорил он себе, и за последним возникало «самое последнее».

Мешок обнаружился почти там, куда он его забросил тогда, от чердачной двери. Видимо, тот кружил, кружил по чердаку, и его вернуло к началу пути. Будто специально ему в руки. Но он напрочь забыл, куда переложил мешок в последний раз, и вот искал там, где того уже не было.

Он спускался по приставной лестнице вниз на землю и чувствовал, как в груди у него все ликует. Нашел! Нашел! Он не помнил, чтобы в последние годы ему пришлось испытывать подобное ликование. Не случалось с ним ничего подобного. Очень давно не случалось. Целую пропасть лет. И его уже не огорчало даже то, что не успел к дверям и все в школе решат: что-то стряслось. Пусть. Бог с ним. Я больше не директор школы, прозвучало в нем, — словно бы в свое оправдание. Я мститель.

«Мститель» — это уж точно было высокопарно. Даже излишне высокопарно. С избытком. Ему стало неуютно от этой высокопарности. Как бы слегка и замутило от нее.

Но вместо того чтобы избыть ее в себе, выдавить из себя, он совершенно неожиданно, сам себе поражаясь, впал еще в большую патетику. «Народный мститель», — добавил он, как уточняя. Как подчеркивая мелом. Как выделяя особо жирным курсивом. Или наоборот: печатными буквами среди разливанного моря скорописи.

* * *

Впервые он увидел экса в этом лесочке месяца полтора назад. Еще лежал снег, в лесу его было особенно много, и делать в лесу еще было нечего, не погуляешь особо, но ему вдруг необоримо захотелось увидеть подснежники. Как какое наваждение

нашло. Увидеть, увидеть! — а там можно и умереть. Будто это Париж. Удивлялся сам себе — никогда не нападало такого желания, никогда не ходил в лес смотреть подснежники и вообще вполне равнодушен был к цветам, а тут прижало — непременно нужно увидеть, впрямь наваждение.

Собирая ружье, чистя его, разбираясь в его устройстве, соображая, как заряжать, измеряя линейкой калибр, чтобы знать, какие нужны патроны, он думал: это его привело в лес Провидение. Выбрало его и привело туда — будто бы полюбоваться подснежниками, а на самом деле конечно же — чтобы он увидел экса. Как тот идет в своих лакированных ботиночках, выбирая места, где снег истончился до толщины бумажного листа и нет опасности провалиться глубоко, зачерпнуть через край. В такой неприметной черно-серой дутой куртке, в такой обычной черно-серой вязаной шапочке на голове. Да еще с дурацкой пампушкой на макушке. Только вот эти черные, сразу видно — невероятно дорогие и невероятно удобные для ноги, лакированные штиблеты и выдавали его. Да еще трое пулеглазых, мышцевидных шварценеггеров сопровождения. Один чуть впереди и справа, другой совсем рядом и слева, а третий позади шагах в шести-семи, и все время галсами — туда-сюда, туда-сюда, на рысях, как борзая.

Впрочем, он все равно не узнал экса — столь невероятно было встретить его в родном лесу, в двух шагах от своего села. Вживе, а не в электронном облике на экране. Пройти друг от друга в каком-нибудь десятке метров. И только разминувшись, спустя какую-нибудь минуту, другую, он осознал, кто это. Точнее, не осознал, а заподозрил. Осознать подобное было невозможно. Как всякое невероятное. Он не поверил сам себе. Усмехнулся про себя своей фантазии. И все же впечатление было слишком сильным. И эта сила развернула его, бросила обратно, вдогонку за встреченной четверкой.

Можно было не найти их. Все-таки лес, не дорога, — мало ли куда, в какую сторону они могли пойти, достаточно разойтись на пятнадцать метров, чтобы потерять встреченного человека бесповоротно, — но ему повезло. А скорее всего, думалось опять же позднее, так, наверно, было угодно Провидению. Он выскочил прямо на них. Точнее, не выскочил, а то бы, надо полагать, ему очень пришлось пожалеть о том, что встретился с ними, а его повело точно по их курсу — и он увидел их; увидел сквозь хвойный подрост, охранивший его безопасность и давший возможность подобраться совсем близко, спрятаться за толстой елью.

Они все стояли. И экс — лицом к нему, так что он мог со сколь угодно тщанием всматриваться в него, вщупываться взглядом в его черты. И все же он бы не поверил своим глазам, несмотря даже на штилеты и троицу сопровождения, если б не голос экса. Уж который точно был его — как выжженное тавро под шерстью у барана. Я сказал, все, не идти за мной больше, говорил человек в вязаной шапке с пампушкой. Пойдете — расстанетесь со службой. Не нужны мне дальше. Не хочу вас видеть! Кто тут меня узнает! Кто и узнает, не поверит. Шагом марш, кругом, — никто не поверит!

Если б не голос, так бы и было: не поверил. Но он услышал голос. Это был его голос, голос экса, без сомнения!

У экса была здесь баба. К ней он и ходил. Лесом, огородом, задним двором, чтобы никто не увидел. И на выходе из леса отсылал от себя охрану, чтобы даже она не знала его секрета во всей полноте.

Охрана, не смевшая послушаться отданного приказа, оставалась дожидаться своего хозяина на условленном месте в лесу, — Мститель, в отличие от них, был волен в распоряжении собой. Держась на удалении от экса, он проследил за его маршрутом. Экс зашел в дом к молодой, бездетной вдове Бур-

меевой. Пробыл у нее три часа и, выйдя, прежним маршрутом отправился в лес, откуда пришел. Конспиратор.

Все эти три часа Мститель провел у соседа Бурмеевой — совхозного механика Ладошина. Вот, должно быть, вздернул механика на дыбы: с чего бы это вдруг директор школы приперся домой и принялся толковать о сыне, с которым никогда прежде не было никаких проблем. Надо думать, досталось потом парнишке. По первое число. Ни за что ни про что. Хотя, конечно, директор и удивил. Мало что, просидев три часа, ничего толком о сыне не сказал, так еще — чтоб ему обязательно сидеть лицом к окну и все в это окно взглядом — шмыг да шмыг.

В тот, первый раз Мститель подумал, что экс залетел сюда — и больше не объявится, чистая случайность — его появление, фантазия, ударившая ему в голову, но спустя три дня экс объявился снова. И снова Мститель засек его совершенно случайно — выйдя на перемене под весеннее солнышко попинать со старшеклассниками мяч. Он ударил по мячу, красиво забив его в ворота почти в девятку, отошел с убаготоренным видом в сторону, предоставляя своим питомцам возможность последовать его примеру, школа, построенная на месте бывшей барской усадьбы, стояла на холме, все село, до последнего дома — как на ладони, он повел взглядом вокруг — и увидел: от леса через поле по созревшей прошлогодней стерне движется темная фигурка. Двигется, движется, подходит к изломанной линии огородов, перелезает через прясло и идет дальше уже огородом, направляясь к дому. А дом это... это дом Бурмеевой! И когда осознал, чей дом, тотчас понял и чья это фигурка была. Ему даже показалось, он разглядел лакированные ботинки на ногах.

А вечером его как ударило: ведь это, практически, то же время, что и в прошлый раз. И если экс

ходит к вдове постоянно, то, может быть, он все время ходит примерно в это же время?

Экс ходил к Бурмеевой постоянно. Два раза в неделю и почти в одно и то же время. Дни могли быть разные, а время неизменно: через час после полудня. Десять минут туда, десять минут сюда. Удивлялся же, наверно, механик Ладошин, чего это директор школы повадился к нему в гости толковать о сыне. И неизменным образом — одно и то же место у окна и чтобы лицом к улице...

Хорошее оказалось место. Настоящий наблюдательный пункт. Было бы какое-нибудь ружьишко, думал он, видя, как с огородов к крыльцу вдовы подходит человек в черной дутой куртке и черной вязаной шапке с пампушкой. Хотя бы какое, самое захудалое ружьишко...

Патроны в магазине продавали только по предьявлении охотничьего билета. Не нашел, завалился куда-то, искал-искал. — ну, никак, покаянно разводил руками Мститель, объясняясь с продавцами. Он чувствовал себя одним из своих учеников: вот точно так же они оправдывались перед ним за опоздание к началу занятий, за какую-нибудь глупую выходку, за несделанный урок. Они оправдывались, надеясь, что он поверит их вранью, он видел их насквозь и не верил ни единому слову, но правила игры были таковы, что следовало сделать вид, будто верит, он делал этот вид, и они расходились взаимно удовлетворенные: его питомец — что лихо обвел вокруг пальца сурового властителя своей судьбы, он — что сумел сохранить лицо. То самое лицо сурового властителя.

Продавцы этого специального, набитого оружием магазина сохраняли суровое лицо, пока не пообещал заплатить вдвое. Они тут же поверили его объяснению, даже посочувствовали, и тут же все стало можно: и патроны, и дробь, и порох в запас.

На кого пойдешь, спрашивали продавцы — на «ты», несмотря на разницу в возрасте, все молодые парни, как на подбор, все годились ему в сыновья, никто не старше его собственных сыновей, — на дичь пойдешь, на зверя? На какого зверя? На кабана, на лося? На кабана, сказал он. На кабана тебе куда с дробью, заусмехались одни, без жакана не обойдешься. Да не, чё, с картечью можно, посоветовали другие.

Он взял все, что они ему насовали. С запасом. Не жалея полученную третьего дня зарплату. Кстати, еще за декабрь прошлого года. Что было жалеть. На это дело не следовало жалеть ничего. Провидение выбрало для мести его, и он должен был сделать все, чтобы месть осуществилась.

В нем была твердая, непреклонная уверенность: он должен это сделать. Хотя никогда прежде в жизни ему не приходилось ни на кого поднимать руку. Даже и в мыслях такого не случалось. Но тут было другое. Тут нечего было и рассуждать. Его руками должна была прокричать о себе во весь голос справедливость.

Еще он зашел в Белокаменной в магазин инструментов и купил набор пилок по железу. Конечно же, дома в его мастерской, пилки по железу имелись, но они покупались бог знает когда, пользованы много раз, затупились, а он хотел, чтобы были — будто акульки зубы.

Ствол пришлось отпиливать два раза. Обрез должен был получиться достаточно короток, чтобы спрятать под курткой, но нельзя было и отхватить лишнего. Откуда-то он знал, что слишком короткий ствол опасен. И много грохота, и неточная стрельба, и вроде как может даже разнести при выстреле. А, вот откуда ему это известно, вспомнил он, с мягким вжиканьем ходя по стволу пилой: говорил отец. Рассказывал, как в его детстве делали обрезы у них в деревне. Во время коллективизации. Вот уже и отца нет в живых, и сам прожил

чуть меньше, чем было отпущено отцу, а гляди-ка, пригодилось старое народное искусство. Обрез — оружие справедливости, прозвучало в нем заключением этих воспоминаний об отце. И вновь с патетикой, какой он не ожидал от себя. Словно бы в нем говорил кто-то иной, отдельный от него. Вернее, он иной — вот как.

Обрез после первого отпила получился слишком длинный. Такой, какой получился, под куртку не влезал. Следовало отпилить еще сантиметров десять, уж точно не меньше. Ну, значит, десять, сказал он себе, вновь вгрызаясь металлической акулой в ствол. Даже если ружье и разнесет в руках. Хватит, пожил, не страшно. Все равно это не жизнь — такая, какая она сейчас.

Не жизнь, не жизнь, не жизнь, звучало в нем вжиканье пилы, все глубже уходящей — по второму разу — в вороненый металл.

* * *

На поле ветер был ножевой. Студеный, злой ветер, будто не май заканчивался, а октябрь начинался. Впрочем, в лесу было совершенно спокойно, и только бушевало в верхушках деревьев, гнуло ветви, полоскало листья, оглушая шелестящим океанским ревом.

Мститель подумал: хорошо, что такой шум. Все же грохот от обреза будет изрядный, и этот океанский рев должен его приглушить. Он опасался, что, опробуя ружье, испортит себе предстоящее дело. Кто-нибудь окажется в лесу неподалеку, услышит грохот, сумеет выследить его — и донесет потом, как говорится, куда следует. Замечательно, что выдался такой ветреный день. Будто и в самом деле там («там» прозвучало в нем с особой выделенностью, словно бы толсто и жирно подчеркнулось мелом) кто-то охраняет его, вернее, не охраняет, а ведет и способствует тому, чтобы все получилось.

Он вытащил ружье из-под куртки, переломил его, достал из кармана патрон и впихнул в ствол. Он делал это третий раз в жизни. Два раза до того — дома, упражняясь в обращении с «оружием». Надо же, пригодилось. Где тот сосед-дедок... Наверно, уже нет в живых.

Ствол сошелся с замком, глухо пристукнув. Мститель торопливо взвел курок и, никуда не целясь, направив обрез в землю перед собой, нажал на спусковой крючок. Он опасался, что если станет раздумывать, прилаживаться к ружью, то не решится нажать. Вдруг ружье и в самом деле разорвет. И станешь раздумывать — тебя заклинит, и уже не заставишь себя двинуть пальцем.

Обрез едва не вылетел у него из рук, из ствола высвистнуло пламя, грохот был даже громче, чем он предполагал. Но все у ружья осталось на месте, ничего с ним не произошло.

Мститель судорожно перевел дыхание. Он вдруг обнаружил, что ему жарко — будто в парной — и, словно и в самом деле в парной, весь взялся потом. Ну вот, Господи благослови, проговорилось в нем. Он всю жизнь был неверующим, но после смерти жены два года назад, когда остался один, как что-то повернулось в нем. Всплыло в памяти ученое в детстве под учительством бабушки «Отче наш», стал разговаривать, как ему показалось сначала — сам с собой, пока не поймал себя на том, что обращается к своему невидимому собеседнику «Господи». Однако заповедь «Не убий!», которая вроде бы должна была стоять перед ним непреодолимым барьером, ничуть не терзала его. Как бы ее и вообще не существовало. Убей, звучало в нем.

Больше он не стрелял. Хотя и взял с собой три патрона. Что было стрелять. Тренироваться в меткости? Они будут стоять с эксом в метре, двух, трех друг от друга, — на подобном расстоянии да промахнуться? Он должен глядеть эксу в глаза, когда будет стрелять, он должен видеть его глаза, стрелять

в спину — такое не подойдет. Пусть тот узрит свою смерть, пусть узнает, что это месть, пусть поймет — за что.

Вот бы завтра тоже дул ветер, подумал Мститель, шагая со вновь спрятанным под куртку обрезом из леса. Завтра он решил выходить караулить эксa. Сегодня уже было поздно. Сегодня время, когда экс приходил на свои свидания, осталось уже позади. Да и не с двумя патронами следовало выходить на этого кабана. А со всем десятком. Что-бы уж наверняка.

Экс шел с букетом роз. Бархатно-красных, голландских — на длинной ножке, какие никогда не вырастают в Подмоскowie. Штук пятнадцать их было в этом букете, не меньше, — половина директорской зарплаты Мстителя. Чудо какого любовника отхватила себе Бурмеева. Где только и сумела подцепить.

Мститель сглотнул мгновенно набежавшую в рот слюну. Ее было столько, словно там ударил фонтан. В каком же месте экс оставил телохранителей? Как давно? Мститель промахнулся и вышел не совсем туда, куда собирался. И если охрана еще тут, рядом, могут услышать голоса, а тем более — выстрел, успеют прибежать, помешать. Несовершившееся возмездие — это прозвучавшее в нем словосочетание заставило Мстителя вздрогнуть. Нет, такого не должно было произойти. Он не имел права допустить подобного. Возмездие должно было свершиться.

И вместе с тем эксу уже нельзя было позволить идти дальше. Следовало остановить его прямо сейчас. Еще минута, полторы — и лес закончится, он выйдет на поле... нет, позволить ему выйти на поле — этого никак не следовало делать.

Треща сучьями под ногами, не обращая внимания на поднявшийся шум, Мститель быстро пошел

наперерез эксу. Экс услышал треск и замедлил шаг, заоглядываясь. На лице его, увидел Мститель, выразилось неудовольствие. Надо думать, экс решил, что это догоняют его телохранители.

Мститель выломился из подъельника и перегородил эксу путь. Когда представлял себе, как оно все произойдет, в голове звучали десятки ярких и хлестких фраз, с которыми обратится к эксу. Но сейчас, вживе, когда это наконец произошло, его словно заколодило. Выломился, перегородил путь, и, шумно, тяжело дыша, слыша, как сердце бьется в голове, в кончиках пальцев — разом во всем теле, — просто стоял, смотрел на него, и только.

Экс остановился. Теперь лицо его приняло удивленное выражение.

— Что такое? — произнес он.

Мститель стоял перед ним, молчал, унимая сердце, и экс, выждав мгновение, двинулся, огибая его, дальше.

Мститель обнаружил, что, спеша остановить экса, даже не вытащил из-за пазухи обреза. Он сунул руку под куртку и выдернул обрез наружу.

— Стой! — вырвалось из него наконец.

Экс снова остановился. Испуга в его глазах Мститель не заметил. Скорее, в них обозначилось недоумение.

— Это что значит? — спросил экс.

Так, будто Мститель был ребенок, он взрослый, и вот этот взрослый застукал ребенка со спичками в руках. Или с чем-то вроде того. С чем-то недозволенным. Он еще не успел понять, что он один, без охраны, а один он — такой же смертный, как все прочие, никакой брони на нем, ничто его не охоронит.

— Паскудник! — вырвалось у Мстителя. Слово, которого в нем, когда проигрывал в себе будущую сцену их встречи, не звучало ни разу. — Он не понимает, что это значит! Не догадывается. Смерть

это твоя пришла, паскудник! Пора пришла, паскудник, расплатиться за все, что сделал. За то, что с народом сотворил.

До эксa стало доходить, что ситуация не стандартна. Было видно, как это доходило до него: лицо вдруг словно бы осветила вспышка, полыхнула — и глаза засветились осмысленным выражением. До этого в них была тусклость убогатости, полного и абсолютного довольства жизнью, тут в них возникла и стала расширяться, все больше крепнуть тревога.

— Погодите, товарищ, вы что, погодите! — быстро, насколько то позволял его язык, и с этой тревогой, что так отчетливо проявилась во взгляде, заприговаривал он. — Вы, товарищ, может быть, что-то напутали. Я вас и не знаю вовсе, не встречал никогда... вам, наверно, кто-то другой нужен был!

Ты мне нужен был, хотел сказать Мститель, но сомнение уже ударило в него подобно молнии — и обуглило. Что ж, что охрана. Вдруг так похож на эксa — и вот взять, всадить пулю, с которой ходят против медведя, в невиновного! Он взглянул на ноги человека, стоявшего перед ним. На ногах у того были не те черные лакированные штиблеты, в которых увидел его впервые, а летние светлые ботинки с дырочками, чтобы вентилировалась нога, но по одному виду их ясно — тоже такие, что купить их понадобилась бы, пожалуй, годовая директорская зарплата Мстителя. А вверху одет он был снова совершенно непримечательно: опять куртка, только теперь бежевая и в соответствии с погодой полегче, светлые в соответствии с погодой брюки, а на голове — полотняная шляпа, напоминающая детскую панамку. И вот эта разность одежды и обуви вновь убедительно подтвердила Мстителю, что перед ним экс. Не кто другой.

— А ну-ка сними шляпу, — приказал он человеку перед собой.

— Да вы что! — воскликнул человек, потрянув букетом голландских роз. — Что вы себе позволяете! Сами снимайте!

И снова предпринял попытку двинуться мимо Мстителя.

Мститель не позволил ему этого. Он быстрым и ловким, удивившим себя движением — словно всю жизнь только этим и занимался — взвел курок и наставил обрез на стоявшего перед ним.

— Снимай, паскудник, тебе сказано. Снимай!

Рука у того потянулась вверх. Потянулась — и замерла на полпути.

— Ну так сниму, и что? — спросил он.

— Шевелюру твою увидеть хочу, — процедил Мститель.

— Да что вам моя шевелюра? — проговорил человек перед ним с неожиданной плаксивостью. У него даже покривились жалобно губы. — Зачем мне снимать? Что за необходимость такая?

Мститель, чувствуя, как в нем что-то словно бы готово сломаться — какая-то пружина, которая пока позволяет ему не сорваться на крик, — дернул стволом.

— Снимай! Или сейчас!.. — Он вновь дернул стволом, показывая, что выстрелит.

Он бы выстрелил уже и раньше — пока вниз, под ноги, чтобы этот ходок пошелковел, — но была опасность, охранники услышат выстрел, примчатся, и у него не получится совершить намеченное. Когда он уже на самой финишной прямой. День сегодня был совсем безветренный, не то что третьего дня, когда ходил в лес на пробный выстрел, и даже потеплело — настоящее преддверие лета: солнце, ясное голубое небо — свет и покой.

Рука человека перед ним, остановившаяся на полпути к шляпе, похожей на пионерскую панаму, рванулась, когда он дернул стволом, вверх и содрала головной убор. Взгляду Мстителя открылась его голова. Это не была голова экса! У экса были гус-

тые, крепкие волосы, благородная строгая причес-ка, сделанная руками парикмахера, знающего толк в своем деле, а у этого перед ним — не голова, а гладкое круглое колено! Громадный полированный бильярдный шар. Сваренное и облупленное яйцо динозавра. Абсолютно лысая голова!

Потрясение, что выразилось в глазах Мстителя, привело человека с букетом голландских роз в состояние косноязычного бурного возбуждения.

— Ну что?! Что? Вот! И что? Что вам это дало? Какое ваше дело? Узнали! Ну, узнали. И что? Что вам из этого?!

Требую снять шляпу, Мститель не сомневался, что перед ним экс. Он лишь хотел дополнительно удостовериться. Получить лишнее подтверждение своей уверенности. Положить еще одну гирьку на чашу весов, которая уверенно перетягивала чашу другую. И вот...

Но голос! Голос был его, экса! Без всякого сомнения, его. И голос — это тавро почище всякой шевелюры.

Хотя теперь в Мстителе было уже сомнение и относительно голоса. А вдруг ему кажется? Ведь у этого, с голландскими розами, — абсолютно лысая голова. И если это экс, почему вдруг у него лысая голова? Когда она у него успела так полысеть? Так стремительно, так мгновенно? Или подобное возможно?

— Когда это ты так оголился? — спросил он, не вынимая пальца из спусковой скобы.

— Когда! Не все равно — когда! — отозвался человек с прежним возбуждением. — Ну, лысый я, лысый! И что? Что теперь из того?

Голос был его, экса, абсолютно его голос. И вот только эта его полированная, костяная лысина...

— Отвечай! — потребовал Мститель. — Спрашивают — когда, отвечай!

Человек покосился на обрез в руках Мстителя.

— Я всю жизнь лысый, — проговорил он с очевидным усилием. — С шестнадцати лет. Довольны?

С шестнадцати лет? Мститель готов был не верить своим ушам. Если это так, то он ошибся, и человек перед ним — никакой не экс. Или же экс элементарно врет, хочет спастись таким образом.

— Неужели? — саркастически спросил Мститель. — С шестнадцати лет? Редкий случай. Или стригущий лишай поразил?

— Побриться нелегкая надоумила, — с прежним усилием произнес человек. — Опасной бритвой. И срезал все луковицы к чертовой матери.

Мститель невольно оглядел его голову изучающим взглядом. Если экс пытался выдать себя за другого, что за смысл было ему выдумывать эту историю про бритье? И то, как он говорил. Будто преодолевая себя. Будто признаваясь в ужасной и стыдной тайне.

Мститель подумал, что нужно ломиться напролом.

— А волосы что же, парик, что ли? — грубо спросил он.

Так напролом приходилось иной раз идти в разговорах с учениками, разбираясь в конфликтах, и нередко этот прием срабатывал.

— Парик, парик, — отозвался человек с розами. — Вот, дознались. И что? Что, я спрашиваю?

Он как-то слишком серьезно говорил. Словно про парик — это была правда. Которую ему не хотелось открывать. Тяжело было. И которую открыл через силу.

— Может, покажешь? Может, в кармане лежит? — не без иронии произнес Мститель.

Все это было таким бредом — про парик, что только ирония тут и была уместна.

Но рука у человека и в самом деле потянулась к карману. Однако — как до того, когда тянулась обнажить голову, — остановилась на полпути. Губы у него снова плаксиво покривились.

— Да вы что же все ружье-то на меня наставляете? Отвели бы в сторону. А то вдруг как, ненароком...

Мститель подумал: пока остается хотя бы малейшее сомнение в том, что человек действительно экс, держать его каждое мгновение под постоянным прицелом — это жестоко.

Он опустил обрез стволом вниз, направив его в землю — между собой и человеком.

— Так что, где парик? Вытаскивай, нечего тянуть!

Рука у человека вновь двинулась к карману куртки — неуверенным, сверхусильным движением.

— Чего вам его смотреть, — сказал он, замирая у самого кармана. — Парик и парик. Вы главное увидели, чего вам парик.

— Вытаскивай! — не выдержал, сорвался на крик Мститель. — Вытаскивай, говорю!

Рука у человека прыгнула к карману, торопливо раздернула «молнию» на нем и, нырнув внутрь, вынырнула наружу с добычей. Это был парик, действительно. Парик, который и представлял собой так хорошо известную шевелюру экса. Это был он, экс! Сомнений больше не оставалось. Но он даже и в этом был лжив. Даже в этом!

— Паскудник! — вырвалось у Мстителя. — Паскудник!

Круг замкнулся, он снова стоял в той точке, где был в самом начале их встречи. Только теперь его уверенность в том, что перед ним экс, была несокрушима. Равно как и уверенность в необходимости совершить задуманное. Только вот сказать ему в глаза все, что он заслуживает. Чтобы услышал перед смертью. Чтобы умер с этим.

* * *

— Что, — сказал Мститель, — думаешь, несправедливо с тобой жизнь распорядилась: шел с бабой радость получить, а тут — мужик с ружьем?

— Да уж, не без того, — отозвался экс, кося на обрез в руках Мстителя. — Чего-чего, а такого я не заслужил. Вместо благодарности...

— Какой такой благодарности? — перебил Мститель. — За что благодарности? За то, что вместо свободы — новое рабство? Не думал, скажешь, что так все получится? Не хотел этого, да?

— Да, — подтвердил экс. — Не думал. Не хотел. Как можно было хотеть такого?

— В общем, — снова перебил его Мститель, — намерения были благие, а как всегда — вымостилась дорога в ад?!

Экс вскинулся. И даже взмахнул париком в руке — будто флажком:

— Уж и ад! Что у вас у всех, у моих критиков, такая терминология? Нехорошо вышло, подтверждаю. Не так, как задумывалось. Недосчитали. Не приняли во внимание часть обстоятельств. Но уж так, чтобы ад! Просто жизнь показала, что она сложнее, чем схемы. Вот в чем дело. Вот беда.

— И тебе упрекнуть себя не в чем, так? — сказал Мститель.

— Да упрекнуть себя всегда найдешь в чем, — живо ответил экс. И показал на парик у себя в руке: — Я уберу? — Засунул его обратно в карман, взял из руки с букетом пионерскую панаму-шляпу, кивнул на нее: — Надену? А то мне непривычно... с голой головой.

— Надень, — разрешил Мститель. И почувствовал, что эта его лысая голова сбивает с задуманного, мешает сказать то, что приготовился сказать, стягивает на себя все внимание. Что значил этот парик, почему он носил его? И ведь нет ни одной фотографии его безволосого, что в молодости, что в старости, — это, выходит, он носил парик все годы, всю жизнь, так? Не ответив себе на эти вопросы, невозможно, оказывается, было говорить о всем остальном. — А на кой черт тебе этот маскарад с волосами? — требовательно, как положено

директору с самым последним шкодливым учеником, спросил он.

Экс снова быстро глянул на обрез в руках Мстителя, и губы у него выпятились — будто Мститель своим директорским тоном обидел его до самых душевных основ.

— Вот где самое место говорить об аде. Вот ад так ад...

— Что, лысина? Лысина — ад? — не понял Мститель.

— В шестнадцать лет стать лысым! — воскликнул экс. — Шестнадцать лет — что? Мальчишка! Пацан. Девчонкам хотелось нравиться. Из-за девчонки и обрился... Весь мир перевернулся. Хоть покончи с собой.

— Вот и надо было, — проговорил Мститель.

— А инстинкт самосохранения? — Экс покачал головой. — Инстинкт самосохранения на то нам и дан, чтоб мы жили. Вот и я жил. Раздобыл парик и стал носить. И как начал с шестнадцати лет... так вот и всю жизнь.

— Зачем? — Мститель ощутил в себе живое чувство изумления. — В шестнадцать лет — ну да, понимаю. А потом-то, всю жизнь? Зачем?

— Зачем-ем? — протянул экс. — А зачем бороду люди носят? Можно брить, а они носят. А? Почему?

— Ну, почему? — подтолкнул его к ответу Мститель.

— Потому что они себя с бородой видят. Потому что без бороды они — не они. Сбрей им бороду — не сами собой станут.

— А ты, значит, с шевелюрой себя видел? — понял Мститель.

Экс кивнул.

— Именно. У меня, мы поженились, жена двенадцать с половиной лет понятия не имела, что я не с настоящими волосами. Двенадцать с половиной лет! А? Можете представить?

Мститель не мог представить. Двенадцать с половиной лет! Это на какие ухищрения нужно было идти, чтобы такой срок скрывать от жены, что лысый.

— Брось, — сказал он, — чепуху городить. Чего ж от жены-то таиться?

— Если от всех, то и от жены, — ответил экс. — Чтобы никто вокруг! Чтобы для всех один! Я и перед женой честным хотел быть. Перед всеми с волосами, и перед ней — тоже. Легко, думаете, было таиться?

Мстителю показалось, в голове у него что-то сдвинулось. Как бы так слегка стал заезжать ум за разум. Это все, что говорил экс, отдавало бредом. Диагнозом, как говорили в школе его воспитанники.

— А почему к Тоне так? — указал он эксу на голову. Теперь лысина вновь была под шляпой-панамой, не видна, но то была лысина, голое округлое пространство, а парик, которым экс двенадцать с половиной лет прикрывался даже и от жены, лежал, скомканный, в кармане куртки.

— К Тоне? — переспросил экс. — К какой Тоне?

— Не дури! — прикрикнул на него Мститель. — К Тоне Бурмеевой. К ней ходишь.

— А, знаете, — отозвался экс. — Тогда что ж... К Тоне, верно. Надо же перед кем-то открываться. Показывать себя. А иначе... Нельзя без того, чтоб не открываться. Иначе с катушек слетишь. А Тоня душевный человек. Медсестрой при мне, когда я болел, в больнице была. Понимает меня. Все понимает! Замечательный человек.

Мститель подумал: возможно, он отправляет охрану вовсе не потому, что не хочет, чтобы телохранители видели, к кому он ходит, а потому, что не хочет, чтобы видели, как он по дороге к вдове снимает с головы парик. Или это у него такой ритуал — прийти уже без парика, или нетерпение, но, во всяком случае, вот он — уже с париком в кармане и голой лысиной под своей панамкой.

— Может быть, — сказал Мститель, — не твой бы парик, ходи ты лысый, так ничего бы ты и не сотворил?

Экс согласился не раздумывая — как сам много и подолгу думал об этом:

— Это я другим был бы, это точно. Ведь я все время сам себе доказывать должен был, что я с волосами о-го-го сколько могу! Чего и как. Всякого и разного. Все равно как все время себя за волосы тянул. Их нет, а я тянул. Как тяжело мне было! Выше самого себя прыгать приходилось.

— Лучше бы ты не прыгал! — Мститель почувствовал, что прежняя, отошедшая было в тень ярость вновь возвращается к нему. — А то ты прыгал, а горшки вдребезги — у всех у нас.

— Да, — сказал экс с покаянной гримасой. — Не все получилось, как задумывалось. Не все.

— Не все?! — Мститель, несмотря на душившую его ярость, вновь почувствовал, как в нем поднимается изумление. — Да у тебя все не так получилось! Тебе на коленях на площади ползать нужно, землю целовать, прощения у людей просить; а ты — «не все»!

Покаянная гримаса на лице экса сделалась как бы резче. Контрастней. Обозначила себя глубокой, сильной внутренней болью. В углах глаз у него, увидел Мститель, заблестели слезы.

— Да, — проговорил экс, жуя губы. — Вы правы. Правы! Нужно ползать, нужно целовать... Это все лысина моя. Все лысина. Я все доказать хотел, умнее самого себя быть. А как умнее самого себя будешь? Вот и напортачил. Ужас как тяжело подумать об этом. Ужас! — Он неожиданно рухнул с размаху на землю, выпустил из рук букет и, опершись о ладони, припал лбом к земле. — Простите меня, люди добрые, простите вы, не знаю, кто вы, как к вам обращаться, добрый человек! Все справедливо говорите, все истинно. Виноват, виноват! Грешен!

Мститель стоял над ним с готовым к выстрелу обрезом в растерянности. В такого, стоящего на коленях, невозможно было выстрелить. И вообще невозможно! — после того, как он покался. Как стрелять в повинившегося? Невозможно! Никогда в жизни не наказывал он ученика, который повинился. Признание своей вины — ее искупление. Душой, во всяком случае. Как наказывать живую душу, когда она искупила содеянное?

Мститель услышал, какая тишина звенит вокруг. Звенит буквально — стрекотом народившихся кузнечиков в начавшей наливать летней силой траве. Это была тишина благости, мира и счастья земного бытия.

— Гад ты, — сказал он эксу у себя в ногах. — Сволочь.

— Сволочь, — отозвался экс снизу. — Сволочь, правильно! Виноват. Нет меры, чтобы измерить мою вину. Нет такой меры!

Мститель медленно вытащил указательный палец из спусковой скобы и перехватил обрез за цевье. Он не мог выстрелить в этого человека, валявшегося на земле. Тот наказал себя сам признанием своей низости. Нет ничего хуже, чем знать о себе, что ты сволочь, и жить с этим.

И все же оставить эксa так просто, не наказав его хоть самую малость, было так же невозможно, как теперь всадить по нему из обреза. Покаявшийся шкодник, чтобы его раскаяние оказалось действительным, должен выйти из директорского кабинета с грузом хотя бы какого-то наказания.

— Ну-ка хватит поклоны класть, — проговорил Мститель брезгливо. — Встань!

Экс оторвал голову от земли, распрямылся, но с коленей не встал, остался стоять, как был.

— Все вы перевернули во мне, добрый человек, — сказал он. — Трудно мне было опуститься на колени, а встать — еще труднее.

— Ну, как хочешь, — равнодушно отозвался Мститель. — Твое дело. — И протянул руку: — Дай-ка свою прическу!

— Что? — До экска не дошло, о чем Мститель. — Какую прическу?

— Которая в кармане лежит. Давай! Живо!

— Н-но... — протянул экс, — собственно... как же я без парика? Я не могу. Я с шестнадцати лет! Я без него — не я!

— Давай! — тряхнул рукой Мститель. И пришлось вновь прибегнуть к угрозе оружием — вновь взял обрез в боевое положение, только не пропустил палец в скобу: — Живо, говорю!

Экс медленно поднес руку к карману куртки, медленно распустил «молнию», сунул руку внутрь и вытащил парик наружу. Вытянул руку с ним перед собой, посмотрел на парик, и в углах глаз у него Мститель снова заметил слезы.

— Что ж, раз надо, так надо, — произнес экс со смирением. — Берите. Пожалуйста! — протянул он парик Мстителю.

Мститель шагнул к нему, выхватил парик из его руки и быстро, торопясь, закинул в свой карман.

— Походи без прически, — сказал он. — Покрутись. Может, еще что-то поймешь.

Рванулся уходить, сделал шаг в сторону — и вспомнил о ружье со взведенным курком, бесполезно проторчавшем у него в руках.

Он развернулся обратно, подхватил обрез левой рукой за цевье, втокнул указательный палец правой в спусковую скобу и, наведя ствол на ворох полыхающих роз перед эксом, нажал на собачку. Ему в этот миг было все равно — услышит неизвестно как далеко находившаяся охрана выстрел, не услышит. Ружье было заряжено, чтоб выстрелить, и его должно было разрядить. Если не в самого пакостника, так хотя бы в эти его цветы голландского привоза.

Грохот выстрела врезал по барабанным перепонкам, будто доской, вмял их внутрь, цветы словно

взметнуло ветром и метнуло веером в разные стороны. Экс, стоявший на коленях, крупно, по-лошадному вздрогнул, но и только.

Мститель снова развернулся и, пряча на ходу обрызг под куртку, пошел от экса.

— Эй, добрый человек, погодите! — позвал его за спиной экс.

Мститель повернулся. Экс все так же стоял на коленях, углы губ у него были скорбно опущены.

— Вы бы мне открылись, добрый человек, — сказал экс, — кто вы такой. С кем меня свела судьба. Чтобы мне покрепче запомнить преподанный урок.

Народный мститель, едва не сорвалось с языка у Мстителя. Он еле удержал себя. Это все же было бы слишком высокопарно. Не заслуживал этот стоявший на коленях паскудник никакой высокопарности.

— Здешний школьный директор, — ответил он. — Тонька твоя у меня училась. Не знаю, как в постели, а в школе была двоечницей.

Чего экс заслуживал — так прямой, голой правды. Чтобы действительно знал, с кем его свела судьба. Чьей рукой могла воздать по заслугам — и отвела ее.

Больше экс не издал ни звука. Сделав десяток шагов, Мститель оглянулся. Подъельник уже скрыл экса, и, чтобы увидеть его, Мстителю пришлось ступить в сторону и немного обратно. Экс по-прежнему стоял на коленях, руки у него безвольно висели вдоль тела, голова опущена. Но в тот миг, когда Мститель взглянул на него, экс поднял голову, пометал глазами из стороны в сторону, и взгляды их встретились. Они встретились, и в глазах экса Мстителю почудилось... Нет, он не смог определить для себя, что ему почудилось. Он не держал взгляда на эксе даже десятой доли секунды. Взглянул — и повернулся, стремительно пошел дальше, удаляясь от экса с каждым шагом на расстояние светового года. И когда вышел из леса, пошел вдоль него

к тропе, которая должна была привести его через поле в село, находился от экса так далеко — вся Вселенная была между ними, галактики и галактики, несчетное их число. Живи себе там, на другом конце Вселенной, как тебя и не было. Как не было, как не было...

* * *

Мститель понял, что ему почудилось во взгляде экса, на следующий день, когда дверь его директорского кабинета распахнулась, и в кабинет один за другим ввалилась целая толпа крепкопечих, с резкими, быстрыми движениями людей — человек пять, шесть, семь, — трудно даже сосчитать сколько — столько они сразу заняли пространства в его кабинетике, похожем на пенал. Пару лиц Мститель опознал — это были телохранители экса, он их видел тогда в лесу, когда ходил смотреть на подснежники. Сидеть, сука, не подниматься, крикнул тот, что шел первым, когда Мститель, подчиняясь инстинктивному порыву воли, вскочил со своего стула. Метнулся к Мстителю и сильным толчком в грудь бросил его обратно на сиденье. Террорист, сука, подхватил другой, следовавший вторым. Узнаешь сейчас, как на людей нападать! Ответишь, сука, хрипло продолжил первый.

Тут-то, когда он произнес «ответишь», Мститель и понял, что ему почудилось во взгляде экса. «Ответишь!» — это ему и почудилось. Только там, в лесу, уходя, не смог осознать, что значил взгляд экса. А он вон что значил.

— Потрудитесь покинуть это помещение, — своим поставленным директорским голосом с сухой бесстрастностью приказал Мститель.

— Покинуть? — как удивляясь, воскликнул первый — тот, что толкнул его обратно на стул. — Не раньше, чем вернешь, что взял. Ну-ка! Быстро! Айн-цвайн!

Им нужен был парик! Экс хотел, чтобы его шевелюра вернулась к нему! Мститель внутренне возликовал: ему нечего было возвращать. Он вчера сжег эту шевелюру в печке. Сжег с наслаждением, которого, наверно, не получил бы, выстрели он в эксa из обрезa. Чувствовал себя каким-то шаманом, африканским колдуном, совершающим некий обряд, и ничего не мог поделаться с собой — испытывал наслаждение.

— Не верну, — сказал он. — Собирайте копать в небе.

— Какую копать?! — вскричал второй, подступая к Мстителю ближе. — Что несешь?! Отвечаешь, что несешь?!

— Он говорит, что сжег, — посмотрел на второго первый. — Образная речь. Сжег? — перевел он свой свирепый взгляд на Мстителя.

— Сообразительны, — усмехнулся Мститель.

— Нет, правда, что ли? — как-то очень спокойно, даже обыденно переспросил первый.

— Ну, вы же сообразительны, — ответил ему Мститель.

Первый отступил от Мстителя на шаг. Потом еще на один. И вновь взглянул на второго рядом.

— Сжег. Думаю, так и есть.

— За ноги к двум березам, по древнему обычаю, как Ольга древлян, и пусть знает! — подал голос один из тех, что толпились в отдалении и до этих пор молчали.

Второй вскинул вверх указательный палец:

— К березе! Но без древностей. По-современному.

Мстителю заклеили рот скотчем, завернули за спину руки и повели из кабинета. Он даже не мог сопротивляться — каждый из этих ребят был сильнее его в десять раз. Машина, в которую его впихнули, была большая, тяжелая, на высокой подвеске, похожая на танк, только, в отличие от танка, вся сияла и сверкала лаком, словно зеркальная.

В лесу его привязали к толстой, с почерневшим от возраста стволом березе, и его сопровождение один за другим подоставали из-под мышек тоже черные, поблескивающие вороненым металлом пистолеты. Давай, отдал кому-то из них приказание тот, первый. Получивший приказание выступил из общей кучи, вытянул руку, прицелился, и вместе с хлопучечным звуком выстрела левую ногу в голени Мстителю пробило ужасной болью.

Он дернулся, закричал, но крик весь остался у него в заклеенном скотчем рту, и только из носа вывалился наружу храп, который не услышал никто, кроме него самого.

Потом ему перебили другую голень. Потом одно бедро. Второе. Вспыхнуло в животе. В груди. Боль была адская, но он уже не кричал, в нем уже не было крика, он боролся с кровью, бьющей изнутри в носоглотку, глотал ее — и не успевал, она заливала рот, лезла в нос, пузырилась там, душила его. Перед глазами была красная пелена, он ничего не видел. Скорее, скорее, молил Мститель, ожидая последнего, смертельного выстрела.

И когда ждал, осенило: экс обхитрил его. Обвел вокруг пальца. Он разыграл покаяние. Оно вовсе не было истинным! А истинный он был в том взгляде, каким посмотрел ему вслед. Как можно было поверить его покаянию...

Мститель не знал, ожидая выстрела, который поставит точку в его мучениях, что обведен вокруг пальца и тут. Он ждал, ждал завершающей, последней пули, а ее все не было; он превозмогал боль, глотал кровь, пузырил ею из ноздрей — и не знал, что около него уже никого нет, что милосердной точки не будет и ему так и придется жариться на медленном огне, пока жизнь не оставит его сама.

Между тем широкогрудые крепкие ребята уже добрались до своих оставленных на окраине леса коней, отвязывали их, приторачивали к седлам луки и колчаны со стрелами, жарко переговаривались,

делясь впечатлениями от свершившейся казни. «Падло, на кого руку поднять решил! — Ну вот, как поднял, так и опустил! — Он думал, князь старый, от вшивой пики в штаны наложит! — Князь молодец, мужик что надо, не смотри, что от дел отошел! — Да князь еще тот мужик, у него тут в деревне вдовица, к ней сюда и ездит! — Только теперь за ним нужно будет поостроже следить, чтобы снова на какого-нибудь такого же не нарвался! — Не нарвется. Таких падл много не бывает!»

Взякивая кольчугой, ребята один за другим взлетали в седла, разбирали поводья, давали коням шенкеля: пошел! Они были возбуждены, но убаготворенно-расслаблены и довольны собой. Дело сделано, обидчик старого князя наказан, а впереди их ждало большое, долгое застолье с морем медовухи и веселыми, легко раздвигающими ноги девками.

2000 г.

ПОВЕСТИ

СОВРЕМЕННАЯ  ПРОЗА

СТРОИТЕЛЬСТВО МЕТРО В НАШЕМ ГОРОДЕ

Записки экстремиста

Глава первая

1

Мне было тогда немного за двадцать, я только что отслужил в армии.

Кто знает это чувство свободы, что пьянит и кружит голову после казарменного затворничества, тот поймет меня. Человеку, обуянному этим чувством, под силу своротить горы и повернуть реки, было бы лишь кому поставить перед ним подобную цель.

— Слышал? — сказал отец, бросая мне обмявшуюся в его руках, всю в заломах и перегибах «Вечерку», нашу вечернюю городскую газету, — из всех газет в ту пору я заглядывал в нее одну: там печатали всякие затейливые статеечки «На тему морали», рекламу фильмов на предстоящую неделю с пересказом их содержания и заметки «Из зала суда». — Метро у нас строить будут.

— Ну да?! — довольно экспрессивно, должно быть, воскликнул я, с горячностью гончей зарываясь взглядом в мешанину теснящих друг друга заголовков. — Где напечатано?

— Да вон, «Метро в нашем городе», на третьей странице, — сказал отец.

Я увидел. «Метро в нашем городе» стояло жирно над небольшой заметочкой, и там сообщалось, что город наш давно уже задыхается без современ-

ного вида транспорта, что терпеть подобное положение дальше нельзя, и принято, наконец, решение о начале изыскательских работ, о подготовке проекта и, возможно, лет через пять-шесть можно будет приступить к строительству.

— Ну-у, через пять-шесть, — разочарованно протянул я, отбрасывая газету.

— А что же ты думал? Проект сделать, в рабочих чертежах исполнить да ассигнования получить... да если через шесть лет — так это хорошо, — сказал отец.

— А что, и больше может пройти?

— Спокойно, — сказал отец. — Не знаю я наши сроки, что ли. Десять лет — хочешь? А то и пятнадцать.

Десять? Пятнадцать? Замогильным холодом, зияющим космическим мраком пахнуло на меня от этих цифр. Мне было двадцать с небольшим, и «пятнадцать» — это равнялось едва не всей моей жизни, а она была такой большой, долгой, так далеко отстояли в ней «я», начавший удерживать себя в памяти, и «я» нынешний... Ждать метро еще почти столько же, сколько я уже прожил. И не самого метро, а только начала строительства!

Нет, я не мог ждать.

Может быть, я и не принял бы так близко к сердцу газетное известие, если б не один случай.

По утрам, в час пик, на остановках трамваев, троллейбусов, автобусов в нашем городе творилось светопреставление. Там натекали обычно целые людские озера; трамваи, троллейбусы, автобусы подходили один за другим, целыми косяками, и вычерпать эти озера никак не могли. Двери у них не закрывались, несмотря на громыхающую ругань водителей в динамиках, потому что на каждой из подножек висело по целой людской грозди; и по целой грозди висело на горбатом троллейбусном закривке с лестницей на крышу, и на трамвайной «колбасе»; и даже на гладком автобусном задке, где вроде совершенно не за что

уцепиться, даже там ухитрялись повиснуть два-три пэтэушника.

На трамвайной «колбасе» и троллейбусном за-
гравке ездил неоднократно при нужде и я сам. Ез-
дил себе и ездил, эко дело — на «колбасе», подума-
ешь, и я думать не думал о транспортных бедах
нашего города. И так вот я ехал однажды на этой
железной штанге — удобно утвердись на ней обеи-
ми ногами, — а рядом со мной, с краю, ехал пожи-
лой мужчина. Двум его ногам места на штанге не
было, и он стоял на ней лишь одной; а другую при-
строил на каком-то еле заметном выступе трамвай-
ного тела. Мы еще с ним говорили о чем-то, коро-
тая путь, он отнял руку от железного прута, за
который держался, чтобы почесать нос, и тут трам-
вай, как это с ними бывает на поворотах, резко и
сильно болтануло. Нога мужчины сорвалась с еле
заметного выступа, пальцы второй руки, не очень,
видно, крепко сжимавшие прут, разжало, и его,
развернув в воздухе, сбросило на соседнюю колею,
и страшно заверезжавший тормозами встречный
трамвай подмял его под себя. А моя рука запомни-
ла судорожное гребущее движение, каким инстин-
ктивно, помимо моей воли, хотела ухватить мужчи-
ну, не дать ему упасть, но в горсть ей попал только
голый воздух.

— Чего это тебе десять, пятнадцать лет — долго? —
спросил отец. — Доживешь, чего тебе это долго. Еще
и не старым будешь. Это вот мы с матерью... мы едва
ли дотянем.

Отец у меня был человеком весьма не сентимен-
тальным, скорее грубоватым даже, что шло, долж-
но быть, от его профессии хирурга, а в его обра-
щении со мной всегда сквозило словно бы некое
пренебрежение сильного к слабому.

— При чем здесь это — доживу, не доживу? Раз-
ве только в том дело, чтобы самому прокатиться? —
сказал я.

— Да? А в чем еще? — спросил отец.

Я не стал отвечать ему. Меня покорила его интонация. Будто он делал, делал какую-то операцию и вдруг обнаружил что-нибудь вроде второй селезенки или третьей почки: «А это-то откуда?!»

Но в голове у меня в тот момент уже возник план. Вернее, не возник, а просто я услышал внутри себя словно бы некий хлопок, словно бы несильный, но явственный взрыв, и сквозь волнуемое дымное облачко его просквозили туманно очертания этого самого плана. Минул день, другой, облачко мало-помалу рассеивалось, и детали того, что оно окутывало, проступили отчетливо и резко.

Я тогда учился в университете, на философском, восстановившись в студентах после своего армейского отсутствия. Но, видимо, каждому овощу свое время, вот и мне приспела пора учить диалектику не только по Гегелю. А если б не так, разве бы отдалась во мне эта новость о метро таким яростным желанием действия, разве бы это желание отлилось в такую конкретную, твердую форму?

Через неделю, уйдя с лекций после второй пары, чтобы был самый разгар дня, полуденная пора, я стоял у парадного подъезда массивного серого здания, за высокими дубовыми дверями которого, с подножием из широкой гранитной лестницы, скрывалось святилище городской власти. На груди и спине у меня, скрепленные переброшенными через плечи веревками, висело по транспаранту. На одном из них я написал: «Хватит трамвайных жертв!» «Метро нужно городу немедленно!» — было написано на другом.

Вместе со мной на демонстрацию к дому власти вышло еще пять человек. Оказывается, не одного меня это сообщение о метро потрянуло как током, оказывается, у многих уже *горело*, и найти единомышленников не составило большого труда. Двое из этих пятерых были моими товарищами по курсу, так же, кстати, как я, отслужившие недавно срочную в армии; они умудрились раздобыть где-то

красную материю, раскроили ее, укрепили на деревцах и стояли сейчас на нижней ступени лестницы, высоко подняв над головой полотнище: «Оттягивать строительство метро — преступление!»

У стража порядка, вынырнувшего из двери и сбегавшего к нам по лестнице, был совершенно обескураженный вид.

— Чиканулись, ребята? — спросил он. — Я сейчас сообщу, вас заметут, жизни вам больше не будет! Уносите отсюда ноги, пока добром говорю.

Никто из нас не отозвался на его слова. Мы заранее решили поступить именно так. Что попусту тратить силы? Разговаривать мы собирались только с представителями властей.

— Ребята, — сказал страж, — второй и последний раз говорю: смывайтесь добром! Не будет жизни!

Он не особо повысил голос, так, не очень громко сказал, но в толпе, что уже собралась в отдалении на тротуаре, услышали.

— А что ты их стращаешь! — закричали оттуда. — Они что, окна бьют? Стоят себе и стоят! А без метро и так никакой жизни нет, что, не так, что ли?!

— Я предупредил, — сказал страж и пошел быстрым шагом по лестнице вверх.

Он скрылся за высокой тяжелой дверью, и из толпы нам стали советовать:

— Сматывайтесь, ребята! Постояли, и хватит! Вам что, ребята, не жаль себя, что ли?!

Жаль, жаль себя было — ужас как. Страшно было — не описать, потому что будто в пропасть ступил, знал, что в пропасть, и ступил, и вот завис на мгновение в воздухе — и сейчас грянешь вниз... а и восторг был в этом диком страхе: и гряну!

Из шестерых нас все же осталось четверо. Двое не одолели своего страха, будто переминаясь с ноги на ногу, пряча друг от друга глаза, они отделились от нас на шаг, другой, третий... и смешались с толпой.

А нас четверых через некоторое время отвезли в отделение, составили протокол о нарушении общественного порядка, и ночь мы провели в камере.

Глухое, смертельное отчаяние навалилось на нас, когда мы оказались в ее каменном мешке. Все наши силы ушли на то, чтобы отстоять свое у дома власти, перемочь свой страх, не броситься в толпу следом за теми двумя, и на борьбу с отчаянием ничего не осталось, никаких сил. Отсюда, из замкнутого тесного пространства с узким отверстием в мир, забранном решеткой, с пронзительной, вынимающей душу ясностью увиделось то, о чем до нынешнего момента никто из нас не догадывался: жизнь разломилась для нас на ту, что была *до*, и ту, что настанет *отныне*. И эта новая жизнь, которой отныне нам предстояло жить, была сплошным мраком, черной неизвестностью, бездонным провалом в кромешную темь...

2

Утром нас выпустили, взяв подписку о невыезде.

Отец, когда я вошел в дом, сидел на табуретке в прихожей. Было похоже, он просидел здесь, ожидая меня, все это время — с той самой поры, как нас привели в отделение и, проверяя сообщенные мною сведения о себе, позвонили по телефону домой. Видимо, он не пошел нынче и в больницу — хотел дожидаться меня. Правая его рука, большая, белая, ухоженная рука хирурга, свисала с колена с каким-то таким видом, будто собиралась сейчас же вкатить мне оплеуху.

Наверное, он и хотел вкатить мне оплеуху. Но удержался.

А вот от крика не удержался. Нет.

— Свистун! — кричал он мне. — Тарахтелка пустая! Да мало ли где кого как задавит! Ко мне привозят: на линолеуме в квартире у себя поскользнулся — и перелом основания черепа! Против производства

линолеума теперь выступишь?! А еще один в патрон палец сунул, контакт отжимал, его током трянуло, еле отходили — против электричества станешь бороться?!

— Не путай хрен с редькой, — сказал я.

— А их и путать нечего! — немедленно ответил он мне. — Одно другого не слаще! Дело свое нужно делать! Дело! Свое! Ясно? И станет каждый делать свое дело, вот и будет все толком. И метро вовремя, и люди живы! А вот такие, как ты, лезут не в свое дело — и выходит бардак! Бардак, запомни, заруби себе на носу!..

Я ушел из дома. Не знаю, как бы поступил на моем месте другой. Я ушел. После такого я не мог оставаться.

Из университета я не уходил. Оттуда меня вышибли. Как и двух моих товарищей-сокурсников. А четвертый, приятель одного их моих сокурсников, работавший инженером на одном из заводов нашего города, угодил под срочно разразившееся сокращение штатов.

Урок нам был преподан что надо. Никому я не пожелаю такого урока.

Но произошло необыкновенное.

На что никто из нас не рассчитывал.

О чем мы и думать не думали, потому что, выходя на ту демонстрацию, даже не смели заглядывать вперед: а что будет после? Дальше самой демонстрации мы не загадывали.

Но она, оказывается, явилась тем самым крошечным, малым кристалликом, что, попав в перенасыщенный раствор, вызывает бурную и уже неостановимую реакцию.

Спустя неделю после нашей демонстрации у дома власти состоялась новая. Ее пресекли точно так же, как и нашу. Но тогда, спустя еще недолгое время, по всему городу появились листовки. Их находили на подоконниках в подъездах домов, на садовых скамейках, в укромных уголках магазинных прилавков.

В листовках повторялись все наши лозунги и предлагалось, как там было написано, всем честным гражданам города в ближайшее воскресенье выйти на улицы и прошествовать к дому власти на митинг, чтобы там потребовать от властей ускорения строительства метро. И еще поползли, переходя из уст в уста, слухи, будто бы все изыскательские работы давным-давно проведены и давно существует даже рабочий проект метро, однако по непонятной причине он положен под сукно и лежит там уже который год, а недавнее сообщение в газете — абсолютно ложное сообщение, и цель его, скорее всего, — дезориентировать тех, кто о том проекте знал, кто, судя по всему, и вышел на ту, первую демонстрацию...

Слухи эти нас четверых немало повеселили. «Не совсем еще дезориентировался? Понимаешь, что к чему, откуда дети берутся?» — так примерно шутили мы теперь друг с другом. Мы теперь, все четверо, были постоянно вместе, сняв для жилья пустующий дом в пригороде; случившееся спаяло нас как вольтовой дугой.

«Вольтово братство» — так мы себя и называли. Вообще после той ночи в камере у нас как-то сразу пошли в ход прозвища, и я стал Философом, мои товарищи по курсу, милостиво уступившие мне право зваться им, как мог бы каждый из них, сделались Магистром и Деканом, а четвертый как единственный среди нас с техническим образованием, разумеется, получил прозвище Инженера.

В воскресенье, еще задолго до означенного в листовках времени, мы отправились к дому власти. И только тут, оказавшись на улицах, прилегающих к площади, на которой стоял массивный серый дом с широкой гранитной лестницей парадного подъезда, мы поняли, какую реакцию запустили. Улицы были полны народу. И все шли только в одну сторону, к площади.

А сама площадь была уже вся запружена толпой, и свободное пространство осталось лишь около мас-

сивного серого дома — потому что вокруг него, на расстоянии метров пятнадцати, стояла цепь солдат. Солдаты были молодые ребята, как сам я год-два назад, и на лицах у них горело выражение опасливого, затаенного любопытства.

Найти бы их, кто это все организовал, переговаривались мы с друг с другом. Вместе бы с ними...

Те, кто это организовал, обнаружили с полчаса спустя.

Вдруг в одном из концов площади над колышущейся толпой возвысилась человеческая фигура, рассекла воздух митинговым жестом руки, выкрикнула что-то — и вся площадь разом подалась туда, в короткий миг уплотнившись в жаркий, тугой человеческий ком.

Кто не знает этого восхитительного, великолепного единения с тысячной толпой, полного, до последнего атома твоего тела слияния с многоруким, многоглавым ее телом, когда ты сам по себе, как отдельная личность, становишься ничем, перестанешь существовать, сделавшись собственно толпой, ее силой, ее желаниями, ее волей... кому не довелось изведать этого чувства, мне очень жаль того...

Коротко стриженные, гладко выбритые молодые люди с военной выправкой, одетые в гражданское, рвались через толпу к человеку, поднявшемуся на какое-то возвышение, но толпа не пропускала их. Они завязли в толпе, как в топком болоте, били локтями и пинали ногами, но тумачи посыпались и на них, и они увязли.

И тогда кто-то из них выстрелил. Раз. И другой.

Должно быть, он выстрелил в воздух, но когда стреляют так рядом, так близко, то кажется, будто стреляли в тебя. И если не попали сейчас, то следующим выстрелом попадут наверняка.

Дикий, страшный вопль разодрал воздух над площадью. Все разом зашевелились, заворочались, толпа пришла в движение и стала разваливаться, а еще через мгновение все вокруг бежали. И только

те, коротко стриженные и одетые в гражданское, бежали к центру толпы, а не от нее, стремясь, должно быть, взять того, стоявшего на возвышении.

Велика сила толпы: захваченный ее инстинктом, бежал и я, растеряв по дороге своих товарищей.

Потом я шел в одиночестве по улице, и меня мят, скручивал душу жгутом нестерпимый стыд. Не с площади я должен был бежать, а туда же, куда и эти коротко стриженные, быть вместе с теми, к кому они рвались, присоединиться к ним, разделить их долю.

Кто-то тронул меня сзади за плечо и назвал по имени.

Вздвогнув, я повернулся.

Передо мной стоял крепкий рослый парень, мой сверстник, и я подумал, что, если это один из тех, одетых в гражданское, мне с ним не справиться и не убежать от него.

Однако я отозвался на свое имя. Кем бы он ни был, чего уж тут было таиться, раз он знал, кто я.

— У вас взгляд характерный, — сказал он. — С таким прищуром... Я вас по взгляду узнал. Мы вас ищем все это время, никак найти не можем.

Я выжидающе смотрел на него, не отвечая. На этих коротко стриженных он не был похож. Но кто «мы», почему искали и как он мог узнать меня по взгляду, если мы с ним не знакомы и я вижу его впервые?

— Сегодняшнее — это наша работа, — сказал он, усмехаясь и кивая в сторону площади. — А вы студент, в первой демонстрации участвовали, мы ваши фотографии даже достали, а вас самих — нигде: ни дома, ни на учебе.

— А кто еще был со мной? — недоверчиво спросил я.

Он назвал мне имена всех остальных.

— Это откуда ж у вас такие сведения?

Теперь он засмеялся:

— Думаете, это сложно? Нужно только заняться!

Грузноголового пожилого человека с яркими серыми глазами в зарослях его буйной, вольно растущей седой бороды все называли Волхвом. И для меня он тоже на всю жизнь остался Волхвом, хотя, конечно, никогда я к нему так не обращался.

Вот говорят: поколение романтиков, поколение циников, поколение прагматиков — я в это не верю. Поколение не бывает монолитно-единым. Просто из-за условий времени на виду бывает какой-то один человеческий тип, а изменится время, и глядишь, поколение делается другим. И никакого тут чуда. Это всплыл на поверхность совсем иной тип. И лишь. Мой отец и Волхв были людьми одного поколения, но ничего общего между ними не было. Ничего!

Крохотная его бедная комнатуха вмещала в свой коробок диван, несколько стульев, старый овальный стол, служивший ему и для еды, и для работы, подпотолочные стеллажи с книгами вдоль одной из стен — и это все.

Будто всего лишь вчера случилась, вижу я ту, первую встречу с ним нашего Вольтова братства.

Он многое тогда объяснил нам. Мы были настоящими слепыми щенками до его рассказа.

Оказывается, наше метро, еще не начавши строиться, уже имело целую историю!

— Сообщение об изыскательских работах — вот, — положил Волхв на стол перед нами изжелтившую, ломкую газетную вырезку. — Единственное сообщение в строительной многотиражке. Какой у нее тираж? Неудивительно, что никто не знает. А вот и свидетельство об имеющемся проекте, — подал он нам лист фотобумаги, и это оказалось фотокопией титульного листа документа, который имел название «Смета на строительно-монтажные работы по сооружению метрополитена в городе...», и в числе прочих — ясно и четко выведенную подпись нынешнего главы города. — Не было бы проекта, не было бы,

разумеется, и сметы, — сказал Волхв. — Но есть и другие свидетельства. Вот такое, между прочим. — Он достал из папки захрустевший под его руками лист белейшей лощеной бумаги, развернул его — это был ответ городского отделения Стройбанка на обращение гражданина такого-то, то есть самого Волхва, в котором Стройбанк сообщал, что финансирование работ по строительству метрополитена прекращено в связи со специальным постановлением городских властей.

Он имел их целую кипу, таких вот официальных бумаг. И в большинстве сообщалось одно и то же: да, метро городу, безусловно, необходимо, но вопрос о нем находится пока на стадии обсуждения, — и так уже чуть ли не десять лет все минувшие годы. Они были похожи друг на друга, как дождевые капли, все эти ответы. Отправленные из разных мест, истинное свое рождение они все получали в каком-то одном месте.

И наверное, если б не сумасшедшее упорство, с которым Волхв продолжал стучаться во все ответственные двери, напоминая о давнем сообщении не ведомой никому многотиражной газеты, так бы вся эта история со строительством метро и легла на дно Леты каменным грузом, исчезла навсегда под ее темными водами, будто ничего и не было. Но, видимо, его сумасшедшее упорство и впрямь показалось кому-то маниакальным, и после очередной его беседы в высоком кабинете было решено покончить с ним, наконец, раз и навсегда, опубликовав ту самую, десятилетней давности информацию о метро из многотиражки в газете большой. Должно быть, человеку из высокого кабинета помнилось это очень удачным и полным иронии ходом: жаждете широкой информации? Вот она! А то, что она лишь повторяет ту, прежнюю, — что ж такого! Вы хотели — и получили! Чем владеем, то и даем!

Но это-то Волхву и было нужно. Эффект от публикации сообщения оказался именно таким, на ка-

кой он и надеялся. Единственно, чего он не знал: какова будет реальная форма действий? И уж тем более не знал, что за люди предпримут их.

— Но почему все-таки, — спросил я, — было принято постановление о прекращении работ?

В ярких серых глазах Волхва загорелся черный огонь.

— Я очень долго задавался этим вопросом, молодой человек. Пытался понять: может быть, какие-нибудь ошибки в проекте, нехватка средств... Но об этом никто никогда ни в одном ответе даже не помянул. Хотя, казалось бы, чего проще: вот причина, и вали на нее. А потом, наконец, до меня дошло: оно им просто не нужно, метро. Вот он, ответ: просто не нужно! Они ведь не ездят трамваем. Ни трамваем, ни троллейбусом, ни автобусом. Они персоналками ездят. На мягких сиденьях. Так зачем им метро? Такое строительство, такие заботы, такой хомут на шею... Зачем?!

— Логично, — сказал Магистр. — И убедительно. Я лично другого объяснения тоже не вижу.

Черный огонь в ярких глазах Волхва обжигал почти физическим жаром.

— Мы должны взять ситуацию в свои руки, — медленно, внушающе, по очереди оглядев нас всех, проговорил он. — Если мы не сделаем этого, не видать городу никакого метро. Ни через пять лет, ни через пятьдесят. Наша задача сейчас — раскатать народ. А люди к тому готовы. Каждый приходит в этот мир, чтобы совершить в нем что-то. Кому выпадает маленькое дело, кому большое. Нам выпало большое. Возможно, оно потребует от нас всей нашей жизни. И что ж?! Если это действительно Дело, оно стоит того, чтобы положить на него жизнь.

Таковыми были интонации его голоса, что, когда он произнес «Дело», не возникло никакой необходимости добавить сакраментальное: «С большой буквы». Он сказал: «Если это действительно Дело», и последнее слово так и возвысилось над другими.

— Сейчас самое важное, чтоб они признались: существует проект! — с яростью выкрикнул Рослый — тот самый парень, что опознал меня на улице в день митинга. Крепкий и рослый, отметило тогда мое сознание, лихорадочно решая, как быть, как вести себя, если он из тех, коротко стриженных, и второе из этих определений, которыми я подумал о будущем своем ближайшем друге, спросилось с ним навсегда. — Сумеет вынудить их признаться — заставим их, значит, в конце концов и начать строительство.

— Ничего подобного, — сказал Волхв. — Раз они не хотят строить, они будут кормить нас одними обещаниями... и ничего, кроме обещаний! Вынудить признаться — что да, есть проект, — это сейчас, конечно, важнее всего. Но потом... получить его — и начать строить самим, без всякого их благословения. Разжечь в народе энтузиазм, увлечь за собой! Стать землекопами, проходчиками, бурильщиками... кем там еще? Люди пойдут за нами, уверен!

Увлечь за собой! Стать землекопами, проходчиками, бурильщиками... Как он умел говорить! Какой силой, какой мощью веяло от его слов!

— Но как сделать, чтобы они признались в существовании проекта? — возбужденно спросил Декан. Его лежащие на столе руки, казалось, дрожали от еле сдерживаемого желания действия.

— Заставить! — сжав кулак, выбросил его перед собой Волхв. И снова по очереди оглядел нас всех. — Другого способа нет. Только заставить!

Глава вторая

1

Утро занималось туманное, сизо-холодное, мозглое утро осеннего дня, — но ударило солнце, и туман засквозил охрой, и отжившая свой срок,

умершая листва деревьев радостно засветилась желтым, влажно заиграла трепещущей своей ячеей, уже основательно прореженной ночными ветрами.

Я стоял на краю котлована, распахнутое земное нутро щерилось вблизи рыжими прутьями арматуры, лохматыми досками опалубки, уже отлитыми бетонными ребрами стенок и перемычек, а за пределами пятнадцати—двадцати метров все утонуло в этом огненно-сизом тумане, будто котлован был беспределен, уходил в бесконечность; и не было видно его дна. Там, в глубине, куда не доставали солнечные лучи, клубилась одна сырая холодная хмарь, и казалось, что земное нутро и в самом деле вспорото до самого чрева.

Метро строилось! Несмотря ни на что. Метро выгрызало себе в земле необходимые пространства, оно уже ушло внутрь ее со дна котлована наклонной узкой шахтой до половины проектной глубины! Три полных года отделяли нас от той поры, когда началась битва за него. Глядя со стороны, может быть, мы сделали совсем немного. Но на самом-то деле фантастически много было сделано. Оно строилось! Строилось! Несмотря на то, что власти по-прежнему не хотели того, а уж как они не хотели тогда! Но когда вулкан разбужен, сколько ни заливай ему жерло глиной, лаву не удержишь.

Меня окликнули.

Это был Декан.

— Вот ты где, — сказал он подходя. — Проверяешь с утра пораньше, на месте ли котлован?

Это у нас была такая подначивающая манера разговора. С той еще поры, когда мы волею обстоятельств слепились в наше Вольтово братство.

— Любуюсь, сэр, — отозвался я в тон ему. — Красавец какой — гляжу не нагляжусь.

— Сходил бы ты лучше, брат, на охоту, подстрелил пожевать чего-нибудь, — потянулся, зевнул Декан. Вчера, как и всегда, легли мы поздно, ему наших обычных шести часов для сна не хватало, и с утра он

ходил вялый. — Батя там к тебе приехал. На машине на своей, на дороге там у крайнего вагончика ждет.

— А ты чаечек поставь, если еще не поставлен, — обрадованно хлопнул я его по плечу. — Горяченький сейчас с домашней печенушкой попьем!

Отец ходил по обочине дороги около машины туда-сюда и, увидев меня, кинулся было в расчавканную грязь, но он был в ботинках и, дернувшись, остановился.

— Привет! — замахал он мне рукой.

Он очень изменился в своем поведении со мной. Первые признаки этого изменения появились тогда, когда наши имена стали известны всему городу, каждому человеку, разве что исключая младенцев, а уж потом, когда мы принудили власти считаться с нами, он сделался со мной вообще другим. Разговаривая со мной, он теперь постоянно жестикулировал, и движения его рук при этом были как-то неприятно суетливы и дерганны. Будто он чувствовал себя со мной неловко и старался скрыть свою неловкость от самого себя этой жестикуляцией.

Как и предполагал Декан, отец привез мне домашней стряпни. Мать испекла пирог с мясом, пирог с луком, пирог с яблоками и еще всякие сладкие булочки и печенье.

— Что-то совсем уже давно не появлялся, — сказал он, впрочем, не особо укоряющим тоном. — В самом деле, что ли, так некогда?

— Отец, спать времени нет, — сказал я, вспоминая зевающего Декана.

Мы все — и Волхв, и Рослый, и наше Вольтово братство, и остальные два десятка человек, что составили в свою пору ядро дружины, бившейся за метро, — жили прямо здесь, на строительной площадке, не покидая ее практически уже несколько месяцев. Никто от нас не требовал этого, но это было делом принципа. Власть лишь дали согласие на строительство, но не более. Ни куба бетона не выделялось для стройки, ни грамма металла, ни единого метра леса.

Все существовало на голом энтузиазме. Школьники собирали металлолом, металлурги ухитрялись дать лишнюю плавку, ремонтники в сверхурочную смену ремонтировали разливочные ковши — никто, естественно, не получая за свой труд ни копейки, — и так у нас появлялся металл для арматуры и тубингов, чтобы крепить туннельные своды. И так у нас появлялся бетон, и так появлялся лес для опалубки; и катушки с кабелем, что ждали своего часа на краю котлована, появились здесь таким же образом. Нанимать рабочих у стройки не было права, да и нечем было бы платить им, и копать котлован, пробивать штольню, бетонировать, плотничать, таскать носилки, катать тачки с землей люди приходили в счет своих выходных, отгулов, отпусков... А жертвуя сами, они должны были видеть, что кто-то жертвует больше них. И кто, как не мы, обязаны были сделать это... Для нас не могло остаться в жизни за пределами стройки ничего. Ничего абсолютно. Все в стройке, вся жизнь. Метро придется строить долго, многие годы, энтузиазму, чтобы не выдохнуться, необходимо топливо, необходим постоянный пример еще большего энтузиазма, и тогда люди все сдюжат, все вынесут на своих плечах.

— В городе только и разговоров, что о вашем метро, — сказал отец.

— Ну, это понятно.

— За границей о вас пишут. Мне вот один наш врач, зная, что ты мой сын, газету тут на днях передал. Хочешь глянуть?

Он достал из кармана газету и развернул ее на нужной странице. В заголовке, крупно набранном чужими буквами, я сумел прочитать только одно слово: «метрополитен».

— Переведи, — попросил я.

Сам я так и не знал никакого языка, кроме родного. Некогда было выучить. Не успел.

Отец перевел заметку, и я спрятал газету за пазуху, под ватник. Товарищам моим будет приятно

подержать ее в руках, найти свои фамилии в тексте. В Волхв, кстати, и переведет для них заметку заново.

— Ну давай, сын, — потянулся обняться со мной на прощание отец. Обнял и, похлопывая по спине, сказал: — Вы молодцы, молодцы... Нужное дело делаете, вам это зачтется.

Чайник, когда я пришел в наш вагончик, уже вскипел, и у стола было полно. На пироги прибежали все, кто жил тут, на стройке. И от того, что я принес, во мгновение ока не осталось и крошки. Имевшиеся у нас деньги давно кончились, закупать продукты нам было не на что, мы перебивались тем, что приносили с собой для общего котла, приходя на стройку, все прочие люди, и были, в общем-то, постоянно полуголодны.

Волхв перевел вслух заметку из принесенной мною газеты, мы немного пообсуждали ее, и подошло время идти в котлован. Туман начал рассеиваться, воздух опрозрачнел, и из окна вагончика было видно, что на площадке на краю котлована уже толпилось человек сорок, прибывших сегодня на работу из города.

2

Днем, незадолго перед обеденной порой, когда я был в шахте, ставил, отбивая руки кувалдой, крепь в только что отвоеванном у земли куске туннеля, меня вызвали наверх.

На том же самом месте, где утром стояла подбористая машина отца, чернели сейчас три большие осадистые зверюги, в каких ездили руководители города. Около вагончиков, зорко простреливая глазами все свободное пространство вокруг них, бродило несколько молодых людей с военной выправкой.

Воды ни в одном из ручноймойников не было. Ее всю израсходовали утром, а новую еще не подвез-

ли, и мне с Магистром и Рослым, тоже работавшими под землей, побренчав сосками, пришлось пойти на встречу в том виде, в каком мы поднялись, — с грязными руками и перемазанными лицами.

Делегацию дома власти возглавлял сам глава города. Вместе с ним приехало еще четверо. С нашей стороны Волхв выставил тоже пятерых.

— Что? Все? — недовольно спросил глава города, когда мы с Магистром и Рослым вошли в вагончик.

Остальные руководители потянулись к нам было здороваться, но подать грязные руки мы им не могли и ответили лишь демонстрацией своих лапищ.

Мы сели к столу, и глава города, пристукнув крупными толстыми пальцами, сказал все тем же недовольным голосом:

— Давайте сразу к сути. У нас еще важных дел полно. Доложи, — кивнул он одному из приехавших.

Руководители города прибыли к нам с ультиматумом. Отныне, заявили они, пятьдесят процентов того, что производится из сэкономленного, выданного, сверхурочного, будет у нас изыматься. Металл, цемент, лес...

— Это будет по справедливости, — не давая никому возразить, сказал глава города, едва тот, что предъявлял ультиматум, умолк. — Оказывается, у нашей промышленности громадные резервы. Вы их вскрыли. За это вам спасибо. Но откуда у вас сырье за исключением металлолома? На чьем оборудовании тот же цемент производится? То-то и оно! Пятьдесят процентов — это еще по-божески.

Рослый не выдержал и ворвался в речь главы города, перекрыв его голос своим:

— Даете вы, а! Да совесть у вас есть? Мало того что палец о палец для метро не ударили, на чужой хребтине едете, так вы еще и урвать хотите! Не сяди, не жали, а ложку приготовили!

— Ну, это вы позвольте! Это вы позвольте! — все повторял, пытаясь остановить его, один из приехавших с главой города. И когда Рослый умолк, про-

кричал: — Это как это палец о палец не ударили? Это вы позвольте! А откуда вы электроэнергию берете? Из атмосферы? Ничего подобного, из городской сети!

Магистр, невозмутимо-спокойный обычно, словно бы даже замкнуто-высокомерный, сидел с иронической, веселой усмешкой на губах.

— То, что вы собираетесь сделать, — сказал он своим внятными, ясным голосом, — называется, на вашем же кабинетном языке, «перекрыть кислород». Попросту удушить. Забава, достойная палача. Не мытьем решили, так катаньем?

— Слушайте! — обращаясь к главе города, преданно ища глазами его глаза, возмущенно воскликнул тот, что предъявлял ультиматум. — Ведь они нас оскорбляют! Забава палача, видите ли!

Глава города дал ему заглянуть себе в глаза и перевел взгляд на Магистра.

— А хоть и катаньем! — сказал он. — Именно катаньем, очень верно. Потому что никакое метро нашему городу не нужно. Во всяком случае, сейчас и в обозримом будущем. Хотите строить — ну стройте! А уж каким образом будете строить — полностью ваше дело. Наше — наше, а ваше — ваше. Пятьдесят процентов — это по-божески.

— Если вы считаете, что метро не нужно, зачем же давали тогда сообщение в газете? — спросил я.

— Вот и плохо, что дали, — бесстрастно отозвался глава города.

— Но почему-то же дали? — снова спросил я.

— Почему-то дали, — бесстрастным эхом откликнулся глава города.

— Так почему?

— Давайте без ненужных дискуссий, — не удостоивая меня больше ответом, сказал глава города. — Вскрылись громадные производственные резервы, и мы не можем, чтобы они пропадали впустую. Решение окончательное и обсуждению не подлежит.

Волхв, сидевший всю эту пору молча, рассмеялся.

— Ай-я-яй! — сказал он. — Эх вы блефуете: на руках шестерка, а пытаетесь сдать за туза. Никакое ваше решение не окончательное, вы вынуждены считаться с нами, оттого и приехали. Оттого и таким вот обширным составом, — повел он руками вдоль их ряда напротив нас. — Тактика запугивания? Странно. Вы же знаете, что вам это не удастся. Впрочем, еще и прискорбно. Не хочется вам строить метро! Никак не хочется! Ладно, устранились. Нашлись люди, которые взвалили на себя это дело. Так отойдите в сторону, палки-то в колеса зачем же вставлять?

Волхв умолк, и глава города, не помешавший его речи ни единым словом, ни единым движением, сказал, морщась, будто от кислого:

— Дебаты снова навязываете. Не будет вам никаких дебатов. Не согласитесь на отчисления, мы найдем способы вас заставить.

— Ту же электроэнергию — возьмем и отключим, — вставился один из приехавших, до этого момента не произнесший ни звука.

— Да, ту же электроэнергию, — подтвердил глава города. — Много способов, о чем говорить.

Рослый изо всей силы ударил кулаком по столу:

— Монстры! Вы же монстры! Сосете кровь, и все вам мало: вот бы еще одну жилку перекусить!

— Ну, это вы позвольте! — закричал тот, что уже говорил эту фразу. — Это вы позвольте!

— Да ведь они же нас оскорбляют! — воскликнул и тот, что уже восклицал так, снова преданно ища глаза главы города.

— Они будут думать, — поднимаясь, проговорил глава города. — Такие дела с бухты-баракты не делаются. Подумайте, — поглядел он на Волхва. — Хорошенько подумайте.

Они ушли, профырчали моторами, бешено прокрутились колесами, трогаясь с места, их черные лакированные зверюги и укатили, а мы вернулись от оконца вагончика к столу, обменялись мнения-

ми и решили безоговорочно: нет, никаких уступок, этого только не хватало!

И еще решили: об ультиматуме должны узнать все. Прямо сейчас. Чтобы разъярились. Пусть тогда попробуют свои способы... перед яростью все бессильно, пусть попробуют!

3

Вечером я не пошел на наше ежедневное заполночное бдение над инженерной документацией — я гулял с Веточкой.

— Я соскучилась, — сказала она, вызвав меня из вагончика, глядя в глаза с лукавым своим, жадным сиянием.

Мы виделись два дня назад, когда она, пропускающая занятия в институте, работала на стройке; снова прийти собиралась только через неделю, тогда мы и должны были свидеться.

— Я соскучилась, — повторила она с требовательной лукавой покорностью, и попробовал бы кто отказать ей в ее желании, а мне и не нужно было отказывать, я сходил с ума уже от одного лишь сознания того, что увижу ее только через неделю.

Я сходил с ума от ее глаз, от ее радостной, открытой улыбки, от того, какая она тоненькая, хрупенькая — впрямь веточка, — но с характером при этом — ого: решительным и твердым, что сталь.

— Ну? Рассказывайте, — сказала она, искоса снизу заглядывая мне в лицо своим лукавым сиянием. — Что сделали за это время? Какие новости?

Она обращалась ко мне на «вы». Мне уже было двадцать пять, а она лишь недавно закончила школу, ей только подходило к восемнадцати, и я казался ей ужасно взрослым.

— Ага. Так вот прямо взять и рассказывать. Все равно как с трибуны.

— Ой, мне хочется послушать вас. Мне так нравится, когда вы говорите, — сказала она.

Боже, кто б устоял перед нею! А может, и устоял бы? И дело просто в том, что нашим душам изначально было уготовано потянуться друг к другу при встрече: ей — открыться мне с этой вот безоглядной светящейся прямою, а мне — не устоять?..

Я рассказывал о сегодняшнем приезде городских властей, об их ультиматуме и нашем решении, рассказывал, как мы боролись сегодня с водяной линзой, на которую наткнулись при проходке шахты, она слушала, время от времени заглядывая мне в лицо обжигающим своим сиянием, мы шли по тускло освещенным ночным улицам неизвестно куда, сворачивали, возвращались, снова поворачивали, и порой я замечал, как она, переступив ногами, принаправливает свой шаг к моему.

Мелкий, крапчатый осенний дождичек высеялся из ночного небесного мрака. Покалывало водяной взвесью лицо, попадало на руки, за шиворот.

Зонта у нас не было, и мы зашли в подъезд какого-то дома.

Желто светили лестничные лампочки, стены были исписаны и искорябаны всякими надписями, около бачка для пищевых отходов между маршами громоздилась куча мусора.

— Ой, ну почему у нас везде так, — с улыбкой неловкости, будто это был ее дом, кивнула Веточка в сторону кучи. Мы хотели остановиться тут, на этой площадке, но из-за мусора пошли дальше, наверх. — И у нас в подъезде то же самое. Словно бы людям все равно, как они живут.

— Построим метро — и везде станет иначе, — сказал я.

— Да? — удивилась она. — Какая же тут связь?

— Такая же, как между этим мусором и нынешним кошмаром в автобусах и трамваях.

— Д-да? — снова непонимающе протянула она.

Мы поднялись на следующую площадку между маршами, здесь только что-то хрустело под ногами, вроде осыпавшейся штукатурки, но в остальном было чисто, и мы здесь остановились.

— Это общая атмосфера, — сказал я. — Ее действие. Понимаешь? Если скверно там, будет скверно и тут. Человек не может быть безнравствен в одном месте и нравствен в другом. Если он лезет по головам в трамвае, спеша на работу, дома у себя он будет валить мусор куда угодно. Это закон. И когда мы построим метро, где будет чисто, светло, красиво, никакой давки и тесноты, тепло зимой и летом, а поезда будут ходить как часы, будет царствовать порядок, скорость и комфорт, — это тотчас отзовется на всей жизни. Человек не может быть одним здесь и другим там.

И еще и еще говорил я ей о том, как изменится жизнь с появлением метро, насколько она станет чище, светлее, нравственнее — я мог говорить об этом сколько угодно. Впрочем, заговорив об этом, я уже не мог остановиться...

Мы простояли в подъезде часа два. Дождь кончился, я проводил ее до дому и побежал к себе в вагончик на стройку. «Побежал, убегаю», — говорят иногда про себя, имея в виду, что торопятся, спешат, но я именно бежал.

Я не мог просто идти, пусть и быстро, меня распирала жажда движения, я чувствовал себя сильным, здоровым, счастливым, просто идти — этого было мне мало.

Ночь стояла вокруг, черны были окна домов, пустынны улицы, и я бежал, мерно работая ногами и руками, ногами и руками, они ходили у меня взад-вперед, взад-вперед, как шатуны, я бежал и думал о том, что мы построим метро, построим, чего бы нам это ни стоило! Я женюсь на Веточке, и мы построим его, построим! Как бы власти ни мешали нам. Мы построим чудесное, красивое метро, и Веточка родит мне детей, мальчика и де-

вочку, а может быть, троих, четверых! Ни в одном городе мира не будет такого метро, как у нас, такого светлого, великолепного, праздничного! Да, нам нужно метро не просто как транспорт, а как дворец, как храм, чтобы он стал символом высоты нашего духа, его величия, его мощи, неукротимости! И мы будем приходить с Веточкой и нашими подрастающими детьми в подземные прекрасные залы, и будем любоваться ими, и будем рассказывать детям, как все начиналось и как трудно было, но мы все одолели, все пересилили — и вот вы теперь имеете это!

Как жаль мне тех, кто не испытал в молодости подобных чувств!

Как жаль!

Глава третья

1

Молодых людей с одинаково настороженными, нервно-внимательными глазами и военной выправкой мы заметили около стройки дня через три, как был окончательно отвергнут ультиматум властей. Уже стояла зима, земля была укрыта снегом, и их черные праздношатающиеся фигуры на белом снежном фоне так и бросались в глаза. Ни с кем из нас они не заговаривали; стояли на своих обусловленных местах или фланировали по намеченному маршруту и, если приходилось столкнуться нос к носу, только молчаливо и бегло улыбались, откровенно, в упор разглядывая тебя, будто ты был насекомым, чья участь — сидеть на булавке — предрешена, и дело лишь за временем.

— Какого дьявола! — кипел Рослый. — Что они шлятся? Мы тут работаем, а они — как надзиратели. Начистить им морды и пусть отсюда затылком вперед!

— Зачем? — Магистр со спокойной улыбкой пожимал плечами. — Трутся около нас и пусть трутся, пока не мешают.

Волхв кивал согласно:

— Именно, именно. Пусть трутся. Очень может быть, на то они и рассчитывают — спровоцировать нас. Очень может быть. Не обращать на них никакого внимания — лучше всего.

Что-то готовилось — это мы понимали, но что?

На стройке между тем все шло своим чередом; прибывали машины с металлом, машины с лесом, машины с бетоном, привезли в разобранном виде еще один проходческий щит, завершалось строительство надземного здания, наклонный ствол был пробит, и проходчики начали выбирать первые кубометры породы, чтобы вести горизонтальный туннель. Подступал Новый год, заворачивали морозы, снег лежал вокруг пушистыми метровыми сугробами.

Тут-то, под Новый год, и началось...

Людей, приходивших на стройку, одного за другим, одного за другим, день ото дня все больше, стали увольнять с работы. Того по причине пенсионного возраста, другого по сокращению штатов, третьего — вкатив ему за несколько дней чуть не десяток выговоров по разным поводам... Когда нужно уволить, всегда найдется для того способ.

Их увольняли — и не брали нигде в другом месте. И это при том, что повсюду на досках висели отпечатанные в типографиях объявления: «Требуются... требуются... требуются...»

Было яснее ясного, что подобное скоро произойдет и у студентов. Никто из них просто не сдаст подступающую сессию, и все будут отчислены. А пытаясь устроиться на работу, никуда они не устроятся...

Ловко было придумано. Умно и ловко. Не мытьем, так катаньем — в самом деле.

Зачем отключать электроэнергию, чинить всякие другие мелкие помехи? Лишить людей куска хлеба —

и сыграть на этом, вот ход! Энтузиазм энтузиазмом, а есть нужно каждый день, и что останется от твоего энтузиазма, когда тебе нечего станет есть? Ко всему тому голод замутняет разум, и, поманив запахом пищи, голодного можно подтолкнуть на что угодно. Идя на запах пищи, голодный на своем пути будет готов сокрушить все, даже то, что собственными руками строил вчера.

И если допустить даже, что все эти сотни людей присоединятся к нам, живущим здесь, на стройплощадке, и сделают метро, как и мы, тем единственным делом, которым они отныне будут жить, сделают метро своей жизнью, — как всем прокормиться? Что говорить, так, как кормились мы до сих пор, прокормиться двум с половиной десяткам человек — это возможно. Но прокормиться таким же образом двум с половиной тысячам — это нереально.

Нужно было что-то предпринимать...

2

Наш ответный удар был нанесен три дня спустя.

Моей группе было выделено три легковые машины, одну из них я добыл сам, взяв у отца.

Мы прибыли к булочной минут за пять до закрытия. По разработанному заранее плану в магазины нужно было войти перед самым концом их работы, дожидаться, когда уйдут покупатели, и после этого уже приступить к операции. В эту пору все подсобки с товарами открыты и еще не включена сигнализация, а деньги, как правило, сданы инкассаторам, и никто с улицы не должен нам помешать.

— А вы там что ковыряетесь, эй! — крикнула кассирша, выбираясь из деревянного загончика кассы на волю. — Время уже, все, уйду сейчас — не оплатите!

Уборщица в синем халате, лязгнув щеколдой, выпустила в дверь последнего покупателя.

— Начали! — дал я команду.

Трое из группы тотчас рванулись к двери — оттеснить от нее уборщицу и встать там на страже, а я и другие трое бросились в подсобное помещение — перекрыть рабочий вход и собрать всех магазинных работников в одном месте.

Не очень весело все это было, хотя, конечно, со стороны выглядело довольно комично. Кассирша решила, что ее собираются грабить, и, забыв о том, что денег в кассе три с половиной копейки, рвалась обратно в свой дощатый загон, чтобы нажать сигнальную кнопку, ее не пускали туда, подхватил вдвоем под руки, а она все рвалась. Уборщица, наоборот, попыталась выскочить на улицу, и пришлось втаскивать ее обратно, она раскорячилась в открытых дверях, вцепилась в косяк и все приговаривала с ужасом: «Я ж старая!.. Старая!.. Старая я ведь!..»

Мы перекидали хлеб с лотков в привезенные с собой чистые мешки, взяли десяток деревянных поддонов с кульками сахарного песка, набили пару мешков сухарями вперемешку с конфетами, и, когда все это было загружено в машины, я написал директорше бумагу, короткий текст которой мы во главе с Волховом отработали накануне до последнего слова: «Реквизировано силой в пользу строителей метро, лишенных властями средств к существованию...» Дальше шел полный перечень реквизированных продуктов, моя подпись — «От имени Инициативной группы» — и дата.

— Что мне с ней делать, с этой бумажкой? — закричала директорша, когда я отдал ей лист. — Вы, что ли, материально ответственное лицо? Пропади оно пропадом, ваше метро!

Я не стал ничего отвечать ей. На улице уже пофуркивали моторами готовые уезжать машины, и мне нужно было спешить.

В тот вечер мы «взяли» четыре магазина. Кроме булочной два продуктовых и один промтоварный. Для продуктовых, чтобы погрузить мясные туши,

коробки с маслом, ящики с крупами, понадобились грузовые машины, и пришлось угнать два пустых грузовика, неосторожно оставленных водителями на улице. В промтоварном нам нужны были самые обиходные вещи — мыло, одеколон, полотенца, материя для тряпок, некоторая хозяйственная утварь, — и там мы обошлись, как и в булочной, лишь легковыми автомобилями.

...Мы еще не успели перетаскать с улицы в надземное здание метро добытые продукты и вещи, на дороге за вагончиками проревели, подкатывая, засветили фарами, выедавая тьму, мощные тягачи, смолкли, и из их кузовов посыпались на землю одна за другой, взметывая длинные полы шинелей, темные фигуры. В правой руке на отлете каждая из них держала тонконосый, длиннотелый предмет, и как-то не сразу, не вдруг до нас до всех дошло, что предмет этот — автомат.

Не более чем через пять минут вся территория стройки была оцеплена. Мы ждали, бросив свою работу, что будет дальше, но дальше ничего не последовало.

Однако некоторое время спустя, когда все, наконец, было перетаскано под крышу и те, кто принимал участие в нынешней операции, но не жил на стройке, попытались выйти наружу, чтобы ехать домой, солдаты их не выпустили. «Стой, не подходи! Стрелять буду!» — звучали то тут, то там команды, и в чистом морозном ночном воздухе сухо и страшно клацали передергиваемые затворы.

3

Утром солдаты не пропустили за свою цепь ни одного человека, приехавшего на стройку. Многие из тех, что лишились работы, перестали ходить к нам, но большинство все же ходило, и снаружи, за линией оцепления, собралась толпа.

Мы, со своей стороны, решили жить так, словно ничего не произошло, и после завтрака все, кто находился внутри оцепления, по-обычному спустились в шахту. Наверху осталось только несколько человек. Остался наверху и я. Хотя мы и решили жить, не обращая внимания на цепь солдат, события каким-то образом должны были развиваться...

Они не замедлили с развитием.

Подкатили две черные машины, прохлопали дверцами, и по снежной укатанной дороге, беспрепятственно миновав оцепление, с неспешной солидной грузноватостью прошеествовали к вагончикам трое мужчин в добротных, толстого дорогого материала пальто с широкими, серебристо играющими на солнце воротниками из редкого меха.

Все трое приезжали к нам в прошлый раз, сопровождая главу города.

— Бандитизмом занялись? — не дожидаясь, когда мы рассядемся за столом напротив них, с властно-суровым выражением лица, в упор глядя на Волхва, сказал тот, что зачитывал в прошлый раз ультиматум. Видимо, он был нынче старшим.

Волхв выдержал паузу, так же в упор глядя ему в глаза, потом сказал:

— Всякое действие вызывает противодействие. С какой силой вы будете давить на нас, с такой мы и ответим.

— Не позволим! — Ухмылка, вдруг прозмеившаяся по губам этого старшего, была какой-то сардонически-плотоядной, словно б мы все, незнаемо для нас, были, со всеми потрохами, у него в руках, нет, не в руках даже, а в зубах, как мышь у кошки, и это только нам представлялось, что мы можем в любой момент, едва лишь зубы приразомкнутся, убежать, но он-то, державший, прекрасно знал, что никакой возможности убежать у нас нет.

— А мы и не будем спрашивать вашего позволения, — спокойно, не обратив ни малейшего внимания на сардоническую ухмылку представителя вла-

стей, сказал Волхв. — Вы решили оставить людей без куска хлеба — мы решили дать им его. Только и всего.

— А мы, — сделав ударение на «мы», вновь каменяя лицом, ответил тот, — не позволим вам дать его, никто сюда не пройдет. Для чего, думаете, оцепление? Вас охранять? Еще не хватало! Никого к вам не пропустит, вот для чего. Сидите здесь со своими запасами. Ешьте вволю. Надолго хватит.

— Ах, суки! — ругнулся Рослый.

Он только выговорил вслух то, что каждый из нас тем или другим словом проговорил про себя.

— Ну, — вновь выдержав паузу, произнес Волхв, — и что дальше? Мы, в свою очередь, тоже что-нибудь придумаем, так, значит, и будем заниматься перетягиванием каната?

— Ничего подобного, — сказал все тот же из них троих, что был старшим. — Никто вам такой возможности не предоставит. Соглашаетесь на прежнее наше условие — и конфликт исчерпан. Все будут восстановлены на работе, а ваш бандитизм предан забвению. Если не соглашаетесь... Во-первых, значит, никого к вам не пропускаем сюда, а во-вторых, не пропускаем транспорт с грузами. Ни сейчас, ни потом. Вообще не пропускаем. Чем хотите, тем и крепите. Чем хотите, тем и бетонируйте.

— Ах, суки! — снова выговорил Рослый.

И снова это было сказано за всех нас.

— Вот вам для первого размышления, — как и в прошлый раз, будто не заметив оскорбления, поднимаясь, сказал представитель властей. — Подумайте, крепко подумайте.

Провожать представителей властей никто из нас не пошел. Никто из нас даже не поднялся из-за стола. И когда дверь вагончика захлопнулась, все так и остались сидеть, и все молчали — что-то невыясненное словно бы висело в воздухе, недоумение какое-то, какой-то вопрос...

Магистр первый сумел нащупать его.

— Странно... — произнес он.

— Что странно? — тут же отозвался Волхв.

— То, что все их санкции не затрагивают нас. Никким образом. Ведь, казалось бы, можно прижучить и нас каким-то образом, но нет...

— Подвоз материалов они нам блокируют, — сказал Декан, — это что, не против нас санкции?

Магистр отрицательно покачал головой:

— Это все средства давления. Я о другом: чего бы, казалось, им не проучить нас как следует? Чтобы мы на своей шкуре почувствовали: с вами не шутки шутят! Скажем, арестовать. Ну, не всех, но пятерых, шестерых, десятерых, наконец... нет, не прибегают к такому! Только давят на нас, и все, гнут, но не ломают.

— Ты прав, прав, — проговорил Инженер. — Жмут, но всегда словно б с таким расчетом, чтобы не пережать.

«Но не ломают», — сказал Магистр, и будто рвануло туманную завесу у меня перед глазами, она поползла, полезла клочьями, разваливаясь. «Чтобы не пережать», — сказал Магистр, и туман истаял вконец, исчез — и будто в бездну я глянул.

Вся история нашей борьбы за метро развернулась передо мной — от первой той давней демонстрации перед домом власти до нынешнего визита этих трех его обитателей — и я увидел ее изнанку.

Ведь мы же все были в ней марионетками, вот что! Все, включая Волхва! Да нами же искусно и ловко манипулировали, а мы и не догадывались о том. Мы думали, что сами по себе, полагали, что в дичайшей борьбе и судорожном напряжении всех сил заставили власти отступить, поддаться нашему напору, а это все заранее было спланировано, рассчитано, заброшен крючок — и мы на него попались, проглотили его и не заметили. Все, начиная с той газетной публикации о метро, было сделано не случайно, все нарочно было сделано, для затравки. Волхв ошибся, посчитав, что властям не нужно мет-

ро и оттого они положили его проект под сукно. Ничего подобного! Оно было им нужно. Но они решили построить его задарма. Без затрат. Мы с самого начала были только марионетками, кукловоды дергали нас за ту ниточку, за какую им нужно было, а мы послушно отзывались необходимым действием...

— Не-ет... — сказал Волхв, когда, сбиваясь, перескакивая с одного на другое, чувствуя, как бешено стучит сердце, сам страшась того, что говорю, раскрылся я в своем озарении. — Не-ет, это чепуха...

Но в голосе его, отчаянно утаиваемая, билась, как жилка на виске, неуверенность, и был его голос странно жалобен — Волхв будто просил пощады, просил взять мои слова обратно, перечеркнуть их, покаяться в содеянном, как в грехе.

— Нет, не чепуха. Так все и есть, — сказал я безжалостно. Почему я должен был жалеть его? Что, мне легче, чем ему, от страшной сути открывшегося? — Мы вроде наживки на крючке. Сам попались и других ловим.

— Не-ет, — снова повторил Волхв, весь перекрываясь лицом, как от мучившей тайной боли. — Нет же, не-ет...

Но в поддержку не раздалось ни одного голоса. Вообще никто ничего не говорил, все молчали, и Волхв тоже замолк, глянул светлыми, как-то побезумному сейчас горящими глазами на одного, другого и, охватив голову обеими руками, почти лег ею на стол, разметав по нему буйно растущую бороду.

Молчание длилось с минуту, если не больше. С улицы в приоткрытую форточку слышны были сливавшиеся в единый гул голоса толпы, топтавшейся у линии оцепления.

— Да чего там твердить «нет», если «да»! — нарушая, наконец, молчание, взвинченно, едва не срываясь на крик, сказал Декан. — Конечно, «да». Яснее ясного... Теперь, — добавил он через паузу.

— Нет, — опустив руки на стол и подняв голову, с яростью проревел Волхв. — Нет, этого не может быть! Я их просто разворошил, как поганый муравейник, им просто ничего не оставалось другого, как напечатать то сообщение... а потом... потом отступить перед нами!..

— Брось, — сказал Магистр. Обычное хладнокровие не изменило ему, и в отличие от нас всех он был спокоен. — Брось, чего дурить себе голову. Попались как последние дурачки... надо признать. И думать, что дальше. Как дальше. Может, послать все к черту, катись оно, пусть сами строят?

Глаза у Волхва полыхнули бешеным, сумасшедшим огнем.

— Да-а?! — выкрикнул он. — Сами? А ради чего тогда мы... Отдать им?! Не-ет! Исключено! Стать независимыми от них — вот что нужно! Чтобы ни металла у них, ни бетона, ни рук рабочих... вот что нужно!

И почему-то тут все глянули на Инженера. Словно бы какой-то ток вдруг заструился от него, и все этот ток уловили.

— Я уже думал о независимости, — сказал Инженер. — Но нормальных способов обрести ее нет. Есть только один. Совершенно ненормальный. Спуститься под землю. И прервать с землей всякую связь. Технически это возможно.

— Возможно?! — воскликнул Рослый. До этого он молчал все время. Ни слова не вымолвил. — А куда выбранную породу девать? Жрать ее, что ли?

Инженер посмотрел на него и махнул рукой.

— Это самое простое. В километре отсюда — карстовая пещера, пробить туда штольню — и все проблема с породой. Электричество нужно, металл, лес, бетон, еда, наконец, — вот проблемы!

— Все! — сказал Волхв, поднимаясь и облавая всех по очереди сумасшедшим огнем своих полыхающих глаз. — Никаких обсуждений больше. Расходимся до вечера. Идея имеется: под землю!

Абсолютно ненормальная идея, и потому, может быть, вполне реальная. Обмозговываем ее. Вечером собираемся и делимся мыслями по этому поводу. Все!

Я сходил по ступенькам вагончика, и меня буквально качало. Неужели это возможно технически — спуститься под землю и прервать с землей всякие отношения? И сколько тогда сидеть так — год, два, три? Не видеть неба, не ходить по траве, не подставить, зажмурясь, лицо под первый жар мартовского солнца, ощущая, как налетевший порыв свежего ветерка с легкостью гасит этот жар и кожу овеивает прохладой? Нет, невозможно, нет! Невозможно лишиться земли, ее света, ее запахов, ее простора! Это бред, идиотизм, какая-то конвульсия фантазии! Мы попались как рыба на крючок — да; мы должны, наконец, обрести, несмотря ни на что, независимость — тоже да; но не такой же ценой, не ценой отречения от своего человеческого естества! Это кротам свойственно жить в земляном нутре...

Толпа за линией оцепления была все так же густа и плотна, как утром, и, когда там увидели нас, гул голосов, облаком стоящий над нею, стал делаться слабее, слабее, будто истончаться, и исчез совсем, остался только морозный звук хрустящего под десятками перетаптывающихся ног снега, да клубились над ней, бесследно истаивая в выстуженном воздухе, молочные дымки пара от дыхания.

Солдаты в оцеплении с автоматами, взятыми в руки, стояли попарно: один — оборотясь лицом к толпе, другой — в нашу сторону.

— Что, плетью обуха не перешибешь? — сердобольно крикнул из толпы чей-то голос, как бы облегчая нам предстоящее покаяние в принятом капитулянтском решении.

Волхв, визжа снегом, быстро пошел к толпе. Солдат, обращенный лицом к нам, остановил его шагах в пяти от себя. Волхв поднял руку, требуя внимания,

выждал мгновение и закричал, произнося раздельно каждое слово, чтобы каждое было понятно:

— Все будет нормально! Будьте уверены! Своим не поступимся! Дайте нам три дня на решение! Сейчас расходитесь, не мерзните! Через три дня — приходите, все будет нормально, будьте уверены!

4

Спустя два дня на встрече все с теми же тремя представителями властей мы приняли предъявленный нам ультиматум. Теперь половина всего того, что производилось для нас — из сэкономленного, выгаданного сверхурочной работой, — отбиралось.

Снова проревели на дороге за вагончиками тяжелые тягачи, и солдаты с автоматами, переброшенными через плечо дулом вниз, торопясь и толкаясь, полезли через борт в кузова.

Утром следующего дня все работы на строительстве были возобновлены в полном объеме. Многие из приехавших радостно сообщали, что им уже позвонили с их прежней работы и пригласили вернуться.

Со стороны, должно быть, казалось, что все возвратилось на круги своя.

Но это было вовсе не так.

Теперь, параллельно со строительными работами, мы вели еще и другие. В карстовую пещеру, о которой говорил Инженер, была снаряжена экспедиция, пещера была исследована до самого последнего закоулка, обмерена и обнюхана, и выяснилось, что многозальные объемы, лабиринты ее ходов и переходов могут вместить выбранной породы раз в десять больше, чем мы выберем. И была в ходе обследования открыта там настоящая подземная река, бурная и с прекрасной, чистой водой. Правда, расстояние до пещеры оказалось не километр, а почти два, но первую штольню к ней мы решили пробивать небольшую, работы велись круг-

лосуточно, не замирая ни на минуту, и к весне штольня была пробита.

Круг посвященных в затеянное делался той порой все шире, и, когда штольня была пробита, к нам отовсюду хлынуло необходимое: разобранное на части оборудование для гидроэлектростанции, оборудование для производства цемента, оборудование для выплавки металла, холодильные установки, станки и всякие другие машины в разъятом виде... При проходе штольни было обнаружено несколько угольных жил, в самой пещере в одном из залов магнитная стрелка плясала как бешеная — где-то там, в глубине, таилось, значит, рудное тело... Мы запасались продовольствием, медикаментами и впрок, на всякий случай решили создать под землей свое, автономное сельскохозяйственное производство: спустили туда десяток высокоудойных коров, пару свиноматок с боровом, построили теплицы для гидропонного земледелия...

Подготовка к уходу под землю заняла у нас год с лишним. Нужно было не только технически подготовиться, но и набрать достаточное число людей, готовых расстаться с землей. Это, пожалуй, была проблема почище всяких технических.

И все же энтузиазм — великая вещь! По нашим прикидкам, нужно было человек шестьсот—семьсот, а набралось в итоге две тысячи.

Новой весной, в холодную ветреную мартовскую ночь мы в Веточкой в последний раз обходили улицы нашего города. Хрустел под ногами ледок замерзших луж, прорывалась в разрывы облаков своим спокойным маслянисто-зеленоватым светом громадная, только-только пошедшая на убыль луна, и иногда то тут, то там в этих разрывах проступали звезды, холодно и колюче обжигали глаз — и снова исчезали за мутною пеленой.

Мы гуляли с Веточкой, расставаясь не друг с другом, а с землей. Она уходила вниз вместе со мной.

Глава четвертая

1

Сон мой, как обычно, был мучителен и тяжел, и телефонный звонок, вспоровший его, сначала вошел в кошмар дико верещавшей дисковой пилой, распиливающей меня пополам. И ладно б, если бы она сделала свое дело зараз, разъяли меня — и конец, но она вдруг прерывала свое верещашее вращение, стояла какое-то мгновение неподвижно, будто передыхая, и так же вдруг, взяв без всякого разгона прежнюю скорость, вновь вгрызалась в меня.

— О Господи! — простонал я, осознавая, что пила — это всего лишь кошмар сновидения, а на самом деле то трезвонит в кромешной тьме телефон. Я пошарил на полу около постели, где всегда оставлял аппарат на ночь, наткнулся на него и снял трубку. — Алле! — произнес я в микрофон приглушенно и хрипло.

Звонил Рослый.

— Декан умирает, — сказал он.

— Иду, — сказал я и положил трубку. Больше ни ему, ни мне не нужно было ничего говорить, все было сказано.

Веточка, конечно, тоже проснулась.

— Что? — спросила она встревоженно.

Ночные звонки были не такой уж редкостью, отчего я и держал телефон у постели, но каждый из них был связан с чем-нибудь чрезвычайным, и так она за все прошедшие годы и не привыкла к ним.

Кто к ним привык, это наши дети. Мальчики спали в другом конце комнаты, и звонок разбудил их тоже, но они только поворочались, сонно вздыхая, и все, не издали больше ни звука.

— Ничего, милая, — сказал я, находя в этой кромешной тьме лицо Веточки и глядя ее по щеке. — Ничего не случилось, спи. Это Рослый, он сегодня

в диспетчерской дежурит, и что-то ему сбрендило потолковать со мной. Знаешь же его. Спи.

Я не хотел говорить ей правду сейчас, среди ночи. Уйду, а она будет ворочаться тут одна до подъема... Конечно, она не поверила мне, и тревога в ней осталась, но все же так лучше, чем если бы я сообщил ей.

Шурша в темноте одеждой, я оделся, нашел на ощупь на своем обычном месте фонарь и вышел из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. Здесь, в коридоре штольни, потягивало ветерком из вентиляционных стволов, но темь была точно такая же, как и в комнате, не горело ни единой лампочки. Мы экономили электричество и на ночную пору отключали все освещение. Электричество нужно нам было во время работы, нам было нужно очень много электричества, приходилось исхитряться, и ночью мы заряжали аккумуляторы.

Я включил фонарь, лучик его был совсем слаб — видимо, младший сын, в обязанности которого входило следить за фонарем, опять забыл воткнуть его на день в электророзетку, — но за четырнадцать лет подземной жизни я так хорошо изучил все сужения, все повороты, все пересечения штолен, что мог бы бежать и в темноте, не включая фонаря.

Каменная крошка громко хрупала у меня под ногами, уходить звукам было некуда, не успевал раствориться в воздухе звук предыдущего шага, как его настигал новый, и штольня была вся наполнена этим хрупаньем.

Штольня, по которой я бежал, оборвалась, пересеченная под острым углом другой, и я увидел справа от себя еще один огонек фонаря. Он не прыгал из стороны в сторону, как было бы при беге, а слегка раскачивался, и я определил, что это Волхв. Магистр, пожалуй, как и я, бежал бы.

Так оно и оказалось — это был Волхв. Мы осветили друг друга фонарями, и он, тяжело, одышливо дыша, сказал:

— А не жди ты меня, давай вперед. Пока я дошаркаю...

Я снова побежал.

В больничную штольню электроэнергия подавалась, но в палате, где лежал Декан, горела только слабая синяя лампа над дверью. Я даже не сразу разглядел Рослого, поднявшегося мне навстречу. Декан на кровати хрипел и булькал, но дыхание его было до невозможности редким — один, наверное, вдох за минуту, не больше.

— Врач сказал, агония, и сделать он ничего уже не в состоянии, — подойдя ко мне, тихо проговорил Рослый. — Я вас вызвал — он сказал, может, перед самой смертью придет в себя.

Я обнял Рослого, он ответно обнял меня, и мгновение мы стояли так. Нам нужно было это объятие.

Потом он вернулся на свое место на краю кровати, а я сел на табурет рядом. Магистра еще не было. Спустя какое-то время появился Волхв. Он молча прошел к кровати и, потеснив Рослого, опустился перед нею на колени. Седая его длинная борода встопорщенно легла рядом с худой, откинутой в сторону рукой Декана.

Декан, с долгим клокочущим хрипом выдыхая воздух, мученически искривил рот, ноги его медленно согнулись в коленях, встопорщив одеяло, и упали; и неподвижно лежавшая до того рука дернулась перед лицом Волхва в конвульсии.

Волхв произвольно отпрянул.

— А-ай ты... — сказал он немного погодя и сел перед кроватью. — А-ай же ты!.. — снова протяжно проговорил он, глядя на изломанное агонией, странно стekшее вбок, уже чужое, нездешнее, неузнаваемое лицо Декана с вылезшими наружу костями. — Прости нас... прости, что вот так вот...

Не знаю, что он имел в виду. Я же, следом за ним произнося про себя слова покаяния, винулся перед Деканом в своем здоровье. Насколько ему пришлось тяжелее, чем мне. Чем многим из нас.

Чем большинству. Там, наверху, это не очень сказывалось — физическая его хилость, а может быть, просто ему удавалось перемогать себя. Здесь, под землей, сразу стало тяжело, ни дня за все прошедшие годы не видел я его вполне здоровым. Всегда охрипший, всегда с насморком, всегда бухающий тяжелым кашлем... Эти постоянно веющие в штольнях, выдувающие метан сквозняки были для него настоящей Голгофой. Как он и протянул столько лет! Сколько раз болел он воспалением легких до нынешней пневмонии? И вот все, кончились силы, исчерпались. Уже наверняка, уже точно никогда не увидать ему выносящийся из темного туннельного жерла на залитую светом станцию грохочущий, визжащий колодками тормозов поезд, никогда не вознестись из давящей потолочными сводами подземной глубины к зеленому, голубому, распахнутому ввысь до беспредельности земному простору...

Магистр все не появлялся. Я даже спросил Рослого — позвонил ли он ему; оказывается, позвонил. «Самому первому», — сказал Рослый.

Наконец Магистр возник в дверях. Он открыл их как-то очень медленно, будто двери были неимоверно тяжелы, и так же медленно, словно преодолевая некое сопротивление, прошел к кровати, но задержался возле нее лишь на короткое мгновение — как приостановился — и отошел в угол.

— Ты чего так долго? — спросил Рослый.

— Долго разве? — через паузу, словно смысл сказанного не сразу дошел до него, переспросил Магистр. Помолчал и сказал: — Ноги не шли. — Помолчал еще и проговорил с ожесточением, что так несвойственно было для него прежнего даже еще, пожалуй, и год-два назад: — Не могу смириться: Инженера нет, сейчас вот Декан, и сколько уже там... а нам еще так долго идти, столько еще впереди... ну прямо как горизонт, отодвигается и отодвигается... не могу!

— А ты пореже вперед заглядывай, — оборотись к нему с кровати, как кулаком вбивая в него эти слова, сказал Рослый. — Ты назад почаще оглядывайся — сколько уже сделано. Оглядываться почаще назад — легче будет смотреть вперед.

Он довольно неожиданно для нас всех, понемногу-понемногу, но год от году все более явно выдвигался в наши вожди, оттесняя Волхва на задний план; странно, но именно в нем, нетерпеливом, не очень уравновешенном, взрывчатом, склонном под влиянием эмоций ко всяким крайностям, именно в нем обнаружилось со временем больше, чем в каждом из нас, твердости, цельности, настойчивости, а самое главное — и способности объединять людей, поддерживать в них огонь веры прежней силы и яркости.

— Да-а, — ни к кому не обращаясь, сказал Волхв, — сделано много, очень много... — И умолк, будто оборвав себя, будто недоговорив, и по интонации его было ясно, что хотел он сказать о том, что работы впереди — еще больше.

Туннели метро, по которым должны были в свою очередь помчаться со звонким грохотом поезда, делались все длиннее, красные линии, которыми мы обозначали их на схеме города, змеясь, разветвляясь, все дальше уползали от той точки, что отмечала место закладки метро, — дело двигалось.

Но двигалось медленно, куда медленнее, чем того бы хотелось. Собственно проходкой туннелей и обустройством их занималось совсем немного людей, основная масса была отвлечена на производства, что обеспечивали возможность работы этих немногих.

Мы были настоящим натуральным хозяйством. И хозяйство это все расширялось и усложнялось.

Вдруг в один прекрасный момент разбарахлился, посыпался к чертовой матери весь наш машинно-станочный парк, собранный перед спуском под землю с миру по нитке, и пришлось создавать что-то

вроде машинно-реставрационной службы — со своим конструкторским бюро, каким-то подобием лаборатории... Мощности электростанции и всегда-то не хватало, но тут мы стали просто захлебываться от этой нехватки и оказались вынуждены строить в дополнение к ней еще одну, но где было взять для нее оборудование? — все пришлось изготавливать самим, а для того чтобы изготовить, организовали сначала еще одно новое производство. Росла, и год от году все быстрее, потребность в металле. Руда, из которой мы выплавляли чугун и сталь, была не очень богатой, но и не очень бедной, а вот медная оказалась совсем тощей, как и глиноземы; ради меди и алюминия приходилось переворачивать горы породы, пробивать километры и километры штолен, их нужно было крепить, а кроме металла, иного крепежного материала у нас не имелось. И получалось, что мы пробивали штольни ради металла и выплавляли металл ради того, чтобы пробивать штольни. Это был замкнутый круг, и было в нем еще одно звено, что оттягивало на себя с каждым годом все большее число рабочих рук: утилизация переработанной породы. Объемов пещеры для устройства отвалов уже не хватало, мы пробивали одну штольню и засыпали выбранной из нее породой другую, пробитую раньше, — двигали, перевозили тысячи тонн внутри нашего подземного горда туда-сюда беспрестанно.

Продовольствие, которым мы запасались, уходя под землю, как ни надолго нам удалось растянуть его, давным-давно кончилось, мы уже порядочное время были на полном самообеспечении, и чем дальше, чем больше оттягивало на себя наше продовольственное производство сил и людских ресурсов. Коровы, которых мы спустили с собой под землю, дали вполне здоровое потомство, и это потомство дало свое потомство, но удои год от году делались все меньше, все меньше — никакая вентиляция не могла заменить свежего земного возду-

ха, никакое электричество — солнечного света. Пришлось увеличивать поголовье, а увеличив его, пришлось увеличивать производство кормов, а увеличить производство кормов — это значило увеличить число теплиц, в которых на гидропонике мы выращивали все, от пшеницы и вики до огурцов с редисом, но, увеличив число теплиц, нам пришлось расширять и наше химическое производство, которое различными перегонками, выпарками и прочими способами готовило для гидропоники питательные растворы. Вышел в итоге еще один замкнутый круг, и чем шире он становился, тем уже оказывался на деле, тесня нам дыхание, будто железный ошейник на горле.

Продуктов год от году требовалось все больше и больше. Нас теперь было не две тысячи, как в начале, а почти три. Людей в возрасте спустилось под землю не очень много, в основном такие, как мы с Веточкой, и, как ни велика оказалась детская смертность, население нашего подземного города все же неуклонно росло.

И если б они были просто лишними ртами. Но ведь их нужно было *растить*. Нянчить, ухаживать за ними, пока маленькие, присматривать, когда подрастут, и учить, развивать физически — то есть заводить детские сады и школы, оборудовать гимнастические залы, строить бассейны... Никто из нас там, на земле, и не догадывался, что это такое — растить детей, какой это труд, какие это *вложения*, какой *расход*. Даже и Волхв. С чего ему было догадаться, если он никогда не имел детей. А между тем одних только школьных учителей приходилось нам содержать десятков пять. Ведь не могли же мы допустить, чтобы наши дети, когда строительство будет закончено, выйдя наверх, на землю, оказались ни на что не годными недоумками и невеждами. Нет, они должны были войти в земное общество как равные и чувствовать себя в нем абсолютно полноценными его членами!..

В палату вошел врач. Окинул нас всех быстрым взглядом, попросил жестом Волхва и Рослого освободить место около кровати, завернул угол одеяла, открыв Декану грудь, послушал его стетоскопом, подсовывая мембрану под спину, и вытащил пластмассовые оконечности трубок из ушей бессильно-раздраженным рывком.

— Я ничем не могу сделать! — сказал он. — И даже попробовать не могу. Глубочайший отек, конечно... но ведь у меня вообще... какое у меня здесь оборудование... я так, вместо мебели здесь!

— Прекратите! — резко сказал Рослый. — Не можете — и не надо. Вас никто ни в чем не винит, можете быть уверены!

С полчаса спустя, как и было обещано врачом, Декан пришел в сознание. Он все вздрагивал, дергал в конвульсии руками и ногами, а тут на него вдруг сошло успокоение, лицо разгладилось, прояснилось, дыхание стало чаще, ровнее, и еще немного погодя веки затрепетали и медленно, с трудом отрываясь друг от друга, раскрылись. Мы, сгрудясь, стояли над кроватью. Какое-то мгновение Декан смотрел на нас неподвижным тяжелым взглядом, так что не понять было — осмыслен ли этот его взгляд, действительно ли он пришел в себя, потом голова на подушке повернулась влево, вправо, и вслед этому движению дрогнули в орбитах и глаза, губы приоткрылись, и он произнес, сильно и трубно, несколько звуков.

Что он произнес? «Ам-гам-гам-а», — услышал я. И никто не понял его, и по боли, что рябью прошла по его неподвижным зрачкам, ясно стало, что он догадался об этом. «Ам-гам-гам-а», — снова произнес он, пытаясь обвести нас всех взглядом, и снова никто не понял его.

— Вот, милый, все хорошо, тебе уже лучше, — сказал Волхв.

— Ага, ага, уже лучше! — согласно подхватил Рослый.

Декан вновь приоткрыл рот в мучительной попытке выговорить, сообщить нам что-то, но сил ему уже не хватило, губы его сомкнулись, и мгновение спустя сомкнулись веки.

Минуты полторы был он в сознании, не больше. И только когда последняя, предсмертная судорога побежала по его телу, расслабляя суставы и распуская мышцы, отрывая живую душу от плоти, только тут до меня дошло, что он хотел сказать. «Умираю», — вот что он нам говорил, вот то, чем хотел поделиться с нами, тщился сделать это, дабы мы знали, были с ним вместе, а мы не смогли облегчить его отлетающую душу своим пониманием. «Ам-гам-гам-а» — «Умира-ю» — те же четыре слога...

По часам, что давали нам отсчет времени в нашей подземной тьме, было раннее утро, когда он умер, вечером, после окончания рабочей смены, мы его хоронили.

За прошедшие годы у нас выработался свой ритуал похорон. Прощание мы устраивали обычно в Главном, самом большом зале пещеры, который мог вместить все наше подземное население и где вообще проходили все общие сходки. Жилые штольни были пробиты поблизости от него, а кладбище находилось в одном из дальних залов пещеры, идти туда приходилось по узким извилистым переходам, и на кладбище после прощания отправлялись, как правило, только самые близкие люди.

На митинге в Главном зале я не выступал. Волхв просил меня сказать хоть что-нибудь, но будто кол стоял у меня в горле — и я ничего не мог говорить. И всю долгую дорогу до кладбища, то неся носилки с завернутым в покрывало телом Декана, то освещая фонарем путь впереди, то следуя за носилками в отдыхающей паре, так я и шел с пережатым горлом. «Инженера нет, сейчас вот Декан, и сколько уже там... а нам еще так долго идти, столько еще впереди...» — все звучали в ушах, никак не могли уйти из меня слова Магистра, сказанные над уми-

рающим Деканом, и, оказывается, во мне самом тоже было это ожесточение, ожесточение и отчаяние, я захлебывался в них, они душили меня, отнимали у меня силы...

А ведь уходя под землю, никто из нас и думать не думал, что придется устраивать в нашем подземном городе кладбище. Почему-то никому, ни единому человеку не пришла в голову подобная мысль! Но на веки вечные лег там и Инженер, сначала погребенный под тоннами обрушившейся на него породы при проходке той самой штольни, где сейчас размещался медблок, откопанный и вот так же на носилках одолевший этот извилистый путь, и дочурка моя любимая, дочечка моя маленькая, девчущечка славная, так и не успевшая сказать ни слова, тоже там... Может быть, потому не пришла никому в голову мысль о кладбище — тогда, на земле, — что никто и помыслить не мог, что наше подземное заключение продлится не два-три, ну четыре от силы года, а перевалит на второе десятилетие, и так ему все и не будет видно ни конца ни краю?..

Ход, по которому мы шли, расширился, луч фонаря повис в пустоте — мы были в пещере. Сегодня я пришел сюда уже второй раз. Первый раз я был здесь утром — долбил могилу для Декана. Долбил, садился передохнуть, отдавая инструмент напарнику, снова долбил, и все время, безотвязно стояла в голове одна и та же мысль: а может быть, где-нибудь здесь по соседству суждено лежать и тебе?

Рослый с Магистром, несшие носилки, поставили их около могилы, и Рослый, наклонясь, отвернул покрывало с лица Декана.

Все, путь был закончен, теперь лишь — проститься со своим другом. Отныне от бывшего Вольтова братства, что в туманной дали уже семнадцатилетней давности ринулось очертя голову в борьбу за метро, ведать не ведая, во что она выльется, отныне от этого Вольтова братства оставались лишь я да Магистр...

Мы зажгли все фонари, которые были у нас, и направили их свет на лицо Декана. Так мы стояли, глядя на мертвое, стекшее, с запавшими черными глазами лицо Декана, минуту, две, три, и, наконец, Волхв опустил на колено, оперся рукой о пол и поцеловал Декана в лоб. «Ну прощай, — сказал он. — Пусть земля тебе будет пухом». И все остальные тоже стали опускаться перед носилками на колено, целовать Декана — кто в лоб, кто в переносье — и говорить ему свое последнее, прощальное слово, едва ли слышимое им, но нужное нам, остающимся жить. Прощание закончилось. Рослый снова закрыл Декану лицо покрывалом, мы сняли застывшее тело с носилок и осторожно, ногами вперед, вложили его в нору могилы.

Это мы сначала, первые могилы рыли в полу пещеры. Потом мы поняли, что, если рыть в полу, пространства пещеры никак не хватит, и стали выдалбливать могилы в стенах. И если сначала хоронили в гробах, то сейчас, давно уже, просто в саванах. Дороже всего было здесь у нас дерево, что там какое-то зодото в сравнении с ним.

Снова в очередь, как кочегары в топку паровоза уголь, мы закидали могилу раздробленной породой, замесили в принесенном с собой ведре густой цементный раствор и заделали отверстие.

Теперь нужно было немного подождать, чтобы в слегка схватившемся растворе оттиснуть приготовленной доской на веки вечные имя Декана и годы его жизни.

И тут, пока мы стояли, снова в молчании, но, по вьезшейся в кровь привычке экономить свет, оставив гореть лишь один фонарь, на меня навалились прежние ожесточение и отчаяние, и я закричал неммым криком, отталкивая их от себя, собирая в кулак всю свою волю: «Нет! Черта с два!.. А сколько бы еще ни было впереди! Сколько бы ни было! Довести до конца, до последней точки! А иначе нечего было и затевать все! До по-

следней точки, до конца! Чего бы нам это ни стоило!..»

И после, когда уже шли обратно, я все повторял про себя как клятву: «До последней точки, до конца! Чего бы это ни стоило! До последней точки, до конца! Чего бы это ни стоило!..» Каменная крошка с грохотом шебаршила под ногами, опустевшие носилки, раскачиваясь на ходу из стороны в сторону, то и дело бились со скрежетом о выступы стен, побрякивал в пустом ведре мастерок, и я все повторял: «Чего бы это ни стоило! Чего бы ни стоило!..»

2

Ритуала поминок мы уже давно не соблюдали и, дойдя до жилых штолен, распрощались. Каждый пошел к себе.

Веточка ждала меня у дверей комнаты — еще издали, только свернув в свою штольню, я увидел маячащую в мерклом желтом свете редких ламп ее родную фигурку.

— Как вы долго там, — сказала она, вглядываясь мне в лицо напряженным, тревожным взглядом.

Мне был понятен ее взгляд. Эта напряженная тревога всегда появлялась в нем в такие вот дни, как нынешний, когда у меня что-нибудь происходило. Безотчетно, сама не замечая того, она как бы говорила мне: я тебя люблю, ты знай, и что бы ни случилось — я с тобой, всегда, во всем, до конца.

Я благодарно обнял ее и повлек в комнату.

— Зачем ты на сквозняке тут...

— Но вы так долго, — подняв ко мне лицо и продолжая глядеть на меня тем же взглядом, проговорила она.

— Ну, какое долго, — открывая дверь, сказал я. — Пока дошли, пока там... сама же знаешь.

Впрочем, ей вовсе не нужно было мое объяснение. Она действительно знала, что совсем не дол-

го, и просто пыталась так объяснить свое бессмысленное стояние в штольне.

Мальчики уже спали, и их угол комнаты тонул в темени. В нашем углу горела настольная лампа, освещающая на столе принесенный Веточкой из столовой мой ужин: миску с творогом, кусок пресной лепешки, кружку с остывшим, заваренным мятой чаем.

— Все без происшествий? — спросила Веточка.

Сердце ее говорило ей много больше, чем мои слова.

Но я не стал признаваться в том, что происходило со мной весь нынешний день. Не имел я права взваливать на нее свою муку. Этого только не хватало. Я должен был беречь ее. Не многим так повезло, как мне с нею.

— Никаких происшествий. Какие там происшествия... — отозвался я.

Я сел за стол, она села напротив меня, и электричество отключилось. И в самом деле, поздний уже был час.

Веточка зажгла мне фонарь, я поужинал, и мы стали укладываться.

И только мы легли, в дверь постучали.

— Кто это может быть? — с той мгновенно вернувшейся к ней прежней тревогой спросила Веточка.

Я вскочил и, светя перед собой фонарем, открыл дверь.

Из черноты штольни в лицо мне ударил такой же сноп света, и я ничего не увидел.

— Лег уже, что ли? — спросил меня из темноты голос Рослого.

Я опустил фонарь лучом вниз, он сделал то же самое, и я увидел его, а он, должно быть, увидел меня.

— Пойдем погуляем, — сказал Рослый.

— Нет, я лег уже, — отказался я.

— Пойдем пройдемся, — снова позвал Рослый. — Надо. — И я понял, что это не блажь с его стороны, действительно надо.

— Все-таки что-то случилось, да? — спросила меня Веточка, когда я одевался.

Но ответить ей ничего вразумительного я не мог.

Рослый ждал меня чуть поодаль от нашей комнаты. И в ожидании, светя фонарем, рассматривал болтовое соединение в металлическом креплении штольни.

— Как думаешь, сколько лет еще выдержит? — сказал он, тыча фонарем в соединение, когда я подошел.

— Да пока, полагаю, беспокоиться нечего, — сказал я.

— Ну, лет двадцать, а? — сказал он, по-прежнему держа соединение в пучке света.

— Да, пожалуй, — сказал я.

— Пожалуй, пожалуй... — повторил Рослый и пошел по штольне к главному коридору, и пошел за ним следом я.

С минуту мы двигались молча — я ждал, а Рослый все не заговаривал, и наконец он сказал:

— Волхв к тебе еще не подкатывался?

Я не понял.

— Что ты имеешь в виду?

Рослый снова молчал какое-то время.

— Значит, еще нет, — сказал он затем. — Или хитришь?

Я разозлился. Последнюю пору он постоянно позволял себе разговаривать вот таким образом — будто высший судья, будто уличая тебя в чем-то, — и эта его манера выводила меня из себя.

— Давай-ка ты сам не ходи вокруг да около, — сказал я. — Давай попрямее.

Я осветил ему фонарем в лицо, и Рослый, недовольно сморщившись, отвернул лицо в сторону.

— Ладно, — сказал он, когда я отвел фонарь, — мне понятно. Не подкатывался к тебе. Ясно. Почему-то стесняется тебя. Меня — нет, Магистра — нет, а тебя стесняется. Странно. Ты не обратил на него внимания сегодня? Совсем к черту расквасился.

— Ну положим, — пробормотал я. У меня было ощущение, что Рослый сказал это про меня самого. — Сегодня-то... что ж удивительного.

Рослый резко остановился, поймал меня за рукав и, развернув к себе, заставил тоже остановиться. Лицо его оказалось у моего лица, и меня обдало его дыханием.

— Волхв хочет наверх, ясно? Просится, ясно? Чуть не плачет, просится. Хочу, говорит, умереть на земле. Главное, говорит, сделано, дело крутится, а я уже старый, толку, говорит, от меня все меньше и меньше, только буду тут у вас хлеб есть!

Меня окатило холодом. Я вспомнил не Волхва — каким он был нынче, я вспомнил себя. Не очень-то я далеко ушел от него; разве что он просился наверх, а я изо всех сил отпихивал от себя вопль об этом.

— Это что... сегодня?

— Сегодня, ясное дело, — грубо сказал Рослый. — Все сегодня. Понимаешь, надеюсь, значение события?

Конечно же я понимал.

Мало того что это был Волхв, старейшина, патриарх нашего движения, человек, на биографии, на судьбе которого учились наши дети, что было ужасно само по себе; но это ведь был именно Волхв, старейшина, патриарх, и как мы могли ему отказать? Однако не отказать ему — создать прецедент, и чем тогда все закончится?

— А что Магистр? — спросил я.

Рослый выругался.

— А тоже расквасился, глядеть тошно. Он за то, чтобы отпустить.

— В самом деле? — Я удивился. Неужели обычная ироничная трезвость до того изменила Магистру, что он способен закрыть глаза на те невероятные осложнения, которые неизбежно возникнут у нас, позволь мы Волхву выйти наверх.

— А ты нет? — вопросом на вопрос ответил мне Рослый.

— Я не знаю, — честно сказал я. — Для меня это полная неожиданность. А что ты?

— Пойдем, — тронул меня за плечо Рослый. Мы пошли, светя себе под ноги, и он сказал: — А пусть уходит, черт с ним, что делать!

— В самом деле? — снова непроизвольно спросил я.

— А что делать?! — взмахнув руками, едва не закричал Рослый. — Ты можешь ему сказать — нет?! И Магистр не может. А почему, считаете, я могу? Он так просится, такой жалкий, смотреть на него...

Рослый недоговорил.

— А почему ты считаешь, что я «не могу»? — спросил я. — Я тебе не говорил такого.

— Не говорил, а понятно, — сказал Рослый. — Что я, не знаю тебя. «Полная неожиданность»... — передразнил он меня.

Я снес его шелчок молча. Наверное, он был прав.

— Ну и как же он собирается выходить? — спросил я.

— А не догадываешься? — Теперь в голосе Рослого я уловил усмешку. — Через канал, конечно, как еще.

— А-а, — протянул я.

Но я и действительно даже не подумал, что через канал. Вовсе он у нас не был приспособлен для того, никогда, ни один человек не выходил через канал на землю и не спускался оттуда к нам.

Да, подземное наше хозяйство было натуральным. Но если быть точным до конца, вполне автономными мы все же не были. Правда, то, что мы получали через канал, было во всем нашем хозяйстве не более чем каплей в море, и однако же обойтись без этой «капли» мы не могли, и не могли произвести ее здесь, под землей.

Нам не из чего было получать бумагу — раз, мы оказались не в состоянии вырабатывать многие лекарства — два, и не удалось отыскать никакого, пусть бы самого тощего, месторождения соли —

три. Мы обеспечивали себя даже одеждой, изготовляя материю из синтетических волокон и немного, для детей, — из хлопка, семена которого также были взяты нами сюда, а вот солевой, лекарственный и бумажный узел никак нам развязать не удавалось. Ради бумаги, лекарств и соли и существовало у нас маленькое, подобное игольному ушку, отверстие на землю, которое с чьей-то легкой руки мы называли каналом.

Он действовал раз в год, в заранее условленное число, ночью. В одной из дальних вентиляционных шахт останавливалось и разбиралось все оборудование, и в освобожденный узкий зев спускались к нам на канате одна за другой подготовленные земные посылки. Знали о канале все в нашем подземном городе, но право на приказ о демонтаже имели только несколько человек: когда-то и Инженер с Деканом, а нынче вот — Рослый, Магистр, Волхв, я... Последние же годы каналом занимался обычно Рослый.

— Я хочу поговорить с Волхвом, — сказал я. — Может быть, мне удастся уговорить его отказаться от своей мысли.

— Поговори, даже обязательно, — мгновенно отозвался Рослый. — Только, уверен, ни черта у тебя не выйдет. У него одна песня: «Хочу умереть на земле», — другой не знает. Так что особо и не трудись, не нажимай особо. Обдумай лучше, как будем его уход объяснять. Вот задача тебе. Задача так задача. Над ней давай поломай голову.

Веточка, когда я вернулся, конечно же не спала.

Я передал ей наш разговор с Рослым, и она, помолчав, сказала с уверенностью:

— Он хочет, чтобы Волхв ушел от нас. Почему-то ему на руку его уход. Он хочет, хочет, только конечно же скрывает это.

— Ты слишком категорична. — Что-то в поведении Рослого заставляло меня тоже подозревать его в подобном желании, но зачем ему желать это? И

подозревая я не верил своему подозрению. — Просто он внутренне уже согласился на его уход.

— Согласился, конечно, — упрямо сказал в крошечной тьме над моим ухом голос Веточки. — Еще и потому, что рад его просьбе.

— Ну ладно, ладно, — проговорил я примирительно, — вот я еще сам потолкую с Волхвом, и будет видно.

Но с Волхвом назавтра никакого разговора не получилось.

И в самом деле он был словно бы не в себе, он не слышал ничего, что я говорил ему, и на любые мои слова отвечал, как заведенный, одно и то же:

— Но ребята не против! Ребята не против! Даже Рослый! Рослый меня понимает. Почему ты не понимаешь? Только ты, один ты! Почему?!

В голосе его была истерическая беспомощная горячность, казалось, сейчас, в следующее мгновение, он разрыдается, и такой конечной, последней усталостью были налиты его блеклые, потерявшие цвет глаза, что, не зная я его прежде, никогда бы не смог представить, как они могут быть яркие, как жарко, как зажигающе могут гореть.

— Бог тебе судья, — только в конце концов и оставалось мне сказать ему.

Никаких проводов Волхву перед его ночным уходом через канал спустя три дня мы не устраивали. Я лично попрощался с ним еще утром, столкнувшись в диспетчерской по пути в забой. «Всего тебе», — сказал я, подавая руку. Он было подался ко мне обняться, я отстранился. «Напрасно ты так», — сказал он. Но я ему не стал даже отвечать. И прожил весь день как обычно — работая на своем участке в забое, и по-обычному провел вечер — занимаясь в школьном гимнастическом зале с прикрепленной ко мне группой мальчиков. Канал был не моей заботой, хлопоты, связанные с подготовкой его к работе, меня не касались. Канал был заботой Рослого.

То, что ждало меня наутро, не могло присниться ни в каком, самом кошмарном сне.

Оказывается, Рослый чувствовал себя вчера нездоровым, попросил Магистра заменить его на приеме посылки; в том числе и проводить наверх Волхва, и Магистр, воспользовавшись этим, пытался уйти вместе с ним.

— Не может быть, — не поверил я Рослому, когда он, не в силах сдержаться, матерясь через слово, рассказал мне о Магистре.

— Не может только мужик родить, ясно?! — кричал в ответ Рослый. — А он едва не ушел! Случайность только и помешала! Он уже наверх поднялся, ему только из корзины на землю ступить осталось! Парнишка, помощник, что внизу был, раззява попался. Тормоза не зажал, а противовес уже снимать стал. Скинул два блока — корзина и ухни вниз. Так наш друг и полетел: одной ногой внутри, другой наружу, всю пятку, пока летел, о стенки размолотило!

— Да ты что?! — произвольно воскликнул я. — Но жив он?

— Жив, слава богу.

Как-то странно произнес Рослый это свое «слава богу», как-то плотоядно вышло у него это, и я внимательно вгляделся в его лицо.

— Ты что, крови жаждешь?

— «Жажду» я! — Рослый сплюнул. — Дико ты выражаешься: Вампиром меня назови еще! Он нашему Делу изменил. Он изменник! А изменника, ты считаешь, нужно прощать?

— Но Волхв ведь тогда тоже изменник?

— Волхва мы отпустили! Он с согласия! И он старый, ему помирать, а Магистр в самом соку, ему пахать да пахать! Вот разница, ясно?!

Я был ошеломлен этой новостью о Магистре, раздавлен напором Рослого, и голова у меня ничего не соображала.

— И чего же ты хочешь? — тупо спросил я.

— Пусть отвечает за то, что сделал. Перед всем народом пусть отвечает. Пусть народ выскажется, что думает по этому поводу. Пусть назначит наказание.

— Где он сейчас?

— Кто? Магистр? — переспросил Рослый. — В медблоке, конечно, где еще.

— Увидеться я могу с ним?

— Ну нет! — Тон Рослого сделался жесток и враждебен. — Кто-кто, а ты с ним не встретишься до самого суда. — Вы — Вольтовы братья, у вас свои, давние отношения, ты не можешь быть объективен. На суде толкуй с ним сколько угодно, а до суда — нет!

Я взъерился. Я уже не впервые отмечал для себя, что Рослый стал последнюю пору непонятно подозрителен, недоверчив, но в данном-то случае с какой стати он в чем-то подозревает меня, почему вообще чувствует право на это?!

— А ты не находишь, что ты меня оскорбляешь? — слыша, до чего накален мой голос, едва управляя собой, сказал я. — Не находишь, что я могу встретиться с Магистром и без твоего соизволения? Если ты так, то ведь я могу и эдак. Начхать на твое мнение — и пойти к нему.

Рослый отрицательно качнул головой:

— Начхать можешь, а пройти не пройдешь. Тебя не пропустят.

— Не пропустят? — поразился я.

— Да. Я выставил охрану.

— Охрану? — Я все больше изумлялся.

— Охрану, — подтвердил Рослый. — И подчиняется она только мне. А твое слово для нее — пшик, и не больше.

От моей ярости ничего не осталось. Сообщение вытеснило ее напрочь. Он что, захватывал власть, что ли?

— Да чего ты хочешь все-таки? — спросил я.

— Того же, надеюсь, чего и ты. Довести наше Дело до конца. — Рослый не просто выделил «Дело»

голосом, не просто подчеркнул его, оно прозвучало у него так, словно бы он покачал его голосом, словно бы он баюкал младенца.

— Но при чем здесь суд над Магистром?

— При том! При том, что мы на краю катастрофы. Люди устали. У людей энтузиазм кончился! Ясно? Три попытки побега за последние полгода — это не знак? Душеспасительные беседы с ними провели, в медблоке на психотерапии подержали — и думали, все нормально? Ничего не нормально. А завтра они не поодиночке рванут, а сразу сто человек! А потом еще сто да еще двести. Высокий у нас моральный дух воцарится? А как все побегут, тогда что? А побегут, побегут, к тому дело идет. Вы же слюнтяи все, с Волхвом вместе, вы палец о палец не ударили, чтобы правде в глаза взглянуть, я один решился. У меня целый штат осведомителей работает, ясно? Я знаю, к чему дело идет! И контрмеры мною уже продуманы.

Рослый не прокричал мне все это, как можно было бы ожидать от него, он словно бы объяснял мне ситуацию, просто втолковывал очевидное и, обругав меня, — «Вы же слюнтяи все!», — тут же как бы и простил, отступился извинительно: ну уж ладно, впрочем, какой есть.

А я ощущал себя будто парализованным. Изумление, охватившее меня, уже нельзя даже было бы назвать изумлением, это был какой-то столбняк, оцепенение какое-то, полная душевная разбитость.

Но все же я нашел в себе силы повторить свой вопрос:

— Так и при чем здесь суд над Магистром?

Во взгляде Рослого, каким он смотрел на меня, блестела пустая, металлическая жесткость. Но враждебности в этой жесткости теперь не было.

— Да при том, чтобы видели, что спуску отныне не будет никому. Даже ветеранам движения, ясно? Одному позволили, а другого — к позорному столбу! Мы должны опустить шлагбаум. Закрывать занавес — и чтоб ни щелки. Все, больше никаких «ка-

налов». Абсолютно никаких сношений с землей. Иного выхода у нас нет. Чтобы все знали: поднимемся, только когда закончим. Ясно? Я все продумал. Без бумаги обойдемся. Жили шумеры с глиняными табличками? Сможем и мы. Для школы понаделаем грифельных досок. И без соли обойдемся. Я получил надежную консультацию. Оказывается, мы расходует ее в десять—пятнадцать раз больше, чем требуется нашему организму! Для вкуса расходует! Такое расточительство, что нет слов! Вот и будем потреблять ее в пятнадцать раз меньше. Сколько нужно. А вкусовые пристрастия — дело искоренимое. Привыкнем. Запаса, что есть, хватит нам лет на тридцать. С чем сложнее, это с лекарствами. Их ничем не заменишь, для вкуса их не пьют. Но будем обходиться и без них, теми, что делаем сами. Смертность, разумеется, подскочит, особенно детская, но придется пойти на подобную жертву. Ради Дела.

Он снова произнес это слово так, будто баюкал младенца. И я в этот миг подумал почему-то о том, что он, как и в годы молодости, по-прежнему одинок; как одиноки были Волхв и покойный Декан. Но ни Декана, ни Волхва теперь нет...

— Может быть, ты прав, — сказал я. — Мне надо обдумать твои предложения. Очень может быть. Но не надо устраивать над Магистром никакого суда. В этом я уверен.

— А я уверен, что надо! Мы не имеем права ничего утаивать от народа. И как народ решит поступить с ним, так и будет. Ясно? Народная воля — высший судья, ты согласен?

Вопрос был довольно риторический, и я пробормотал:

— Пожалуй.

— Ну вот, — удовлетворенно сказал Рослый. — И надеюсь, ты будешь вместе со всем народом. Я вообще надеюсь на тебя. Надеюсь, что ты будешь со мной. Во всем и до конца.

А, вот он почему был так откровенен, вот почему так подробно все объяснял. Он хотел, чтобы я был его союзником. И ухода Волхва — правильно почуяла Веточка — он тоже хотел, оно ему было на руку, это Волхвово желание, весьма на руку. Магистра же сейчас он хотел скомпрометировать как своего возможного противника и тем самым просто-напросто вывести его из игры. А мне, значит, была уготована роль союзника...

— Я ни с кем, я с нашим Делом, — сказал я.

— Ну и прекрасно, — отозвался Рослый. Вскинул над головой руку и помахал.

И только тут я заметил. Разговор наш происходил в диспетчерской, довольно большом, ярко освещенном сильными лампами искусственном зале, всегда в эту пору людном — как было нынче, — и вдруг вокруг нас никого не стало. Было полно народу, когда мы начали разговор, и никого не стало, все отделились от нас, оставив нас для разговора один на один. И лишь сейчас, по знаку Рослого, двинулись, зашумев, на свои прежние места, как, видимо, по какому-то другому, не замеченному мной знаку, и оставили нас одних.

Выходит, Рослый действительно осуществлял захват власти. Для того чтобы узурпировать ее, нужен момент, стечение обстоятельств, а к этому моменту — группа надежных, беспрекословно подчиняющихся тебе людей, и, судя по всему, такая группа была им создана, а момент настал. Декан умер, Волхв покинул нас, Магистр совершил поступок, лишивший его права стоять во главе нашего Дела, а я один в счет не шел.

— И когда же суд? — спросил я Рослого.

— Когда, по вашим расчетам, он оправится? — найдя глазами в окружавшей нас толпе врача, спросил Рослый.

— Через недельку, я полагаю, — подсунувшись вперед, с подобострастием проговорил врач.

Это был тот самый врач, что устроил истерику перед постелью умирающего Декана. А делать ему

здесь, в диспетчерской, в этот час, отметил я про себя, было абсолютно нечего.

— Ну вот, через недельку, — вновь поворачиваясь ко мне, ответил Рослый.

4

Есть выражение «как во сне».

Я прожил эту неделю до суда впрямь будто во сне. Меня мучили наяву такие кошмары, какие мне никогда и не снились. Мне чудилось, что это будут судить меня, а не Магистра, мне уже казалось, что это я, а не Магистр, пытался убежать на землю, оставляя здесь, под землей, свою семью... о, ведь я сам, сам был рядом с этим желанием, на волос от него! Мне вспоминалось, как, хороня Декана, я захлебывался — невидимо для всех! — в постыдном, щенячьем чувстве усталости и ожесточения, и я был не в состоянии осуждать Магистра, я не ощущал в себе ненависти к нему или презрения, не ощущал его изменником, во мне не было к нему ничего, кроме жалости...

И вот он настал, день суда. Посланец от Рослого известил меня накануне, что суд состоится не в Главном зале, как предполагалось вначале, а прямо на производствах.

— Как это? На всех сразу? — недоуменно спросил я посланца.

— Как это на всех сразу! — усмешливо ответил мне он. «Дурной вы, что ли!» — услышал я в его голосе. — Начнем на одном, продолжим на другом, переберемся на третье... Чтобы суд к людям пришел, а не они в суд. Ясно?

Должно быть, он не заметил, что ответил мне совершенно в манере Рослого — повторил буквально все его интонации и даже добавил в конце «ясно».

Первое заседание началось в сталеплавильном цехе. С шумом работали вентиляторные установки,

вытягивая из помещения дымный смрад, утробно гудела электродуга конвертора, адски играющего красными отсветами расплавленной стали на колпаке вытяжки, а столпившийся напротив судейского стола, на некотором расстоянии от него, народ и то и дело поглядывал в сторону этого гигантского футерованного котла — скоро должна была начаться разливка стали, и все ждали сигнала занять свои рабочие места.

Как ввели Магистра, я не заметил. Я только увидел, что он, поддерживаемый под руки двумя людьми, выставив вперед загипсованную ногу, с черным, измятым, осунувшимся лицом уже усаживается на стул сбоку судейского стола, и я бросился к нему из глубины зрительской толпы, растолкав ее в один миг.

— Спокойно! — выступил откуда-то со стороны человек, загораживая мне путь. — Вступать в контакт с подсудимым запрещено. Только с разрешения суда.

Магистр тоже рванулся было ко мне, вскочив со стула, но загипсованная нога мешала, да он и не сделал ни шага — под руки его тут же подхватили его сопровождающие, и дорогу ему точно так же, как мне, заступил вынырнувший неизвестно откуда еще один человек.

Мы обменялись с Магистром взглядами — глаза у него были потухшие, покорные, измученные, — и я вернулся в толпу, а он сел обратно на свое место.

Рослого нигде видно не было. Может быть, откуда-нибудь издалека он и наблюдал за судом, но ни за самим судейским столом, ни в зрительской толпе он не присутствовал.

Магистр признался во всем сразу, мгновенно, едва лишь начался суд. Да, хотел сбежать, ответил он. Специально попросился нынче осуществлять канал, чтобы сбежать. Если бы удалось сбежать, то никогда бы уже, естественно, не вернулся...

Из-за шума в цехе слышно было плохо, и всем — и судьям, и Магистру, — чтобы слова их были понят-

ны, приходилось кричать. И еще было невыносимо жарко, все обливались потом, и у кого не нашлось платков, давно уже почитавшихся у нас великой роскошью, вытирали лица подолами рубашек и рукавами.

Я поднял руку:

— У меня вопрос.

— Вообще-то не положено, — ответил председательствующий, — но вам можно. Задавайте.

— Насколько мне известно, — прокричал я, обращаясь к Магистру, — тебя попросили подменить кое-кого заболевшего. Не ты сам захотел, а тебя попросили.

— Нет, это я сам захотел, — бесцветным голосом, с механической заведенностью громко ответил Магистр.

— Если сам, то мне интересно, чем ты мотивировал свою просьбу? Ведь обычно связь осуществляет...

— Вам отвечено! — резко прервал меня председательствующий. — Несущественные вопросы судом не принимаются. — И обратился к Магистру: — Как бы вы сами квалифицировали свой поступок?

— Измена, — тут же, без паузы отозвался Магистр.

— Та-ак! — произнес председательствующий, собираясь, судя по всему, подводить какой-то итог, и вдруг спохватился: — Да! Давайте выслушаем свидетеля. У подсудимого во время производившихся работ был помощник, и это благодаря ему не удался побег!

Парнишке-свидетелю было лет тринадцать, чуть-чуть побольше, чем моему старшему. Видимо, один из наших первенцев, рожденных здесь, зачатый, неизвестно для своих родителей, еще на земле. Но с какой это стати он оказался в помощниках у Магистра? Детей его возраста мы уже использовали на различных работах, но только на легких, в коллективной форме, и, конечно, не ночью!

Четко и внятно — как в армии согласно уставу, вспомнилось мне из земной жизни, полагалось от-

вечать командиру, — парнишка ответил на все заданные вопросы, рассказав о том, о чем я уже знал: как корзина с Волхвом и Магистром ушла вверх и он, не дождавшись почему-то сверху сигнала о спуске, начал скидывать с лебедки бетонные блоки противовесов, и, только скинул два, корзина полетела вниз...

— У меня вопрос! — снова поднял я руку, когда допрос парнишки был завершен.

— Ну задавайте! — снова разрешил председательствующий.

— У меня вопрос к свидетелю. Меня интересует, как он оказался на индивидуальной работе да еще в ночное время?

— Ответьте, свидетель, — сказал председательствующий.

— Я являюсь членом Детского комитета добровольной помощи Делу, — все так же четко и внятно ответил парнишка, чего нельзя было сказать о сути его ответа.

— Есть такой комитет? — удивился я. — И что из того, что вы состоите его членом?

— Вам отвечено! — не давая парнишке открыть рта, прокричал председательствующий. — Несущественные вопросы судом не принимаются. Идите, свидетель, — отпустил он того. И обратился к зрительской толпе: — Случай, который мы сегодня рассматриваем, особый случай. Подсудимый являлся до самого последнего времени одним из наших руководителей. Мы долго не придавали попыткам и случаям побега должного значения. И зря не придавали! Вы слышали, подсудимый сам назвал себя изменником. А чего заслуживает изменник? Во все века заслуживал?!

— Черт! — проговорил рядом со мной голос. Я глянул — это был сменный начальник конвертора, я знал его. — Уже время сталь выпускать!

— Ну, еще погодим немного, — ответил ему его сосед.

— Так чего заслуживает изменник? — повторно прокричал председательствующий. — Нас ваше мнение, мнение трудового народа, интересует!

И из толпы, до сих пор безучастной к происходящему, совершенно неожиданно для всех выкрикнули:

— Смертной казни!

И тотчас все всколыхнулись:

— Да уж так-то зачем!

— Других прощали!

— Других лечили!

— А он что, сорваться не мог, если руководитель?

Председательствующий поднял руку и держал ее так.

— Нет! — сказал он жестко и решительно. — Этого мы больше терпеть не можем. Не будем терпеть! Кто это там простить хочет?!

Теперь ему ответили полным молчанием. Словно бы какая-то тяжелая железная волна прокатилась в воздухе от его слов — и вбила всем языки в рот.

И в этой человеческой тишине, перекрывая шум работающих цеховых механизмов, тот же голос, что прежде, крикнул:

— К смертной казни его, изменника!

И теперь толпа не отреагировала на этот выклик ни единым словом.

Только спустя мгновение начальник конвертора рядом со мной закричал:

— У меня разливка начинается! Мы долго еще будем, нет?

— Все, все! — тотчас вскинулся председательствующий. — Мнение вашего производства ясно. Все свободны!

Двое других членов суда не вымолвили с самого начала судебного заседания до самого конца ни звука. Они просидели здесь кем-то вроде одушевленных манекенов, в необходимый миг поворачивающих голову в сторону говорящего, делающих

строгий, неподкупный вид, что-то там у себя записывающих...

Всех троих я прекрасно знал. Председательствующий был спортсменом в прошлом и вел у нас в школе уроки физкультуры, эти двое, как и я, были недоучившимися студентами, только горняками, и работали на проходке штолен. И все трое за всю пору, что мы находились здесь, никогда ничем не выделялись: ни особой какой-то энергией, ни поступками — были, в общем, как все.

— Вы, если желаете, можете пойти с нами, — подзвав меня, разрешил мне бывший спортсмен. — Мы сейчас на старую электростанцию.

Я, разумеется, пошел.

На электростанции судебное заседание проходило в пультовой, было тихо, спокойно, и даже хватило на всех стульев и табуретов, никому не пришлось стоять, но в остальном все повторилось, как в сталеплавильном цехе. Магистр признал свою вину, рассказал в подробностях, как происходило дело, назвал себя изменником; я снова попробовал было задать какие-то вопросы, и снова председательствующий обошелся со мной прежним манером; парнишка-свидетель поведал, как получилось, что он не дал совершить подсудимому побег, только на этот раз бывший спортсмен не забыл о нем и дал ему слово в более подходящем месте. И еще было одно отличие от процесса у сталеплавильщиков. «Металлурги предложили смертную казнь, — объявил бывший спортсмен, окидывая взглядом собравшихся людей. — А как считаете вы?» И все, в остальном не было никаких отличий.

А потом то же самое повторилось в теплицах, на химическом производстве, в конструкторском бюро у машиностроителей...

Это был какой-то бред; какой-то шутовской, дурацкий спектакль. Казалось, все ответы Магистра были заранее заготовлены, как и вопросы, что задавались ему, и он только механически, заученно

долбил то, что полагалось. Во всем происходящем было что-то картонно-бутафорское, невзаправдашнее, но оттого — лишь еще более страшное и жуткое в своей несомненной реальности.

5

В очередное место я с судом не пошел, а бросился разыскивать Рослого. «Что это? Что происходит?! — хотелось мне заорать Рослому в лицо, схватив его за грудки. — Какой смертный приговор? С ума они сошли?! Ну если и пытался бежать, при чем здесь смертная казнь?!»

Рослого, однако, нигде не было. Я обшарил все мыслимые и немыслимые места, где бы он мог находиться, но его нигде не было. Я обзвонил едва ли не все номера нашей телефонной станции, его не оказалось ни по одному телефону.

Я пробегал по штольням из помещения в помещение часа четыре — все безуспешно; Рослый нашел в конце концов меня сам. Умаявшись и обессилев, я притащился в столовую, чтобы съесть свой обед, порция была мне оставлена, я съел ее, собрался уходить, и тут меня позвали к телефону. Рослый поинтересовался, был ли я на суде, и, не успев я раскрыть рта, чтобы сказать, что думаю об этом суде, попросил меня прийти к нему сейчас в его жилую комнату.

Мимо его комнаты, рыская по штольням, я пробегал раз десять — дверь в нее была не заперта, приоткрыта, и комната стояла пустая.

Рослый дал мне обрушить на него все мое возмущение, весь мой гнев, он терпеливо и молча выслушал все, что я кричал ему, и, когда я выкричался, подошел ко мне, обнял, постоял мгновение недвижно, отстранился и посмотрел мне в глаза долгим тяжелым взглядом. Так мы обнимались, встретившись над постелью умирающего Декана.

Только тогда, войдя в смертную комнату, обнял Рослого я.

— Понимаю тебя, — сказал он. — Как еще понимаю... — В нем не было ничего от обычного Рослого — взрывчатого, шумного, несдержанного; и голос его был тих, печален и в самом деле будто светился пониманием. — Но что делать, что делать... Народ осатанел. Люди устали, я же говорил. Все закономерно. На меньшее, чем смертный приговор, они не согласятся. И требование их, видно, придется удовлетворить. Что делать.

— Что?! Удовлетворить? Ты с ума сошел! — закричал я. Кожу на голове мне продрало морозом. — Да это же подсадные, кто требовал! Народ того во все даже и не желает!

— Подсадные? — неверяще посмотрел на меня Рослый. — Да что ты, какие подсадные? Откуда они могли взяться? Кто это их мог посадить?

«Ты!» — хотел крикнуть я. И не решился. Не было во мне полной, окончательной уверенности. Всегда, всю жизнь нужно мне было прямое свидетельство для уверенности и крепости в действиях, прямое доказательство. А такового у меня не имелось.

— Да нет, какие подсадные, — повторил Рослый. И снова посмотрел мне в глаза — долгим, тяжелым, полным печали взглядом. — Мы перед крутым поворотом, понимаешь? На таком повороте легко опрокинуться. Занесет — и вверх колесами. Ясно? Мы не имеем права допустить подобного. Народ требует смерти — мы должны подчиниться. Народ хочет жертвы. Ясно? Крови хочет. Ему разрядиться нужно. Что поделаешь, если Магистр подвернулся с этим своим побегом...

Я молчал. На меня снова нашло то оцепенение, что уже схватывало меня столбняком в прошлый раз, когда Рослый, сообщив о суде над Магистром, говорил о необходимости «опустить шлагбаум». Я понимал: все предрешено, и у меня, главное, нет способа изменить что-либо, нет сил!

И все же я одолел свой столбняк.

— Это ты хочешь крови, — сказал я, с трудом ворочая языком. — Это тебе нужна жертва. Тебе!

Рослый закричал — будто оборвал в себе разом некую привязь, что держала его в состоянии тяжелой, раздавливающей печали.

— Не мне! — закричал он. — Не мне! Ясно?! Всем нужна! И тебе тоже! — Изо рта у него белыми ключьями полетела слюна. — Большое дело только на крови крепко стоит! Кровь — как известь в кладке! Кровь виной связывает! А пуще вины нет ничего, такими нас Господь создал: без вины все из хомута норовим, а с виной и тройной воз — пушинка! Ясно? Это вы, слюнтяи, ничего знать не хотели, видеть не желали, что происходит! Все на меня сейчас свалить хочешь? Не выйдет, не приму! Так вот выпало Магистру — нечего было драпать. А мог и ты подвернуться! Любой мог подвернуться! Любому могло выпасть! Выпало бы тебе — я бы сейчас с тобой здесь не разговаривал!

Он умолк так же внезапно, как и сорвался в крик. Вытер ладонью слюну с подбородка и губ и затем обтер ладонь об одежду.

— Я тебя вот зачем видеть хотел, — сказал он наконец снова тем же тихим, тяжелым и словно бы печальным голосом. — Кто-то ведь должен будет приговор в исполнение привести. И со стороны тут никого не позовешь. При чем тут со стороны кто-то? Кто-то близкий должен быть. Ну не жена, конечно. Но очень близкий.

Чего-чего, но подобного я не ожидал никак. Он предлагал взять на себя эту страшную обязанность мне!

И сразу все, о чем он говорил прежде и чему я ужасался, померкло перед этим его предложением, заслонило им, не оставив в мире ничего другого.

— Ты сошел с ума... — слыша, как дрожит у меня голос и не в силах придать ему твердость, не ска-

зал, а как-то прорычал я. — У тебя, видно, не все дома... Требуешь крови... и хочешь, чтобы убийцей стал я? А почему тогда чужими руками... почему не своими?

Рослый, казалось, ждал этих слов.

— Я на себя и без того взвалил столько, — тут же, едва дав мне умолкнуть, заговорил он, — сколько из вас никто не унес бы. Почему это я и дальше все на себя должен взваливать? Вы слюняйничали, я пахал, теперь давай впрягайся и ты, настала пора. Ясно? Я же сказал, все на себя одного принимать не буду. А кроме тебя, ближе ему нет никого. Вы же — Вольтово братство! От руки, так сказать, брата... в этом свой смысл, весьма символический... да суть в общем-то вот в чем: ты и никто другой — выбора тут нет.

— Я отказываюсь, — стараясь придать голосу твердость и слыша, что он все же дрожит, сказал я. — Отказываюсь, понял?

— Да понял, понял, — сказал Рослый. — Нелегко согласиться, конечно. За то я тебя и люблю — за верность твою, за надежность. Но сейчас ты смешиваешь две верности. Верность личным привязанностям и верность Делу. Высшую и низшую. Ясно? А ведь ты философ, вспомни, должен уметь разделять понятия. Если верность Делу для тебя высшая, ты обязан низшею поступиться. Если наоборот...

Он приостановился, я ждал, глядя на него, и он продолжил:

— Если наоборот, придется отдать под суд и тебя. Не в наказание, нет. Просто не вижу иного выхода. Или ты с нашим Делом, а значит, со мной. Или против меня, а значит, против Дела. А кто против Дела — тот враг. Ты на грани того, чтобы стать врагом Дела. Ясно?

Я слушал его и с ужасом ощущал, что в этой дикой его софистике все правда: власть была им захвачена, узурпирована, и пойдя я против него — я оказывался врагом Дела; оказывался вне Дела, вы-

толкнут из него, и зачем она была мне нужна, такая жизнь?

— Обдумай как следует все, что я тебе тут говорил, — сказал Рослый. — Обдумай, обдумай. Времени у тебя — до завтрашнего дня. Воля народа уже ясна. Объявим ее нынче вечером по трансляции, а завтра в Главном зале приведем в исполнение. Ты не пугайся, никаких секир. Все просто, как в Америке. Вполне гуманно. Электрический стул. Высокое напряжение. Только замкнуть сеть рубильником.

Искушение ударить его было так велико, что от сдерживаемого желания у меня заломило в висках. Ну ударил бы я его, и что бы от того изменилось? Власть была им захвачена, узурпирована, и у меня оставался один путь, чтобы служить нашему Делу и дальше...

В дверь комнаты постучали, и она приоткрылась. На пороге стоял один из тех малоизвестных мне людей, что сегодня во время суда, будто из воздуха возникая и в нем же исчезая, бдительно следили за поддержанием некоего, им лишь одним известного порядка.

— Что такое? — недовольно спросил Рослый.

Однако он подошел к человеку, перемолвился с ним несколькими словами, и человек исчез. Рослый плотно закрыл за ним дверь и подпер ее спиной.

— Мне, к сожалению, — сказал он, — пора уходить. Но я думаю, тебе в принципе все понятно. И надеюсь, что Дело для тебя превыше всего. Ведь я знаю, что превыше всего. Вот за это я тебя, собственно, и люблю. Для меня самого — ничего в жизни, кроме нашего Дела. Через что б ни пройти, но довести его до конца!

Он много раз за нынешний наш разговор произнес это слово — «Дело», и всякий раз оно звучало у него так, словно он баюкал на руках младенца.

— До утра. Утром свяжусь с тобой! — распахнул Рослый передо мной дверь и, выпуская, приобнял на ходу, подзадержал.

Я шел по освещенной дневной штольне к себе в комнату, громко хрустя гравием, и у меня было одно желание: удавиться. Прийти к себе, запереться и удавиться.

Велик, однако, инстинкт жизни. Пойди-ка сломи его, как ни сильно твое желание уйти из нее. Найдя веревку и связав петлю, я накинул ее себе на шею, потянул вверх... но, как только дыхание перехватило, тут же судорожным движением распустил петлю...

Ночью в постели, в крошечной, глухой тьме я рассказал Веточке обо всем. Не потому, что не мог сдержаться. Пожалуй бы смог. Но дело касалось ее судьбы в такой же степени, как и моей. Повседневные заботы нашей совместной жизни были у нас разные, а судьба — одна. И что бы ни произошло со мной, тотчас это с тою же силой непреложно отозвалось бы на ней.

Она плакала — какая женщина не даст слезам воли при подобных известиях? Она понуждала меня вновь и вновь, всю бессонную ночь, обладать ею — был ли то инстинкт жалости и сострадания или же только самосохранения? Впрочем, разумеется, это не важно. Я лег с нею в постель студенистой амёбой о-растекшейся волей, не годным ни на что, кроме как желать себе смерти, а поднялся крепким, уверенным в своих силах, собранным в кулак, готовым вынести все, что должно.

Дождаться звонка Рослого я не стал, позвонил сам. Он еще спал, пробурчал сонным голосом, что я понадобится ему позже, и собрался положить трубку, но я заставил его говорить со мной. «Это еще зачем?!» — вмиг проснувшись, спросил он, когда я сказал, что должен встретиться с Магистром. И однако ему пришлось уступить и дать разрешение на встречу; причем не через час, не через два, а сейчас, немедленно, как того хотел я.

Магистра содержали все так же в медблоке, и в камеру его была превращена та самая палата, в которой умер Декан. Он не лежал на кровати, не сидел на табурете — единственной мебели, оставшейся от всей обстановки палаты, — он стоял на четвереньках в углу, уткнувшись головой в сретенье стен и пола, и на звук открывшейся двери, что впустила меня, не шелохнулся.

Я сел на табурет, стоявший посередине комнаты, посидел какое-то время. Магистр все продолжал стоять без движения, не обращая внимания на то, что там у него за спиной, и я позвал:

— Э-эй!..

Будто рябь прошла по его телу. Дернулись ноги — и толстая белая кукла загипсованной ноги даже пристукнула о пол, — дернулся торчащий зад, дернулись плечи, руки, голова, и он медленно, переступив коленями, повернулся ко мне лицом, и — Боже! — что случилось с этим тусклым, мертвым, тоже словно бы загипсованным лицом, оно так и полыхнуло светом и счастьем!

— Фило-ософ! — протяжно сказал он. — Это ты!

Магистр заперехватывал руками по стене, чтобы подняться, закукленная нога мешала, и я вскочил, помог ему подняться, и, поднявшись, он крепко обхватил меня руками, прижался головой к моему плечу и затрясся в рыданиях.

— Фил-о-ософ! — говорил он скачущим голосом сквозь рыдания. — Фил-о-соф!.. Фил-о-соф...

Я молчал и только поддерживал его, чтобы ему было не слишком тяжело стоять на одной ноге.

Потом, длинно вздохнув, Магистр поднял голову, отстранился и, приступив на загипсованную ногу, шагнул к кровати и бухнулся на нее.

— Слушай, Философ, — сказал он, вытирая ладонями мокрое лицо и обшоркивая ладони об одежду, — это правда, да? Меня казнят?

Я кивнул.

Его снова затрясло. Но теперь рыдания продолжались не очень долго.

— Бред, — сказал он, вновь вытерев лицо. — Бред. Неужели так нужно? Рослый говорит, что так нужно. Ты тоже считаешь, что так нужно?

Я снова кивнул.

— Но почему это должен быть я? Почему я?

Ничего в нем не осталось от прежнего Магистра, холодно-ироничного, скупого на слова и жесты. Сейчас это был какой-то горячечный, трясущийся комок плоти.

— Так тебе выпало, — сказал, наконец, и я.

— Что, что выпало? — закричал он. — Почему мне?

— Зачем ты хотел бежать? — вопросом ответил ему я.

— Бежать? Я? — Магистр хохотнул быстрым, диковатым смешком. — Никуда я не хотел бежать. Я провожал Волхва.

— Но ведь зачем-то ты стал вылезать из корзины?

— А так мне было велено. Выйти и обнять его на прощание. Не удалось вот выйти.

— Но почему ты признался на суде в попытке побега?

— Но ведь так нужно?

В голосе Магистра были издевка, неверие и надежда — все вместе, все в едином, трепещущем сгустке.

Я опять кивнул. Ответить ему на этот вопрос утвердительно было все же сверх моих сил.

— У-у... — дикое, утробное, не звуком, а каким-то хрипом вываливалось из Магистра. — У-уу...

— А я тебя казню, — сказал я.

Он, видимо, или не услышал меня, или не понял. Сидел, ухватившись обеими руками за спинку кровати, и из него лез этот урчащий, пузырящийся хрип: «У-у-у...»

— А казнить тебя буду я, — повторил я громче и внятнее, наклонясь к нему.

Магистр услышал. И понял. Хрип прекратился, он смотрел, скособоچась, на меня, и вдруг стал вста-

вать, потянулся ко мне руками, и мне показалось, он хочет схватить меня за шею, — я отпрянул.

— Фило-ософ!.. — с прежней протяжностью произнес Магистр, и из глаз у него снова брызнуло, но это были не рыдания, это были какие-то просветленные, чуть ли не счастливые слезы. — Фило-ософ!.. Как хорошо, что это будешь ты... Как хорошо! Я боялся, что какой-нибудь... а от тебя — это хорошо, это мне легче... Я буду думать: вот-вот, вот сейчас... и буду знать, что это ты, мне это будет приятно...

Я вышел от него с чувством какого-то мистического страха. Я должен был увидеться с ним и сообщить, что именно я буду приводить приговор в исполнение, — для того чтобы быть честным перед собой, чтобы не прятать трусливо и гадко голову в песок; и конечно же я ожидал от нашего разговора всего, чего угодно, но вот того, что он станет благодарить меня за взятую на себя страшную обязанность, — этого я не мог себе и вообразить...

И однако же я сделал свое дело как положено. За ночь в Главном зале был сооружен для казни специальный помост, на помосте, чтобы скрыть от взглядов тысячной толпы предсмертные конвульсии Магистра, установили небольшую кабинку с лежаком внутри, и его, живого, провели туда, укрыли от взглядов, а я со своим смертельным рубильником, укрепленным на торчащей над помостом стойке, стоял, согласно замыслу Рослого, у всех на виду; стоял и ждал знака. И когда знак был подан, я, ни мгновения не медля, рванул ручку рубильника вниз и вжал заискрившие железные пластины в тесные щели контактов до упора.

7

С этого дня началась новая эра нашей жизни.

Отныне каждый знал, что жить ему здесь, под землей, еще годы и годы — долгие годы — и, ско-

рее всего, здесь и умереть, так и не увидев земного света. Отныне каждый знал, что его жизнь больше не принадлежит ему. Что она безвозмездно взята у него для Дела и будет возвращена ему лишь тогда, когда заблистают станции мрамором отделки, погонят по туннелям воздушную волну перед собой скорые грохочущие поезда и вытянутся наклонно, чуть-чуть не дойдя до земной поверхности, бегучие ступени эскалаторов.

Большого терпения и великого смирения требует такая жизнь. Не всякому человеку дано обуздать свою душу, — как и предвидел Рослый, то тут, то там стали возникать очаги возможных бунтов. Но мы были готовы к тому: везде, на каждом производстве работали осведомители, и в результате не вспыхнуло ни одного бунта, все очаги их были своевременно затоптаны. Вполне возможно, помогло нам в немалой степени и то обстоятельство, что мера наказания была у нас только одна. Роскошь содержать тюрьму мы себе не могли позволить.

Впрочем, угроза бунта оказалась не самым страшным, что ждало нас впереди. Год от году все быстрее, все стремительнее падала у нас продуктивность труда, его качество, и к какой системе поощрений мы ни прибегали, ничего не помогало. То, что в первые годы делалось за неделю, теперь растягивалось на месяц, там, где мы надеялись на свежие идеи и решения, мы получали лишь бесчисленные вариации уже знакомого. Все это отодвигало сроки завершения строительства еще дальше, еще в большую неизвестность, и в конце концов мы были вынуждены принять происходящее как неизбежность.

Несколько раз, особенно в первые годы после того, как мы отрезали себя от земли окончательно, оттуда предпринимались попытки пробиться к нам. Но мы активно пресекали их, со временем эти попытки становились все реже и, наконец, прекратились совсем.

У поколения, рожденного здесь, под землей, к которому принадлежали и мои сыновья, рождались и подрастали теперь свои дети. Они были уже далеки от истоков нашего Дела, идеалы, что подвигли нас много лет назад к уходу под землю, уже не ощущались ими с той остротой и силой, с какой это было дано ощущать нашим детям, и пришлось продумать специальную пропагандистскую программу, создать для ее практического воплощения целый пропагандистский аппарат, дабы донести до их душ наши идеи, пропитать ими, выжечь скепсис, дабы в свой час эти нынешние ребятишки влились в наше общее Дело с той же истовостью, с какой служили мы.

Как бывшему студенту-философу, руководить этой пропагандистской работой выпало мне. Я был счастлив, что на склоне дней мне довелось заниматься чем-то вроде истории нашего движения и его осмыслением. Я находил в этом занятии какое-то неведомое прежде, неизъяснимое наслаждение. Когда мы завершим строительство и выйдем на землю, говорил я, беседа с молодежью, вас встретят как героев. Люди будут восхищаться вами, а сверстники будут завидовать вам. Вас ждет слава, радость поклонения, вы будете как боги!

Я говорил так и, право же, не лукавил. Ведь так оно и должно было случиться. Не в человеческой природе ценить бескорыстие, но если оно облекается в совершенно материальный результат — как в случае с нами, — люди способны испытывать благодарность.

Впрочем, лично я сам не очень-то много думал о земле. Я забыл ее. Во мне почти не осталось воспоминаний о земной жизни, она высочилась из моей памяти капля за каплей, исчезла из нее — будто я никогда и не жил ею, будто я здесь, под землей, как мои дети с внуками, и родился, и вырос... и никогда больше не посещало меня то страшное, гнетущее отчаяние, что когда-то, в давние времена, в день похо-

рон Декана, трясло меня будто током. Я уже и сомневался порой: да было ли оно, то отчаяние, вправду ли все происходило так, как мне помнится? А может быть, я просто-напросто выдумал все это, а выдумав, уже помнил выдумку?..

Глава пятая

1

Выходить наверх мы решили в том же самом месте, где в свою пору спускались под землю. Место было не из лучших, предпочтительнее было бы другое — на площади перед домом власти, где по проекту также должна была находиться станция, и, если даже власть перебралась оттуда в какой-нибудь другой дом, все равно это оставался самый центр города. Но при проходке наклонного эскалаторного туннеля, когда подошли к подповерхностному слою площади, мы наткнулись на сваи каких-то фундаментов и оказались вынуждены остановиться, доведя эскалаторную лестницу лишь до свайной отметки. Или мы ошиблись и вывели туннель не туда, куда следовало, или там, наверху, на нужном нам месте поставили какое-то здание. Подобные фундаментные сваи встретились нам при завершении и многих других эскалаторных туннелей, что было, в общем-то, несколько странно. План будущего метро у властей имелся, где будут выходы станций на поверхность, они прекрасно знали и не должны были застраивать эти участки. Или же там, наверху, построили здания таким образом, чтобы вход в метро осуществлялся через них? Но отсюда, снизу, не видя самих зданий, вести туннели дальше было невозможно.

В месте же нашего давнего спуска стояла станция, построенная еще нами самими, тут ничего другого наверняка не могли поставить, и мы могли выйти, не причинив городу никакого вреда.

Метро было готово к эксплуатации до последнего винтика. Мы спроектировали и сделали поезда на электрической тяге, и последнюю пору, пока велись всякие доводочные работы, уже не ходили к местам работ пешком и не ездили на дрезинах, как бывало, а с тем самым желанным грохотом и шумом неслись в светлых просторных вагонах — аж захватывало дух. Станции были отделаны мрамором и гранитом, украшены чеканкой и расписаны фресками. Каждую выполнили в своем стиле, ни одна не была похожа на другую, о чем мы вовсе и не мечтали раньше, но мало ли о чем не мечтали, жизнь скорректировала.

Чтобы выйти наверх, нам нужно было разрушить бетонную пробку, которой когда-то мы намертво отгородились от земли. Под ее литой мощной плитой мы натянули синтетическую пленку особой прочности, с отверстием посередине, и вдоль эскалатора пустили вниз отводной закрытый рукав.

Загрохотал разом десяток отбойных молотков, подпрыгивая, поскакали к отверстию в пластиковой воронке первые куски отколотого бетона и побежали с шорохом по рукаву вниз. Работать отбойщикам приходилось со специальных люлек, лежа, и, чтобы работа шла быстро, без задержек, каждые десять минут они сменялись. У меня тоже горело внести свою лепту в раскупорку нашего подземелья, отбить свой, личный кусок бетонной пробки, и, несмотря на возраст, я тоже подержал в руках молоток, налегая на его колотящееся железное тело изо всех сил, и, как ни устал, выдержал все десять минут своей смены.

— А что, старичок, ты у меня еще вполне! — хлопнул меня по плечу, обнял, прижал к себе сын, когда я, покачиваясь, выбрался изнутри пластиковой воронки на лестницу эскалатора.

— А ты думал! — тяжело дыша, со счастливой хвастливостью, ответно обнимая его, сказал я.

Последние годы, после смерти Рослого, он стоял во главе нашего Дела.

Это был мой младший сын. Старший умер от воспаления легких много лет назад, только-только успев родить нам с Веточкой внучку. Впрочем, ни Веточки, ни внучки тоже не было в живых, единственный, кто у меня остался, — вот этот мой сын. Странно, но, как у Рослого не было семьи, так не обзавелся семьей и мой младший. Жалко, страшно жалко. Получалось, род мой на нем закончится...

Бежали с шебаршанием внутри отводного рукава куски бетона, потянуло запахом жженого металла — это там, внутри воронки, добрались до арматуры и стали кромсать ее прутья газорезкой.

— Давай, батя, иди туда, — подтолкнул меня сын по лестнице вниз. — Приложился — и хватит, не мешай. Иди собирайся. Скоро двинем.

Я послушно пошел по ступеням. Сын сыном, но он глава Дела, и его приказам должно подчиняться.

Внизу, у подножия эскалаторов, стояли, вытянувшись цепочкой, несколько вагонеток. Две из них уже наполнились, как раз подошел поезд к платформе, и вагонетки покатали к нему — загрузить в вагон, чтобы после отвезти в отвал. Нам хотелось выйти на землю, оставив за собой блистающий чистотой, готовый в любое мгновение начать служить людям подземный мир, а не кучу мусора.

Платформа была полна народу, судя по всему, на ней собралось уже все наше подземное население. Все были азартно, жарко возбуждены, то тут, то там вспыхивали и почти тотчас гасли взрывы громкого смеха.

Наконец куски раздробленного бетона стали вылетать из отводного рукава все реже, реже, зазвенел, ударившись о борт вагонетки, обрезок арматурного прута, пауза, наступившая вслед за этим, все длилась, длилась, уже переставая быть паузой, и вот сверху загудели по эскалатору шаги бегущего человека.

— Шапки вверх! — не добежав нескольких шагов до подножия, закричал посыльный, разметывая

в стороны руки, будто раздернул на ходу некий занавес. — Дорога открыта!

Еще час ушел на то, чтобы привести за собой все в порядок, и исход начался.

Право идти первыми было дано «патриархам», тем, кто в свою пору, спустившись с земли в пещерную темную полость, начинал строительство. Тридцать четыре осталось нас таких.

А всего на поверхность поднималось четыреста восемьдесят девять, включая детей. Впрочем, их у нас было теперь совсем мало. Почти не было.

Плоское полотно эскалатора превратилось в ступени, поскрипывали мягко, почти беззвучно где-то внутри вращающиеся колеса, по которым оно текло вверх, сухо пошоркивала, черно струясь вверх вслед за ним, резиновая лента под рукой, уплывал назад тюбинговый полукруг свода над головой — и у меня сжало сердце, оно затрепыхало в груди; вот уж верно говорят, будто птица в клетке, готовое, кажется, остановиться, и в голове загудело, будто у меня там бухнули разом пудовые колокола. Сейчас, сейчас... еще минута, полминуты, двадцать секунд, десять... и я ступлю туда, где не был чертову уйму лет, чуть ли не всю свою жизнь... я стоял там в последний раз еще совсем молодым, почти мальчишкой, а теперь я старик, лысый, высохший до кости, почти беззубый...

Ноги у меня подгибались, не шли, и, сходя с эскалатора, я чуть не упал.

Внутри, в здании станции, все осталось так, как было тогда, много лет назад, когда мы уходили отсюда под землю. Я это схватил мгновенно — едва обвел вокруг взглядом. Будто где-то в сознании у меня хранился точный слепок той давней картины и все эти годы лишь ждал своего часа, чтобы тут же проявиться.

Но было видно, что никто сюда уже много лет — долгие годы — не входил. Толстый слой окаменевшей пыли лежал на полу, нога не оставляла на ней

даже слабого отпечатка. Оконные проемы были наглухо заложены кирпичом — чего мы не делали, а высокие многорядные двери зашиты досками, и наискось через них бежали рядками остренькие жала ржавых гвоздей — изнаночные следы прибитых снаружи поперечин.

А народ снизу все прибывал, прибывал, сделалось тесно, так что стояли, прижавшись друг к другу, и, наконец, поднялись последние.

И, как капитан, оставляющий судно, самым последним поднялся мой сын.

— Приступайте! — дал он команду, вышагнув с эскалатора.

Те, кому она была предназначена, знали, что они обязаны делать.

Взвыли, звонко заверещали электропилы и тотчас, одна за другой, помягчили голосами, войдя своими острыми грызущими цепями в доски дверных заплотов. Запахло опилками, жженым деревом, и меня как ударило в поддых. Голова закружилась, ноги повело, и я бы упал, если б не теснота: это были запахи земли, давно забытые, утраченные обонянием, напрочь ушедшие из памяти, — и внезапное оживление их было как воскресение Лазаря, как истинное чудо, как если б ты заново родился...

А пилы между тем, время от времени взвизгивая от натуги, вели свою басовитую, зудяще-железную партию, пилили и пилили, все пильщики уже стояли на стремянках, делая пропилы в верхней части заплотов, я вновь физически ощущал, как растет, разбухает, готовое затопить нас всех с головой, людское напряжение вокруг, — и это случилось. «А-а-аа!..» — закричал хрипло, животно, перекрывая вой пил, женский голос, и все тотчас всполошенно заволновались, задвигались, подались единой массой на звук голоса и этой же единой массой качнулись неожиданно в сторону дверей. Загремела, упав, стремянка, взвыла, вылетев из рук пильщика, пила, грохнулась на пол, задев кого-то, и к

истерическому женскому крику добавился вопль боли, но толпа сзади надавливала, притиснув передних к заплоту, и они тоже закричали. «Прекратите! Остановитесь! Все на свои места!» — услышал я как из другого мира донесшийся, усиленный мегафоном голос сына, и подпиленные доски заплота затрещали, не выдержав давления, и заплот рухнул наружу, увлекши за собой тех, что были прижаты к нему. Но толпа, глухо ахнув, как единое живое существо, тотчас откатнулась назад; и вылетевшие наружу, торопливо вскочив на ноги, бросились через дверной проем обратно к ней. . .

«Стоять на местах! Всем стоять на местах!» — заглушая своим мегафонным криком другие продолжающие работать пилы, надрывался сын, но теперь и без того все стояли замерев, и снова наступила тишина, только и осталось: его крик да пение пил.

А в открывшийся дверной проем черно глядело ночное небо, и в его живой белесоватой тьме мерцали, подрагивали в токе земного воздуха ярко-ключие и слабенько-точечные звезды. Белые, желтые, голубые, красноватые...

2

Я обнаружил себя лежащим на кровати в белой больничной палате. Что это еще могло быть, как не больница. Только в больницах так бело красят стены, только в больницах есть эти стойки с градуированными прозрачными баллонами, из которых по прозрачной трубке катетера, воткнутого в твою вену, катится слезка физиологического раствора.

Я повернул голову и увидел окно. За окном был день, видимо, очень ветренный. Быстро неслись облака по голубому небу, гнулись, раскачивались, играли обильной летней листвой дерева.

Когда же это мы вышли на землю? Нынче ночью? Или с момента выхода прошло какое-то вре-

мя? И что со мной, почему я в больнице? Что было после того, как в открывшийся дверной проем я увидел звездное небо?

В палате не было никого, кроме меня. Стояла рядом еще одна кровать, но она пустовала.

Я глянул на руку с вогнанной в вену иглой катетера. Вся внутренняя сторона руки около сгиба локтя была сплошным черно-лиловым кровоподтеком, и бинт, которым был закреплен катетер, казался на этом черно-лиловом фоне ослепительно белым. Нет, я тут обрелся уже давно...

Свободной рукой я ощупал себе голову, лицо, согнул, приподнял ноги, оглядел, скинув простыню, всего себя — ничего у меня не болело, не было на теле никаких ран, только страшная слабость, что, должно быть, естественно, если я отлежал тут уже не один день, и полный провал в памяти после картины звездного неба в дверном проеме...

— Э-ээй! — крикнул я, глядя на плотно закрытую, стеклянную в верхней части дверь палаты. — Ээ-эээй, кто-нибудь!

Сначала в дверном окне возникло юное девичье лицо, потом, через мгновение, как оно исчезло, возникло другое, тоже женское, а еще через несколько минут лиц там стало много, затем они все отпрянули от двери, и она распахнулась.

...— Вы в самом деле ничего не помните? — спросил меня доктор, явно с солидным, основательным опытом, немолодой уже, скорее даже пожилой человек, и все же, пожалуй, не старше моего покойного сына. — Абсолютно ничего, ни смутно, ни фрагментарно?

Мы сидели у него в ординаторской в креслах напротив друг друга, он заварил чай в стаканах, но пил один, я пить не смог. Меня, когда я поднес стакан к губам, чуть не вырвало от одного лишь запаха чая.

Оказывается, я пролежал здесь, не в состоянии двигаться, говорить, есть, ровным счетом десять

дней. И это был не обморок, потому что глаза мои во время бодрствования оставались открыты, я спал и просыпался, но ни двинуться, ни говорить, ни есть — ничего этого я не мог.

— Психический шок, да? — спросил я в свою очередь доктора.

— По всей вероятности, — отозвался он. — Но организм у вас крепкий: сейчас вы прямо как огурчик.

Мне была приятна его похвала. В моем возрасте вовсе не грех гордиться своим здоровьем как особым достоинством.

— Но что же все-таки было после, когда мы вышли? — снова, но уже с большей настойчивостью спросил я.

— А вы твердо уверены, что вам это нужно знать?

— О боже! — Я взмахнул руками, задел свой стакан с чаем, он не упал, но подпрыгнул, и из него выплеснулось на стол. — Извините... А вы бы на моем месте разве не хотели знать этого?

Захрустев оберткой, доктор достал из пакетика марлевую салфетку, другую, третью и стал промокать ими желтоватую лужицу на столе.

— Вам будет тяжело, — сказал он, глядя на свои руки, перекладывающие намоченные салфетки с места на место. — Хотя, наверно, я все равно должен помочь вам вернуть память. Лучше, наверно, чтоб это произошло сейчас, чем потом, когда вы отсюда выйдете...

— А можно вернуть? — уже едва не крича, спросил я.

— Нужно попробовать, — сказал он, оставляя салфетки в покое и устремляя свой твердый глубокий взгляд на меня. — Скорее всего, можно.

— Это что, гипнозом?

— Ну конечно.

— Давайте, — сказал я, ощущая, как дрожат пальцы от возбуждения.

— Прямо сейчас?

— А почему нет?

— Ну что ж...

Он привел меня обратно в палату, велел лечь в постель и помог укрыться одеялом.

— Представьте себе, что вы прилегли отдохнуть. Расслабьте все мышцы, вам очень нужно отдохнуть. Вы испытываете блаженство, по вашему телу начинает растекаться приятное тепло...

Нет, никакого тепла по моему телу не растекалось, и никакого блаженства я не испытывал. Неоткуда было взяться ни теплу, ни блаженству. Но я с послушной старательностью слушал голос этого симпатичного мне доктора, что был годами, наверное, почти ровня моему покойному старшему сыну, я держался за его голос как за ариаднину нить, что должны была вывести меня из кошмарного, темного лабиринта беспомощности, я держался за него обеими руками, боясь ненароком отпустить, держался изо всех своих сил... и вдруг потерял его, и полетел куда-то, как в пропасть, и замычал от пронзившего меня дикого ужаса, что не сумел удержать и теперь мне не выбраться из лабиринта... однако никуда я не упал, это, оказывается, выходя под звездное ночное небо, я всего лишь споткнулся о край рухнувшего заплота, споткнулся — и сумел устоять.

Веял свежий ночной ветерок, нес в себе тысячи земных запахов — травы, купающейся в росе, увлажнившейся листвы деревьев, — а я стоял, чуть отойдя от здания станции, чтобы не мешать выходить другим, слушал шорох шагов вокруг, шуршание одежды, дробное постукивание покотившегося по асфальту камешка, задетого ногой, и мне кружило голову от непривычного, забытого вкуса чистого вольного воздуха и растягивало блаженно в невольной улыбке счастья губы: дожил, дожил, дожил!

Город спал, погруженный в тишину и темь, лишь кое-где горели в домах одинокие окна, да там-сям бросали на землю с высоты тусклые конусы света

уличные фонари. Похоже, все здесь осталось так, как было в пору моей молодости. Словно бы с того дня, как мы спустились под землю, и не минуло несколько десятилетий...

Внезапно я почувствовал рядом с собой сына. И услышал, что у него лязгают, как от озноба, зубы.

— Ты что? — спросил я.

— Черт знает, — ответил он мне прыгающим шепотом. — Я ведь тут никогда не был. Ничего не представляю. — Он помолчал, стоя рядом, и, нагнув голову, снял с шеи ремень мегафона. — На, — протянул он мне мегафон, — будешь командовать парадом. Я не способен. Ну бери, бери! — торопя меня принять мегафон, все так же шепотом закричал он и всунул тяжелый металлический раструб мне в руки. — Что ли не понимаешь ничего?!

Нет, я понял. Я все понял. Что ж, в этом была даже своя логика: кто увел от мира, тот должен и привести в него.

Я повесил мегафон на шею и обнял сына за плечи:

— Не волнуйся. Обещаю тебе: все будет нормально.

— Ты знаешь... помнишь, какие слова нужно говорить?

— Помню, помню, — сказал я. — Не волнуйся.

Мегафон, что сын передал мне, был предназначен вовсе не для того, чтобы обуздывать потерявшую самообладание толпу. Через мегафон, когда настанет пора, должно было оповестить город о свершившемся. «Друзья! Сограждане! Это мы — те, потомки и наследники тех, кто ради вас, ради вашего счастья, защищая ваше человеческое достоинство, много лет назад спустились под землю! Сегодня мы говорим вам: «Все готово! Пользуйтесь!» Вы увидите подземный дворец, который готов принять вас и служить вам!..» — мог ли я не помнить эти слова, с которыми надлежало обратиться к собравшимся горожанам. Ведь я сам, а не кто другой,

придумывал, писал и многожды переписывал текст обращения.

— Не волнуйся, — снова сказал я сыну, — отдохни. Ты слишком устал за последнее время. Иди, побудь один, расслабься. Не думай больше ни о чем. Теперь я...

Да, да, теперь я. Кто увел из мира, тот должен и привести в него. В этом была не только своя логика, но даже и символичность.

Я оглянулся в окружающей нас ночной тьме, пытаюсь определить, не разбрелась ли наша ветеранская группа, держится ли места, назначенного для сбора, в полном составе, и, пересчитав, удостоверился, что все тут. Невольное чувство гордости ненужно наполнило мне теплом грудь. Ветераны они и есть ветераны!

Только на них сейчас и можно было положиться в полной мере. Хотя с той поры и минули десятки лет, но все-таки они, нынешние ветераны, жили на земле; ходили по ней, и в них не дребезжало сейчас того страха перед ней, что так неожиданно обнаружился в моем железном сыне и, видимо, тряс всех остальных.

Сына рядом со мной уже не было.

Придерживая мегафон рукой, я протолкался в центр нашей патриаршей группы. Ветераны сомкнулись вокруг меня тесным кружком. Я набрал полную грудь воздуха, раскрыл было рот, чтобы сообщить им о выпавшем нам последнем долге, и голос оставил меня.

Словно коридор люминесцентного, фосфоресцирующего света возник в небе. Таким, наверное, бывает северное сияние. Но северное сияние играет сполохами, висит высоко над головой гирляндами, а это был именно коридор, люминесцентный туннель в темноте, и находился он не высоко в небе, а где-то буквально над крышами домов — затронутые им, они смутно обозначились остроугольными горбами коньков.

И по этому фосфоресцирующему световому туннелю, ведя его с собой, двигалось бесшумно что-то темное, длинное, округлое, похожее на гигантский пенал.

— Помните! Помните! Вы все помните, до самых мельчайших подробностей! — услышал я над собой размеренный, внушающий голос и понял, что все происходящее сейчас — только мое воспоминание о нем, на самом же деле я лежу на больничной кровати и звучащий надо мной голос — голос доктора. — Вы помните прекрасно и то, что было после, — внушал голос, и я снова судорожно ухватился за него; и, ощущая в ладонях его надежную натянутую бечевую крепость, снова спустился по нему в *тот* день.

— Что это было? Что это такое было? — спрашивали все лихорадочно друг у друга и требовали ответить прежде всего нас, ветеранов, но мы и сами спрашивали о том друг друга, и никто никому не мог ничего ответить.

— А при вас это было? Может быть, было, но вы забыли? Ведь какое-то объяснение этому есть? — продолжали и продолжали спрашивать нас, и ни о чем другом уже не говорилось, все с большим и большим возбуждением, с какой-то уже даже горячностью...

Это страх земли колотил людей. Видимо, психика требовала разрядки, сброса напряжения, и сброс этот мог произойти прямо сейчас. И, произойди он, в какие формы облекся бы, во что вылился? Возможной ли становилась тогда наша встреча с городом, как мы ее замыслили?

Необходимо было отвлечь людей. Нужно было чем-то занять их. Но чем?

Я включил мегафон и поднес ко рту. Раздумывать было некогда.

— Старшим двадцаток проверить наличие людей, — прогремел, усиленный динамиком, мой голос. — Всем находиться на обусловленных местах.

Ответственным подготовить транспаранты. Проводим репетицию встречи.

Это было довольно глупо — греметь из мегафона среди ночи. Мы привлекали к себе внимание раньше времени. Но ничего другого не в состоянии был придумать мой мозг. Я знал одно наверняка: нужен простой и жесткий приказ. Лишь он способен погасить возбуждение людей, это сейчас важнее всего.

И верно: едва раздалось гроыхание мегафона, тотчас все разговоры оборвались, будто их отрезало, и снова, как в самом начале, когда мы только вышли наружу, остались вокруг лишь шорох шагов, шуршание одежд, шум дыхания. Все четыреста восемьдесят девять человек торопились занять свои заранее обусловленные места, и ничего, кроме желания выполнить приказ наилучшим образом, в них не осталось.

Однако я даже не успел порадоваться про себя достигнутому эффекту. Минули лишь считанные секунды, как я отдал приказ, и вдруг все пространство около здания станции, со всех ее четырех сторон, залило бешено ярким, пронзительным светом. Я непроизвольно, как, наверно, и все другие, закрыл глаза, и открыть их удалось далеко не сразу. Но еще глаза ничего не видели — меня осенило: прожекторы. И когда, наконец, удалось чуть разомкнуть веки, стало окончательно ясно: прожекторы, да.

Их был добрый десяток. Они стояли по периметру станционного здания на расстоянии метров тридцати—сорока, мощные их лучи выжигали ночь в своем световом котле дотла, и было видно, что установлены они на специальных металлических вышках, а перед вышками тянется глухой бетонный забор с обращенным внутрь навесом из колючей проволоки.

Нас тут ждали. Мы там жили, отрезав себя от них, не подавая вестей о себе долгие годы, а они нас тут ждали.

Только не с очень-то открытым сердцем они ждали нас, если соорудили подобное ограждение. Зачем оно было им нужно, чего они боялись? Или они полагали, что мы там за эти годы потеряли человеческий облик, переродились в каких-то чудовищ?

Впрочем, что ж, может быть, на их месте мы поступили бы так же.

Я снова поднес мегафон к губам.

— Выключите прожекторы, — сказал я. — Мы поднялись к вам с важным и радостным сообщением. Свяжитесь с городскими властями и скажите, что мы ждем их представителей. Мы никуда не тронемся отсюда, будем ждать представителей здесь. У вас нет причин для беспокойства. Выключите прожекторы, это оскорбительно для нас.

Я опустил мегафон и некоторое время стоял, ожидая ответа. Никто мне не ответил. Молчали, замерев, люди вокруг меня, молчала темнота за прожекторным котлом, — а может быть, там и не было ни единого человека, и свет включила какая-нибудь автоматика, среагировав на звук моего голоса?

— Выключите прожекторы, мы поднялись к вам с важным и радостным сообщением... — еще раз повторил я; и мне опять не ответили. — Все нормально, друзья! — обращаясь к замершим в недоумении и страхе людям вокруг, сказал я в мегафон — голосом, исполненным воодушевления и бодрости. Они были стадом моим, я их пастырем, и мне выпало завершить наш исход достойно. Главное, нужно было дотянуть до рассвета, не допустить психоза, а с рассветом... с рассветом как-нибудь все уладится, не может не уладиться; раз прожекторы включились, даже если их и включила мертвая автоматика, должен же кто-то вступить с нами в контакт, и уж этот первый контакт замкнет дальше всю цепь. — Все как и должно быть, все в пределах ожидаемого, дорогие мои! — зажигательно прогрохотал я, поворачиваясь с мегафоном во

все стороны. — Продолжим репетицию встречи! Все находятся в своих двадцатках?

Может быть, кто-нибудь и наблюдал за нами с этих прожекторных вышек, лично ли, скрытый слепящим светом, отраженным от мощных зеркал, при помощи ли телекамер, точно так же невидимых для нас, — мы, ни на что не обращая внимания, выстраивались колоннами, разворачивали транспаранты — «Метро действует! Метро готово принять своих первых пассажиров!», — опускались по команде, в знак нашей негордыни, смирения и готовности к подчинению, на колени — проделывали все, что было намечено, и я лишь не произносил своей речи.

3

Мы повторили церемонию встречи раз десять, и, наконец, свет прожекторов начал блекнуть, небо высветилось, и стало ясно, что близок уже восход.

Никто с нами за все это время вступить в контакт не пытался.

Отгороженные забором, мы были лишены маломальской свободы в своих действиях. Забор навязывал нам тактику ожидания. Но ожидать далее было невозможно. Сколько люди могли еще выдержать пытку бездействием? Ведь нельзя же было считать действием бессмысленное, пустопорожнее повторение одних и тех же механических движений, которыми я принудил их заниматься. Ну еще десять, еще пятнадцать минут... а потом?

Следовало искать контакт самим.

«Отдых!» — дал я команду.

И пошел к литым, бесстворчатым железным воротам в заборе.

Я не дошел до них метров десять, когда откуда-то сверху на меня обрушился многократно усиленный динамиком властный, тяжелый голос:

— К воротам не приближаться!

С мощностью этого динамика мой мегафон не шел ни в какое сравнение.

Я остановился. Если я и не ждал именно такого окрика, то все же к чему-то подобному был готов. И у меня уже была подготовлена первая фраза.

— Метростроители приветствуют вас! — сказал я в мегафон. — Мы поднялись к вам с важным и радостным сообщением...

Больше я не успел произнести ничего — голос из динамика прогремел вновь:

— Отойдите от ворот!

Я остался стоять на месте.

— Мы поднялись к вам... — начал я, но динамик снова перебил меня:

— Отойти от ворот, и никому не приближаться к забору! В случае нарушения запрета будут приняты экстренные меры!

Я потерялся. Я попятился невольно назад и так, пятясь, дошел до своих. Если б еще я видел отдающего команды, к нему можно было бы обратиться с подготовленным заявлением, но невозможно же обращаться к голосу из динамика!

И однако нужно было что-то делать. Я не видел, но чувствовал, что все сейчас смотрят на меня.

— Стремянку! — глянул я назад, и слово побежало по губам от человека к человеку, и спустя мгновение мне уже несли ее.

Стремянка была раздвижная, высокая, верхняя ее площадка находилась на высоте чуть не трех метров, и ни в какую другую пору никто б не заставил меня влезть на нее. С моей-то старческой ловкостью! Но тут я вскарабкался по ступеням, будто обезьяна, и только когда стал выпрямляться на верхней площадке, у меня задрожали ноги.

— Сойти с лестницы! — загремел голос в динамике, и в тот же миг я увидел, кто говорил.

Воздух уже сделался совсем прозрачен, режущий свет прожекторов почти втянулся в их стеклянные

круглые зрачки и больше не мешал смотреть в их сторону.

За бетонным забором было, оказывается, уже целое столпотворение. Стояли шеренги солдат в полной выправке, с автоматами на животах; бегали суетливо какие-то люди в штатском; бронетранспортеры, пожарные машины, машины «Скорой помощи» и еще всякие другие выстроились рядами поодаль; держась на уважительном расстоянии от всей этой техники, теснились там-сям уже достаточно многочисленные группки любопытствующего народа, и виднелись головы в распахнутых окнах двух близлежащих домов. А голос, отдававший приказания, принадлежал человеку в корзине телескопической «ноги» одной из пожарных машин, осторожно поднятой на не слишком большую высоту, он держал микрофон у рта, а на крыше кабины были установлены динамики.

— Немедленно сойти с лестницы! — повторно прогремели динамики, но я уже знал: ничего подобного! Может быть, лучшего момента для нашего заявления уже не будет, и я должен сделать это сейчас. Именно сейчас, стоя на этой стремянке.

— Друзья! Сограждане! — произнес я в мегафон. Ноги у меня дрожали, меня так и болтало, и я боялся, что не смогу удержаться, упаду и смажу эффект от нашего обращения. Но все же я повторил, привлекая к себе внимание: — Друзья! Сограждане! Это мы! Это мы — те, потомки и наследники тех, кто ради вас, ради вашего счастья, защищая ваше человеческое достоинство, много лет назад спустились под землю!..

Еще я боялся, что меня будут прерывать, не давая мне говорить, заглушая динамиками, но меня не прерывали. Человек в корзине молчал и даже опустил руку с микрофоном, стоял и слушал.

— Сегодня мы говорим вам, — посмел я замедлить темп своей речи, — мы говорим вам: «Все готово! Пользуйтесь! Спуститесь под землю — и вы увидите подземный дворец...

Помеха пришла не из-за стены, она, будто столб огня, выросла тут, у меня под ногами — единым, заглушившим мои слова потрясенным воплем.

— ...дворец, который готов принять вас и служить вам!» — докричал я с отчаянием, глянул вниз и обнаружил, что все с одинаково тупым, оглушенным выражением лиц смотрят куда-то на небо, в одну точку. «Солнце?» — подумалось мне. Но солнцем это никак не могло быть, рано ему еще было. Я перевел взгляд, куда смотрели все, и увидел.

Коридор флуоресцирующего, люминесцентного света плыл в небе, а внутри него, вместе с ним плыло темное, округлое, длинное, похожее на гигантский пенал. Только сейчас, при светлом небе, этот люминесцентный свет был много слабее, чем тогда ночью, но зато пенал виден отчетливо и ясно. У него были словно бы окна, у этого пенала, и они поблескивали, будто и впрямь стеклянные.

— Смотри! Вон-вон! Еще один! Еще один! Вон там! — раздался новый истошный вопль, и все без малого пятьсот человек в одно мгновение устремили взгляд в другую сторону неба.

Наперерез первому люминесцентному коридору плыл, появившись из-за крыш домов, точно такой же второй. Они плыли совершенно бесшумно, невесомо, фантомно легко, как и полагалось бы свету, если б он вдруг обрел свойство корпускулироваться и замедлять свою бешено-сумасшедшую скорость распространения в пространстве; но что за темное, явно материально-земное ядро они несли в себе? И коль оно было таким тривиально земным, то как могло оно двигаться с этой невесомой легкостью?

Люминесцентные коридоры наплыли один на другой, мазнули друг друга своими чуть бахромчатыми краинами и разошлись каждый в свою сторону.

— Что это?! Что это такое? — Стремянку трясло, и, чтоб не упасть, я инстинктивно выпустил мегатон из рук, замахал ими, удерживая равновесие,

а голос, что спрашивал, был до того искорежен яростью, что я не сразу узнал голос сына.

— Прекрати! — крикнул я ему, но он не понял, о чем я, и с лицом, обращенным ко мне, снова потряс стремянку.

— Ты знаешь? Отвечай!

— Не сходи с ума! — закричал я, нащупывая ступеньку и укрепляя на ней ногу. — Не трясись!

— Дебилы! У, дебилы!! — потрянул меня сын еще раз, поискал глазами вокруг, увидел кого-то из нашей ветеранской группы и бросился к нему.

— Что это? Почему вы не знаете? Что это может быть?! — схватил он его за грудки.

Не знаю, кто сейчас мог погасить его бешенство, кроме меня. Я должен был спуститься на землю. Но я спустился лишь на две, на три ступени.

Разминувшиеся люминесцентные коридоры еще не успели исчезнуть из поля зрения, а из-за крыш появился еще один, и был он совсем близко, и двигался прямо на нас, на здание станции.

Однако он не доплыл до нас. Он вдруг остановился в небе, завис и так же бесшумно, так же фантомно невесомо, как двигался до того, стал опускаться. Все ниже, все ниже — на незанятую ни машинами, ни людьми, не замеченную мной прежде обширную площадку между четырьмя мачтами, словно бы высланную металлическим листом — так она блестела, и, когда коснулся ее, разом исчез, оставив от себя лишь темное, округлое, длинное, похожее на пенал, в котором действительно были окна. И еще двери, несколько дверей, пять или шесть. Они распахнулись — и из них стали выходить люди...

Что же, сын снова мог спрашивать меня, что это такое. Теперь я знал.

— Вы помните, помните! — опять ворвался в мое сознание голос врача, но нет, я не хотел больше оказываться в том ужасе, хватит с меня, довольно, достаточно... И однако, противиться этому голосу я не

мог, я был бессилен перед ним, и вновь скользнул по нему туда... Вот только там не было уже ничего, там был один голый мрак, глухая темь → полная беспмятность, из которой нечего было доставать.

И только словно бы в яркой мгновенной вспышке я увидел себя стоящим на четвереньках у бетонного забора с навесом из колючей проволоки, в срезе его стен, как стоял тогда в утро перед казнью Магистр в палате медблока, превращенной в камеру: я толкаю себе в рот какую-то выдеранную с корнями траву, давлюсь — и толкаю, и жую, у меня обильно течет слюна, сок у травы горький, на зубах хрустит земля с корней, меня тошнит, но я запихиваю жвачку обратно в рот, снова жую и утробно, животно, дико мычу.

— Вы чувствуете облегчение и удовлетворение. Вас больше не мучает, что вы ничего не помните, вы испытываете глубокое и сильное удовлетворение... — услышал я голос доктора и вынырнул в явь, открыл глаза и увидел небо с быстро бегущими облаками, так же мотало верхушки деревьев под ветром, но только теперь память моя доверху, под завязку была полна знанием; подсознание отдало ей все, что хранило.

О, лучше б оно не хранило в себе ничего! Лучше б все стерлось из него невозстановимо, навечно, чтобы мне никогда не знать того, что произошло. Я чувствовал себя раздавленным, расплюснутым, будто каток проехал по мне... Зачем я остался жив, такой расплюснутый, уж если проехал, так раздавил бы насмерть.

— Конечно, вам тяжело от ваших воспоминаний, иначе и быть не могло. Но вы испытываете вместе с тем настоящее облегчение, что теперь не беспмятны, и это в вас сильнее всего. Это в вас сильнее всего! — внушая, наклонился надо мной, заглядывая в глаза с улыбкой доброты и ободрения, доктор.

— А как они летают? — еле разлепив губы, спросил я — то, что мучило меня и там, в этом гипно-

тическом сне, но что, находясь в нем, узнать я никак не мог.

Лицо доктора уплыло от меня вверх.

— Я точно не знаю, — сказал он. — Я не очень-то в технике... Явление сверхпроводимости при обычных температурах. Что-то там с магнитным полем, как-то оно вытесняется куда-то наружу из тела. Ну и возникает возможность преодолеть гравитацию.

— И давно они летают?

— Лет тридцать, как первые начали. К вам, помню, пробовали пробиться, но вы такое сопротивление оказали... В газетах еще писали об этом. Я тогда совсем молодой был.

А, лет тридцать!.. Как раз, значит, вскоре после того, как мы «опустили шлагбаум». Попытались пробиться, было дело. Вон почему, оказывается!

— А отчего нас так встретили? Проекторы там... войска стояли, кричали, чтоб мы не двигались?

— Да, по-моему, они просто не знали, что делать. Ну власти, я имею в виду. Власти, по-моему, никогда ни к чему не бывают готовы. А, как вы думаете?

Мне, однако, было вовсе не до того, чтобы обсуждать способности властей.

— А что с моими товарищами? — спросил я. — Со всеми остальными? Где они сейчас?

Доктор молчал какое-то время. По лицу его я видел — он мучительно обдумывает, как мне ответить.

— Понимаете ли... — будто в вату, проговорил он наконец.

— Да вы без околичностей, — сказал я. — Хуже мне уже не будет.

— Да-да, — быстро, успокаивающе улыбаясь, сказал доктор. — Организм у вас крепкий, оправились — прямо как огурчик сейчас.

— Ну? — поторопил я его.

— Кто где, — сказал он. — Часть здесь, у нас, в соседних палатах, в соседних отделениях... будем

лечить. Есть и безнадежные. К сожалению... Часть в других больницах — на обследовании, реабилитации... очень значительные структурные изменения в организмах у большинства... А часть... человек сто... еще прямо тогда, в то же утро... спустились обратно, замуrowались... массовое самоубийство как-им-то газом...

Теперь я долго не задавал новых вопросов. Лежал, повернув голову к окну, глядел на живую плещущую зелень деревьев под ветром и не мог решиться. Хотя мне нужно было лишь подтверждение того, в чем я уже был уверен.

— Поименно известно, кто эти сто? — спросил я в конце концов так вот, обиняком.

— Да, — тут же ответил доктор. — Выяснены личности всех. — Помолчал. Я ничего больше не спрашивал, и он добавил: — Ваш сын среди них.

Конечно, среди них. Я и не сомневался. Полководец, проигравший решающее сражение, должен уйти из жизни. Мой сын был истинным полководцем. Он был, был им, и если не мог остаться им до конца — здесь, поднявшись на землю, так это невозможно поставить ему в вину. Боже, зачем меня хватил этот проклятый ступор, зачем со мной случилось это беспамятство! Мне бы быть с ним, моим сыном, быть с ними, этими ста, разделить их судьбу...

— А как, — спросил я, — у меня со структурными... и всякими прочими изменениями?

— Да вы как огурчик, я же говорю, — сказал доктор. — Мы вам тут, пока вы лежали, столько анализов сделали... у вас все в порядке.

— И значит, мне еще жить и жить?

— Жить и жить! — радостно подхватил доктор, кладя мне на плечо теплую покойную руку.

Я потянулся, накрыл ее своей и, глядя ему в глаза, попросил:

— А вы бы не могли мне закатить чего-нибудь... ну такого, чтобы... чтобы меня не стало?

Он сидел, пригнувшись ко мне, молчал, смотрел мне ответно в глаза, и в них я читал приговор себе: нет, конечно!

— Да убейте же меня, убейте! — скидывая его руку со своего плеча, заорал я и засучил ногами, забил по постели руками. — Убейте же меня, убейте, окажите мне милость, боже ты мой!

Доктор встал, быстро прошел к двери палаты и, распахнув ее, крикнул в коридор:

— Сестра! Пять кубиков успокаивающего! Поживее, будьте добры! И кликните санитаров!

— Какое успокаивающее! На хрен мне успокаивающее! — дергался я и бил по постели руками. — Яду мне пять кубиков, яду!

Несколько пар сильных рук взялись за мое тело, перевернули его животом вниз, притиснули к кровати, и я ощутил укол в ягодице.

Боже мой, значит, жить, подумалось мне, когда шприц выдернули и по ягодице, щекоча кожу, потекла из-под ватки холодная струйка спирта.

4

Жизнь моя тянется чередой однообразных дней. Жизнь моя прожита, и это я не живу, а доживаю, и какими же еще могут быть мои дни. Я ем, сплю, справляю другие естественные надобности, мою пол в своей конуре, стираю себе белье, хожу в магазин за продуктами да через день — на ночное дежурство в детсад, чем зарабатываю на это существование. По-моему, хорошее занятие для недоучившегося философа — ночной сторож. Сажу на табуретке под входной дверью, курю, сыплю пеплом на пол, замечаю, что намусорил, и ташусь за тряпкой в туалет, замываю пол и снова сажу, снова сыплю пеплом — и так до утра. Черт знает, зачем я там нужен ночью, но за это платят, и я хожу. Ведь у меня нет никакой пенсии. А идти с протянутой рукой на улицу,

как делают, я видел, некоторые из наших, — это не по мне, это не для меня.

Почти уже десять лет я отжил здесь, на земле. И ни разу не болел за прошедшее время, не чихнул, не кашлянул. Я и без того чувствую себя настоящим Мафусаилом, сколько же еще таскать мне свое иссохшее, потерявшее мышцы, с хрустящей сморщенной кожей тело?

Ни с кем из наших, кто остался тогда на земле и сумел выйти потом из больниц, я не вижу. Встречи с ними не приносят мне никакой радости, только заставляют кипеть желчь.

Я хожу примерно в неделю раз, а то и чаще на кладбище, на могилу отца с матерью. Это все равно как если б я навещал Веточку с детьми. Ведь они тоже все лежат в земле, только очень глубоко, а туда, на их могилы в Склепном зале, нельзя — все входы в метро замурованы, и даже тот, вскрытый нами, снова залит бетоном.

На кладбище я провожу, случается, несколько часов. Это единственное место, где мне есть с кем поговорить, а за неделю молчания я так изголодаюсь по разговору, что говорю и говорю и никак не могу остановиться.

Чаще всего я разговариваю с отцом. Мы сейчас сравнялись с ним возрастом, и он не смеет ни кричать на меня, ни обрывать, ни просто раздражаться, он просто иногда замолкает надолго, я тереблю его — ну, ты чего? — и он отзывается горечью: да ты уже сам с усам, чего теперь... Ну а ты б как хотел, говорю я, ведь я жизнь прожил. Так то-то и оно, отвечает он.

На кладбище я беру с собой обычно его предсмертное письмо, которое передали мне, когда я еще лежал в больнице, вскоре после того как очнулся. «Сынок!» — обращается он ко мне, и мне всякий раз странно читать такое обращение к себе — какой уж я сынок! «Мама так тосковала по тебе перед смертью», — пишет он, но в груди у меня ни-

чего не откликается на эти слова, и я даже не пытаюсь уже вспомнить лицо матери, я совершенно не помню его. «Так жаль, я даже не знаю; получишь ли ты мое письмо. А вдруг тебя уже нет, и я пережил тебя», — пишет он, и меня опять не трогает это: я сам пережил своих детей, да и отец существует для меня уже не во плоти, а только этим вот письмом, наши прошлые и нынешние разговоры с ним — лишь некая духовная субстанция.

Но жить без этого его письма я не могу. Оно писано на обычных, непрочных листах бумаги, вытерлось на сгибах, обтрепалось по краям, и я наклеил все три его листа на плотный картон, сшил куски картона наподобие книжицы, ее-то и таскаю с собой.

Иногда во время моих кладбищенских бесед мне становится очень плохо. Это случается обычно тогда, когда я разговариваю не с отцом, а с Веточкой. Я вспоминаю, как молоды мы были, как гуляли по хрусткому ледку осенних лужиц перед спуском под землю, мечтая о том, как выйдем оттуда через несколько лет победителями, и мне делается так горько, что нет спасу. Я вспоминаю, что на мне прервется мой род, умру — и не останется на земле никого моей крови; я вспоминаю, что и от нашего с Веточкой дела ничего не останется; все было бессмысленно — все лишения, тяготы, весь ужас бессолнечного подземного житья, — наше метро никому не нужно, наглухо закупорено, и стоят там без толку наши электростанции и заводы, ржавеют поезда в пустынных депо...

Вот тут-то, в такие моменты я и достаю из-за пазухи складень отцовского письма. Читаю из середины, читаю из конца, читаю из начала, читаю и перечитываю — и ощущаю, как горечь и душевная немочь оставляют меня, я наливаюсь силой, крепостью и уверенностью в себе. Отец всегда подвигает меня на спор с ним, а спор бодрит меня, ярит кровь и рождает чувство правоты.

А зато каким азартом была наполнена наша жизнь, говорю я отцу, а месте с ним и всему этому земному миру, что стоит для меня сейчас за его спиной. Каким счастьем наполнена! Проживи-ка такую жизнь кто другой!.. Счастливыми нас делают высокие намерения, а не осуществленные цели. Да-да, именно так! Мне просто не повезло умереть вовремя, как другим. Как Инженеру, Декану, Рослому, да и тому же Волхву, и, кстати, Магистру в том числе... Да, просто не повезло! И ни перед кем, и ни перед чем нет ни моей вины, ни чьей-либо еще из наших. Уж если кто виноват, так это власти. Да, они виноваты; действительно виноваты! Если они уже знали о работах со сверхпроводимостью и оттого не хотели строить метро, почему держали все в тайне? Зачем им нужна была эта тупая секретность? Отчего они ни единым намеком не развеяли туман, который сами же напустили? Пальцем для того не пошевелили! А уж силу-то свою показали, вволюшку поиграли ею, до услады! Их вина, что метро никому не нужно, только их!..

Собираются тучи, начинается накрапывать дождь, и вот он уже льет всюю — целое небесное извержение. Я поплотнее запахиваю пиджак на груди, где у меня, завернутое в пленку, спрятано письмо, и поднимаюсь со скамьи. Ни зонта, ни плаща — ничего у меня нет. Ну вымокну — наплевать. Может быть, хоть простужусь и заболēju. Мне себя не жалко. Мне жаль лишь письма. С ним ничего не должно случиться, и надежный полиэтиленовый пакет всегда со мной.

На земле уже натекли лужи, я иду, не обращая на них никакого внимания, прямо по ним. Тут, у кладбища — посадочная площадка этих самых «пеналов». Но я обхожу ее стороной и иду под дождем дальше. Я никогда не пользуюсь этими летающими штуковинами. Только наземным транспортом. Только им.

Время от времени меня в моей конуре посещают всякие молодые люди. Среди них бывают сту-

денты, случаются рабочие, попадаются школьники, но почему-то чаще всего — это парни, недавно отслужившие свой срок в армии. Как они меня разыскивают, откуда у них мой адрес — бог знает. Они приходят и просят рассказать о нашем движении, о том, как все начиналось, жалуются на бесцельность и пустоту жизни.

Я не разговариваю с ними. Какие такие истины я им открою, какой такой мудростью поделюсь? А вспоминать мне не хочется.

— Идите, ребята, идите! — отправляю я их. — Никто вам в рот ничего не вложит, ищите сами.

Но когда я остаюсь один, я ощущаю в себе дикое, страшное бешенство. Почему приходят только эти молодые, зеленые ребята! Почему не придет, почему не возникнет в один прекрасный день в моей конуре человек, который хотел бы побеседовать со мной не ради себя, а ради меня, ради всех других, отдавших свои жизни строительству метро, — такому я бы многое рассказал, во многом бы вспомнил в беседах с ним. Я верю, наше метро еще будет размуровано, по туннелям его еще побегут, рассекая со свистом воздух, в облаке веселого грохота, скорые поезда, и толпы народа будут тесниться на платформах, ожидая посадки. Это бред, этого не может быть, это противоречит всем законам физики, чтобы можно было свести на «нет» гравитацию, эти «пеналы» не могут летать, это какой-то великий обман, общее умопомешательство, что всем кажется, будто они летают! Они упадут в один прекрасный день, упадут непременно, упадут! И тогда понадобится наше метро. Тогда в нем возникнет нужда, тогда вспомнят о нем!

А возникнет нужна в метро — возникнет и нужда в знании о тех, кто строил его. Такой героический, славный путь пройден от первого наклонного туннеля до пуска поездов. Такие героические, мужественные люди проделали его. Они заслужили памятники, они достойны книг, о них должны складываться легенды. На их примере есть чему поучиться!

Потом мало-помалу бешенство и ярость оставляют меня, и я прозреваю, до чего же смешон и жалок я был в своем толькошнем бурлении. Как это «пеналы» не могут летать, когда летают. И никто от них конечно же не откажется — что за резон! А метро если когда-нибудь и размуруют, то только для каких-нибудь глупых экскурсий. И девушка-экскурсовод будет говорить с легкомысленным видом, словно бы о глиняных черепках давно умерших, далеких от нас цивилизаций: «А вот здесь они выплавляли сталь. А вот здесь они ткали свое синтетическое полотно...»

Да, так, наверно, и будет.

Но все же хочется утешения, сознания ненапрасности прожитой жизни, сознания оставляемого после тебя, и оттого я вновь и вновь думаю с сумасшедшей надеждой: а может быть, жизнь и в самом деле преподнесет мне все-таки такой подарок. Ведь для чего-то же Бог продлил мои дни на земле!

Или он сделал это только в насмешку надо мной?

1988 г.

ПОЕЗД

1

Женщина проснулась от грохота колес. Похоже, поезд на полной скорости влетел на цельнометаллический мост над оврагом с протекающей внизу речушкой, промахнул его и понесся дальше, с прежним ритмичным однообразием постукивая на стыках рельсов, но звучное биение металла о металл проникло в сонное сознание и пробудило его.

Женщина перевернулась на живот, приподнялась на локте и, отведя угол шторы, посмотрела в окно. За окном была полная темь, ни огонька, казалось, поезд завис в этой ночной темени, как в бездне — ни вперед, ни назад, висит в ней, никуда не двигаясь, — и только тяжелое грохотанье под днищем вагона напоминало о том, что на самом деле поезд летит, стремится себя вперед, глотает километры пути, отбрасывая их назад перемолотым пространством.

— Да уж когда же приедем! — произнесла она вслух.

Совсем негромко произнесла, почти про себя, едва проколебав воздух у губ, но с верхней полки ей ответили:

— Никогда!

Со смешком, с внятной иронией, впаянной в этот смешок подобно игривой летней мушке в кусок льда,

и мужчина, поняла она по звучанию голоса, свесил к ней с полки голову.

Мужчина был ее мужем, она знала в нем все — от цвета надетой майки до формы родинки в паху слева — и, даже не видя его в темноте, представила, как вокруг головы у него вырос светящийся серебристый нимб из распавшихся на пробор длинных прямых волос.

— Не шути так! — сказала она в полный голос, поднимая голову к нему в темноту. — Который час, знаешь? А то я что-то не соображаю ничего. Может, пора вставать?

Вверху полотняно всхлопнуло отброшенное в сторону одеяло, мужчина заворочался, с сухим шорохом завопил по стене рукой, отыскивая выключатель ночника, тот, наконец, щелкнул, и на оконные шторы брызнуло мерклым, режущим глаз своим тщедушием светом.

— О-оо! — воскликнул мужчина с экспрессией. — Ничего мы дрыхнем. Конечно, пора вставать. Десять часов проспали. Куда еще!

Он скинул вниз ноги, соскочил на пол, прошлепал по нему и с маху хлопнул ладонью по выключателю лампы под потолком. В одно мгновение вокруг стало светло — снова до болезненной рези в глазах.

Женщина не чувствовала в себе сил вставать.

— Ты шутишь, — сказала она, прикрываясь от света рукой. — Какие десять часов! Я совсем не выспалась.

— Я шучу, я шучу, — пропел мужчина, скача на одной ноге и всовываясь другой в штанину. — Я шучу, тобой верчу и деньгу я молочу!

— Много ты денег намолотил, — с живостью отозвалась на его песенку женщина. — Сиди уж!

— Ради красного словца не пожалею и отца, — с ответной живостью ответил ей мужчина, продолжая танец с брюками. У него никак не получалось стоять на одной ноге.

— Скоморох, — проговорила женщина, отнимая руку от глаз. Те приспособились к свету, и больше их не резало.

Теперь мужчина промолчал. Похоже, ему хотелось отбрить женщину какой-то резкостью, но он сдержался.

— Нет, неужели десять часов? — ноюще произнесла женщина. — Я совсем не выпалась, совсем! — Говоря это, она тем не менее столкала с себя к ногам одеяло и, охая, спустила вниз ноги, села на полке. — Помню, как легко поднималась молодой — сколько ни поспи.

— А я ничего не помню, не помню, не помню! — выкрикнул мужчина. — Я не был ни молодым, ни еще каким. Я просто был, и был, и был!..

— Нет, я была, — потягиваясь и зевая, сказала женщина. — Какая я была молодая, молодая, молодая!

Она не собиралась передразнивать мужчину, но получилось, что передразнила — как бы спародировала его, — женщина осознала это и рассмеялась.

— Ты и сейчас еще самый цимус, — обнял ее за плечо, помял мужчина. Он решил, что она передразнила специально, и ему это понравилось. — Нечего тебе охать, кто охает — у того жизнь аховая.

Теперь промолчала, не ответила женщина. Выражение ее лица свидетельствовало, что ей бы хотелось сказать очень много, но она держит себя в руках и ничего не скажет.

Мужчина взял со столика у окна, застеленного хлопчатобумажной салфеткой, зубную щетку с тюбиком пасты, прозрачный полиэтиленовый пакет с просвечивающим сквозь него бритвенным станком, сдернул с поручня полотенце и, прокрутив рукоятку щеколды, открыл дверь в коридор.

— Давай присоединяйся ко мне, — бросил он женщине, переступая порог.

Шагая покачивающимся пустынным коридором, отчего его несколько раз бросало то на одну, то на

другую стенку, мужчина подумал мимолетно: как странно, так пусто. Прежде в коридоре, когда проходил им, всегда был народ, кто стоял у окна, вглядываясь в проносящиеся мимо пейзажи, кто просто сидел на откидном сиденье, кто разговаривал, оборотившись друг к другу лицом и перегородивши проход, а теперь — никого, никого из раза в раз, никого, никого, никого, повторилось в нем.

А, ночь же, сообразил он следом, взглядывая невольно в окно. Там все так же стояла гулкая темь, поезд раскачивался в ней, будто подвешенный. Но в тот же миг, как мужчина посмотрел в окно, поезд снова проколотил по мосту — вроде того, что разбудил их с женой, — и этот звонкий мгновенный гул напомнил собой о безустанном движении поезда по определенному для него колеей пути.

Купе проводника стояло открытым, но самого проводника в нем не было. Лежала на столике пачка сигарет марки «Винстон», газовая зажигалка, развернутый на середине глянцевоый журнал с яркими фотографиями, — и это все, что свидетельствовало о его присутствии в вагоне. Мужчина не видел проводника уже очень давно, целую пропасть времени. Когда садились в поезд, проводником был усатый рябой старик — взгляд, случайно наткнувшись на него, тотчас в страхе отскакивал в сторону: так суров, так грозен был старик, чувствовалось: что не по нему, не понравиться — выведет в тамбур, отомкнет дверь наружу и выкинет на полном ходу, без всякой жалости. Потом усатого сменил лысоголовый, толстопузый, постоянно кричавший непонятно что, бегавший по вагону из конца в конец с чаем в подстаканниках и заставлявший всех пить чай независимо от того, хочет кто или нет; его сменил густоволосый, густобровый, с улыбочивым жизнелюбивым лицом, этому было все равно, пьют у него чай или не пьют, ему все было все равно, и он часто вообще исчезал из вагона; и новые проводники, заступавшие на дежурство после него, вели себя похоже.

Но когда мужчина, умывшись, почистив зубы, побрившись, вышел из туалета и направился обратно в купе, проводник сидел на своем месте, курил, облокотив руку с сигаретой о стол, шурился от вьющегося дымка, закидывая голову назад, и листал журнал с яркими фотографиями. Это был еще вполне молодой человек, много моложе своих предшественников, и вместе с тем удивительно на них на всех — не на каждого в отдельности, а именно на всех сразу — похожий. Мужчина остановился в проеме двери и, старательно улыбаясь, поприветствовал проводника.

Тот поднял от журнала глаза, отнес руку с сигаретой подальше в сторону и молча уставился на мужчину. Взгляд у него был холодный и как бы сонный. У мужчины внутри от этого взгляда невольно продрало морозцем.

— Чаю можно? — спросил мужчина, продолжая старательно улыбаться.

— Чаю? — переспросил проводник, словно не понял.

— Чаю, — подтвердил мужчина, снова ловя себя на том, что по спине у него ознобно ползут мурашки.

— А хочется? — спросил проводник.

На лице у него при этом появилась улыбка. Как бы он и без того знал, что хочется, полагал это желание слабостью, но, впрочем, слабостью простибельной.

— Хочется, — опять подтвердил мужчина.

— Ну, хочется, значит, будет, — окончательно простил ему его слабость проводник, продолжая улыбаться. — Идите. Ждите.

И вновь склонился к журналу перед собой, поднес руку с сигаретой к губам, затянулся, всасывая внутрь щеки.

— Идите, идите, — сказал он затем, взяв сигарету изо рта и взглядывая на продолжавшего стоять в дверном проеме мужчину. — Сказал, что будет, значит, будет. Ждите.

Возвращаясь к себе в купе, мужчина чувствовал, что у него сделалась танцующая походка. «Чай. Будет. Ждите. Будет. Чай», — повторял он про себя в ритм этому танцу. Ему ужасно хотелось чаю. Именно от проводника, в фигурно-резных металлических под-стаканниках, со звенящими ложечками в тонкостенных стаканах, с брошенным внутрь твердым кубиком рафинада, рассыпающимся на дне в вулканообразную горку. Как не ценили, когда тот лысоголовый носился по коридору, навязывая всем щедро нанизанные веером на пальцы темно-янтарные парящие стаканы. Отталкивали его руки, захлопывали перед ним двери, ругались, высмеивали за глаза, рассказывая про него анекдоты.

Женщина уже поджидала мужчину, сидя перед зеркалом и расчесывая щеткой волосы. Вид у нее был посвежевший. Пока он брился, она успела сгонять в другой туалет, умыться там и вернуться. Она у него вообще была быстрая.

— Краситься пора, — сказала она вошедшему мужчине, не отрываясь от зеркала. — Волосы как растут — ужас. Опять все корни седые.

— Давай покрасься, — поддержал ее мужчина. — Конечно, нечего с сединой ходить.

— Да? Покрасься? — Теперь женщина посмотрела на него. — А где денег взять? Краска сейчас знаешь сколько стоит? Есть у тебя деньги?

— Почему у меня, — недовольно пробормотал мужчина. — У нас общие деньги. Не попей немного свой кофе — вот и сэкономишь на окраску.

— Без кофе я не могу, ты прекрасно знаешь, — отпарировала женщина.

Мужчина вспомнил о своей радости.

— Проводник обещал нам чай, — доложил он. — Сказал, подождите немного, обязательно будет.

— Что ты говоришь?! — ответно вспыхнула женщина.

При всей ее страсти к кофе чай от проводника — это для нее тоже было не меньшей радостью, чем для

мужчины. Чай от проводника — это был чай от проводника!

— Да, да, — подтвердил мужчина. — Шел сейчас мимо, он там сидит у себя, попросил — он говорит, будет, ждите.

— Подождем, подождем, — как пропела женщина, стремительно начиная взбивать волосы над лбом, чтобы скрыть седину у корней. Закончила взбивать и так же стремительно убрала щетку куда-то с глаз долой. — Ждем, ждем! — повторила она. И обратилась к мужчине: — Хлеб доставай. Ножи. Порежем сейчас сырок. И колбаски еще осталось...

Мужчина, мелькая сверкающим никелем ножа вверх-вниз, вверх-вниз, быстро порезал хлеб, вареную, ненатурального оранжевого цвета колбасу, сыр, пристававший к никелю, будто оконная замазка, женщина разложила все по тарелкам, расставила их на столике так, чтобы свободно поместилось бы еще четыре стакана; прошло изрядно времени, но проводник не появлялся.

— Он тебе точно обещал принести? — спросила женщина.

— Ну а как же! — вскинулся мужчина.

— А ты, случайно, не пошутил? — Женщина смотрела на мужчину с язвительной улыбкой созревшего подозрения. — По своему обыкновению.

— Ага, я! — воскликнул мужчина.

Он сорвался с места, открыл дверь и выскочил в коридор. Из коридора рвануло холодным воздухом, тоской пустого пространства, подобного бескрайней пустыне.

Мужчина стремительно прорезал-собой это пространство, влетел в теснину перешейка, ведущего к тамбуру, — дверь служебного купе была плотно закрыта. Он с ходу дернул ее за ручку, дверь поехала в сторону, раскрываясь, — купе было девственно пусто. Все сияло чистотой, порядком, нигде ни единого следа пребывания здесь кого бы то ни было. Словно никогда здесь никого не было и не должно было быть.

Мужчина вошел вовнутрь, постоял в растерянности. Подергал дверцу шкафчика, за которой полагалось стоять стаканам, — та не поддавалась. Он снова огляделся. Как если бы проводник был гномом и мог каким-то фантастическим образом здесь спрятаться.

Но проводник гномом точно не был, и спрятаться ему здесь было негде. Хоть предположи, что его здесь и в самом деле не было и он тебе просто примерещился.

Мужчина выступил из купе обратно в теснину перешейка, ведущего к тамбуру, и подергал дверцу шкафчика, скрывавшего собой титан с кипятком. Во всяком случае, чтобы заварить чай, в титане должен был находиться именно кипяток.

Однако и эта дверца оказалась закрыта.

Мужчина шел пустынным коридором, и у него было чувство, он не идет, а тащит себя. Разбежался! Чаю ему в подстаканнике! Вскипяти воду кипятивильником и завари сам — какой у тебя есть. Барин нашелся: подайте ему!

— Что? — увидев его, все поняла женщина. — Не будет чая? Я так и знала. Нечего было и ждать.

Мужчина сорвался на крик — не понял, как это с ним случилось.

— Что ты знала?! Что ты знала?! Все ты всегда знаешь! Знала, так чего ждала?!

— Ну, я надеялась, — уступаяще, напоминая самой себе поджавшую хвост собаку, произнесла женщина.

— Надеялась она! — рявкнул мужчина.

— Да, все обман кругом стало, все обман. — Женщина изо всех сил старалась, чтобы голос ее звучал как можно миролюбивей. Она боялась мужчину, когда он становился таким. Невменяемым, говорила она про себя.

— Вот именно, — остывающе проронил мужчина. — А тебе все выглядеть умнее других хочется. Продемонстрировать себя! Что демонстрировать. Сама такая же.

— Такая же, такая же, — с прежней уступающей интонацией отозвалась женщина. Вытащила свернувшийся кольцами анаконды проржавело-бурый кипятильник с длинным черным хвостом провода, достала стеклянную литровую банку и протянула мужчине: — Наберешь воды в туалете?

— Куда денуть, — уже стыдясь своего крика, принял мужчина банку из ее рук. — Наберу. Конечно.

2

Жираф появился, когда они допивали чай. Осталось только на самом дне банки — коричневая муть взвеси с крошечным чайником внизу. Он появился из-под стола, на котором у них был разложен завтрак. Высунул оттуда свои антенные рожки, покрутил головой вправо-влево, показывая мужчине с женщиной, что он — вот он, прополз немного на коленях и, подтянув короткие задние ноги, встал в полный рост.

— Мое явление собственной персоной, — проговорил он. — А собственно, если не собственной, то как по-другому?

— Вот именно, — тотчас, наставительно откликнулась женщина.

— Ладно, нечего выкаблучиваться, — сказал мужчина. — Пришел, и хорош. Чаю будешь?

— Вы же знаете, я не употребляю, — ответил жираф и тут же наклонил голову к столу, всунул своей узкой длинной мордой в банку, наклонил ее и с шумом втянул в себя мутную взвесь. — Фу! Фу! — отфыркиваясь, выбрался он из банки. Толстые его негритянские губы брезгливо кривились, ноздри топорщились в стороны. — Оставили одну гадость. С вами так и в самом деле перестанешь употреблять.

— «Употреблять» — это не про чай принято говорить, — с прежней наставительностью сказала женщина. — Это про кое-что другое.

— А я полагаю, и про чай, — невозмутимо парировал жираф. — Сенца вы мне, случаем, не припасли?

Мужчина усмехнулся. Этот вопрос адресовался ему, не кому другому.

Он молча поднялся со своего места, снял с полки над дверью чемодан, расщелкнул замки и, откинув крышку, достал изнутри несколько картонных аптечных коробок с лекарственными травами.

— Что у нас может быть, — отправив чемодан обратно на полку и принимаясь вскрывать коробки, сказал он. Склеенные картонные створки отдирались одна от другой с хлопающим сухим треском. — Вот мать-и-мачеха от кашля. Зверобой, общеукрепляющая. А вот валерьянка. Корни валерьяны, в смысле.

— Я не котяра какой-нибудь, мне не вредно, не возбужусь, — замороженно уставясь на коробки в руках мужчины, сказал жираф. — Могу и валерьянку.

— Ну, можешь, так и давай, — сказала женщина.

Теперь это было произнесено ею с покровительственностью.

Жираф не ответил ей. Он уже изнемогал, его так и водило из стороны в сторону предвкушением гастрономического блаженства. Ему даже прикрывало от этого предстоящего блаженства глаза.

— На, — поставил перед ним вскрытые коробки мужчина. — Сено не сено, но не солома точно.

В ответ ему жираф издал только задышливое урчание. Губы его были погружены в коробку, он торопливо работал ими там внутри, и коробка от их движения шевелилась на столе, ездил вперед-назад, будто живая. Пергаментная бумага внутренней упаковки издавала звонкий шелестящий звук, как если бы сопротивлялась жующим губам, но без надежды сохранить свое содержимое.

Во всяком случае, такое сравнение пришло в голову мужчине. Смотрел на жирафа — и вот подумалось.

— А ты говорила, не будет он валерьянку, — поглядел мужчина на женщину. — За милую душу!

— Ну он же не котяра какой-нибудь, — защитилась женщина. Так, словно высказала свою собственную, выношенную мысль, а не повторила сейчас просто слова жирафа.

Жираф закончил с последней коробкой, выдохнул воздух, сдвинул ее с морды, и удовлетворенно помотал головой:

— Райское наслаждение. Ради этого мгновения стоило жить.

Женщина фыркнула.

— Вот, ради такого — тоже, — сказал жираф. — Люблю, когда удается поднять настроение друзьям.

— Да, надо признаться... — начал было мужчина и махнул рукой, решив не вспоминать заново о неудавшемся чаепитии с подстаканниками.

Жираф подогнул задние ноги и опустился на пол.

— Ну, расскажи что-нибудь, — попросила его женщина.

— Непременно, — кивнул жираф. — Готовится указ о производстве всех жирафов в генералы, слышали?

Он сказал это — и сам же, не выдержав, захохотал.

— А? Что? — спрашивал он сквозь смех. — Неплохо я буду выглядеть с погонами? Тем более генеральскими. А в генеральской фуражке для моих рогов пробьют специальные отверстия. А как на мне будут глядеться генеральские штаны с лампасами!

Мужчина, слушая жирафа, похмыкивал, посмеивался вслед ему, но женщину шутка жирафа не пронила и не понравилась.

— Очень интересная новость, — сказала она. — Слышали уже. Правда, будут производить не в генералы, а в золотари. Шея у вас длинная, будете ведро на веревке таскать. Вверх-вниз, туда-сюда.

— Ну зачем ты так, — поморщился мужчина. Ему стало неудобно за нее перед жирафом.

Но жираф не обиделся.

— В Америке, — сказал он, — изобрели кастрюлю, которая варит без всякого огня. Поддерживает стоградусную температуру в течение целых полутора часов! Молодцы американцы, да?

— Да что американцы. — Женщина пожалала плечами. — Известное же дело, никакие не американцы, а какие-нибудь китайцы, или японцы, или наши же эмигранты. Американцы сами ни до чего додуматься не могут.

— Ну, это я не соглашусь, — упрямо помотал головой жираф. — И могут, и додумываются, и еще как. Я америкоман, и не скрываю этого. Великая нация!

— Великая, кто ж спорит, — подтвердил мужчина.

Но жирафу хотелось именно поспорить.

— И не убеждайте меня в противоположном, не надо. Все равно не убедите, — играя голосом, сказал он. — Американцы — великая нация, а вот испанцы, например, — это так себе.

— Это вдруг почему? — удивился мужчина.

— Или французы? — вопросительно произнес жираф. — Сальвадор Дали, художник этот, он кем был? Жил во Франции, но был испанцем? Или все же французом?

— Испанцем он был, испанцем, — подсказала женщина.

— Ну вот, значит, все правильно, значит, я испанцев имел в виду, — сказал жираф.

— Да почему же они «так себе»? — не выдержал, воскликнул мужчина.

— Потому что этот Дали нарисовал горящего жирафа, — ответил наконец жираф. В голосе его кипел металл. — Он не мог придумать ничего более выразительного и отвечающего правде жизни. Почему жирафа? Вот ответьте мне, почему жирафа?

Жираф просидел у мужчины и женщины больше часа, может быть, даже больше двух или трех, они переговори́ли обо всем на свете — не умолкая,

перебивая друг друга, торопясь сказать о своем, не помянув и десятой части того, что хотелось сказать; разговор их длился, длился — но вдруг мужчина поймал себя на том, что уже какое-то время беседует с пустотой. Жираф исчез, словно растворился в воздухе, так же неожиданно, как появился. Был — и не стало, и осознать его исчезновение удалось далеко не сразу.

Мужчина прервал себя на полуслове и посмотрел на женщину. Она задремала. Сидела, сложив руки на груди крест-накрест, а голова ее склонилась к плечу. Корни волос у нее действительно были седые, седину эту не мог скрыть никакой начес. Жалко, что уснула. Даже не уточнишь, когда же жираф прервал свое гостевание.

Дверь с грохотом откатилась в сторону, на пороге возник проводник. Он был одет по всей форме — как ему полагалось: с черным форменным галстуком под отворотами ворота белой форменной рубашки, черный форменный китель застегнут на все пуговицы, и те надраены до ослепительного солнечного сияния.

— Ну так что же за чаем-то не пришли? — спросил он.

В голосе его была прощающая благожелательность. Но и порицание: нужно было прийти!

— Так ведь вы же сказали — ждите! — ошарашенно вскинулся мужчина. Ощущая одновременно, что от слов проводника в нем возникло и разрастается чувство вины.

— Когда я сказал — ждите? — с резко обострившимся порицанием произнес проводник.

— Ну вот... когда мы разговаривали... тогда. — Мужчина потерялся; он уже не был вполне уверен, что проводник говорил это слово — «ждите». Может быть, и не говорил?

— Что-то вы не так меня поняли, — холодно сказал проводник. И спросил через паузу: — Так что, будете брать чай?

Мужчина не знал, как ему отказаться, чтобы не обидеть проводника. Не брать же было чай из вежливости, когда так надулись своим из банки.

— Я... вы понимаете... я заглянул... мне показалось, что вы забыли... вас не было... — забормотал он.

Проводник холодно смотрел на него, в глазах его было всякое отсутствие интереса к объяснениям мужчины, и мужчина совсем потерялся, сбился с мысли — и смолк.

— В следующий раз пусть вам не кажется, — сказал проводник. — Не знаете толком, что вам нужно, нечего беспокоить. — Ноздри его пошевелились, он втянул носом воздух: — Чем это у вас тут пахнет? Псиной, что ли?

— Какой псиной, что вы?! — испуганно проговорила женщина. Голоса мужчины с проводником разбудили ее, она ошалело хлопала глазами, ничего, судя по всему, не понимая, но «псиная» — о, это слово тотчас заставило ее сделать стойку.

— Не знаю, какая псиная, — пристально оглядывая купе своим холодным взглядом, ответил проводник. — Смотрите! Чтоб никаких собак в вагоне! Проездные документы не оформлены. Без проездных документов не положено. Ссажу с поезда — и гуляйте.

— Нет, что вы, какие собаки, какие собаки! — торопливо, незаметно для себя впадая в интонацию женщины, заприговаривал мужчина. — Где вы видите каких собак, что вы! Запах, вам показалось? Это мы ели, сыр не очень свежий...

— Сыр? — переспросил проводник. — Ну ладно, пусть сыр. Но собак чтоб... чтоб ими не пахло! — Ему понравилась собственная шутка, и он усмехнулся. — Да? Поняли?

— Поняли, поняли! — одновременно закивали мужчина и женщина.

Проводник постоял еще мгновение в дверях, потом молча отступил назад и бросил дверь в косяк. Собачка замка, входя в гнездо, звучно хрюснула, стен-

ка от удара содрогнулась, полка под мужчиной и женщиной отозвалась ответным сотрясением.

— Ох, я испугалась! — приложила руку к груди женщина. — Я думала, приятель наш здесь. Думала, ну проводник сейчас увидит его!

— Да, и меня продрало, — признался мужчина. — Даже и не знаю почему. Вдруг, думаю, что-то поймет. Хотя этого нашего и след простыл.

— Простыл! А он вон что-то учуял.

— А и вовсе от нашего никакой псиной не пахнет, — сказал мужчина. — Что он учуял...

— Интересно, — проговорила женщина, — если бы он пришел чуть раньше и увидел его? Что бы тогда?

— А-а! — экспрессивно вскинул руки мужчина. — Думать еще об этом! Увидел бы и увидел.

Женщина помолчала.

— Он бы его не увидел, — сказала она затем.

— То есть? — Мужчина не понял.

— Не увидел бы, потому что никому, кроме нас, увидеть его не дано. Он только наш.

— Так вот, да? — пробормотал мужчина. — Ну что ж, хороший способ, чтоб успокоиться. Если помогает, почему не верить.

— Нет, это точно, точно, — с убежденностью произнесла женщина.

Мужчина согласно покивал:

— Да верь, верь. Я не против.

3

Поезд все так же гремел колесами, рвал пространство перед собой, отбрасывал его назад, все той же жгуче-непроглядной оставалась тьма за окном.

— Люди, верящие в свои достоинства, считают долгом быть несчастными, дабы убедить таким образом и других и себя в том, что судьба еще не воздала им по заслугам, — читала женщина, далеко,

на расстояние вытянутой руки, относя от глаз книгу. Читать без очков было ей тяжело, но она хотела именно читать, а не слушать, как будет читать мужчина. Очки у нее уже изрядное время назад разбились, следовало, конечно, приобрести новые, но скопить денег на покупку новых все пока не получалось, и она пыталась обходиться без них. — Точно как, да? — дочитав, подняла женщина глаза на мужчину. — Замечательно точно. Вот еще, послушай: — Нам дарует радость не то, что нас окружает, а наше отношение к окружающему, и мы бываем счастливы, обладая тем, что любим, а не тем, что другие считают достойным любви.

Мужчина зевнул. Потянулся.

— Замечательно, — подтвердил он. — Согласен. Ни слова неверного. — И снова потянулся, до хруста в суставах. Он уже знал всю мудрость этой захваченной в дорогу книги едва не назубок. — Если б мне за мое согласие еще бы и работенку какую-нибудь подкинули.

— Кому ты нужен, — безжалостно ответила женщина. — Живи на пенсию.

— Никому не нужен, — вновь подтвердил мужчина. — И ты тоже.

— Ну... и я тоже, — с запинкой произнесла женщина. И добавила с решительностью: — Нечего поэтому и говорить об этом.

— Само получается, — не оправдываясь, через паузу, сказал мужчина. Побарабанил пальцами по колену, вскинул руку резким движением вверх и уронил обратно на колено, снова пробарабанил пальцами. — Когда уж мы приедем!

— Ты же говорил, никогда?! — тотчас с радостью уличения вскинулась женщина.

— Мало ли что я говорил, — отозвался мужчина. — Когда-нибудь, конечно, приедем. Весь вопрос в том — когда?

Он забросил руки за голову, откинулся назад, к стенке, и закрыл глаза. Посланный через вагонный

корпус, через кости кистей на затылке, в голову ему ударил стук колес о рельсы. Бам-бан, двойным ударом гремели колеса в голове, бам-бан, бам-бан.

Когда-то, помнилось мужчине, в бесконечной дали молодости, им очень хотелось попасть в этот поезд. Страстно хотелось. Они тогда жили в будке стрелочника, выскакивали к проносящимся мимо составам то с флажком в руке, то с фонарем — в зависимости от времени суток. В сутках тогда были и день, и ночь, свет сменялся тьмой, а тьма — снова светом, с завидной регулярностью, и когда опускалась тьма, то повсюду вокруг зажигались огни — десятки, сотни огней, и уже не было разницы: день ли, ночь ли, свет, тьма. Но так всякий раз, когда выскакивали из будки на приближающийся грохот очередного состава, точило завистью к тем, кто промелькивал мимо за вагонными окнами, так сжимало тоской сердце, такое наваливалось отчаяние, что никогда не удастся подняться по рифленным железным ступенькам, оказаться внутри, пройти длинным, украшенным цветной ковровой дорожкой коридором к своему купе, занять положенные места...

Все, однако, получилось само собой. И поднялись, и прошли, и заняли. И, как теперь понимал мужчина, иначе не могло быть. Просто настала их пора сесть в поезд — и кто мог помешать им в этом? Если билеты на руках, а поезд останавливается перед тобой, двери распахиваются, и проводники выходят из тамбурной тени в готовности впустить тебя внутрь...

Как они были счастливы оказаться в поезде! Как жадно вглядывались в проносящиеся за окном пейзажи, которых из будки стрелочника никогда бы не увидели. А сколько у них было друзей! Ходили из одного купе в другое, и приходили к ним, толклись шумной толпой в коридоре, так что даже тот первый проводник-усач, когда ему случалось проходить мимо, не решался сказать ни слова замечания.

— Пойди прогуляйся, отоварься чем-нибудь на обед, — извлек мужчину из воспоминаний о прошлом голос женщины. — Развеешься ко всему прочему.

Мужчина открыл глаза. Нет, прогулка за продуктами вовсе не могла доставить ему радости. Суррогат действия, пустая мышечная активность, не дающая душе ровным счетом ничего.

Но препираться с женщиной не хотелось. Да и кому-то в конце концов нужно было сходить «отовариться».

— Давай прогуляюсь, — согласился он.

— А я, пока ты ходишь, постираю белье, — сказала женщина. — А то совсем грязное стало, давно пора постирать. Постираю, да?

— Постирай, конечно, — равнодушно благословил ее мужчина.

Дорога за продуктами пролегла через ресторан. Последнюю пору проходить через ресторан было все равно что протаскивать себя через строй. Раньше мужчина и женщина нередко позволяли себе обед в ресторане; не то чтобы они были его завсегдатаями, но именно что позволяли. Однако уже довольно изрядное время они не могли разрешить себе его посещения. А в нем все больше и больше становилось незнакомых лиц, прежние знакомые, практически, исчезли, и когда проходил за продуктами, хозяева столов все как один вперивались в тебя взглядами, провожали из конца в конец, на обратном пути внимательно изучали содержимое твоей авоськи, и всегда взгляды эти были недоуменно-недоброжелательны и даже враждебны. Словно ты безо всякого права вторгся на чужую территорию и странно, что не осознаешь этого. Впрочем, ресторан и в самом деле сделался как бы особой территорией: в нем теперь сидели вот уж точно что завсегдатаи — одни и те же люди из раза в раз, и удивительным образом все они были

похожи друг на друга: хмуро-подозрительным выражением лиц, неизменным взглядом исподлобья, — казалось, они готовы в любую минуту вскочить и ударить тебя.

И сейчас, прежде чем растворить дверь в ресторанный зал, мужчина мгновение постоял перед нею, внутренне собрался, как бы взнуздая себя, натянул струной — чтобы пройти сквозь этот строй с деревянным бесчувствием. Рычажная ручка поддалась нажатию руки, дверь отплыла в сторону, и мужчина шагнул внутрь.

К его удивлению, ресторан оказался тих, пуст, зал его зиял едва не такой же провальной тьмой, как та, что стояла за окном. Она не была такой же из-за горевшей на одном из столов в середине зала большой настольной лампы под широким зеленым абажуром; лишь этот стол и был занят — тускло освещалось несколько лиц, ходили над тарелками руки с поблескивающими ножами и вилками, раздавался легкий стук металла о фарфор, позванивал хрусталь, гудели негромко голоса.

Замечательно, подумал мужчина обрадованно. Темнота — это ему было на руку. Кто бы и как на него ни глядел, он будет невидим для них, недосягаем для их взглядов, — только звук шагов, и ничего больше.

Он двинулся по проходу между столами, но успел сделать каких-нибудь три шага, — откуда-то из темноты вынеслась вдруг, обдав бурным дыханием, большая жаркая масса. Мгновение — и правая рука мужчины оказалась завернута за спину, да так, что его согнуло пополам, а изо рта вылетел хриплый судорожный вскрик.

— Кто такой?! Что надо?! — обжигаящим кипятиком прорычала масса над ухом.

— Вы... вы!.. Я... Вы что!.. Отпустите!.. — забился мужчина.

— Я тебя сейчас отпущу! — было ему ответом, и руку мужчине завернули так, что из него снова вы-

валился безобразный клокочущий крик и он перегнулся в поясе едва не до пола.

— Кто там? Что ему нужно? Как он прошел? — услышал мужчина — и понял, что это спрашивают те, из-за стола.

— Я... как обычно... за продуктами... — сумел он выдать из себя.

За столом дружно грохнули. Смех был кичливый и издевательский.

— За продуктами он! Похавать захотел! Обнаглел вконец! В дурачка играет! — доносилось до мужчины.

— Ну-ка подволоки его сюда поближе! — выделившись из других, приказал затем чей-то голос.

Масса, пригибавшая мужчину к полу, поддала ему под зад коленом, одновременно отпустив завернутую руку, и мужчина полетел вперед, заперебирал ногами, стремясь удержаться, не упасть, но не получилось, и он так, с маху, рухнул перед столом на пол, ударившись о него лицом. Лицевые кости тотчас отозвались на удар горячей болью, в носу словно бы просквозило, и мужчина почувствовал, как наружу из носа хлынуло.

Вытащив руку из-за спины, он оперся обеими руками о пол, встал на колени, закинул голову назад и зашарил в брючном кармане, отыскивая платок.

— Что вы сделали!.. — глухо промычал он в ослепительную тьму перед собой.

— Сейчас еще получишь, — коротко ударили его сзади в затылок, так что голова мотнулась вперед и кровь, рванувшись из носа обильной струей, забарабанила перед мужчиной об пол.

— А, знаю его! — услышал мужчина чей-то голос.

Он наконец сумел вытащить из кармана платок, зажал нос и попытался сфокусировать зрение, чтобы увидеть сидевших за столом. В конце концов ему это удалось.

Их было человек пять за столом. Или шесть. Точнее мужчина посчитать не мог. Это были проводники. Все в форме, в галстуках, только по слу-

чаю трапезы кто расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, а кто и пиджак. Один из этих пятерых или шестерых был проводник его вагона. Это конечно же он и сказал, что знает мужчину.

Мужчина ощутил, как его прошило радостью.

— О, это вы! — воскликнул он. Из-за того, что приходилось зажимать платком нос, вышло у него это довольно невнятно. — Что тут такое? Что происходит? Я за продуктами...

— Заткнись! — оборвал его один из сидевших за столом. Может быть, тот, что приказал подтащить поближе. — Не гундось. Что, не знаешь, что продуктами в поезде больше не торгуют?

— То есть? Как это? — спрашивал было мужчина — и смолк. Его сковал страх перед новым ударом по затылку. Ведь ему было велено заткнуться.

За столом в несколько голосов всхототнули:

— Ну ладно, ладно, что смеяться над человеком, — увещающе проговорил знакомый голос проводника из вагона мужчины. — Не знал! Не сказал ему никто. А радио не слушал. Забыл включить. Или испорчено.

— Испорчено? — прекращая смеяться, сурово спросил мужчину из-за стола один из проводников.

— Или не включено? — перебивая его, спросил тот, что приказывал подтащить поближе, а потом — заткнуться.

— Не включено, — подтвердил мужчина.

— Это почему?! Должно быть включено! Кто решил выключить?! — разом с возмущением проговорил несколько проводников. У одного от возмущения рука с ножом даже вскинулась вверх — словно он собирался броситься с ним на мужчину.

Тот, что велел мужчине заткнуться, видимо, старшинствовавший у них, а может быть, и бывший начальником поезда, медленным тяжелым движением повернулся в сторону проводника из вагона мужчины.

— Ты как следишь? — с этой же тяжелой медлительностью, что была в его движении, проговорил он. — Почему у него радио выключено?

— Недоследил, — тотчас отозвался проводник из вагона мужчины. На выдохе, с покаянностью, с интонацией самобичевания. Он опустил руки с ножом и вилкой по обеим сторонам тарелки, вытянулся над нею как бы по стойке «смирно». Губы у него подобрались, в глазах стояло выражение осознания своей вины. Искреннее и прочувствованное.

Старшинствовавший, а может быть, и начальник поезда, подержал на нем свой тяжелый взгляд еще и снова повернулся к мужчине.

— Почему выключаешь радио?

— Голова болит, — сказал мужчина.

— От чего, от радио?

— От радио, — подтвердил мужчина.

— А таблетку от головной боли принять?

— Зачем же таблетку, когда можно просто выключить, — прогундосил мужчина. Он почувствовал, кровь остановилась, отнял платок от носа, а следом обнаружил, что по-прежнему стоит на коленях и так, коленопреклоненно, разговаривает с ними. Словно какой-нибудь раб. Его мигом подняло с коленей, было мгновение — опажнуло страхом: снова заломят руку и снова бросят на пол, но этого не случилось, и его опажнуло новой волной радости. — Просто выключить — и никакой головной боли, — с этой радостью подтвердил он свои предыдущие слова.

Старшинствовавший за столом, бывший, возможно, начальником поезда, повернул голову к проводнику мужчины и, морща губы, покачал головой:

— Слышал? Я такого — чтоб больше ни разу. Разберись.

— Непременно. Обязательно. Все будет как должно, — продолжая сидеть по стойке «смирно», с глазами, полными осознания своей вины, быстро проговорил проводник.

— Пошел. Кругом марш, — глянув на мужчину, бросил старшинствовавший, возможно, начальник поезда.

— Простите! — выкрикнул мужчина. — А продукты? Как же продукты? Где их теперь покупать? Ответом ему был новый взрыв хохота.

— Где ему покупать! Наглец! Ну ни хрена будто не соображает! Хоть кол ему на голове теши!.. — хохотали сидевшие за столом.

И теперь проводник мужчины не предпринял попытки заступиться за него.

Потом проводник, что первым задал мужчине вопрос о радио, с той же суровостью, что спросил: «Испорчено?» — наставил на него указательный палец:

— Все! Кончилась лафа! Устраивайтесь, кто как может. Кто как хочет. Хватит, наполнились тут! Что, ресторан проходной дом вам? И нечего больше бухтеть, сказано — пошел!

Жаркая масса, бурно дышавшая в темноте рядом, вновь надвинулась на мужчину, взяла его за плечо и, развернув, двинула обратно к тамбурной двери — откуда пришел. В мужчине все возопило протестом, мысленно он отшвырнул от себя своего конвойного, вмазал его в стенку, вытолкал в окно, втрамбовал в колеблющийся под ногами, гудящий пол, но на самом деле куда ему было против этой горы мышц! Он стиснул зубы — и, ведомый направляющей рукой пышущей жаром массы, покорно последовал к выходу.

4

Женщина, когда мужчина распахнул дверь в купе, сидела на полу. Со втянутой в плечи головой, беспомощно вскинутыми перед лицом руками — словно от кого-то защищаясь. В глазах ее, когда она метнула взгляд на вошедшего мужчину, он увидел ужас.

Слова гнева и возмущения, с которыми мужчина спешил к ней, чтобы рассказать о происшествии в ресторане, истаяли с языка, не сложившись в звуки. Он все понял. Она и в самом деле защищалась.

— Опять здесь? — бросился он к женщине. — Где?!

И увидел.

Американец, от которого защищалась женщина, висел под потолком, в самом его центре — подобно пауку в середине своей серебристой паутины. Только в отличие от паука он сам весь был серебристый — точно перистые облачка в летний день на высоком голубом небе, — и особенно серебристым, просто ослепительно серебристым был круг стремительно вращающихся лопастей над ним. Он имел облик большого, крупноголового вентилятора с трех длинных, изогнутых наружу лапах, и все в этом его облике: и мощные широкие лопасти, то скрытые раздвижным решетчатым чехлом, то вольно распахнутые наружу, и невероятно длинные конечности, на которых он умудрялся передвигаться быстро и ловко, ничуть в них не путаясь, и сам корпус, респектабельно-изысканной, тяжеловесной линии, — все это так и заявляло о себе: американец! американец! американец!

— Вон! — закричал мужчина, хватая со столика у окна лежавший там столовый нож и угрожающе вскидывая руку с ним к потолку. — Пошел вон отсюда, скотина!

Американец под потолком, слушая его, саркастически усмехнулся.

— Личную инициативу нужно проявлять, — без всякой видимой связи со словами мужчины, с некой механической заученностью изрек он оттуда. — Больше ответственности брать на себя. Слишком инертны!

— Вон! — повторил мужчина, вновь взмахивая ножом. — Получишь от меня! Я — не она, получишь по первое число!

Американец появлялся у них уже не в первый раз. Весьма не в первый. И всякий раз вел себя вызывающе агрессивно. Сначала, когда только объявился, он умел лишь по-английски, вещал-вещал что-то со строгим учительским видом — и на ветер, мужчина с женщиной непонимающе разводили руками. То, что они не понимали его, вызывало у американца негодование, он бешено вращал лопастями, возмущенно притопывал, сыпал искрами короткого замыкания. Когда он впервые позволил себе употребить силу, мужчина с женщиной расценили это как род шутки. Но «шутки», хотя американец вполне овладел русским, стали повторяться, и мужчина не выдержал. Он ответил американцу. Даже и с перехлестом, — накипело. После этого довольно долгое время американец не возникал. А когда начал появляться вновь, то неизменно в его отсутствие. Донимал женщину нравouchениями, агрессия была из него фонтаном, — и у женщины не доставало сил дать ему надлежащий отпор.

— Инертны! Слишком инертны! — снова воскликнул американец и, со свистом рубя воздух блистающим кругом лопастей, стремительно ринулся вниз.

Мужчина невольно присел, схватил женщину в охапку, прижал к себе, прикрыл собой — насколько то было возможно. Американец сияющим серебристым сгустком пролетел мимо, казалось, должен был сейчас со страшной силой грянуть за спиной о пол, но нет: мгновение, другое, третье — все было тихо. Мужчина отпустил женщину и глянул за спину. Там, где полагалось бы лежать гряде металллома, все было девственно чисто, только несколько едва различимых глазом мусоринок на затертом, траченом половичке. Американец исчез, как его и не было. Будто он им обоим лишь примерещился.

Мужчина вспомнил, что женщина говорила про жирафа.

— Как ты думаешь, — хмыкнув, произнес он, — а его кто-нибудь, кроме нас, видит?

— Хочешь сказать, что он — только в нашем воображении? Смотри! — Женщина протянула к нему руки.

Мужчина посмотрел. Руки у нее до самых локтей были в яркой малиновой насечке, — следы от лопастей. И на щеках, на лбу, заметил он теперь, у нее тоже было несколько таких же полос.

— Сволочь! — вырвалось у мужчины. — Ах, сволочь!

— Он меня хотел убить! — В голосе женщины прозвучало рыдание. — Я не выдумываю, не выдумываю! По шее целил, в сонную артерию; я уже думала: все, не спастись!

Мужчине было нечего сказать ей на это. Нечем успокоить. Он мог сейчас только ругаться. Запустить трехэтажным. Сволочь, специально подгадывает момент для своих нравоучений, когда она одна и можно быть уверенным в безнаказанности! Но в том, что американец хотел убить женщину, он сомневался: Это было маловероятно. Зачем ему, что за смысл? Так, просто куражился по-обычному. Наслаждался своей механической мощью и гарантированной безнаказанностью.

Мужчина встал с пола, молча поднял женщину и посадил на полку. Провел ладонью по ее голове.

→ В следующий раз, буду уходить, нужно, чтобы у тебя под рукой было что-нибудь увесистое, — нашелся он, наконец, что сказать ей. — Вмажешь ему без жалости — будет знать.

Однако вместо умиротворения во взгляде женщины мужчина увидел все тот же ужас, что так резанул его, когда он вошел в купе.

— Что это с тобой? — спросила женщина, указывая на его лицо.

— Что? — непонимающе переспросил мужчина.

— У тебя кровь!.. И где продукты? Ты ходил за продуктами!

Мужчина вспомнил, что произошло в ресторане. Но те гнев и возмущение, с которыми он спешил к женщине, утекли из него — ничего не осталось, и он только махнул рукой:

— А-а, так.

— Нет, а продукты? Почему ты без продуктов?

Мужчина с удовольствием увидел, что тревога за хлеб насущный вымывает из ее взгляда ужас, растворяет в себе — подобно тому, как растворяет вешний снег вешняя вода.

— Кончилась лафа, — процитировал он слова одного из тех, что сидели за столом.

— Что ты несешь? — Женщина рассердилась. Она рассердилась, и от ужаса у нее в глазах не осталось и следа. — При чем здесь лафа? Какая лафа? Что ты собираешься есть на обед?

Она слишком рассердилась. Чересчур. Чрезмерно, — даже делая скидку на ее состояние. Мужчина расценил такую ее реакцию оскорбительной для себя. Все же ему, пока она тут страдала от американца, тоже досталось.

— А ты, когда я уходил, собиралась белье постирать. Постирала?

— Мне не удалось. Этот тип появился.

Мужчина покивал:

— Вот и мне не удалось ничего купить.

Сознание женщины, видел он теперь по ее глазам, с мучительным напряжением пытается соединить произнесенные им слова с его видом. И вот это соединение произошло: лицо ее вспыхнуло сочувствием, виной, покаянием.

— Так ты... У тебя... Ты, значит... — вырвалось у нее косноязычным бормотанием.

В следующее мгновение женщина вскочила, их бросило друг к другу, и они обнялись. И некоторое время стояли так, не шевелясь и ничего не говоря. А и что им было сейчас говорить друг другу. Они понимали друг друга и так, молчанием. Он был ею, она — им, уже давно, целую пропасть лет;

был он — была она, была она — был он, а поодиночке каждый из них становился словно бы одноногим, одноруким, одноглазо-одноухим, — какие у них могли быть взаимные счета?

5

Мужчина только закончил рассказывать женщине о происшествии в ресторане, как дверь откатилась в сторону и на пороге возник проводник. Его форменный пиджак с блестящими пуговицами был расстегнут, галстук расслаблен и сбился на сторону, верхняя пуговица рубашки расстегнута. Словно он бежал через все вагоны, задохся, сделалось жарко — и вот он растелешился. Но в противоречие с его раскрепощенным видом губы проводника были с карающей суровостью подобраны в нитку, и так же карающе-суров был взгляд его светлых холодных глаз.

— Н-ну?! — вперив этот карающе-суровый взгляд в мужчину, проговорил он, постояв некоторое время на пороге в молчании. — Вам и прямой приказ — не указ?

— Простите? — произнес мужчина. Он не понял, что хотел сказать проводник.

— Простить? — переспросил проводник. — С какой стати!

— Нет, «простите» — в смысле, что вы имеете в виду, что мне не указ, какой приказ? — поторопился уточнить мужчина.

— Почему радио не включено? — В голосе проводника сквозила арктическая стужа. — Вы что, уже забыли, о чем вам было сказано в ресторане?

— А, радио! — воскликнул мужчина. Он обрадовался, что все, наконец, прояснилось. — Не успели еще просто.

— А что тут успевать? — Арктическую стужу в голосе проводника расцветила уничижительная иро-

ния. — Трудно ручку повернуть? Без домкрата не обойтись?

Он резко шагнул в купе, заставив мужчину отскочить к столику у окна, перегнулся в поясе, принуждая мужчину изгибаться назад, втискиваясь в столик что было возможности, и, дотянувшись до круглого рифленого пластмассового колесика на стене, крутанул его. В барабанные перепонки с мерзкой оглушительностью ударила какая-то дикая музыка. Может быть, там было фортепьяно, может быть, труба, гобой, виолончель, но из всех слышен был лишь барабан; он колотил, заглушая все прочие инструменты, колотил со страстью, неистовством, бешенством самоупоеания; я, я, я, колотил барабан, есть только я, я, я, слушайте меня, слушайте, слушайте!..

Женщине вмиг стало дурно. Казалось, барабан бьет прямо по черепной коробке, и каждый удар все туже и туже свивает мозг внутри жгучим жгутом.

— Ой, зачем?! — простонала она.

— Затем! — откликнулся проводник. — Чтоб мне еще раз холку из-за вас трепали!

— А потише можно? — просительно произнес мужчина.

— Потише можно. — Проводник снова перегнулся в поясе и слегка привернул звук. — Но чтоб не тише! Чтоб я из коридора слышал! Тише — только когда спать. Но тише, а не совсем. Не до конца! Чтоб все равно включено было! Будете совсем выключать — ссажу с поезда, и гуляйте! Без разговоров. Я вас теперь не оставлю, вы у меня под колпаком, стану приходить проверять — хоть когда!

Тон его по-прежнему оставался арктически ледяным, но в голосе зазвучала живая страсть, как бы этот арктический лед пришел в движение, заторошился, с грохотом полез глыба на глыбу, и мужчине подумалось, что нужно замять последние слова проводника, нельзя заканчивать разговор на подобной угрозе.

— А я вообще думал, — с живостью, выпуская на лицо улыбку, проговорил он, — это шутка, про радио.

— Какая шутка! — перебил его проводник. — Все, шутки кончились! — Он взялся за узел галстука и, поведя из стороны в сторону подбородком, натуго затянул узел, не застегнув, однако, верхней пуговицы на рубашке. Переместил руки вниз, свел вместе борта форменного пиджака и просунул в петлю одну пуговицу, другую, оставив незастегнутой третью. — Кончились шутки, кончились, зарубите себе на носу!

Лед в его голосе все так же торошился и грохотал, но мужчина не решился на новую попытку смягчить проводника. Не получилось с первого раза — как бы вообще не сделать еще хуже.

Проводник между тем прошел обратно к порогу, переступил одной ногой за него — и внес ногу обратно, вновь повернулся лицом к мужчине и женщине.

— Да, а что это за запах, — пошевелив ноздрями, проговорил он. — Псиной пахнет! И тогда, когда в прошлый раз заходил. Что такое? Все же вы собаку везете. Без проездных документов!

— Да нет, что вы, мы ведь уже выясняли! — Женщина бросилась отвечать проводнику с явным желанием не дать ответить мужчине. Она опасалась, что он не сумеет ответить достойно. — Это мы завтракали. Это сыр такой. Залежался — и провонял. Какая собака, что вы!

— Да? Сыр? — недоверчиво произнес проводник, вновь пошевелив ноздрями. — Хм. Странно. Очень странно. Смотрите! Если в самом деле собака — ссажу с поезда, и гуляйте! Без разговоров.

Помянутый женщиной мифический провонявший сыр напомнил мужчине, что из похода за продуктами он вернулся с пустыми руками.

— Да! Послушайте! — кинулся он к проводнику. — А как же с продуктами? Где же теперь еду покупать?

На губы проводнику выскользнула тихая снисходительно-ироническая усмешка.

— Вам разве уже не ответили? По-моему, вы задавали этот вопрос, вам ответили, и вполне ясно.

— Что мне ответили! — воскликнул мужчина. — «Устраивайтесь, кто как может». Это ответ? Как нам устраиваться? Посоветуйте. Я не понимаю.

Проводник вздохнул. С таким видом, словно этот нынешний визит к мужчине и женщине непередаваемо измотал его. Просто кошмарно измотал.

— У поезда остановки бывают? — сказал он затем. — Бывают, знаете не хуже меня. Ну? Что ж тут непонятного, как устраиваться. Выскакивайте на остановке — и отоваривайтесь. Хотите, в станционном буфете. Хотите, в пристанционном магазине. Хотите, у офень прямо возле вагона. — «Офень» он выговорил с особым тщанием, со вкусом, так и выделив слово голосом, — ему было приятно шегольнуть им, показать, какие реликты он знает. — Выбор широкий, отоваривайся — не хочу. Что за проблемы?

— Но это неудобно! — снова вмешалась в разговор женщина. — Остановки так редко. И такие короткие. Иногда ее и заметить не успеешь, до того короткая.

— Ну, это уже проблема собственной расторопности. — Проводник всем своим видом так и показывал, что, продолжая разговор, делает мужчине и женщине одолжение, которого они не заслуживают. — Вот, кстати, сейчас остановка будет. Минут через десять. И пять минут поезд будет стоять. Пять минут. — мало вам? Вполне достаточно. И не выключать! — не сделав паузы, словно бы все продолжая прежнюю речь, ткнул он пальцем в рифленое пластмассовое колесико на стене у окна. — Чтоб всегда включено! Буду слушать из коридора.

Дверь за ним закрылась, въехав в обитый хромированной железной полосой косяк, и мужчина с женщиной остались вдвоем. Они остались вдвоем —

и обоим, и ей, и ему, показалось, что мгновенно наступила оглушающая, глубокая тишина. Хотя радио гремело во всю мощь, и все так же одним барабанным, самоупоенно выколачивающим свой примитивный варварский ритм.

— Давай на остановке сойдем вместе, — предложил мужчина. — Пять минут, пойдешь ориентируйся. Давай вместе.

— Давай, — не раздумывая, согласилась женщина.

6

Станция была крупная. Семь или восемь путей перед вокзальным зданием, а само здание вокзала — раскидистое, большое, объемное, рассчитанное принять в свое чрево разом сотни людей. Горели десятки фонарей, заливая пристанционное пространство ярким, готовым посоперничать с солнечным, светом, посвистывали маневровые паровозы вдалеке, невнятно грохотал голос диспетчера на горке. Выскочить из вагона, вдохнуть свежего воздуха на такой станции было даже и удовольствием.

Поезд поставили не вплотную к зданию вокзала, а посередине рельсового поля, но пути перед высоким привокзальным перроном были свободны, и дорога к вокзалу открыта. На улице, оказывается, властвовала зима. Лежал снег, стоял рьяный морозец, разом пробравшийся под одежду и одевший тело каленой железной кольчужкой. Изнутри ничего этого было не понять. Казалось, что лето. Во всяком случае, когда они выходили на остановке в последний раз, еще всю буйствовала зелень.

Из вагонов на междупутье сыпались толпы людей. Как удивительно. А из их вагона не вышло никого, кроме них двоих.

Вдоль поезда уже выстроилась шеренга продавцов с рук — тех самых, кого проводник по-старому назвал

офенями. Точнее, это была не шеренга, они сбились клубящимися кучками около раскрытых вагонных дверей, обволакивали собой каждого вновь сошедшего на землю, катились с ним по междупутью, через рельсы, растворяли в своем клубке — если он останавливался, отлеплялись — если не останавливался, и бросались обратно к дверям.

К мужчине и женщине, только они ступили на подножку, тоже прихлынула такая же орда. Молодые румяные бабы, трясущиеся старухи, алкогольного вида мужики, вертлявые подростки с острыми пронырливыми глазами. А вот картошечка отварная, горячая, голосили бабы. Огурчики соленые с укропчиком, с дубовым листом, верещали старухи. Папиросы, сигареты, самосад имеется, зверь, не самосад, хрипели мужики алкогольного вида. Жвачка, чуингам, освежает дыхание, сохраняет зубы, поднимает аппетит, предлагали подростки.

Все это было не то, что требовалось мужчине и женщине. Свежий творог, кефир, батон хлеба, сыр, колбаса — вот что им было нужно. Чтобы настоящая еда, а не закуска под водочку. Конечно, картошка — это замечательно, да уже готовая, не чистить, не варить, на стол — и ешь, но цена! Несусветная цена. А что ж вы хотите: с доставкой к порогу, себе в убыток, что ли?! — крикнула в ответ на предложение сбавить цену одна из рдяных молодых баб.

— Что, рванем на вокзал? — предложил мужчина.

— Попробуем, — отозвалась женщина.

Он схватил ее за руку и повлек за собой через отделявшие их от вокзального перрона пути.

— Быстрее, быстрее, — торопил он ее на ходу.

— Ой, так мало времени, как бы не опоздать! — приговаривала она за ним позади.

Толпы, скатившиеся на землю из других вагонов, мчали рядом, впереди, догоняли, обгоняли. У кого в руках мотались сумки — кожаные, тря-

пичные, брезентовые, — у кого бился за плечами рюкзак. Когда мужчина и женщина влетели в здание вокзала, пронеслись, следуя указующим стрелкам, к буфету, сделалось очевидным очевидное уже и до того: ничем им тут не отовариться. Змеилась, извивалась, заполняя собой весь буфетный зал, толстобокая очередь, а у самой стойки буфета головка змеиного тела вспухала до невероятных размеров, туда было не влезть — если только у тебя не железные ребра; и там, у прилавка, уже вовсю чесали друг о друга кулаки, орали, и кто-то с разбитым в кровь лицом пытался выбраться оттуда наружу, и выбраться у него никак не получалось.

Зачем было и стоять в этой змее, без всякой надежды добраться до стойки?

— На площадь, в привокзальный магазин, должен обязательно быть! — не советуясь с женщиной, приказал мужчина.

Они рванули к двери, пронеслись под гулкими сводами центрального зала и так, на полном ходу, выметнули себя на крыльцо. Магазин имелся. Его светящаяся неонов надпись манила к себе с противоположного конца такой же могучей, как вокзальное здание, подобной строевому плацу, утонувшей в сугробах площади.

— Ой, я не могу! — остановилась женщина. — Все, еле дышу. Не добегу.

— Жди здесь! — на ходу, летя по ступеням вниз, крикнул мужчина.

— Это бессмысленно! Не успеешь! Не надо! — услышал он, кричала ему женщина.

Он понимал и сам, что бессмысленно. Добежать дотуда, да потом обратно, да в магазине уже свои очереди...

Однако мужчина чувствовал себя обязанным добежать — и убедиться в бессмысленности своего броска. Он все любил доводить до конца. Пусть неуспех, но знать, что сделано все возможное.

В магазине было полно народу.

Мужчина развернулся — и через несколько секунд уже несся через площадь обратно. Раз не получилось ничего купить ни в буфете, ни в магазине, следовало возвращаться к поезду и пытаться сторговаться с «офенями».

— Летим обратно. В темпе! — протянул он руку женщине.

Женщина только начала торговаться — поезд тронулся. Мужчина выхватил у рдяной бабы полиэтиленовый пакет с картошкой, полиэтиленовый пакет с огурцами у старухи, сунул им деньги, сколько они просили, и подпихнул женщину к уплывающим ступеням:

— Заскакивай!

Проводник смотрел на них сверху с холодной иронической усмешкой.

— Заскакивай, заскакивай! — посадил мужчина женщину.

Поезд стремительно набирал ход, шел все быстрее, и ему самому пришлось запрыгивать уже на ходу. Полиэтиленовые пакеты с картошкой и огурцами, когда заскочил на подножку, мотнулись в руке, ударились о поручень, тот, что с огурцами, лопнул, и огурцы один за другим мгновенно, не успев подхватить, выскользнули на землю под колеса.

— Хорошо, что не картошка, — ободряюще произнесла над головой женщина.

— Хватит там стоять. Поднимайтесь, — недовольно приказал проводник.

Мужчина поднялся к ним наверх, проводник отомкнул от стены рифленую железную пластину, бросил вниз и наступил на край ногой, чтобы замок, схватывающий пластину с остальным полом, защелкнулся.

Мужчина из-за его плеча глянул наружу. С высокого привокзального перрона сыпались на пути один за другим люди, неслись, перепрыгивая через рельсы, к набирающему ход поезду и, как спотыка-

ясь, останавливались. Внизу, у ступеней, возник человек. Он бежал, по-спортивному красиво работая согнутыми в локтях руками, и смотрел наверх, в проем двери.

— Откинь пол! Эй, откинь, дай заскочить! — крикнул он проводнику.

Проводник молча глянул на него, отступил назад, толкнув мужчину спиной, и отсоединил дверь от стены.

— Эй, не закрывай, дай сесть! — снова прорычал человек.

Проводник, по-прежнему ничего не отвечая, с размаху захлопнул дверь. Поезд шел быстрее, быстрее, набирал ход, залитая светом станция откатывалась назад, впереди угадывалась все та же глухая, полная, аспидная тьма.

— Успели!.. — с изнеможением и счастьем выдохнула женщина.

Мужчина согласно прикрыл глаза: успели.

— Ну, вы нам устроили жизнь! — укоряюще сказал он проводнику.

— Нормально, — спокойно отозвался проводник, закрывая дверь на ключ. — Успели же? Успели.

7

В коридоре, когда миновали узкий перешеек между ним и тамбуром, мужчину с женщиной ждало потрясение: тот был полон народу. Даже не полон, а кипел им. Стояли у окон, сидели на откидных сиденьях между окнами, протискивались, перемещаясь по нему, мимо друг друга, громко разговаривали, перекрикивались, а где-то в дальнем конце и пели под гитару, — шум стоял в коридоре, гвалт, рев океанской волны. И все это были молодые, очень молодые люди. Ощутимо моложе их сына, которого, хотя он уже изрядное время жил своим умом и своими трудами, все рав-

но конечно же должно было считать еще молодым.

— Ой, к нам гости из прошлого, — увидев мужчину и женщину, произнесло юное создание женского пола, стоявшее с сигаретой в руках в самом истоке коридора.

— Идут гости, гремят их кости, — подобием эха отозвалось на ее слова юное создание пола мужского, тоже с сигаретой в одной руке, а второй обнимавшее юное создание женского пола таким образом, что ладонь жадным полушарием лежала на острой, задорной грудке. Похоже, молодой человек был или поэт, или просто страдал манией версификаторства.

Мужчина с женщиной, ничего не ответив, переглянулись. Они согласно подумали об одном и том же. И так же согласно не поверили себе. Не может быть, сказали глаза женщины. Да, это было бы дикостью, ответил ей глазами мужчина.

Они совершенно напрасно не поверили себе. Их купе было занято. Парочкой таких же юных, как все остальные в вагоне, круглощеких детей, разве что ребенок со вторичными половыми признаками принадлежности к роду Евы имел еще и солидных размеров живот, неопровержимо свидетельствовавший, что плод греха ребенком откушан. Громоздился у стены большой черный чемодан из твердого пластика, выглядывала с верхней полки небрежно заброшенная туда черная дорожная сумка из плотной дерюжной ткани, на столике высился лоскутно-цветной рюкзак из кожзаменителя.

Мужчина с женщиной утратили дар речи. Стояли на пороге, ошеломленно взирали на юную пару и молчали, не в состоянии произнести ни слова.

— А! — воскликнул юный адам, пружинисто вскакивая со своего места и делая шаг к двери. — Это, видимо, ваши вещички здесь, да?

Дар слова, отнятый неожиданностью открывшейся картины, вернулся к женщине первой.

— С какой стати?! — вырвалось из нее с возмущением. — Вы что, не видите, что занято?

— Пардон! — Лицо у адама из оживленно-веселого вмиг стало суровой стальной маской. — Я вас не выставил, дождался — скажите спасибо. Здесь теперь мы! А вот с какой стати вы не освободили место?!

У женщины перехватило дыхание.

— Да вы!.. Вы!.. Мы здесь... Это наше место, покиньте его, будьте любезны!

— Да? Покинуть? Интересно! — подала голос ева. Лицо у нее было точь-в-точь, что у ее адама: неумолимая стальная маска, задень — расшибешься вдребезги. — Где нам сказали занимать, там мы и заняли. А вы должны были освободить для нас, вы виноваты, что не освободили, и еще на нас?!

Мужчина почувствовал, что отнявшийся язык готов повиноваться ему. У него сжимались кулаки. Если бы эта ева не была беременной!

— Произошла ошибка, — произнес он, как можно спокойнее и доброжелательнее. — Вас неверно направили. Очевидно же: место занято. И мы никуда не собирались отсюда уходить. И само собой разумеется, не собираемся.

— Что значит «не собираемся»? — перебил мужчину адам. — Должны, так нечего! Наше место, и все, весь разговор! Собирайте вещички — и чтобы духу здесь вашего не было!

— Это вы — чтоб духу вашего не было! Это вы! — закричала, топнула ногой женщина. — Наглецы! Бессовестные! Это вы!..

— Что за шум? — прозвучал за спиной у мужчины и женщины голос проводника. — Что тут стряслось?

Мужчина с женщиной обернулись. Проводник стоял с согнутой в локте рукой, поигрывал вагонным ключом — словно собирался показать некий фокус, на губах у него, подобно тому как он поигрывал ключом, играла его холодно-ироническая усмешка.

Мужчина поторопился опередить женщину. Она сейчас не владела собой, и не хватало только, чтобы обрушилась с криком и на проводника, испортив у него все впечатление о них.

— Удивительная история! — с этими же намеренными спокойствием и доброжелательностью, с какими обращался к паре, занявшей их купе, проговорил он. — Мы приходим, а на наших местах — другие, и говорят, будто бы их определили сюда. Вплоть до того, что требуют, дабы мы забрали свои вещи!

Проводник разогнул руку с ключом, опустил ее и покивал головой.

— Да, — сказал он, — нехорошо вышло.

И смолк.

Мужчина ждал, ждал его дальнейшей реакции; но проводник все молчал, глядя на мужчину с прежней холодной иронией, как бы любующейся, упитвающейся собой — самодостаточной, а потому способной обеспечить ее хозяину сколь угодно продолжительное молчание; и мужчине ничего не оставалось делать, как прервать это молчание самому.

— Мы с женой, — махнул он рукой в сторону женщины, — вынуждены вас просить: предоставьте молодым людям другие места. Конечно, девочка беременна, конечно, им тоже нужно где-то ехать... но это ведь наше купе!

Сложенные в ироническую складку губы проводника пришли в движение.

— Да где же другие места? Видите, сколько народу подвалило. Ни одной свободной полки!

— Но у нас тоже! У нас тоже! — вмешалась в их разговор женщина. — Только две полки; разместиться на двух полках четверым — это возможно?

— Две? Что вы говорите! — Ирония проводника сделалась высокомерной. — Это вы ошибаетесь, что две. Столько едете, так и не удосужились разобрататься, сколько на самом деле. Что, и вы полагаете, две? — взглянул он на мужчину.

— А сколько? — нелепо спросил мужчина.

— Три! — Высокомерная ирония проводника изогнула, вздернула его белесые брови на самый лоб. — Этот тип купе имеет три полки. Это не какой-нибудь вагон для внутренних линий с четырьмя полками. Это международный вагон, европейского стандарта, и в нем три полки, повторяю: три, — следовало бы разобраться.

Выставив вперед плечо, проводник протиснулся между мужчиной и женщиной, вошел в купе и, быстро проманипулировав с блестящими хромированными пластинами под днищем верхней полки, вдруг обрушил на головы юных адама и евы, смиренно сидевших на полке нижней, еще одну горизонтальную плоскость. Ева в ужасе взвизгнула и, подпрыгнув, словно разжавшаяся пружинка, с размаху въехала лбом в стенку напротив, адам мгновенно пригнулся, сложившись пополам подобием перочинного ножика, и закрыл голову руками.

Проводник не смог удержать себя от улыбки.

— Да ну вы что. Никакой опасности. — И повернулся к мужчине и женщине: — Третья полка. Пожалуйста. Неужели даже и не догадывались?

Мужчина чувствовал себя уязвленным. Его самоелюбие было задето. А он-то полагал, что такая непомерная толщина верхней полки, столь долгое время принимавшей для отдыха его тело, — это некая необходимая конструктивная особенность.

Но ничего иного, кроме как признаться в своей недогадливости, не оставалось.

— Понятия не имел, что это тут третья полка.

— Плохо, что не имели, — сказал проводник. — Имели бы — и никаких недоразумений. На трех полках вчетвером — прекрасно разместитесь. Все! — пресекая любые вопросы, возражения, просьбы — что со стороны мужчины и женщины, что со стороны адама и беременной евы, — повысил он голос. — Все, других мест нет. Пожалуйста, три полки. Размещайтесь.

Адам с беременной евой глядели на проводника глазами, полными обиды и недоумения. Они считывали совсем на другое.

— Нет, но как же!.. — несмотря на запрет проводника, вырвалось из адама. — Ведь мы...

— Я сказал: все! — тотчас заткнул проводник его словоизвержение, не дав тому вырваться наружу. — Три полки, устраивайтесь. И чтоб ко мне — ни с какими жалобами.

Адам затравленно смотрел на проводника и больше не смел произнести ни слова.

— Радио, кстати, — сказал проводник, тыча пальцем в направлении колесика на стене. — Почему выключено?

— Ой, это не мы! — мгновенно, с испугом вскинулась женщина. — Нас здесь не было. А мы уходили — было включено.

— Вас и не спрашивают, — отмахнулся от нее проводник. — Почему выключено? — повторил он вопрос, переводя взгляд с адама на еву.

Ева обиженно повела плечом:

— Голова болит...

— Включить! — тряхнул проводник пальцем. И посмотрел на мужчину с женщиной: — Объясните молодежи, как вести себя с радио. Чтобы всегда было включено!

— Но у нее болит голова! — вскинулся адам, указывая на еву. — Она в положении... и можно войти в положение? Ведь она в положении!

Глаза проводника были пустынными ледяными полями Арктики.

— Пейте таблетки от головной боли, — безжалостно сказал он. — Дышите свежим воздухом в тамбуре. Но радио чтоб — всегда. Включите, включите! — приказал он адему, которому с его места, чтобы включить радио, достаточно было всего лишь протянуть руку. Дождался, пока тот возьмется за колесико, повернет его, потребовал: — Громче, громче! — и, когда адам крутанул колесико еще, удовлетворенно по-

кивал: — Вот так. Хорошо. — Повернулся к мужчине и наставил указательный палец на него: — Назначаю вас как старшего по возрасту ответственным за радио. И вас, — перевел он взгляд и палец на женщину. — Обоих! Буду слушать из коридора. Если что не так — ответите первыми! Виноваты, не виноваты, — первыми!

Он выступил в коридор, дернув за собой дверь, та поехала, докатилась почти до конца, остановилась, оставив между собой и косяком узкую щель, и адам незамедлительно привстал, потянулся к ручке радио, чтобы выключить его. Или, по крайней мере, уменьшить звук. По радио сейчас звучали народные песни, и певицы визжали так, что это было почище всякого барабана.

Мужчину бросило к адаму — словно выстрелило.
— Вы что?! Не смей!

Адам отшвырнул его от себя со всем жаром своей юной, неистощенной силы.

— Ты мне еще указывать будешь, рухлядь!

Но мужчина не мог позволить ему выключить радио или даже привернуть звук. Ведь проводник обещал признать ответственными их с женщиной!

— Не смей! — снова закричал он, вновь бросаясь на адама.

Они повалились на полку, адам пытался сбросить мужчину на пол, а мужчина давил, давил на адама своим весом — и не знал, что делать дальше, что предпринять, когда адам сбросит его, наконец, с себя. Женщина закричала, беременная ева тоже подала голос — пронзительнее певиц по радио.

Дверь двинулась, и на пороге возник проводник. Он никуда не уходил, он так и стоял здесь за дверью — и специально не закрыл ее до конца.

— Молодец! — похлопал он по плечу вскочившего мужчину. И обратился своим арктическим взглядом к адаму: — Делаю скидку на вашу юность, молодой человек! В следующий раз — никакого снисхождения. Виноваты — платите по счетам. Сказано,

не делать тише — нечего руки распускать. Независимо от того, — бросил он взгляд на беременную еву, — болит голова или нет. Болит — ваши проблемы.

Проводнику адам не посмел поперечить ни словом. И не посмела сказать слова против ева. Наоборот, и тот и другой залепетали что-то покаянное — винясь, оправдываясь, они были похожи на скулящих собачонок, в ужасе перед наказанием припадающих у ног хозяина на передние лапы и бьющих хвостом.

Но только проводник вышел, закрыв на этот раз дверь до конца, адам преобразился — словно внутри него сработал некий переключатель: это теперь была сама воплощенная твердость, стальная непреклонная жесткость — ни в чем никому никаких уступок.

— Жена моя, как беременная, займет нижнюю полку, — сказал он. — Я, чтобы быть к ней ближе, размещусь на средней. Ваша — верхняя.

— Простите, вы что! — изумленно воскликнула женщина. — Верхняя, в моем возрасте?! И нас двое!

— А нас трое, — с подчеркнутой невозмутимостью ответила ей ева.

— Но вы бы, — обращаясь к адаму, — лично вы, — подчеркнул мужчина, — могли бы лечь и на полу. Если хотите быть ближе к жене. Ваш возраст вам позволяет.

— Мой возраст требует послать тебя куда подальше, — не повышая голоса, сказал адам.

Мужчина поймал готовые вырваться из него слова, прикусив себе язык. В буквальном смысле этого слова. То, чем единственно можно было ответить на плевок адама, лучше было вслух не произносить. Он бы потом пожалел о произнесенном.

Когда настало время ложиться спать, они легли с женщиной там, под потолком, вскарабкавшись наверх по приставной лестнице. Тесно было — невероятно. И слишком узка полка, и давно уже они

не спали вместе, отвыкли. Они лежали, лежали, мешая друг другу, и все не могли уснуть.

Но все же они уснули — и проснулись оттого, что поезд влетел на какой-то цельнометаллический мост, словно бы над оврагом с речушкой внизу, быстро прогрохотал по нему — и понесся дальше, пожирая темное глухое пространство.

— Опять мост,— со стоном пробормотала женщина. — Будят меня эти мосты!

— Ничего, заснем, — утешил ее мужчина. — Куда денемся. Видишь, заснули же. И снова заснем. Деваться-то некуда.

Они и в самом деле уснули. Промаялись еще какое-то время, помнившиеся почти вечностью, и забылись.

8

Жираф был потерян и не знал, куда деть глаза. Его гладкая опрятная шерстка на холке дыбилась от смущения и неловкости колючим бобриком.

— Этот тип не имел понятия, что вы мои друзья, и ему ужасно стыдно. И мне тоже стыдно за него, ужасно стыдно, нет слов! — говорил он мужчине. — Я когда узнал, я чуть с ума не сошел, ей-богу! И ему тоже не сладко, переживает — просто кошмар, вот попросил меня ходатайствовать перед вами, чтобы вы его извинили.

— Да независимо от того, кто кому друг, кто нет, разве допустимо вести себя подобным образом! — воскликнул мужчина.

— Конечно, конечно, согласен, трижды согласен! — так же восклицанием отозвался жираф. — Но он и осознал, вполне осознал, в нем ломка, настоящая ломка произошла!

Американец стоял в отдалении с видом самой покорной скромности, свесив вниз лопасти. Втягивал в себя свою крупную голову, переминался, пе-

реступал с лапы на лапу — похоже, и в самом деле чувствуя себя не в своей тарелке.

Но мужчина не мог так вот взять и простить его. Слишком тот безобразно вел себя, это еще мягко говоря — безобразно, и перед кем был более виноват, так не перед ним, а перед женщиной.

— Но я не понимаю, я бы хотел понять, как можно так поступать?! — снова воскликнул мужчина. — С какой стати? И зачем? Что за смысл?

Жираф подвигал рожками на голове. Его негритянские губы поморщились, покривились в сторону.

— Американец, что тут добавить, — сказал он. — Миссионер, проводник высшей цивилизации. Он полагал, с туземцами нужно так обращаться. Чтобы в строгости их... посуровее. Чтобы они трепетали. Втемяшить через страх свои ценности. Американец, типичный американец, что с него взять.

Мужчина невольно и совсем неуместно захмыкал.

— Что это ты несешь. Ты же испанцев не любишь. А американцев ты обожаешь. Американофил. «Великая нация»!

— Великая нация, великая, — закивал жираф. — Какую цивилизацию создали! Но нужно же и объективным быть. Туповаты. Весьма туповаты. Нам им мозги вправлять и вправлять... А вправишь, так кем они, станут? — неожиданно прервал он сам себя. — Нами, что ли, станут? Вот интересно, нужны они нам такие. Мы и сами с усами, чтобы еще американцам на нас походить!

Мужчина, слушая его, чувствовал, как губы ему развозит в улыбке. Он не мог устоять перед жирафом. Американец выбрал себе в адвокаты кого следовало.

— Мы-то с вами, — сказал мужчина американцу, — квиты. От меня вам, я помню, тоже досталось. Вы перед женой моей должны как следует повиниться. На колени пасть — чтобы она простила. Вы такого натворили... она ведь думала, вы ее убить собираетесь!

— Убить, что вы! — вскинулся и смолк, втянул голову американец.

— Ну так мы вот хотели потолковать, были у вас в купе там, — снова вступил в разговор жираф, — а у вас там какие-то подселенцы. Крутые — жуть, юноша, тот сразу мне приемы карате демонстрировать стал. Куда ему, — дотянулся жираф головой до американца, ткнул его с усмешкой рожками в лопать, — куда до этого юноши! Детский сад по сравнению с ним, даже не сад, а ясли.

Звучный лязг и грохот колес сопровождал их разговор. Они разговаривали в тамбуре, куда мужчина вышел покурить. Раньше он всегда курил прямо у себя, женщине это не нравилось, но она терпела и только отгоняла от себя рукой дым, когда мужчина случайно выпускал тот в ее сторону. Но теперь лафе пришел конец. Теперь в купе была эта беременная ева, и курить при ней — такое, естественно, исключалось. Конечно, они с женщиной вовсе не жаждали этого соседства, но уж раз выпало сделаться соседями, то приходилось считаться.

— А, так вы, значит, сюда ко мне — побывав там, — закивал и, не смог удержаться, всхохотнул мужчина. — Познакомились, значит, с нашей молодежью? Показали они уже вам? Крутые, точно. Слово им поперек — ни-ни, живо на место поставят. — И его осенило: — Так вы, получается, видели их, а они вас? Они вас, получается, тоже?

— Да, конечно, а как же, — удивленно ответил жираф. — Если мы их — да, то почему они нас — нет?

Понятно, понятно. Почему, действительно, нет. Мужчина снова покивал. Только уже не засмеялся. Ну вот, эксперимент поставлен. Женщина тогда говорила, что проводник, если бы зашел в купе, когда там жираф, то не увидел бы его. Будто бы жираф — только их, нечто вроде такой их общей галлюцинации, материализация их неутоленных желаний. Вот теперь ясно, как бы не увидел. Запах псины чует, а

саму «псину» бы не узрел. Узрел бы, еще как узрел. И его, и американца.

— Ну так что, как мы поступим? — возобновил жираф основной разговор. — Там у вас, в присутствии тех, — никакой возможности объясниться. Может быть, здесь же, в тамбуре? Вы бы сходили, привели ее, а мы бы подождали.

— Да, а мы бы подождали, — снова вскинулся и смолк американец.

Мужчина вынужден был отрицательно покачать головой:

— Нет, она сюда одна, без меня, не пойдет, а мы вместе сейчас выходить не можем. Боимся! Выйдем — а они дверь на замок. С них станется. И будем мы в коридоре куковать.

— Так к вам теперь вообще не особо в гости приходишь! — дошло до жирафа.

— Не походишь, не походишь, — подтвердил мужчина. — Вон они вас приемами карате встретили!

— О, елки зеленые! — сокрушенно проговорил жираф. — А я в вашем обществе всегда так оттягивался! Такой кайф получал!

— Ну, надо надеяться, обомнутся со временем, — сказал мужчина. — Обомнутся, помягчают...

— Ждать до морковкина заговенья! — воскликнул жираф.

— Я вообще, — смущенно подал голос американец, — мог бы их доучить... Я, если всерьез, такое могу... Я ведь с вами не всерьез. А если всерьез — они вас сами рады оставить будут. Сбегут, натуральным образом. Только скажите.

Американец начал говорить — мужчина как раз собирался сделать последнюю, самую сладкую затяжку. Он поднес сигарету к губам, американец медленно, осекаясь, нанизывал слово на слово, — и дым встал у мужчины в горле колом, он доперхнулся, словно это была его первая сигарета в жизни.

— Что вы такое говорите, что вы говорите!.. — сквозь кашель, торопясь, забормотал он. — Как мож-

но. Девочка на сносях, ждет ребенка... что вы! Ну, выпало нам такое. Ну что ж. Делать нечего. Как-нибудь обойдется.

— Ждать до морковкина заговенья! — снова воскликнул жираф. На этот раз — с интонацией упрёка и даже порицания.

— Последнего дня Помпей, — сказал американец.

— Простите? — не понял мужчина.

— Я говорю, до последнего дня Помпей! — повторил американец. Он понемногу расковывался, смущение в его голосе стало сменяться бесцеремонностью. — В смысле, ждать до этого срока.

— Почему? — снова не понял мужчина.

— Потому что Помпеи должны быть засыпаны пеплом.

— В смысле, всякая жизнь конечна — и ждать придется до ее конца?

— В смысле, что Этна, сколько ни спит, в конце концов обязательно просыпается.

Мужчине это надоело. Испортил ему последнюю затяжку, сейчас принялся говорить загадками.

— Ладно, — махнул он рукой. — У вас, у американцев, мышление — без полбанки не разберешься.

— На человека. По полбанки на человека! — с удовольствием завопил жираф. Вот так помолотить языком — это было ему в самый кайф. — А для жирафов — по две полбанки. У нас шея длинная, пока дотечет, куда надо, всосется — слохнешь ждать результата.

— Нет, у нас все построено на точном расчете, никаких полбанок, — с полной серьезностью отозвался американец. — Другое дело, невозможно точно рассчитать, когда она все-таки проснется.

Мужчина, не продолжая больше этого разговора, шагнул к двери, ведущей в межвагонный переход, открыл, наполнив тамбур еще более сокрушительным лязгом и грохотом, бросил на стремительно бегущий внизу путь окурок и закрыл дверь. И сразу, показалось, на тамбур обрушилась тишина.

— Можно будет у нас появиться, — сказал мужчина в этой оглушающей тишине. — Есть вариант. Любитель карате где-то служит, все время туда-сюда, хлоп дверью — и нет. А его подружке что с нами сидеть? Тоже хлоп дверью — и ушла к приятельницам. Вот в это время — милости и прошу.

Жираф захмыкал, боднул американца рожками в лопасть и так, хмыкая, прогудел:

— Прямо по-американски. Вроде секса по расписанию. Живем теперь, да?!

9

Радио гремело некоей радиопьесой со стрельбой и взрывами. Кого-то ранило, кого-то убивали, актеры верещали дикими голосами и кричали, перевязывая раны: «Не умирай!» Моментами для создания эмоционального фона вступала музыка, — она была под стать звуковым эффектам и актерским воплям: тоже словно бы садила из автоматов и жала из минометов, а скрипки с альтами блажили, будто их резали.

Купе было полно. И адам со стремительно полнеющей евой, женщина, сидевшая с завязанной полотенцем головой, а кроме того... кроме того — сын, в явном нетерпении перетаптывающийся у стены с ноги на ногу.

— Ну, наконец-то! — воскликнул он, вскидывая руки, ступил к мужчине, обнял его, похлопал по спине и отвел от себя. — А то я уже собирался идти за тобой. Ушел курить и пропал!

По тону сына мужчина понял, что его появление здесь не связано ни с каким тревожным известием. Но вместе с тем слишком редко он здесь появлялся, чтобы его приход был вызван какой-нибудь пустячной причиной.

— Привет, привет, — сказал мужчина. — Счастлив видеть. — Так оно и было, он был рад видеть

сына безумно, но сын до того далеко ушел от них, на такое громадное расстояние, что все свои эмоции в отношении него мужчина давно перевел в плоскость иронической интонации. — Что за дела занесли нас на этот малообитаемый остров? Вернее, что за проблемы? — поправился он.

— Да уж, малообитаемый, — быстро глянув по сторонам, хмыкнул сын. Но это было с его стороны лишь данью вежливости — такой ответ, на самом деле теснота в купе его немало не волновала. Его волновало лишь то, что заставило выбраться к родителям. Весьма волновало, раз выбрался. — Можешь со мной пойти? — спросил он.

— Куда? — ответно спросил мужчина. Хотя он знал и без того — куда. В вагон управления, куда еще. Им с женщиной должно было гордиться: их сын был одним из тех, кто вел поезд. Он был одним из них — и жил только этим. Ничего его больше не интересовало — только дела управления. И сейчас он звал мужчину пойти с ним конечно же из-за этих дел. — Вернее, зачем пойти? — поправился мужчина.

Сын нервно глянул на юную пару, так и ловившую каждое слово в их разговоре. Адам, тот смотрел на него взглядом, полным потрясенного изумления. Он, безусловно, знал сына, знал, кто он такой, — и вот, чтоб он оказался их сыном!

— Если идешь, — сказал сын мужчине, — я тебе по дороге все объясню.

«Если идешь»! Разумеется, мужчина шел, другого варианта не могло быть.

— Пойдем? — посмотрел он на женщину. Теперь, когда этот адам увидел, кто их сын, можно было совершенно спокойно оставить купе вместе. Теперь открытая дверь по возвращении была гарантирована.

— Нет, я тебя прошу! — Сын вскинул запрещающим жестом руку. — Это не развлекательная экскурсия. Речь идет о серьезных вещах.

— Иди без меня, — подала голос женщина, коротко взглянув на мужчину.

Она уже давно приняла и свыклась с положением *оставленной* матери. Сын был высоко, далеко, он уже был как бы и не сын, а сын настоящий, которого она растила, остался лишь в памяти.

— Давай, давай, — не дожидаясь его окончательного согласия, понукнул сын мужчину. — Идем. Я тут тебя столько прождал, а у меня каждая минута на счету.

— Безмерно благодарен, что не оторвал меня от моей сигареты, дал докурить, — предоставляя полную волю своей иронической интонации, отозвался мужчина.

Про себя он подумал: а действительно хорошо, что сын остался дожидаться его здесь, не пришел в тамбур. Так бы помешал там разговору!

Сын пошел впереди, мужчина за ним. Перед дверью в тамбур мужчина оглянулся, — адам с евой выкатились в коридор и смотрели им вслед.

Идти оказалось далеко. Вагон, вагон, еще вагон... Мужчина уже и забыл, когда ходил в эту сторону поезда последний раз. Да теперь, когда в поезде было запрещено торговать съестным, не ходил уже и в другую сторону.

— Так что такое? — спросил он в спину сына, все так же двигаясь вслед за ним коридором очередного вагона.

Сын, не останавливаясь, вскинул над плечом руку и отрицательно поводит ею из стороны в сторону. После чего слегка повернул голову назад.

— Нет-нет, все на месте. На ходу ни слова. Это секретно. Совершенно секретно.

Они миновали еще один вагон, вышли в тамбур, и сын достал из кармана ключ. Это был не обычный железнодорожный ключ, каким закрывал дверь вагона проводник, поворот на девяносто градусов — и готово, это был мощный сейфовый ключ, истинное произведение охранного искусства.

— Ого! — невольно вырвалось у мужчины.

— Да, приходится, к сожалению, перестраховываться, — вставляя ключ в прорезь замка и с легким щелчком поворачивая внутри, отозвался сын. — Большое дело затеяно, нужно обезопаситься. А то все так и рвутся порулить. Будто это то же самое, что бутерброд съесть.

— Может быть, потому и рвутся, что хотят бутерброды есть? — проговорил мужчина.

Они с женщиной с той поры, как весь их стол ограничился тем, что предлагали «офени» на остановках, такой возможности — сделать себе бутерброд — не имели.

Сын вынул ключ из замка, потянул, открывая, дверь и кивнул мужчине: заходи первым.

— Хочешь есть бутерброды — ешь свои, а на чужие рот не разевай, — сказал он в спину мужчине.

Горбатые железные пластины пола в переходе мелко сотрясались под ногами и ездил одна вдоль другой, оглушительно грохотали под ними внизу колеса, в щелях между пластинами и гармошкой боковых стенок бешено рябили смутно угадываемые в темноте шпалы.

Сын вновь замкнул дверь, через которую они вошли в переход, на ключ, протиснулся мимо мужчины к противоположной двери и вставил ключ в нее.

Он вышел удивительно не похожим ни на мужчину, ни на женщину, был маленького роста, крупноголовой, толстый, и живот его, когда протискивался к двери, так и вмял мужчину спиной в поручень сзади. И, хотя это была плоть сына, то, с какой бесцеремонностью она приперла мужчину к холодному железному поручню, оказалось мужчине неприятно.

Замок щелкнул, сын открыл дверь, выступил в тамбур и жестом руки пригласил мужчину следовать за ним. Они достигли вагона, в который шли.

— Ну, слушай, — сказал сын, когда была закрыта и эта дверь, через которую они вошли. — Зачем

я тебя позвал... Мы увеличиваем скорость. Должны увеличить. Обязаны. Слишком мы тихо едем. Тащимся, а не едем.

— Разве? — удивился мужчина. — Вроде бы вполне приличная скорость.

Сын поморщился.

— Это потому что ты привык к такой. А она совершенно недостаточна. Ее нужно увеличить, и другого разговора быть не может. Нам нужно ехать быстрее. Много быстрее!

— Ага, — сказал мужчина, — понятно. И при чем здесь я?

— Ты должен сделать расчеты. Сколько понадобится топлива. На каких участках возможно предельное увеличение скорости, на каких нужно ее ограничить. Но чтобы везде, на всех участках, мы мчались быстрее!

— Ага, понятно, — снова сказал мужчина. — Но почему именно я? Я ведь уже давно от всего отставлен.

— Ну, вот чтоб потрянул стариной.

— Перестань, что за объяснение, — поморщился теперь, в свою очередь, мужчина. — Почему не привлекаете других? В том числе и тех, кто помоложе?

— А ты что, хотел бы переуступить эту работу тем, кто помоложе?

— Я спросил, почему не привлекаете других?

Сын помолчал. Потом по лицу его пробежала усмешка.

— А ты что, не догадываешься? Некому делать эту работу. Никого не осталось, кто бы умел. Ты, может, единственный. Все сошли. Пересели. Осели на земле. Кто как. Разве не заметил?

Мужчина вспомнил пустой коридор вагона перед тем, как тот заполнился молодыми людьми. Ну да, действительно, они с женщиной еще все удивлялись: почему стало так безлюдно?!

— А ты сам? Те, кто вместе с тобой? — спросил он.

Сын двинул подбородком. В том, как он это сделал, просквозило высокомерие.

— Мы управленцы. Наше дело практическое. Тебе — посчитать, а там уж мы со своим делом справимся наилучшим образом.

— А молодежь что же? — не удержался от укола мужчина.

— Никого нет, кто бы умел, ты не понял? — терпеливо повторил сын.

— Что ж, — проговорил мужчина. — Раз никого, кроме меня... Не могу отказаться. Да и зачем?

— Вот именно, — сказал сын.

Всунул произведение охранного искусства в отверстие замка на двери, ведущей в собственно вагон, щелчок, мягкое лепетание хорошо смазанных петель, и мужчина ступил вовнутрь.

Он ступил вовнутрь — и его оглушило.

Ему приходилось бывать здесь и прежде, но давно, весьма давно, и он не мог даже представить, что в вагоне так все изменилось. Раньше этот вагон был как и все остальные: так же обит каким-то пупырчатым, болотного цвета резинообразным материалом, такой же ширины, с такими же окнами, состоящими из двух рам — широкой внизу и узкой вверху, у него не было только отдельных купе, а одно общее пространство, подобно тому, как в вагоне-ресторане, и лишь несколько выгородок в этом пространстве для рабочих столов. Теперь же от того, старого вагона ничего не осталось. Внутренняя отделка являла собой яркое белое безбрежие, как бы заявляя этим безбрежием о всяческой чистоте, царящей здесь. Окна сделались одним сплошным стеклом, невероятно увеличившись по вертикали, так что возникало впечатление, будто потолок вознесся вверх на добрых полметра. Но самое главное, вагон стал шире, и это уже было не впечатление. Он стал шире не меньше чем на два метра, это теперь была настоящая комната на колесах, делил ее для удобства и комфорта работы на отдельные помеще-

ния — вполне возможно; что неведомый мужчине проектировщик и сделал.

Сыну, заметил мужчина, взглянув на него, доставляло удовольствие видеть выражение отцовского лица. Он буквально наслаждался той оторопью, что выразилась на лице мужчины.

— Что, — с этим наслаждением и произнес сын, — недурно, да?

Мужчина покачал головой:

— Недурно. Но ведь это же какая ширина! Как же мы до сих пор не столкнулись со встречным?

— А ты не заметил разве, что мы едем по однопутке? У нас нет встречных поездов.

— Однопутке? — удивился мужчина. — Как странно. Я помню, когда мы садились, было две колеи. Но ведь еще — и опасность опрокинуться. На каком-нибудь повороте. И весь состав под откос.

Сын поднял указательный палец:

— Вот! Чтобы этого не случилось, и нужны расчеты. Мы должны увеличить скорость. Значительно увеличить. Но при этом не слететь с рельсов.

Мужчина помолчал. Что-то не укладывалось это все у него в голове.

— А зачем понадобилось так расширять вагон? Что за нужда? Оставить, как было, и никакой головной боли.

Сын снова двинул подбородком. И снова в том, как он это сделал, просквозило высокомерие.

— А как же нам всем здесь работать? Чтоб разместиться, чтобы достаточно комфортные условия для работы. Такие задачи перед нами! Штат пришлось увеличить вдвое. Какая бы тут работа в старом вагоне?!

Первым делом они позаботились о своем комфорте, стояло в мужчине ответом на слова сына. Он думал, произнести ли это вслух — бессмысленно, конечно, было говорить, без толку, но поди удержись, — и он уже открыл рот, чтобы дать волю звывавшему в нем сарказму, но, не издав ни звука, сом-

кнул губы. Из глубины вагона, появившись из-за угла перегородки, блистающей невинностью снегов Джомолунгмы, появился в сопровождении нескольких молодых людей тот, кто старшинствовал тогда за столом в ресторане, — может быть, сам начальник поезда. Он шел сокрушительным властным шагом, а по тому, как танцевали вокруг него молодые люди, было недвусмысленно ясно, что это — его охрана.

Старшинствовавший остановился в нескольких шагах, оглядел мужчину оценивающим взглядом, таким же сокрушительно-властным, как его шаг, и перевел взгляд на сына рядом. Сын, посмотрел на него мужчина, замер, вытянулся стрункой — насколько это было возможно при его росте и комплекции.

— Он самый? Батя? — кивнул старшинствовавший на мужчину.

— Верно. Он, — с послушностью отозвался сын.

Старшинствовавший снова вперил свой взгляд в мужчину. Мужчина его узнал, а он мужчину, разумеется, нет.

— Ну? Что? Сможешь?

— Да. Мы уже обо всем договорились. Сможет, — торопливо проговорил сын.

— Заткнись, — коротко бросил ему старшинствовавший, не отрывая взгляда от мужчины. — Я спрашиваю, по мозгам работа? Осилят?

Мужчина пожал плечами:

— Что ж нет. Главное — иметь все исходные данные.

Теперь старшинствовавший опять посмотрел на сына:

— Предоставить!

Повернулся и двинулся прочь, тотчас поволочив за собой ореол из танцующих вокруг молодых людей.

— Уже все подготовлено! — крикнул ему в спину сын.

— Кто это? — спросил мужчина у сына, когда толпа укатилась обратно за угол перегородки и все вокруг снова стало тихо и пусто.

— Начальник поезда, — с почтительностью в голосе произнес сын. — Новый. Впрочем, и не такой новый, вот при нем уже это успели, — он повел вокруг руками, — реконструировать.

Начальник поезда. Правильно мужчина его определил. Действительно, вот что значит не слушать радио. Не узнать вовремя о таких судьбоносных переменах. Мужчина похмыкал про себя.

— Ну и мразь, — произнес он вслух.

Взгляд, которым сын наградил мужчину, будь «испепеляющий» не метафорой, а реальным обозначением температуры, превратил бы мужчину во мгновение ока в горстку пепла.

— Ты сюда не для оценок приглашен, — с металлическим скрежетом в голосе проговорил сын. — Сделай свою работу — и все. Не сверх того.

10

Адам, глядя на мужчину, взялся за рифленое колесико радио на стенке и, крутанув его, резко убавил звук. А затем и вовсе убрал.

— А?! — сказал он. — Что, плохо? Как отлично. А то у вашей жены голова болит, у моей тоже.

Он теперь часто провоцировал мужчину подобным образом. Буквально изводил его. У вас сын занимает такое положение, да что вам будет, говорил он. Да этот проводник просто не посмеет на вас бочку катить!

— Включите, молодой человек, — сказал мужчина. — Учитесь жить, не надеясь ни на чье заступничество. Включите, включите!

— Нет, а что? — откровенно поддразнивая мужчину, не внял его велению адам. — Вот оно молчит — и ничего. А этот если придет — ну, испытаем судьбу! Посмотрим, как он бочку покатит!

— Ой, ну вас же просят! — не выдержала, пода-
ла сверху голос женщина. Она лежала на их с муж-
чиной полке под потолком и листала книгу афориз-
мов, захваченную ими с собой в дорогу. — Если вам
не хватает собственного ума понять, чем это все
грозит, послушайте умудренных людей.

— Какие вы, умудренные люди, перепуганные.
Какие перепуганные! — Адам поцокал языком, по-
качал головой. Он упивался владевшим им чувством
превосходства. — Никакой опасности, а вы боитесь.
Сами мучаетесь, других мучаете.

— Вот послушайте не просто умудренных, а муд-
рых людей, — сказала женщина. — Как раз для вас:
«Упрямство рождено ограниченностью нашего ума:
мы неохотно верим тому, что выходит за пределы
нашего кругозора».

Адам молча выслушал максимум и ничего не от-
ветил. Он снова посмотрел на мужчину:

— Ну? Оставляем так, да? Испытаем судьбу?

Ему доставляло удовольствие поддразнивать муж-
чину. С того раза, как здесь появился сын, адам стал
терпимей к мужчине и женщине, в обращении его
появилась некая уважительность, переходившая вре-
менами даже в нечто вроде подобострастия, но, хотя
он и знал, что мужчина не согласится выключить ра-
дио, отказать себе в сладости куража адам не мог.
Или, наоборот, потому и куражился.

Мужчина перегнулся через столик, дотянулся до
колесика радио и крутанул его, возвратив прежнюю
громкость.

— Родите-ка, милые мои, своего сына, вырасти-
те его, пусть он взлетит как можно выше, тогда и
экспериментируйте. Испытайте судьбу сколько
угодно.

Ева должна была родить уже совсем скоро — ну,
полторы недели, две, самое большее, — и пойдут
пеленки, кормления, плач... при мысли о том, что
их здесь ждет, мужчину и женщину охватывало
ужасом.

— А что они, почему вдруг приказали радио держать включенным? — спросил адам. — Раньше, вы говорите, такого не было.

— Раньше радио не было, — сказал мужчина. — А почему приказали... Ясно же: чтобы мы какой-нибудь важной информации не пропустили.

— Кретинизм! — ругнулся адам.

— А правда, да, что раньше не все время темно было? — спросила ева. — Будто бы такие день-ночь сменяли друг друга? То темно, то светло, то темно, то светло.

— Правда, — подтвердил мужчина. — Никакого искусственного освещения не требовалось. Солнце светило с неба.

— Здорово как! — воскликнула ева. И протянула припоминаяще: — Помню-помню. Это такой белый диск. Невозможно смотреть на него.

— А и нечего было смотреть на него, — сказал адам. — Ночь или день — не все равно. Главное, чтобы поезд пер. Чтобы никаких поломок, чтобы пер, пер, пер!

— А вот еще вам, — непонятно к кому на этот раз обращаясь, сказала, склоняясь со своей верхотуры вниз, женщина. — Послушайте: «Любое, даже самое громкое деяние нельзя назвать великим, если оно не было следствием великого замысла». Точно, да? И дальше: «Деяние и замысел должны соответствовать друг другу, не то заложенные в них возможности так и останутся неосуществленными».

— Так. И что? — дослушав женщину, обратил адам к ней лицо. — Это вы к чему? Что вы этим хотели сказать? Я что-то не понял!

Мужчина успокаивающим жестом положил адам на плечо руку:

— Так это, ни к чему. Просто мудрость. Не поняли — и забудьте.

Дверь с грохотом рванулась из косяка, поехала в сторону, и на пороге возник проводник. Оглядел

купе, поведив глазами из стороны в сторону, влево-вправо, вверх-вниз, и удовлетворенно кивнул:

— Хорошо! Орет во всю мощь. Можно чуток и потише. А то, когда так громко, тоже слышать перестаете.

Он, похоже, был немного навеселе — галстук сдвинут набок, форменный пиджак расстегнут, ворот рубашки расхлюстан — и оттого благодушен, глаза его блестели от довольства жизнью, собой, тем, что во вверенном его заботам хозяйстве все обстоит наилучшим образом, как должно.

— Во-во, вот так, нормально, — махнул он рукой, показывая мужчине, какую громкость оставить, и подмигнул: — Что, чайку, может быть? А? Хочется чайку?

По его улыбке, по тому, как он подмигнул, мужчине было яснее ясного, что предложение чая — это такой род забавы. Попросить, конечно, чая можно, но принесен он не будет. Какой там чай.

— Нет, спасибо, — отказался мужчина.

— Ну, нет так нет. — Проводнику было обидно, что не удалось позабавиться всласть. — А может, все же принести?

— Да нет же, — окончательно испортил ему кайф мужчина.

— Ладно тогда, — сказал проводник.

Выступил в коридор и вновь с грохотом закрыл дверь.

— Что?! — спросил мужчину адам. — Видите? Проводник же вам и сказал: потише. Сам! А можно, уверен, было договориться, чтоб и вообще выключить.

— А что же вы ни словом об этом не заикнулись?

— А не ко мне обращались.

— Вполне можно было обратиться и самому.

Адам сделал совершенно несвойственное ему постное лицо:

— Я, знаете, достаточно хорошо воспитан.

Мужчина не хотел — и всхотнул:

— В самом деле?

— В самом деле! Да! А что? — рьяно вступилась за отца своего будущего ребенка ева.

— Послушайте еще, — голосом, полным отраженного хохотка мужчины, проговорила сверху женщина. И выставила с полки руку с книгой: — «Истинно благородные люди никогда этим не кичатся». А вот с другой страницы: «Любой наш недостаток более простителен, чем уловки, на которые мы идем, чтобы их скрыть».

Женщина читала, — адам начал переодеваться, облачая себя в одежду, в которой ходил работать.

— Ну все, хорош грузить, — оборвал он женщину, когда она дочитала вторую максиму. — Нечего массы просвещать, они и так все знают. Вот если производится нападение с применением огнестрельного оружия скорострельного боя, а вы вооружены только пистолетом, как вы будете в этом случае действовать?

— Никак, — ответила ему женщина сверху. — Я не охранник.

— Только без иронии! — сказал адам, поддергивая на себе пятнистые просторные штаны камуфляжной формы и принимаясь звенеть пряжкой ремня. — Профессия охранника сейчас самая востребованная и почетная. Охранник, я бы заметил, — символ времени.

Это было точно, он был прав: охранников стало вокруг — каждый второй. Почти все молодые ребята из вагона ходили в камуфляже, грохотали тяжелыми ботинками, подбитыми металлом, стриглись как ежи. Никогда прежде в вагоне, еще до того, как он опустел, мужчина и женщина не видели такого количества людей, работающих охранниками. Можно было подумать, поезд на одной из остановок набил некими сокровищами, и теперь требовалось стеречь их и стеречь.

«Что вы там все стережете?» — хотелось спросить мужчине. Но он прекрасно знал, что ответа не будет, и воздержался.

Ева, как это у них было заведено, выкатилась из купе, практически, следом за адамом. Женщина спустилась вниз и села на полке, вытянув перед собой ноги.

— Ух, хоть немного отдохнуть, — выговорила она.

— Ну да, какой отдых, когда гости! — ответил ей голос из-под стола. С улыбкой до ушей оттуда выбирался жираф. — Гости — это всегда хлопоты, а раз хлопоты — какой тут отдых?

— Ой, кого вижу! — Женщина сама расплылась в улыбке шире, чем у жирафа. — Вот, наконец, сообразил, когда прийти. А то что же: когда здесь эти!

— Упрек справедливый. Принимаю — и с чувством вины склоняю голову. — Жираф медленным движением согнул шею и прижал голову к груди. Подержал ее так мгновение и разогнулся. — Что? Прощен? Едем дальше?

— Едем, едем, — сказала женщина.

— Уф, слава богу! — отозвался жираф. — Хуже нет, как стоять на месте. Терпеть не могу стоять на месте. Вот за что я люблю американцев — никогда не стоят на месте. Всегда в движении. Я, пожалуй, готов даже простить испанцев. Знаете за что?

— Да, за что? — спросила женщина.

— За Колумба. За то, что ему не сиделось на месте и он открыл Америку. Колумб, он ведь испанец?

— Бродяга он безродный, — сказал мужчина, не позволявший себе до этого вступать в разговор женщины и жирафа и наблюдавший за всем со стороны. — В Генуе родился, так испанец? Есть сведения, он был итальянским евреем.

— М-да? — Жираф изобразил огорчение. — Жалко. Значит, испанцам придется жить не прощенными мной.

— Ну, они, наверное, как-нибудь перебьются, — с покровительственностью, которая всегда прореза-

лась в ней при общении с жирафом, произнесла женщина.

— Да, придется им перебиваться, — подтвердил жираф. — Как я душевно ни щедр, но доброта моя не бесконечна.

О, он был мастер точить лясы. Что он мог бесконечно, так именно что точить лясы. Только отбивай посланный им мяч обратно. За этой игрой он мог забыть обо всем, даже и о деле. Если оно, конечно, имелось. А нынче оно имелось.

— Где же твой приятель? — спросил мужчина. — Что ты его выдерживаешь?

У них с женщиной после той встречи с жирафом и американцем в тамбуре произошло долгое, тяжелое объяснение. Она не верила в искренность американца, ей мнился здесь какой-то обман, подвох; но по прошествии самого недолгого времени в ней вдруг проснулось горячее, нервное нетерпение, она стала ждать появления жирафа с американцем как некоего судьбоносного события. И мужчина видел, как, обрадовавшись жирафу, балагурия с ним и насмешничая, она тут же вся напряглась и на самом деле хочет сейчас одного: чтобы ее обидчик поскорее предстал перед нею. Ну, когда? — читалось в ее глазах.

— Я выдерживаю своего приятеля, — изображая из себя примерного, занудливого ученика, по-школьному ответил мужчине жираф, — чтобы он созрел, как хорошее вино. — Считаете, что уже достаточно выдержал? Могу откупорить.

— Откупоривай, — сказала женщина.

— Откупоривайся! — крикнул жираф.

Американец спустился с потолка, звучно шелестя сливающимися в прозрачный круг лопастями, словно вертолет. Коснулся пола двумя лапами, качнулся, утвердился на всех трех и отключил двигатель. Прозрачный круг обрел плотность, лопасти выскакивали из него на мгновение, давая схватить себя глазом, и тут же прятались обратно, потом

стали выскакивать чаще, чаще, перестали пропадать, крутясь все медленнее, и, наконец, встали.

— Здравствуйте, — произнес американец, отвешивая поклон мужчине и затем, отдельный, глубокий, женщине. Выпрямился, замер, постоял так в молчании и передернулся сверху донизу, словно его трянуло током. — Не знаю, что говорить, — обращаясь к женщине, выдал он скрежещуще, будто не смазывался сто лет, и все у него внутри спеклось ржавчиной. — Что ни скажи — не передашь. Я ужасно сожалею о своей глупости. Не понимаю, как мог так вести себя. Ужасно сожалею, ужасно! Я готов был бы пасть на колени, но у меня нет коленей. И это тоже ужасно, ужасно!

Американец разволновался, лопасти его стали вздрагивать. Мужчина вспомнил, это он так тогда в тамбуре говорил американцу: «На колени пасть, чтоб она простила!»

— Я лично могу считать, что вы пали на колени, — сказал он. И посмотрел на женщину: — Я лично считаю.

Ее лицо горело радостью удовлетворения. Но сквозь эту радость пробивалось и опасливое чувство недоверия: а вдруг тут все же какой-то подвох? Какой-то непонятный хитрый ход?

— Да, до меня дошли слухи о вашем сожалении, — церемонно произнесла она.

— Да ну янки, янки, что с него возьмешь! — завопил жираф. — Дуб, ни бельмеса в нашей реальности, а показать себя хочется, — вот и показал!

— Вот показал! — эхом подтвердил американец.

Мужчина расхохотался. До того это было уморительно. Похоже, американец и в самом деле был простодушный и прямой парень, покажи палец, скажи «смешно» — и оборжется.

— Ты чего? — посмотрела на него женщина.

— Спиртику бы нам граммов по пятьдесят хряпнуть, — сказал мужчина. — Осталось у тебя? Ну, чтобы отметить такое событие!

Он не сомневался, что у нее осталось. Еще с той поры, когда отоваривались продуктами в самом поезде. «Рояль» в толстобочной зеленоватой литровой бутылке. Припрятала. Не могла не припрятать.

— Да? Спиртику? — посмотрела на него с осуждением женщина. — Ну, этот ладно, этот конечно, — махнула она рукой на жирафа. — Но вы-то? — Взгляд, который она устремила на американца, свидетельствовал, что его покаяние принято, и осталось лишь утвердиться в новом отношении к его персоне.

— Я... ну а я что! — переступил американец с лапы на лапу. — Я технический механизм, мне некоторые детали спиртом — очень даже на пользу.

— И ему на пользу! — воскликнула женщина.

Через две минуты и мужчина, и жираф, и американец — все были вооружены и сдвинули свои начиненные девяностошестидесятиградусным жидким порохом граненые орудия в стеклянном звяке.

— Нравится мне эта ваша традиция — позвенеть бокалами! — не преминул одобрить американец.

— Уж бокалами! — смущенно прокомментировала со стороны женщина.

— Надо же как-то и слух усладить, — готовясь принять в себя этот жидкий порох, отвечивал мужчина.

— Эх, чтоб не последняя! — воскликнул жираф.

И лихо метнул в себя свою порцию, не став запивать водой. Только по всему его большому телу, от холки до хвоста, пробежала судорожная крупная волна озноба.

Американец отправил вовнутрь налитое ему добро неторопливой тонкой стружкой.

— Очень мне даже на пользу, — подытожил он, закончив журчать.

— Ну, разве не наш человек?! — наклонился к нему, боднул его рожками в лопасть жирафа. — Узнает нашу жизнь лучше — совсем наш будет.

Американец с живостью закивал своей большой головой:

— Да, да, между прочим, да! — И старательно искал взглядом взгляда мужчины. — Расскажите мне о своей жизни. Очень вас прошу. А то я так мало знаю о ней!

Мужчина, приходя в себя после принятого внутрь порохового взрыва, похмыкал. Вот так взять ему и рассказать. Разве можно узнать чью-то жизнь из рассказа? Всякую жизнь нужно прожить. Тогда и узнаешь ее. Как ни из какого рассказа.

— Мчимся! — воскликнул он, отвечая американцу. — На всех парах, на всех парусах, что есть мочи. А скоро будем еще быстрее. Наращиваем скорость!

Мужчина произнес это — и вспомнил о том вагоне, в котором недавно побывал. Вагоне управления. Каким они сделали его широким. Невероятно.

— А вообще хрен-те что! — проговорил он. — Хрен-те что, ей-богу. Какая-то у нас команда управления... странная команда! Можем разбиться в любое мгновение. Увеличили габариты своего вагона. Хорошо, сейчас едем по однопутке. Но так же не всегда будет! Завтра стрелка — и вынеслись на двухпутную. И все. Конец. Встречный состав — и катастрофа. Снесет нас, закувыркаемся под откос, костей не соберешь. А они: «Нормально!» Нормально им! Им там, конечно, нормально: просторно, комфорт, не жизнь — сплошное удовольствие. Но безопасность? Будущее? Они ни о безопасности, ни о будущем — ни о чем не думают. Даже о собственном будущем. О собственном!

— А этот начальник поезда, — вмешалась в речь мужчины женщина, — просто мразь. Вот его, — указала она на мужчину, — так по указке этой мрази отделили... Ни за что ни про что — просто попался под руку. Весь в крови пришел. Вот кого бы, — теперь она обращалась к американцу, — кого следует самого отделить — эту мразь. Чтобы знал. Чтобы понял кое-что. А то никто ему поперек ни слова...

— Перестань! Не подзуживай, — прервал ее мужчина. — Злом на зло... камень на камень, кирпич на

кирпич... и вырастет высотный дом зла. Вот что еще странно, — перевел он взгляд обратно на американца, — странно так странно, страннее некуда... — Спирт всасывался со страшной силой, уже действовал, и язык несло, он молотил сам по себе, словно бы существуя отдельно от мужчины. — Я им расчеты скорости делаю. Где с какой проходить. Они мне данные дали — и я по ним. Где прибавить, где убавить. Чтобы не опрокинуться, насыпь чтоб выдержала. Ну, понимаете, да?

— Понимаю, понимаю, — покивал американец.

— Янки, они сообразительные, — с ухмылкой вставился жираф. — Во всяком случае, наш друг из таких.

Женщина погрозила ему пальцем:

— Не насмешничай!

— Да, так вот что странно, — повисил мужчина голос. Он еще ни разу ни с кем не говорил об этом. Даже с женщиной. Как-то так получилось. Что было говорить с нею. Все равно что с самим собой. — Получается, что мы все время движемся по дуге. По дуге и по дуге. Дуга больше, дуга меньше. Только иногда по прямой. И такие это короткие отрезки! Чуть по прямой — и снова по дуге. Снова и снова!

— Как это может быть? — недоуменно спросил американец. Он был дотошным парнем, ему хотелось проникнуть в самую сердцевину чужой жизни, выяснить самую суть. — Что это значит?

— Не могу просечь! — сказал мужчина. — Вот уже сколько времени прошло, думаю временами — и просечь не могу!

— Тут и просекать нечего. — В улыбке жирафа была счастливая хмельная убогость. — Это значит, что мы не в поезде, а на корабле. И движемся к цели не по прямой, а галсами.

— А? Так? — посмотрел американец на мужчину.

Все же он был и туповат, несомненно. Галсы галсами, но какой корабль, когда рельсы под днищем!

Мужчина, однако, не успел ответить ему. Ручка на запертой двери задержалась, дверь запрыгала, и в нее постучали.

Это был не проводник, наверняка. У проводника имелся ключ, и, не открыв двери, он бы не стал стучать, а просто отомкнул ее. И все же не следовало, чтобы кто-то видел их гостей. Хватит того раза, когда они наткнулись на адама с евой.

— Исчезайте! Живо! Давайте! — шепотом велел мужчина.

Женщина бросилась прятать стаканы с бутылкой «Рояля». Стекло предательски звенело, она тыкалась в одно место, в другое — и все оказывались неподходящими.

— А если мне совсем не хочется уходить? — В голосе американца была пьяная неуступчивость.

В дверь застучали снова, и затем ее затрясли.

— Забирай его, забирай, давай же! — хлопнул мужчина жирафа по шее.

— Его заберешь! — с хмельной усмешливостью проговорил жираф.

— Помоги мне спрятать! Куда? — затеребила мужчину за рукав женщина.

Стук в дверь прекратился, и трясти ее тоже перестали.

Мужчина вскочил на стол, принял от женщины стаканы, бутылку и сунул все под подушку на их полке под потолком. Когда он спустился вниз, они с женщиной были в купе вдвоем. Жираф с американцем словно испарились.

В замок двери вставили ключ, щеколда щелкнула, ручка опустилась, оттягивая собачку, и дверь с грохотом отъехала в сторону. На пороге стоял проводник, из-за его спины выглядывала ева.

— Почему не открывали? — спросил проводник.

— Я стучалась, стучалась... — проговорила ева.

— Я еще мужчина, — сказал мужчина.

— А я еще женщина, — тотчас подхватила женщина.

Проводник втянул в себя воздух.

— Псиной у вас воняет. — Он пошевелил ноздрями еще. — И жженым маслом.

— Спиртом у них здесь пахнет, — тоже втянув в себя воздух ноздрями, жалующимся голосом сказала ева.

— Спиртом? — переспросил проводник. И унюхал. — Спиртом, точно! — Он расхохотался: — Ну-ну! Понятно. Алкоголь в этом деле вещь полезная. Пардон, что помешал. Но вот прибежала, — указал он на еву за спиной, — не пускают; не пускают!

Ева выступила из-за его спины, протиснула мимо проводника живот в купе и следом ступила сама.

— Именно что не пускали, не так разве? — сказала она.

— Но псиной все же у вас воняет, — приготовясь уходить, поводит проводник носом из стороны в сторону. — Смотрите, заловлю!

Он ушел, закрыв дверь, ева, все еще не пришедшая в себя от потрясения, пережитого перед запертой дверью, тотчас легла, закрыла глаза, и мужчина с женщиной тоже полезли к себе наверх. Им тоже требовалось отдохнуть. Они тоже пережили кое-что.

В барабанную перепонку, когда легли, переброшенный через оси, подвеску, через стенки вагона, полку, слегка приглушенный подушкой, ударил грохот колес о рельсы. Поезд мчался, пожирал пространство, стремил себя вперед. Прогредел металлический мост над каким-то овражком. Хорошая была скорость. А недолге поезд должен был помчаться еще быстрее. Мужчина уже заканчивал расчеты, почти закончил. Теперь — только воплотить теорию в практику.

12

Видимо, на станции, вещавшей по радио, была возможность увеличить звук независимо от того, насколько вывернута ручка включения, — динамик,

гремевший барабанной музыкой с привычной громкостью, прервав барабан на середине фразы, вдруг словно взорвался: голос диктора, вырвавшийся оттуда, был истинно ударом грома.

— Внимание, чрезвычайное сообщение! Внимание, чрезвычайное сообщение! — выкатываясь из динамика, грохотал голос.

Мужчина с женщиной только что взобрались на свою верхотуру, собираясь ложиться спать, ева уже лежала, может быть, даже и спала, не было только адама, несшего где-то свою ответственную охранную службу. Мужчина слетел вниз, крутанул колесико, чтобы приглушить раскаты грома, ева, соскочив босыми ногами на пол, со вздыбленной на животе ночной рубашкой, с диким видом, слепо глядя перед собой, стояла у стенки, тряслась, будто ее колотило в ознобе, и вопрошала в пространство:

— Что случилось?! Что случилось?! Что случилось?!

— Сейчас узнаем, — ответил ей мужчина. — За чем-чем, а за этим не заржавеет.

— За чем не заржавеет? — спросила ева, глядя перед собой все тем же слепым взглядом, похоже, не отдавая себе отчета в своем вопросе.

— За сообщением, обещают же, — нарочито обыденным голосом отозвался мужчина.

— Скорее, не обещают, а угрожают, — поправила его сверху женщина.

— Зачем угрожают? — тотчас вцепилась в брошенное слово ева.

— Да нет, никто не угрожает, это шутка, — успокаивающе проговорил мужчина, с укором взглядывая наверх на женщину. — Шутка. Элементарная шутка.

Однако сообщение оказалось далеко не успокаивающим. Мужчина такого даже не ожидал.

— Внимание, чрезвычайное сообщение! — прогрохотал динамик в последний раз; последовала пауза, и тот же голос, что делал предуведомление, так

же грохоча, наконец сообщил: — Всем находящимся в купе, независимо от возраста, состояния здоровья и самочувствия, незамедлительно выйти в коридор! Приказ обсуждению не подлежит и должен быть исполнен строго и неукоснительно. Все невышедшие автоматически будут считаться подозреваемыми. Повторяю: подозреваемыми!

— Подозреваемыми? В чем подозреваемыми? — снова спросила в пространство перед собой ева.

Ей было бы куда легче, если бы рядом сейчас находился ее адам! Ее бы, наверно, успокоила просто его рука, держащая ее руку.

— Да, в чем подозреваемыми? — вслед еве недоуменно проговорила женщина, свешивая вниз ноги и приступая к процессу спуска. Он у нее проходил в несколько этапов и затягивался довольно надолго.

— В государственной измене, в чем еще! — позволил себе прозубоскалить мужчина.

Хотя на самом деле прозвучавшее сообщение встревожило и его! Даже не встревожило, а как бы подняло ему внутри дыбом шерсть. Буквально такое было у него ощущение. Словно бы там, внутри, он был неким зверем, и вот этот зверь почуял опасность.

В коридоре, когда они все трое вытиснулись туда, было уже полно. Юные создания, населявшие теперь вагон, исполнили отданное по радио приказание с бравой солдатской поспешностью. Словно перед тем как предоставить им здесь места, их специально тренировали. Они громко переговаривались, перекрикивались, в коридоре стоял гвалт, — казалось, в воздухе разлита атмосфера молодой беспечности и легкомыслия. Но нет, отметил для себя, оглядевшись, мужчина: то была атмосфера старательно скрываемого страха. Юные создания вокруг были так же ошеломлены и испуганы, как и беременная ева. Только, не смея признаться в том друг перед другом, прикрывались, как фиговым листом, громким перекрикиванием. Но лица их выдавали.

Как бы, при всей молодой неопытности, юные создания знали о своем пребывании здесь нечто такое, что не было известно ни мужчине, ни женщине, — и вот это знание оттиснулось ошеломлением и испугом в выражении их лиц.

Покушение, покушение, покушение, зашелестело затем по коридору. Слово перепархивало с языка на язык от одного к другому легкой бабочкой с листка на листок. Оно, в отличие от всех иных, звучавших сейчас в коридоре, не произносилось громко, оно шепталось, и еле слышно, едва различимо, но, только возникло, тотчас же показалось, оно одно и звучит.

— Покушение? — тоже шепотом, с недоумением проговорила женщина, поднимая глаза к мужчине.

С тем же недоумением, что было в ее голосе, он пожал плечами. Ну, покушение. Может быть. Сейчас все разъяснится. К ним это дело не имело отношения. Конечно, сын работает в вагоне управления, но он вовсе не та фигура, чтобы покушаться на него. Если на кого-то и покушались, то на кого-то высокого. Очень высокого. Может быть, на того же начальника поезда.

«Начальник поезда» — эти слова и зашелестели по коридору следом. «Начальник поезда», «начальник поезда» перепархивало теперь тою же легкой бабочкой, что мгновение назад «покушение». Мужчина удовлетворенно взглянул на женщину: слышала? Она подтверждающе покивала: слышала. «Скрылся», «ищут», «не мог исчезнуть», — мотыльково промельтешило еще. Кто-то что-то знал, как-то откуда-то сведения приходили. Или специально делали утечки. Ознакомляли. Готовили. К чему?

Взрыв криков, раздавшийся в конце коридора, около дверей в тамбур, с несомненностью свидетельствовал, что из тамбура, шибанув дверь, в вагон разом вломилось несколько человек. «А-а!.. Что же вы!.. Ой, больно!..» — кричали, вопили, визжали придавленные. Словно волна прокатилась по ваго-

ну, уплотняя толпу, заставляя валиться на соседа, переступать ногами, торопливо перешагивать на новое место. «Молчать! Всем стоять! Не двигаться! Открыть купе!» — перекрывая голоса придавленных, прорывали с лающей волчьей беспощадностью другие голоса, — опять же, несомненно, тех, что вломились из тамбура. И новая волна побежала по коридору: пришедшие принялись ввинчиваться в толпу, раздвигать ее, прошивать своими телами. «Открыть купе! Дверь нараспашку!» — кричали они, продвигаясь вперед, все ближе и ближе подходя к мужчине и женщине.

Женщина, почувствовал мужчина, дрожит. Впрочем, беспокойство все сильнее охватывало и его самого. Чем-то происходящее напоминало ту давнюю пору, когда проводником был усатый. Конечно, когда в вагоне властвовал тот усатый, они с женщиной были детьми, они совсем плохо помнили то время, совсем смутно, но у этой памяти был запах, был цвет, и вот эти запах и цвет! — они будто прорвались оттуда, из детских годов сюда, в это происходящее сейчас действо, расцвели всеми своими красками.

— Не волнуйся, нет повода, ничего страшного! — нашел он руку женщины, взял ее в свою и крепко сжал. — Ничего страшного, набраться терпения, переждать это дело — и все.

— Да? Ты думаешь? — отозвалась женщина.

— И ты не волнуйся, девочка, — вспомнив о беременной соседке, взял он другой рукой руку евы, впервые назвав ее так — словно она была ему родной.

Ева ничего не ответила ему. Но рука ее ухватилась за его руку так, что мужчина почувствовал: захоти он освободить свою руку — она не отпустит.

Шевеление толпы, пропускавшей сквозь себя ворвавшихся в вагон, нарастало, и вот первый из ломившихся по коридору оказался рядом с мужчиной. Это был не кто другой, как та масса, что упражнялась на нем в вагоне-ресторане, — мужчина сразу узнал его.

На массе пузырилась новенькая камуфляжная форма, и сам он под нею тоже весь пузырился и бугрился — выпирал из нее всеми своими мышцами.

— Купе! Дверь! — рывкнул он на мужчину, хватая его и швыряя в распахнутый дверной проем. — Шире! До упора!

Покатился, буравя толпу, дальше, а на его место протолкалась другая камуфляжная фигура, и оказалась это собственной персоной адам.

— Ой! — воскликнула ева, увидев его перед собой.

Скорее она заново испугалась, чем обрадовалась. Во всяком случае, ее рука, как и тогда, когда масса бросил мужчину в дверной проем, не оставила руки мужчины, а только сильнее сжала ее.

— Покушение! Слышала? — склоняясь к ней, жарким шепотом проговорил адам. — Сволочь эта американская. Который и к нам тогда лез. Несколькo ударов успел нанести. Скрылся, сволочь!

— Который... тогда... к нам? — как-то сомнамбулически выговорила ева.

— Да перекинь твою марганца! — выругался адам. — Что ты так растряслась?! Сейчас поймем его — и ша, сволочь! А остальным чего трястись?

— Стоять всем в коридоре, купе свободны! — проорал масса, пробравшийся в другой конец коридора. Видимо, по условиям операции ему полагалось управлять ее ходом оттуда. — Приступить к досмотру купе! Любой препятствующий досмотру считается подозреваемым!

Евина рука в руке мужчины крупно и сильно вздрогнула.

— Да что ты, девочка, — с тем же внезапно возникшим отцовским чувством к ней проговорил мужчина. — Не волнуйся ты так, в самом деле. Ты-то какое отношение имеешь к этому покушавшемуся. Что ты, девочка!

Но, успокаивая ее, он успокаивал и себя. Вернее, женщину, чья рука при словах адама об американце, в противоположность руке евы, сделалась сла-

ба, безвольна и покрылась потом. Ева не имела отношения к покушению — или что там было, — и ей действительно нечего было волноваться. А вот они с женщиной отношение имели. Самое прямое, непосредственное. Как там она сказала американцу про начальника поезда: «Кого следует... отделать — эту мразь». Едва ли у нее было намерение завести американца по-настоящему. Так, высказалась. Но получилось, что завела. Единственно, что никому об этом не известно. Кроме них двоих да самого американца с жирафом.

Орда в камуфляже прошла по купе вагона беспощадным смерчем. Грохали крышками нижние полки, летали с места на место полки верхние, взламывались, если не находились моментально ключи, чемоданы, открывались сумки, содержимое коробок вытряхивалось на пол. Обыскивался каждый закулок, дальние темные углы просвечивались фонарем.

Потом охранники стали вскрывать всякие полости в стенах и потолке. Взгромождались на лестницы, отвинчивали отвертками шурупы на крышках, снимали их, залезали внутрь головами, снова светили фонарями.

Вот тут, когда начали шарить по внутренним полостям, мужчина ощутил совершенно реальный укол паники. Он не знал, откуда они приходят к ним с женщиной — жираф и американец, — не имел понятия, и жираф, когда спрашивал его об этом, неизменно уклонялся от ответа. Но на самом деле догадаться было несложно. Все варианты умышленно считались в счет «раз-два».

Жираф обнаружился под крышкой кондиционера в соседнем купе. Поразительно, как он только сумел поместиться там. Его проволокли сквозь толпу по коридору в купе проводника, — он не сопротивлялся, покорно переступал ногами и, лишь когда удар дубинки оказывался слишком силен, всхрапывал, выворачивал голову, бешено вращал влажным выпуклым глазом, будто мог этим устрасить обидчика.

Зато оказал яростное сопротивление американец. Его нашли там, где, похоже, и не собирались искать, — в расположенном под полом коробе для грязного белья. Охранники о люке или забыли, или не знали вообще, уже собрались все вместе, уже готовились к броску в следующий вагон, — из своего купе появился проводник, окликнул массу, спросил о чем-то, тыча в пол, и масса, побагровев, в сопровождении двух подручных, расшвыривая всех на своем пути, тотчас бросился к указанному месту. Задрали лежавшую на полу ковровую дорожку, подцепили крышку, откинули... американец выметнул себя изнутри грозным боевым вертолетом, убийственным смертоносным орудием, врезал посвистывающим кругом лопастей, веющим ветром, массе по лицу, врезал одному его подручному, другому и снова массе...

Удар дубинкой, что обрушился на американца следом, был ужасен. Что-то в нем хрустнуло, треснуло, проскрежетало со страшным, размалывающим звуком, и из середины вращающегося прозрачного диска вылетела какая-то деталь. Влепилась в стену, пробила пластмассовую обивку и, оставив после себя черную рваную пробоину, громко прогремела о железо внешнего корпуса. Вторая дубинка вырвала у американца шмат резины из лопасти. Третья влупила ему по лапам, он упал. Вскочил — и от нового удара тотчас упал вновь.

Его охаживали в три дубинки, он крутился по полу, подпрыгивал, вращал искалеченными лопастями, все пытался подняться, — его молотили, молотили...

Еще он, непонятно для всех, кроме мужчины и женщины, непрерывно кричал — осколками фраз, слов, слогов:

— Ваш!.. Безумные!.. Поезд ведут!.. Широкий вагон!.. Однопутка!.. Пока!.. Когда двухпутка... Безум... Столкновение сразу!.. Нельзя допустить...

Постепенно его крик делался все нечленораздельнее. Потом он смолк. Летели во все стороны шматы

резины, какие-то детали, с хрустом рассадился корпус, подвернулась одна лапа, отскочила другая. Искалеченные лопасти вращались медленнее, медленнее, двигатель взывал, скрежетал, из него повалил дым, выметнулось изнутри пламя. Лопасти остановились. Американец попытался приподняться еще раз, удар дубинки бросил его обратно на пол, он упал и больше не шевелился. С американцем было покончено.

13

— Так, значит, так она ему и сказала: «Отделать эту мразь, чтобы знал»? — указывая на женщину, спросил проводник жирафа.

— Так и сказала, — всхлюпывая носом, ответил жираф.

— И прямо так: «мразь»? — уточнил проводник.

— Прямо так, — отозвался жираф.

— Получается, прямо науськала?

— Получается, — согласился жираф.

Очная ставка с жирафом была устроена мужчине и женщине в вагоне-ресторане. Впрочем, вагон-ресторан использовался, вероятней всего, не только для очной ставки. Надо думать, здесь же до того проходил и допрос жирафа. Скатерти со столов были сняты, столы сдвинуты в один угол, поставлены друг на друга вверх ножками, а на них сверху, так же вверх ножками, накинаны в беспорядке стулья.

Сумрачно выглядело место веселья и развлечений.

Некоторое время, получив подтверждение жирафа, что женщина буквально науськала американца на начальника поезда, проводник сидел в молчании. Глядел неотрывно на женщину и молчал. Он один сидел во всем вагоне-ресторане, все остальные стояли. В том числе и охранники в камуфляже, сжимавшие их четверку — проводник, мужчина с женщиной, жираф — плотным мускулистым кольцом.

— Ну так что, — прервал наконец молчание проводник, обращаясь к женщине, — все так, подтверждаете показания?

— Нет, ну ведь я и думать не думала, — с торпливостью бросилась отвечать женщина, — что он сделает из моих слов такие практические выводы! Это была такая риторическая фигура, выражение моих чувств, моя оценка того, что начальник поезда позволил в отношении...

— Вы подтверждаете, — прервал ее проводник, — что вы сказали «отделать»? Да или нет, отвечайте: да или нет?

— Да, — произнесла через паузу женщина. — Это было, да.

— И «мразь»? «Мразь» вы тоже употребляли?

Женщина снова выдержала паузу. О, как ей не хотелось отвечать! Но что оставалось делать? Не ответить?

— Да, — вновь подтвердила она. — Да.

— Все, к вам вопросов у меня больше нет, — убирая с нее взгляд, сказал проводник. И объектом его внимания вновь сделался жираф. — А кто, значит, сообщил эти сведения о вагоне управления, о колее? О габаритах вагона, о том, по какой колее мы едем?

Он вообще был отменно вежлив, как никогда, даже, пожалуй, благожелателен и добросердечен, — казалось, он выясняет интересующие его факты для того, чтобы в конце концов сделать для мужчины и женщины что-то необыкновенно хорошее. Но вид жирафа не позволял обмануться поведением проводника. Вот уж кто был отделан так отделан, — это жираф. Морда его представляла собой сплошной синяк. Глаза заплыли, превратившись в бритвенные прорези. Разбитые губы, в корке запекшейся крови, расплылись на пол-лица, из носа все еще продолжало подтекать, и на каждый вздох свиристело.

— Кто-кто, — хлюпая этим разбитым носом, отозвался на вопрос, заданный ему проводником, жираф. — Он вон, кто!

Голова его мотнулась в сторону мужчины, казалось, он хотел сказать мужчине столь экспрессивным движением: а что мне еще делать! прости, если можешь!

— Подтверждаете? — перевел проводник взгляд на мужчину. — Вы сообщили?

Мужчина пожал плечами.

— Извините, но я ничего не сообщал. Я просто сказал. Упомянул об этом, вернее так.

Проводник отмахнулся от его уточнения:

— Это не важно. «Сообщил», «сказал», «уточнил». Все одно. От вас информация исходила? От вас!

— Это не информация.

— Информация, информация, — сказал проводник. — А вот то, что молולי про откос, про катастрофу, — это уже не информация, точно. Это уже пропаганда. Панических настроений. Говорил он про катастрофу? — посмотрел проводник на жирафа.

Жираф с торопливостью старательно закивал головой:

— Говорил. Говорил, хорошо, сейчас едем по однопутке. А как двухпутка, встречный поезд — и тут же под откос. Вот таким образом!

— Ну?! — Теперь проводник опять смотрел на мужчину. — Будем отрицать?

— А что, это не так, как я говорил? — спросил мужчина.

— Так, не так — это не важно! — Впервые за все время проводник позволил себе утратить свои благожелательность и добросердечие. Как бы волчий оскал проступил из-под его овечьего облика. Образ того, кто с легкостью мог сотворить сделанное с жирафом. — Важно, что вы сеяли панические настроения! Сеяли — и посеяли! Добились, чего хотели! И ну-ка, что он там о галсах нес? — даже не повернув головы к жирафу, приказал проводник тому вновь давать показания.

— Он говорил, что мы едем галсами, как какой-нибудь корабль, — с готовностью отвечивал жираф.

Мужчина не смог удержать усмешки. Это жираф так специально, не в силах побороть свою натуру, или в самом деле забыл, о чем говорилось в действительности?

— Я говорил о дугах, — сказал он. — Галсы и дуги — это все же разные вещи. А о дугах — да. Мне показалось странным, как мы движемся.

— Галсы, дуги. В конце концов, это — все одно, — сказал жираф. — Не имеет значения, как называть.

— Вот именно, — с поразительной поспешностью согласился с ним проводник. — Главное; говорил об этом!

У мужчины не было никакого желания спорить с ними. Хотят считать галсы и дуги одним — бога ради, их дело.

— Говорил, — подтвердил он.

Проводник намеревался спросить мужчину о чем-то еще, но был прерван. Тяжелым медлительным голосом, раздавшимся откуда-то из-за свалки столов и стульев:

— Достаточно. Все ясно.

Мужчина пригляделся — и увидел: там, за столами, в полутьме, так что едва светились фарфоровыми пятнами лица, сидело в ряд несколько человек. Словно бы неким зрительным залом. Или судом. А голос, остановивший проводника, принадлежал начальнику поезда. Он сидел посередине этого ряда, закамуфлированного перевернутыми столами и стульями, сидел так, что все остальные располагались от него на почтительном удалении, и несомненно, он и был главным распорядителем действия.

— Мужик с бабой пусть пока в стороне погужуются, — приказал проводнику начальник поезда. — Девчонку давай. Что она!

Охранники, молчаливо стоявшие все это время кольцом, пришли в движение. Мужчина ощутил у

себя на предплечьях по суровому, беспощадному захвату, увидел, как точно так же взяли двое в камуфляже женщину, и их обоих повлекли с середины вагона к тамбурной двери. Он думал, их сейчас выведут из вагона, но нет: его резко остановили, остановив и женщину, и так же резко развернули, обратив лицом ко вновь сомкнувшемуся посередине вагона кольцу охраны.

— Стой! Понадобишься еще! — сказали в ухо мужчине. — Стой, ты! — слышал он, как так же в ухо сказали женщине.

А перед проводником в середине кольца стояла уже ева. Ее, едва начальник поезда отдал свой приказ, мужчина и ожидал увидеть. Только вот что же за вина была у нее?

— Перекись твою марганца! — потрясенно произнес над ухом мужчины голос охранника.

И вновь, еще не повернув головы, мужчина знал, кто это: адам.

Он повернул голову — и удостоверился: адам. Один из беспощадных железных захватов на предплечье был его.

— А? — произнес мужчина не без чувства удовлетворения. — И что будешь делать?

Впрочем, чувство удовлетворения имело отношение только к адаму. Не к еве. «Девочка!» — с ужасом прозвучало в мужчине, словно она была его дочкой, — когда понял, кто сейчас будет стоять на их с женщиной месте.

— Козел! — сказал адам в ухо мужчине, сжимая его предплечье с такой силой, что у мужчины в глазах вмиг встали слезы и он едва удержал себя от того, чтобы не вскрикнуть. — Ее-то за что?! Козел!

— Слушай! — сумел выдавить из себя мужчина. — Смотри. Решай для себя. И не сжимай так руку!

Железный захват ослаб. Мужчина перевел дыхание и взглянул на женщину. Она смотрела на него, ждала его взгляда. В ее глазах он прочел: «И что?»

Что теперь?» — «Ждем, что!» — так же молча, движением подбородка и глазами ответил он.

Проводник между тем, сидя на стуле в центре кольца охраны, продолжал исполнение возложенных на него обязанностей. Он снова задавал жирафу вопросы, а потом просил еву подтвердить его ответ или же опровергнуть. Он спрашивал жирафа о том его посещении купе вместе с американцем, когда там не оказалось мужчины. Жираф отвечал со старательной, скрупулезной детальностью. Как вошли. Кого увидели. Что говорили. Что делали.

Наконец проводник удовлетворился его допросом. Или удовлетворился начальник поезда, дав проводнику некий сигнал из-за своей баррикады. Проводник поправил узел форменного галстука под замечательно отутюженным воротничком форменной рубашки, пробежался пальцами по пуговицам форменного пиджака — все ли застегнуты. Пуговицы были застегнуты все до единой. Форменный пиджак сидел на нем так влито, будто проводник прямо и родился в том.

— Н-ну! — произнес он, обращаясь теперь исключительно к еве. — И почему же вы с мужем не сообщили куда следует, что в поезде безбилетные?

— Я не знаю, я не думала... — пролепетала ева.

— Что вы не думали? Почему не думали?

— Ну, они потолкались... исчезли — и все...

— А вы разве не помните инструктажа при посадке? Вы были обязаны доложить о безбилетных независимо ни от чего.

— Да, я была обязана, — повинно согласилась с проводником ева.

— И почему же не доложили?

— Я забыла, — сказала ева.

Проводник позволил себе усмешку. Вернее, не смог удержаться от нее.

— Вы понимаете, что вы говорите? Отдаете себе отчет?

— Нет, — тупо ответила ева.

Одна из рук, державших мужчину, снова стиснула предплечье с такой силой, что от боли мужчине опять задернуло глаза слезами.

— Перекуси твою марганца! — жарким шепотом выдохнул над ухом адам.

— Вы обсуждали с мужем вопрос, докладывать или нет? — спросил проводник еву.

— Нет! — эхом отозвалась ева.

— Получается, он был с вами заодно?

— То есть? — переспросила она.

— Ну, чтоб не сообщать.

— В каком смысле? — вновь переспросила ева.

— Перестаньте дурочку из себя разыгрывать! — прикрикнул на нее проводник. — Отвечайте: вы с мужем сговорились ничего не сообщать, так?

— Так, — подтвердила ева. — Сговорились. То есть нет! — тут же вскричала она. — Не сговаривались! Не сговаривались, но не сообщили. Не знаю почему.

Проводник выбросил перед собой запрещающим жестом руку:

— Не надо! Не оправдывайтесь! Вы признались! Признание сделано.

Рука адама, сжимавшая предплечье мужчины с силой чугунных тисков, разжалась. Мгновение — и мужчина увидел его уже стремительнодвигающимся к центру вагона, к кольцу охраны, в центре которого были трое: проводник на стуле и жираф с евой.

— Хватит! — кричал адам. — Довольно! Прекратите пытку! Она беременна, видите же!

Он не попал внутрь кольца — как, видимо, намеревался. Он даже не сумел приблизиться к тому: на нем гроздью повисли его товарищи, в таком же камуфляже, как он, мигом завернули ему за спину руки и пригнули к полу — так же, как тогда, при последнем посещении этого же вагона их начальник мужчину. Только тогда мужчина ведасть не ведал, что жаркая масса, скрутившая его, — это их начальник.

Товарищи адама пригибали его к полу, он бился в их руках — и не мог вырваться, бился — и все бессмысленно, и тогда он завопил:

— Да я их, этих, я их так уделал! Я их! Этого особенно, америкашку! Я приемами карате! Они еле живы остались! Еле ноги унесли! Они на карачках уползли! Что о них докладывать было — я их взашей!..

— Заткните ему хайло, — донесся до мужчины тяжелый медлительный голос с другого конца вагона.

Адаму заткнули хайло первым же ударом. Те же его товарищи, что держали; без раздумий — тотчас, как было приказано. Но к первому удару незамедлительно был добавлен второй, ко второму — третий, четвертый, пятый... и когда мужчине в тесную прогалину между камуфляжным мельтешением открылось лицо адама, оно все было кусок сочащегося кровью парного мяса. Из щели рта у этого куска мяса вылетали и с легким веселым шелком падали на пол зубы.

Ева издала звук, похожий на икание, ее качнуло, она проделала в воздухе путь стекающей вниз синусоиды — и рухнула на пол в обмороке.

— Ссадить, — коротко произнес тяжелый медлительный голос из-за ощерившейся ножками столов и стульев баррикады.

Товарищи адама прекратили свое танцующее кружение вокруг него, подхватили его под мышки и споро поволокли к двери. Один борзо заскочил вперед, распахнул ее, впустив в вагон обвальный грохот колес, и держал створку, пока двое других с повисшим у них на руках адамом не протиснулись в тамбур. Потом он закрыл дверь. Грохот колес тотчас сделался глухо-далек.

Их не было не дольше чем полминуты. Дверь вновь распахнулась, вновь наполнив вагон лязгающим грохотом, и товарищи адама один за другим вошли внутрь. Дверь закрылась. Адама с ними не было. На лицах вошедших играло то выражение

благостного удовлетворения, какое бывает у людей, добросовестно выполнивших тяжелую, неприятную работу.

Один из них прошел к самой баррикаде, сложил в воздухе перед собой руки крест-накрест, подержал так миг и резко бросил в стороны.

Мужчина почувствовал, как у него дергается, вибрирует сухожилие под левым коленом, — невозможно стоять на ноге. «Поджилки трясутся», — вспомнил он. Вот оно, значит, как они трясутся. Ему было страшно взглянуть на женщину. Но он не мог оставить ее сейчас без своей поддержки — хотя бы взглядом.

В глазах женщины стоял ужас. «Неужели?.. И нас тоже?!» — было смыслом этого ужаса. Мужчине хотелось ободрить ее. Покачать утешающе головой: ни в коем случае! Но у него не оказалось на это сил. Смотрел на женщину — и не мог пошевелить ни единой мышцей.

— Ну-ка поближе их сюда всех, — словно из тумана, донесся до него голос начальника поезда.

Руки, державшие мужчину, подтолкнули его: иди! И тотчас вибрирующее сухожилие подвело: нога, словно парализованная, не послушалась мужчины, и он упал на колени.

Должно быть, он выглядел при этом забавно, — за баррикадой грохотнули молодецким смехом.

— Ладно, ладно, перестаньте, — пресек смех голос начальника поезда. — Волнуется человек, почему нет?

Мужчину потащили к баррикаде волоком. Так же тащили из вагона адама. Это сходство было нестерпимо, мужчина пытался идти сам, наступать на ногу, но тащившие влекли его с такой свирепой неудержимостью, что осуществить свое желание мужчине так и не удалось.

— Но вообще раньше следовало волноваться, — сказал мужчине начальник поезда, когда мужчина оказался перед баррикадой. — Раньше, да!

Теперь это был не просто голос начальника поезда, это был он сам. Его лицо с другой стороны баррикады стало видно совершенно отчетливо, и как же изменился начальник поезда с той поры, когда мужчина видел его в прошлый раз! И прежде в его лице была та самая безмерная, каменная тяжесть, что звучала в голосе, теперь у него было лицо самого камня: ни выражения, ни чувств, одна эта каменная тяжесть — и только.

Мужчина смотрел на начальника поезда и чувствовал в себе: пусть ссаживают. Что за смысл ехать дальше после случившегося. Пусть ссаживают.

Казалось, начальник поезда услышал его мысли.

— Что, — проговорил он, каменно поворачиваясь влево, вправо — обращаясь к остальным, сидевшим с ним с той стороны баррикады, — что с ними делаем? Ссаживаем?

Ответом ему раздался согласный гул:

— Ссаживаем! Ссаживаем! Ссаживаем!

И, задержавшись, отстав от других голосов, догнал их еще один голос:

— Ссаживаем...

Мужчина вздрогнул. Это был голос сына. Он зашарил глазами по сидевшим там, с той стороны баррикады, — и нашел: сын располагался рядом с начальником поезда, первым слева от него, сын теперь был крупной величиной, невероятно крупной — можно гордиться!

Что ж. Действительно настала пора ссаживаться. Друг предал. Сын предал. Что за смысл ехать дальше.

Мужчина потянулся рукой — взять руку женщины в свою, как там, в вагоне во время обыска, только тогда другой рукой он еще держал руку несчастной беременной девочки, что лежала сейчас в беспомощности, но ему не удалось дотянуться до руки женщины: железные тиски на предплечье сжались — и не позволили ему сделать это.

Начальник поезда повернулся в сторону сына и поманил пальцем склониться к нему.

— За зверя меня считать не нужно, — выговорил он, когда его повеление было сыном исполнено. — На ходу ссаживать не будем. Остановим поезд. Специально.

Лицо сына было едва ли не таким же каменным, как у начальника поезда. Ни мускула на нем не дрогнуло. Только разжались губы.

— Спасибо, — произнес он коротко.

— Спасибо! — прихрюкнув разбитым носом, низко согнул шею жираф.

Начальник поезда отрицательно поводит в воздухе рукой.

— Тебя не касается. Этого, с шеей, — нашел он взглядом того, массу, начальника охраны, — его на чучело. Пусть стоит, ресторан украшает.

Жираф рухнул на колени. Из глаз его рванули слезы. Обильно, неудержимо, настоящим потоком.

— Помилуйте! — пронзительно завопил он сквозь рыдания, — Помилуйте!.. Ведь мне же было обещано, я все рассказал... Ссадите меня тоже! Ссадите... Там зима, мороз, я теплолюбивое животное, мне там и так конец... но только чтобы не чучелом!..

Начальник поезда каменно покачал головой:

— Зачем же добру пропадать. Вон у тебя какая знатная шкура. Послужи людям.

Жираф завопил диким, истошным голосом, попытался подняться с колен, но масса дал знак, на жирафа навалилось столько — его не стало видно под камуфляжем. Опрокинули на пол, завжикали в воздухе сыромятными ремнями, связывая ноги...

Женщина закрыла глаза, чтобы ничего не видеть. Ей сейчас хотелось так же, как эта беременная девочка, упасть в обморок — и тьма.

Мужчина кивком головы указал на лежавшую у них за спиной беременную:

— А она? Что с ней?

— Она нам здесь что, — сказал начальник поезда, — нужна?

Поезд угрохотал во тьму, повисели в воздухе красные огни последнего вагона — как напоминание об утраченной жизни, растворились вслед за звуком поезда в окружающем неизвестном пространстве, и мужчина с женщиной, да беременная девочка с ними, еще бывшая без сознания, остались с этой тьмой наедине. Тишина, навалившаяся на них, имела плотность атомного ядра. Она давила на барабанные перепонки с такой силой — казалось, ее невозможно выдержать.

— Надо идти к жилью, — чтобы избавить себя от тяжести оглушающей тишины, проговорил мужчина.

— Умная мысль, — отозвалась женщина. — Только где оно?

В самом центре, над головой, небо было чисто, ни единого облачка, звезды катились по нему крупными мохнатыми жуками, и снег, лежавший на земле, отражая их свет, наполнял воздух слабым, мглистым сиреневым свечением. Вокруг, сколько хватало глаз, был один этот снег, снег, снег, темные сгущения деревьев на нем, и ни признака огонька, говорящего о жилье. Их высадили в чистом поле, вдали от всякого жилья — может быть, за километры и километры или даже десятки километров от него.

И еще мороз. Не слишком крепкий, но все же мороз, и ясно было: не двигаться — скоро превратиться в ледяной столб.

— Пойдем вдоль пути, — сказал мужчина. — Какая-нибудь станция рано или поздно должна быть. Вот только привести девочку в чувство.

Они с женщиной, не стовариваясь, глянули на нее — и увидели: девочку уже не нужно было приводить в чувство, она уже пришла сама. Видимо, только-только, лежала, глядела в круглую звездную прогалину над собой и, похоже, еще не успела осознать, что с ней произошло и где она.

— Привет, милая, — склоняясь к ней, произнесла женщина — с той нежной силой, которая прорезается у женщин в обращении с детьми и больными.

— Нас что, ссадили с поезда? — разомкнула губы бывшая ева, ставшая для них теперь просто беременной девочкой.

Оказывается, она все осознавала.

— Ссадили, — коротко отозвался мужчина.

— А он? — снова прошевелила она губами.

Мужчина с женщиной переглянулись. Отвечай ты, что хочешь, прочел мужчина (скорее, догадался, чем прочел) в ее взгляде.

— Его нет с нами, — сказал он.

Девочка попыталась приподнять себя на локтях.

— Но он... он?... — запинаясь, выговорила она.

— Мы втроем, милая, — словно это было необычайно хорошо, что они втроем, ответил мужчина. — Вот мы двое. И ты.

Девочка рухнула обратно на подстилку — так удачно прихваченный женщиной из тамбура кусок старой; затоптанной ковровой дорожки, — и лицо ей перекрутила судорога рыдания.

— Я так не хотела, чтобы он шел в охранники! Так не хотела!

Мужчина и женщина молчали. Что они могли ответить ей?

Немного спустя лицо девочки стало выглаживаться. Она издала еще несколько трубных звуков, и слезы у нее остановились. Поразительно быстро пришла она в себя. Словно была закаленной в таких делах.

— Его ссадили, не останавливая поезда? — выделив голосом «ссадили», спросила она, одновременно садясь на своей подстилке.

Мужчина с женщиной снова переглянулись. Вопрос девочки был еще поразительнее, чем то, как скоро она пришла в себя.

— Почему ты так предполагаешь? — осторожно проговорила женщина.

— Так да, нет? — требовательно спросила девочка.

Она остановила свой взгляд на мужчине, и ему не оставалось ничего другого, как возложить скорбную миссию на себя. Да, милая, прикрыв глаза, молча подтвердил он.

Он, отвечая, прикрыл глаза, девочка после его ответа глаза закрыла. Закрыла и некоторое время сидела так, покачиваясь из стороны в сторону. Потом прекратила раскачиваться и открыла глаза.

— Я так и знала, — произнесла она.

— Откуда ты знала? — быстро, с испугом спросила женщина.

Девочка медленно подняла к ней взгляд и произвела на лице нечто вроде усмешки:

— Это вы ничего там в поезде не знаете. А мы ко всему готовы.

— Кто «мы»? — Мужчина хотел воздержаться от вопроса — и не сумел удержать себя от него.

— Мы, кто недавно сели.

— И к чему готовы?

— Ко всему, — отрезала девочка. И стала вставать. — Вы можете мне?

— В чем?

Мужчина и женщина задали свой вопрос одновременно. Прежде бы они непременно расхохотались над этим и вдоволь по этому поводу нашутились, но уж какое веселье было сейчас?

— Помочь похоронить, — ответила девочка. — Каждый человек должен быть похоронен. Я не могу оставить его лежать просто так.

Мужчина с женщиной переглянулись в очередной раз. Думай, как поступать, прочел мужчина в ее взгляде.

— Как же мы его найдем, милая? — сказал он. — Мы даже не знаем, где это случилось.

— Мы пойдем вдоль колеи, — сказала девочка. — С двух сторон. И будем смотреть. Ведь вы же все равно собирались идти вдоль колеи к жилью.

Оказывается, когда они с женщиной говорили об этом, она уже не только осознавала, что с ней, но и все слышала и понимала.

— Что ж, — согласился мужчина, — ты права: все равно идти вдоль колеи. Так не все ли одно, в какую сторону. Пойдем откуда приехали.

— Но если раньше будет станция, на станции мы сделаем остановку, — сказала женщина. — Тем более что у нас нет никакого инструмента, чтобы вырыть могилу. Нам в любом случае нужно сначала к жилию!

— А еще можно пойти по хорде, — как не услышав женщины, словно продолжая договаривать прежние свои слова, произнесла девочка. — Тогда мы очень сэкономим в расстоянии и силах.

Мужчина не понял.

— По какой хорде? — спросил он. — При чем здесь хорда?

— При том. Ведь вы же сами говорили о дугах. Я слышала. Значит, тоже знаете. А вы ученый. Можете рассчитать.

Мужчина не понимал, что она говорит. Ровным счетом ничего не понимал.

— Что рассчитать? Что я знаю?

— Не прикидывайтесь. То, что мы едем по кругу. Вы же сами говорили: по дугам.

Молниевая вспышка прошила мужчину. Сотрясла его с ног до головы. Конечно! Он не посмел додумать эту мысль до конца, он остановился, можно сказать, на ее пороге, а то были не дуги, вернее, не просто дуги, а часть единой окружности! Они мчались по кругу, по кругу, и сын это знал, как знали все остальные из вагона управления, и еще зачем-то увеличивали скорость! И вот почему они не боялись столкновения: потому что сталкиваться было не с кем! Они были одни на этом круговом пути. Они одни — и никого больше. А тот мост над оврагом, так мучивший женщину, мешавший ее сну, — это, получается, все один и тот же мост!

— Ну! — понукнула мужчину девочка. — Скорость поезда вам известна. Время, которое прошло, как ссадили его и нас, — тоже. Кривизну пути возьмете среднюю. Что вам рассчитать длины отрезков?

— Так вы, значит, знали, что мы по кругу?! — потрясенно воскликнул мужчина.

— Знали, конечно. — В голосе девочки прозвучала интонация превосходства. — Это только вы, в поезде, не имели понятия. А мы знали. Только об этом говорить было не положено.

— По кругу! Значит, по кругу! — Мужчина никак не мог прийти в себя. Он посмотрел на женщину. — А когда мы сядились, ты помнишь, ведь не по кругу было! И две колеи. Стрелок было полно: в ту сторону, в эту, в третью!..

— Да, полно стрелок, — подтвердила женщина. Она тоже была потрясена, не меньше мужчины. — Не по кругу, точно, что не по кругу!

— Ну хватит об этом! — Девочка не просто крикнула, а и притопнула ногой. О, она чувствовала, что она для них уже не та, прежняя ева; что они уже совсем по-другому относятся к ней, и чувствовала свое право командовать ими. — Идем по хорде? — властно спросила она мужчину.

Мужчина был вынужден вынырнуть из своего шока.

— По какой хорде, — сказал он. — Вдоль пути — снег весь сметен, а так, как ты предлагаешь, — сразу в снегу утонем.

Девочка, вместо ответа, соскочила со своей подстилки, на которой топталась все это время, и скоро пошла в сторону от путей, в целинный снег. Она шла, шла — десять метров, пятнадцать, двадцать, — а снег под ногой у нее все не проваливался, не проваливался, только пуржился на каждый шаг пушистый и совсем неглубокий слой свежевыпавшего.

— Видели? — остановившись, крикнула девочка и так же скоро пошла обратно. — Здесь нигде не

провалишься, — сказала она, подходя. — Здесь лед. У нас ведь теперь нет лета. Какое лето, когда без солнца. Вечная зима. Разве что оттепели. Снег уплотняется и становится льдом. Иди куда пожелаешь. И нет необходимости тратиться на строительство шоссейных дорог.

— Вечная зима? — переспросила женщина. Голос у нее дрожал.

— А похоронить я знаю как, — не отвечая ей, продолжила девочка. — Без всякого инструмента. — Она протянула руку к мужчине: — Спички у вас есть?

— Зажигалка, — ответил он.

— Нормально, — одобрила девочка.

15

Мужчина ошибся в расчетах на какие-нибудь полкилометра. А может быть, не совсем точно сориентировался, и они просто уклонились от нужного направления. Во всяком случае, полкилометра — это была замечательная точность.

Лицо адама невозможно было узнать — так его изуродовало при падении. Но это был он, кто еще. И его одежда. Он лежал, разметав в стороны руки, уже окоченел, и сколько мужчина ни пытался свести руки на груди, ничего у него не вышло.

— Ломайте кустарник, наваливайте побольше кучу. Много-много тащите кустарника, — велела мужчине девочка.

Мужчина понял, как она хочет похоронить. Растопить лед, чтобы образовалась полынья, и опустить в нее адама. Потом мороз схватит воду, снова превратит ее в лед, и адам окажется замурован в нем. Откуда она узнала о подобном способе? А следом он догадался: так теперь хоронили всех!

Костер запылал, подняв вверх многометровый хвост пламени, мужчина навалил рядом с ним еще

целую гору хвороста и пошел подалее от женщины, на другую сторону железнодорожного полотна, освободить мочевого пузыря.

Костер полыхал так ярко, так мощно освещал пространство вокруг себя, что мужчине казалось, он виден женщинам и с этого расстояния, и с этого, и все шел, шел дальше от колеи, уже и понимал, что не может быть виден, а шел. Он не отдавал себе отчета, что за сила ведет его, потом осознал: любопытство.

Земля под ногами неуклонно шла вверх. И все круче, все круче, и по тому, как темнела даль впереди, как тьма там сгущалась, густо чернела, было ощущение, там уже не снег, не белое пространство, а голая земная твердь, безвозвратно поглощающая слабый свет звезд над головой. Мужчина оглянулся. Костер казался малой точкой. Женщины никак не могли увидеть его — это уж точно.

Мужчина остановился. Совершил необходимые манипуляции и, глядя в сторону костра, расслабил мышцы.

И тут, освобождаясь от ненужной организму жидкости, мужчина осознал: костер не просто далеко, а еще и далеко внизу. Так далеко, что между костром и ним — перепад уже в несколько десятков метров. Что это было у него под ногами? Холм? Гора?

Мужчина застегнулся и снова повернулся к костру спиной. Даль впереди сгущалась в непроницаемый мрак. Любопытство уже не мучило мужчину — сжигало. Холм это или гора, в любом случае, взобравшись наверх, можно будет увидеть далеко окрест, сориентироваться по огням, где жилье и, значит, в какую сторону отправляться после похорон.

Торопясь, он пошел вверх. Склон становился все круче. Некоторое время спустя на сплошной прежде белой голизне под ногами стали проступать черные плечи. Мужчина наклонился и потрогал одну, другую. Это, несомненно, была земля.

Потом плешинами стало белое. Оно исчезало, уступая место аспиду земных пород. Склон был уже такой крутой, что снег здесь просто не мог удерживаться. И уже приходилось больше карабкаться, чем идти. А там пришлось уже только карабкаться.

Когда мужчина вновь оглянулся назад, он не увидел никакого костра. Костер стал теперь такой микроскопической точкой — его, наверно, можно было разглядеть лишь в сильный бинокль. Зато взору мужчины открылось другое. То, что он хотел увидеть, и не очень верил в это; но и много больше того.

Светились огнями большие и маленькие города, поселки, села, деревни и, огибая их, нанизывая их на себя, словно ожившая нитка жемчуга, беззвучно резал пространство поезд. И отсюда, сверху, траектория его движения обозначала себя с недвусмысленной ясностью. Мужчина наблюдал, наблюдал за его нитью — и видел: вот поезд двигался под углом к нему, вот его жемчужная нитка вытянула себя перед ним во всю длину — наверняка промчавшись мимо невидимых ему женщины и девочки, жегших костер, обдав их мощным потоком взвихренного воздуха, оглушив железным биением колес о рельсы, — и вот поезд начал двигаться в обратную сторону, под углом от него, и угол этот все увеличивался, увеличивался...

Следовало возвращаться. Слишком он далеко ушел. Слишком долго уже отсутствовал.

Мужчина принялся разворачиваться лицом к склону, чтобы начать спуск, и взгляд его мазнул по небу. Мазнул — и скользнул вниз, на склон, куда единственно и должно было смотреть, чтобы спускаться вниз. Но тут же глаза запросились вновь устремиться к небу. Что-то в нем было странное. Что-то *не то*. Оно было не такое, каким они с женщиной увидели его, когда их ссадили с поезда.

Тогда оно было непроглядно-черным, и в самом центре, в круглой, будто вырезанной по циркулю,

прогалине между облаками, полно звезд — ярких, крупных, мохнатых, — сейчас звезд не было ни одной, и, хотя облака по-прежнему черно и глухо затягивали небо по периметру, прогалина в них непонятно посветлела — как бы наполнилась самым первым предрассветным солнечным светом, который и изгнал звезды с небесного купола.

Это было что-то немислимое. Откуда вдруг взяться рассвету, когда тьма стояла уже годы и годы? Когда земля вокруг взялась антарктическим льдом?

Догадка, пронзившая мужчину, показалась ему столь безумной, что он не поверил себе. Заставил себя не поверить. Но и не мог уже удержать себя от того, чтобы не проверить ее.

Вместо того чтобы начать спускаться, мужчина полез дальше наверх.

Он лез и старался не смотреть на небо. Еще немножко, еще чуть-чуть, говорил он сам себе. Он стремился уйти от места прежней остановки как можно дальше. Чтобы перепад высот оказался как можно больше. Чтобы сравнить так сравнить, чтобы наверняка, чтобы никаких сомнений. Он уже выбился из сил, он лез уже через силу, но все равно твердил себе: еще немного, еще чуть-чуть.

Наконец он сдался. Остановился, перевел дыхание. И вскинул голову.

Небо над головой было восхитительного голубого цвета. Чистейший ультрамарин, тронутый с одного из боков пронзительным золотом солнечных лучей. А то, что они с женщиной внизу принимали за границы облачной массы, было на самом деле краями гигантской впадины, терявшейся своим дальним концом в сизой дымке. Вот отчего звезды были видны лишь в центре небесного купола: потому что смотрели на них со дна этого провала!

Мужчина глянул вниз. Под ногами была черная чаша. Непроглядная тьма, дышавшая вечным холодом. И уже невозможно было разглядеть никаких

огней: ни огней жилья, ни огней поезда, с бешеной и все возрастающей скоростью нарезающего свои бесконечные круги.

Мужчина перевел взгляд на руки. И понял: еще карабкаясь, он знал, *что* увидит. Потому что, карабкаясь, уже давно видел руки со всею отчетливостью, как не видел их во время прошлой остановки. Пальцы были сбиты в кровь, в карминных коростах на костяшках, ногти обломаны, — он все это видел уже давно.

Дыхание его восстановилось, вернулись силы, и мужчина полез по склону дальше наверх. Он понимал, что нужно вниз, что там его ждут, потеряли и паникуют, отдавал себе в том отчет, — и был не волен остановиться.

Солнце осветило его, когда мужчина находился еще на склоне. Оно появилось из-за края провала, ударило ему в глаза — и ослепило его, помутило сознание, он едва удержался, чтобы не сорваться, не загреметь вниз. Если бы сорвался — летел бы уже до самого дна, и что бы прилетело туда вместо него? Какой невероятной глубины был провал. Бездна!

Последние метры мужчина одолевал, ничего не видя, не чувствуя, не понимая. Пот заливал глаза, пальцы рук онемели, ноги отнимались. Он вывалился наружу и, извиваясь, привставая на четвереньки, пополз от края бездны, — как червь, как пресмыкающееся, как четверолапое насекомое. Отполз — и уронил голову на землю, потерял сознание.

Сколько он так пролежал, мужчина не знал. Он пришел в себя, сел — и огляделся.

Была середина дня, солнце стояло почти в зените. Прекрасное, благословенное лето царствовало в природе. Цвели, ходили волнами под легким теплым ветерком травы и полевые цветы, воздух был напоен их ароматом, жужжали пчелы, перелетая с одного разноцветного Божьего создания на другое, собирая в мохнатые брюшки сладостный нектар,

чтобы превратить его к концу лета в живительный мед, гудели жуки, шелестели бабочки. Промчался, сотрясши землю, в какой-нибудь сотне-другой метров от мужчины скорый пассажирский поезд. Окна его были распахнуты, у окон стояли, смотрели на окружающий теплый, солнечный мир люди — незнакомые, чужие, далекие.

Рыдание сотрясло мужчину, и его вновь бросило на землю. Он все понял. Ему все сделалось ясно — как если б внутри него открылось некое хранилище знания.

Их поезд когда-то сошел на круговую дорогу — и так и остался на ней. Он резал и резал по ней, давил и давил на ее полотно, то под тяжестью поезда стало проседать, уходить вглубь, утаскивая с собой прилегающее пространство земли, и никто этого не заметил, не спохватился. А когда, наверное, спохватились, было уже поздно. А вернее, не спохватились. Так и продолжали резать по кругу, старательно делая вид, будто ведут поезд к некоей цели, к некоему конечному пункту, название и месторасположение которого известно лишь им одним. Куда ушла жизнь! И даже просвещенные новые поколения, полагающие, что от них ничего не скрыто, печально обманываются. От них не скрыли лишь очевидного. Главное осталось для них неведомо.

Мужчина рыдал и не мог остановиться. Слезы выворачивали его наизнанку. На что ушла жизнь! И ведь все, что случилось, уже безвозвратно. Уже не поднять дорогу сюда наверх, не перевести стрелку, не вернуться в этот теплый земной мир... И здесь, конечно, грохочут грозы, ревут ураганные ветры — бушует стихия, а на смену зеленому лету приходит ледяная зима, но ведь зима здесь не вечна, сколько бы ни тянулась, вслед за нею непременно и неизбежно наступает весна!

Что-то теплое и мягкое толкнуло мужчину в висок. Прикосновение было неожиданным, сотрясло

мужчину судорогой непроизвольного испуга, вмиг оборвавшего рыдания, он быстро встал на колени и увидел перед собой щенка-кутенка. От поведения предмета, казавшегося неподвижным, тот насмерть перепугался сам, отлетел от мужчины метра на два, но любопытство, заставившее его понюхать мужчину, не позволяло отбежать подальше, и он, в готовности, если надо, все же бежать без задних ног, сидел смотрел, наклонив голову, на мужчину — словно ждал от него какого-то нового необыкновенного поступка.

— А-ах ты! — успокаиваясь, проговорил мужчина. — Вот ты кто...

Лохматая, в шарах свалявшейся больной шерсти выкатилась из зарослей травы взрослая собака. Остановилась перед мужчиной, загородив собою щенка, и, припадая на передние лапы, залаяла. Злобно ощеривая пасть, поднимая шерсть на загривке. Отлаявшись, она схватила щенка в зубы, повернулась и, взволновав на мгновение вокруг себя траву, ментально исчезла в ее море. Похоже, это была какая-то бездомная сука и где-то неподалеку находилось ее жилище.

— А-ах ты! — снова протяжно произнес мужчина, вытирая рукавом мокрое от слез лицо.

Но теперь это «ах ты!» имело совсем другое значение.

Он поднялся во весь рост и, не оглядываясь, быстро пошел обратно к черневшему ужасным адским провалом котловану. Заглянул в него, отшатнулся, постоял так короткий миг и опустился на колени, лег на живот, полез ногами вперед по собственному следу обратно в черную преисподнюю. Девочка исполнила свой долг и, наверно, уже похоронила отца носимого ею ребенка. Теперь надлежало исполнить свой долг ему. Его жизнь была там, внизу. С женщиной, с девочкой, которой предстояло скоро родить. Он чувствовал себя ответственным перед ними. Перед ними обеими. Слов-

но был девочке отцом. Жить, сколько осталось, нужно было там.

И еще нужно было рассказать там, внизу, о том, что он видел и понял здесь, наверху. Это тоже был его долг. Теперь ему были понятны и слова американца — тогда, в тамбуре — о Помпеях и Этне...

Когда от солнца, заглядывающего к нему в котлован, осталась маленькая горбушка, на которую можно было, не опасаясь сжечь глаз, смотреть, мужчина остановился и взглянул на нее. Ему требовалось напитаться солнцем, набрать его в себя столько, чтобы воспоминание о нем поддерживало его и укрепляло силы. Путь вниз обещал быть не легче, чем наверх. И он вовсе не был уверен, удастся ли ему увидеть солнце когда-нибудь вновь.

2000—2001 гг.

СОДЕРЖАНИЕ

Рассказы

Сон о Ледовом побоище	5
В поисках почтового ящика	10
Сверчки	22
Гость	39
Новый ледниковый период	77
Лабиринт	114
Сон в летнюю ночь	132
Гильотина	144
Дом	169
Муза	184
Композиция № 7	214
Сфинкс	218
Счастье Вениамина Л.	237
Жизнь крутых	271
Ошибка мстителя	307

Повести

Строительство метро в нашем городе. <i>Записки экстремиста</i>	337
Поезд	442

Литературно-художественное издание
Анатолий Николаевич Курчаткин
СЧАСТЬЕ ВЕНИАМИНА Л.

Повести и рассказы

Редактор *М.М. Подзорова*

Художественный редактор *И.А. Озеров*

Технический редактор *Н.В. Травкина*

Корректор *Т.В. Соловьева*

Изд. лиц. ЛР № 065372 от 22.08.97 г.
Подписано к печати с готовых диапозитивов 11.12.2001.
Формат 80×100¹/₃₂. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 25,16. Уч.-изд. л. 25,45.
Тираж 6 000 экз. Заказ № 4201003

ЗАО «Издательство «Центрполиграф»
111024, Москва, 1-я ул. Энтузиастов, 15
E-MAIL: CNPOL@DOL.RU

Отпечатано в ГИПП «Нижеполиграф»
603006, Нижний Новгород, Варварская ул., 32

Для Вас, поклонники издательства «Центрполиграф»!

РАБОТАЕТ ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН ИЗДАТЕЛЬСТВА

К Вашим услугам более 700 наименований книг. Широко представлены: классика зарубежного и российского детектива, исторические и современные любовные романы, научная фантастика, фантастические боевики, фэнтези, приключения, вестерны, книги по кинологии, филателистические каталоги, детская и юношеская литература, книги по кулинарии, любовная астрология, документально-криминальная хроника, истории секретных служб, биографии полководцев, книги о мастерах театра, кино и эстрады, энциклопедии и словари, песни и тосты.

ТОЛЬКО В МАГАЗИНЕ

Действительно низкие цены.

Регулярно проводятся распродажи.

Оформление предварительных заказов и оповещение по телефону о поступлении новинок.

**Открыт мелкооптовый отдел
тел. 284-49-68**

Звоните и приезжайте!

*Магазин работает 7 дней в неделю
с понедельника по пятницу с 10⁰⁰ до 19⁰⁰
в субботу с 10⁰⁰ до 17⁰⁰
в воскресенье с 10⁰⁰ до 14⁰⁰
без перерывов на обед*

Вас ждут по адресу:

**Москва, ул. Октябрьская, дом 18;
телефон для справок: 284-49-89**



Проезд: м. «Рижская», трол. 18, 42, авт. 84 до ост. «Северная гостиница»
м. «Новослободская», далее 15 мин. пешком
м. «Белорусская», трамв. 19 до ост. «МИИТ»



АНАТОЛИЙ КУРЧАТКИН

СЧАСТЬЕ ВЕНИАМИНА Л.

Анатолий Курчаткин – один из лидеров современной российской прозы, лауреат многих литературных премий, в том числе престижной премии «Венец» (2001).

В новой книге впервые наиболее полно представлена иррациональная линия творчества известного писателя – мистико-философская проза. Автор продолжает традиции русского «магического реализма», где фантастичность сюжетов сочетается с тщательной психологической проработкой характеров и отношений персонажей, а повествование отличается сложным метафорическим рисунком сюжета, символической насыщенностью языка и художественных деталей.

В повести «Поезд» автор создает аллегорический образ некоего закрытого общества («поезда»), с его удушливой атмосферой страха и насилия, существующего по своим странным законам и мчащего пассажиров в неизвестном направлении. Повесть «Строительство метро в нашем городе» рассказывает о конфликте группы «экстремистов» с городскими властями, в результате чего под землей стихийно возникает еще один город, заживший собственной автономной жизнью.

В книгу вошли также фантастико-философские рассказы-притчи.

\$ 6.99

ISBN 5-227-01147-8



9 785227 011473

ЦЕНТРОЛИГРАФ®